Волны Черного моря



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



ТОМ I

БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ

ХУТОРОК В СТЕПИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1961

Р2
К29

Известный советский писатель Валентин Петрович Катаев завершил свой многолетний труд — эпопею «Волны Черного моря», в которую входят романы «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи», «Зимний ветер» и «Катакомбы» (переработанный роман «За власть Советов»).

Все эти книги, посвященные революционному движению на юге России и освещающие события народной жизни на большом историческом отрезке времени — от начала века до Великой Отечественной войны, завоевали искреннюю любовь и подлинное признание у широких слоев читателей — юных и взрослых.

Полностью эпопея «Волны Черного моря» публикуется впервые в настоящем издании — в 2-х томах. Том 1-й: «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи». Том 2-й: «Зимний ветер», «Катакомбы».

Рисунки В. Горяева
Оформление И. Фоминой

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЭСТЕР КАТАЕВОЙ

Белеет парус одинокий



1

ПРОЩАНЬЕ

Часов около пяти утра на скотном дворе экономии раздался звук трубы.

Звук этот, раздирающе-пронзительный и как бы расщепленный на множество музыкальных волокон, протянулся сквозь абрикосовый сад, вылетел в пустую степь, к морю, и долго и печально отдавался в обрывах раскатами постепенно утихающего эха.

Это был первый сигнал к отправлению дилижанса.

Все было кончено. Наступил горький час прощанья.

Собственно говоря, прощаться было не с кем. Немногочисленные дачники, испуганные событиями, стали разъезжаться в середине лета.

Сейчас из приезжих на ферме осталась только семья одесского учителя, по фамилии Бачей,— отец и два мальчика: трех с половиной и восьми с половиной лет. Старшего звали Петя, а младшего — Павлик. Но и они покидали сегодня дачу.

Это для них трубила труба, для них выводили из конюшни больших вороных коней.

Петя проснулся задолго до трубы. Он спал тревожно. Его разбудило чириканье птиц. Он оделся и вышел на воздух.

Сад, степь, двор — все было в холодной тени. Солнце всходило из моря, но высокий обрыв еще заслонял его.

На Пете был городской праздничный костюм, из которого он за лето сильно вырос: шерстяная синяя матроска с пристроченными вдоль по воротнику белыми тесемками, короткие штанишки, длинные фильдекосовые чулки, башмаки на пуговицах и круглая соломенная шляпа с большими полями.

Поеживаясь от холода, Петя медленно обошел экономию, прощаясь со всеми местами и местечками, где он так славно проводил лето.

Все лето Петя пробегал почти нагишом. Он загорел, как индеец, привык ходить босиком по колючкам, купался три раза в день. На берегу он обмазывался с ног до головы красной морской глиной, выцарапывая на груди узоры, отчего и впрямь становился похож на краснокожего, особенно если втыкал в вихры сине-голубые перья тех удивительно красивых, совсем сказочных птиц, которые вили гнезда в обрывах.

И теперь, после всего этого приволья, после всей этой свободы,— ходить в тесной шерстяной матроске, в кусающихся чулках, в неудобных ботинках, в большой соломенной шляпе, резинка которой натирает уши и давит горло!..

Петя снял шляпу и забросил ее за плечи. Теперь она болталась за спиной, как корзина.

Две толстые утки прошли, оживленно калякая, с презрением взглянув на разодетого мальчика, как на чужого, и нырнули одна за другой под забор.

Была ли это демонстрация или они действительно не узнали его, но только Пете вдруг стало до того тяжело и грустно, что он готов был заплакать.

Он всей душой почувствовал себя совершенно чужим в этом холодном и пустынном мире раннего утра. Даже яма в углу огорода — чудесная глубокая яма, на дне которой так интересно и так таинственно было печь на костре картошку,— и та показалась до странности чужой, незнакомой.

Солнце поднималось все выше.

Хотя двор и сад всё еще были в тени, но уже ранние лучи ярко и холодно золотили розовые, желтые и голубые тыквы, разложенные на камышовой крыше той мазанки, где жили сторожа.

Заспанная кухарка в клетчатой домотканой юбке и холщовой сорочке, вышитой черными и красными крестиками, с железным гребешком в неприбранных волосах выколачивала из самовара о порог вчерашние уголья.

Петя постоял перед кухаркой, глядя, как прыгают бусы на ее старой, морщинистой шее.

— Уезжаете? — спросила она равнодушно.

— Уезжаем,— ответил мальчик дрогнувшим голосом.

— В час добрый.

Она отошла к водовозной бочке, завернула руку в подол клетчатой панёвы и отбила чоб.

Толстая струя ударила дугой в землю. По земле покатились круглые сверкающие капли, заворачиваясь в серый порошок пыли.

Кухарка подставила самовар под струю. Самовар заныл, наполняясь свежей, тяжелой водой.

Нет, положительно ни в ком не было сочувствия!

На крокетной площадке, на лужайке, в беседке — всюду та же неприязненная тишина, то же безлюдье.

А ведь как весело, как празднично было здесь совсем недавно! Сколько хорошеньких девочек и озорных мальчишек! Сколько проказ, скандалов, игр, драк, ссор, примирений, поцелуев, дружб!

Какой замечательный праздник устроил хозяин экономии Рудольф Карлович для дачников в день рождения своей супруги Луизы Францевны!

Петя никогда не забудет этого праздника.

Утром под абрикосами был накрыт громадный стол,

уставленный букетами полевых цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед.

Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет рожденницы.

Все дачники были приглашены под абрикосы к утреннему чаю.

День, начавшийся так торжественно, продолжался в том же духе и закончился детским костюмированным вечером с музыкой и фейерверком.

Все дети надели заранее сшитые маскарадные костюмы. Девочки превратились в русалок и цыганок, а мальчики — в индейцев, разбойников, китайских мандаринов, матросов. У всех были прекрасные, яркие, разноцветные коленкоровые или бумажные костюмы.

Шумела папиросная бумага юбочек и плащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шелковые ленты бубна.

Но самый лучший костюм — конечно, конечно же! — был у Пети. Отец собственноручно мастерил его два дня, то и дело роняя пенсне. Он близоруко опрокидывал гуммиарабик, бормотал в бороду страшные проклятья по адресу устроителей «этого безобразия» и вообще всячески выражал свое отвращение к «глупейшей затее».

Но, конечно, он хитрил. Он просто-напросто боялся, что костюм выйдет плохой, боялся осрамиться. Как он старался! Но зато и костюм — что бы там ни говорили! — получился замечательный.

Это были настоящие рыцарские доспехи, искусно выклеенные из золотой и серебряной елочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у рыцарей Вальтера Скотта. Даже забрало поднималось и опускалось.

Все это было так прекрасно, что Петю поставили во второй паре рядом с Зоей, самой красивой девочкой на даче, одетой в розовый костюм доброй феи.

Они прошли под руку вокруг сада, увешанного китайскими фонариками. Невероятно яркие кусты и деревья, охваченные зелеными и красными облаками бенгальского огня, вспухали то здесь, то там в таинственной тьме сада. В беседке, при свечах под стеклянными колпаками, ужи-

нали взрослые. Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожженные, на скатерть.

Четыре ракеты выползли, шипя, из гущи бенгальского дыма и с трудом полезли в гору.

Но еще где-то в мире была луна. И это выяснилось лишь тогда, когда Петя и Зоя очутились в самой глубине сада. Сквозь дыры в листве проникал такой яркий и такой волшебный лунный свет, что даже белки девочкиных глаз отливали каленой синевой, и такой же синевой блеснула в кадке под старой абрикосой темная вода, в которой плавала чья-то игрушечная лодочка.

Тут-то мальчик и девочка, совершенно неожиданно для самих себя, и поцеловались, а поцеловавшись, до того смутились, что с преувеличенно громкими криками побежали куда глаза глядят и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе. Там гуляли батраки, пришедшие поздравлять хозяйку.

На сосновом столе, вынесенном из людской кухни на воздух, стояли: бочонок пива, два штофа казенного вина, миска жареной рыбы и пшеничный калач. Пьяная кухарка в новой ситцевой кофточке с оборками сердито подавала гуляющим батракам порции рыбы и наливала кружки.

Гармонист в расстегнутой тужурке, расставив колени, качался на стуле, перебирая басовые клапаны задыхающейся гармоники.

Два прямых парня с равнодушными лицами, взявши друг друга за бока, подворачивали каблуки, вытаптывая польку. Несколько батрачек, в новых, нестираных платках, со щеками, намазанными ради кокетства и смягчения кожи помидорным рассолом, стояли, обнявшись, в своих тесных козловых башмаках.

Рудольф Карлович и Луиза Францевна пятились от наступавшего на них батрака.

Батрак был совершенно пьян. Несколько человек держали его за руки. Он вырывался. Юшка текла из носа на праздничную, разорванную пополам рубашку. Он ругался страшными словами.

Рыдая и захлебываясь в этих злобных, почти бешеных рыданиях, он кричал, скрипя зубами, как во сне:

— Три рубля пятьдесят копеек за два каторжных месяца!.. У, морда твоя бессовестная! Пустите меня до этой

сволочи! Будьте людьми, пустите меня до него: я из него душу выниму! Дайте мне спички, пустите меня до соломы: я им сейчас именины сделаю... Ох, нет на тебя Гришки Котовского, гадюка!

Лунный свет блестел в его закатившихся глазах.

— Но, но, но...— бормотал хозяин отступая.— Ты смотри, Гаврила, не чересчур разоряйся, а то, знаешь, теперь за эти слова и повесить могут.

— Ну на! Вешай! — кричал, задыхаясь, батрак.— Чего же ты не вешаешь? На, пей кровь! Пей!..

Это было так страшно, так непонятно, а главное — так не вязалось со всем этим чудесным праздником, что дети бросились назад, крича, что Гаврила хочет зарезать Рудольфа Карловича и поджечь экономию.

Трудно себе представить, какой переполох поднялся на даче.

Родители уводили детей в комнаты. Всюду запирали окна и двери, как перед грозой.

Земский начальник Чувяков, приехавший на несколько дней к семье погостить, прошел через крокетную площадку, вырывая ногами дужки, расшвыривая с дороги молотки и шары.

Он держал в приподнятых руках двустволку.

Напрасно Рудольф Карлович просил жильцов успокоиться. Напрасно он уверял, что никакой опасности нет: Гаврила связан и посажен в погреб и завтра за ним приедет урядник...

Однажды ночью далеко над степью встало красное зарево. Утром разнесся слух, что сгорела соседняя экономия. Говорили, что ее подожгли батраки.

Приезжие из Одессы передавали, что в городе беспорядки. Ходили слухи, что в порту горит эстакада.

После праздника, на рассвете, приезжал урядник. Он увез Гаврилу. Сквозь утренний сон Петя даже слышал колокольчик урядниковой тройки.

Дачники разъезжались.

Вскоре экономия совсем опустела.

Петя постоял возле заветной кадки под старой абрикосой, похлюпал прутиком по воде. Нет! И кадка была не та, и вода не та, и старая абрикоса не та.

Все, все вокруг стало чужим, все потеряло очарование, все смотрело на Петю как бы из далекого прошлого.

Неужели же и море встретит Петю в последний раз так же холодно и равнодушно?

Петя побежал к обрывам.

2

МОРЕ

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу.

Серебряные кусты дикой маслины, окруженные кипящим воздухом, дрожали над пропастью.

Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подметки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.

До первого поворота мальчик еще кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружен облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет!

Он закричал во все горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз.

Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, еще не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твердой и легкой для ходьбы.

Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто верст от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней границы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.

Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.

Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений. Он был окружен следами. Он читал их, как Майн Рида.

Черное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбешки.

Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошел иностранный корабль.

Между тем солнце еще немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звезд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно ложащейся на песок.

На всем же остальном своем громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

хотя и паруса нигде не было видно, да и море ничуть не казалось туманным.

Петя залюбовался морем.

Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное.

Оно меняется на глазах каждый час.

То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг темно-индиговым, шерстяным, точно его гладят против ворса. То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и

швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные беглыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушенном воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеей во всю громадную высоту потрясенных обрывов.

Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.

Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в черную теплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?

Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?

Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за сорок верст. Тотчас разнесся слух, что это горит эстакада.

Затем было произнесено слово: «Потемкин».

Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов.

Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далекий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов [1].

Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.

Только однажды, в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зеленый силуэт трехтрубного броненосца с красным флажком на мачте.

Корабль быстро шел на запад, в сторону Румынии.

А на другой день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу «Потемкина».

[1] Инсургéнт — участник восстания.

Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших черных лодках, привезли слух о том, что «Потемкин» пришел в Констанцу, где ему пришлось сдаться румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась — кто куда.

Прошло еще несколько тревожных дней.

И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом.

Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.

Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острой зыби, «Потемкин» медленно двигался, окруженный тесным конвоем дыма. Он долго шел мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча смотрели ему вслед рабочие с экономий, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки... Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз. И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом.

Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потемкинцев.

...Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.

Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл все на свете.

Сперва, переплыв прибрежную глубину, Петя добрался до первой мели. Он взошел на нее и стал прогуливаться по колено в воде, разглядывая сквозь прозрачную толщу отчетливую чешую песчаного дна.

На первый взгляд могло показаться, что дно необитаемо. Но стоило только хорошенько присмотреться, как в морщинах песка обнаруживалась жизнь. Там передвигались, то появляясь, то зарываясь в песок, крошечные кувшинчики рака-отшельника. Петя достал со дна один такой кувшинчик и ловко выдернул из него ракообразное — даже были крошечные клешни! — тельце моллюска.

Девочки любили нанизывать эти ракушечки на суровую нитку. Получались превосходные бусы. Но это было не мужское занятие.

Потом мальчик заметил в воде медузу и погнался за

ней. Медуза висела прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупалец. Казалось, что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие закраины ее толстого купола дышали и волновались синей желатиновой каймой, как края парашюта. Щупальца шевелились. Она косо уходила вглубь, как бы чувствуя приближающуюся опасность.

Но Петя настиг ее. Осторожно — чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, обжигающей, как крапива,— мальчик обеими руками схватил медузу за купол и вытащил увесистое, но непрочное ее тело из воды. Он с силой зашвырнул животное на берег.

Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась на мокрый песок. Солнце тотчас зажглось в ее слизи серебряной звездой.

Петя испустил вопль восторга и, ринувшись с мели в глубину, занялся своим любимым делом — стал нырять с открытыми глазами.

Какое это было упоение!

На глубине перед изумленно раскрытыми глазами мальчика возник дивный мир подводного царства. Сквозь толщу воды, увеличенные, как в лупу, были явственно видны разноцветные камешки гравия. Они покрывали дно, как булыжная мостовая.

Стебли подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, бледного, как месяц.

Среди корней, рогами расставив страшные клешни, проворно пробирался боком большой старый краб. Он нес на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую известковыми бородавками моллюсков.

Петя ничуть его не испугался. Он хорошо знал, как надо обращаться с крабами. Их надо смело хватать двумя пальцами сверху за спину. Тогда краб никак не сможет ущипнуть.

Впрочем, краб не заинтересовал мальчика. Пусть себе ползет, не велика редкость. Весь пляж был усеян сухими клешнями и багровыми скорлупками спинок.

Гораздо интереснее казались морские коньки.

Как раз небольшая их стайка появилась среди водорослей. С точеными мордочками и грудками — ни дать ни взять шахматный конь, но только с хвостиком, закру-

ченным вперед,— они плыли стоймя, прямо на Петю, распустив перепончатые плавники крошечных подводных драконов.

Как видно, они совсем не предполагали, что могут в такой ранний час наткнуться на охотника.

Сердце мальчика забилось от радости. У него в коллекции был всего один морской конек, и то какой-то сморщенный, трухлявый. А эти были крупные, красивые, один в одного.

Было бы безумием пропустить такой исключительный случай.

Петя вынырнул на поверхность, чтобы набрать побольше воздуха и поскорее начать охоту. Но вдруг он увидел на обрыве отца.

Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал.

Обрыв был так высок и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое:

— ...дяй-дяй-дяй-дяй!..

Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дяй-дяй-дяй». Оно значило следующее:

— Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче! Дилижанс ждет!.. Ты хочешь, чтобы мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!

Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах:

— Сейчас иду! Сейчас!

А в обрыве отдалось раскатистое:

—...айс-айс-айс!..

Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело — что, надо признаться, было очень приятно — и стал взбираться наверх.

3

В СТЕПИ

Дилижанс уже стоял на дороге против ворот. Кучер, взобравшись на колесо, привязывал к крыше складные парусиновые кровати уезжающих дачников и круглые корзины с синими баклажанами, которые, пользуясь случаем, отправляли из экономии в Аккерман.

Маленький Павлик, одетый по случаю путешествия в

новый голубой фартучек, в туго накрахмаленной пикейной шляпке, похожей на формочку для желе, стоял в предусмотрительном отдалении от лошадей, глубокомысленно изучая все подробности их упряжи.

Его безмерно удивляло, что эта упряжь, настоящая упряжь настоящих, живых лошадей, так явно не похожа по своему устройству на упряжь его прекрасной картонной лошади Кудлатки. (Кудлатку не взяли с собой на дачу, и она теперь дожидалась своего хозяина в Одессе.)

Вероятно, приказчик, продавший Кудлатку, что-нибудь да перепутал!

Во всяком случае, нужно будет не забыть немедленно по приезде попросить папу вырезать из чего-нибудь и пришить к ее глазам эти черные, очень красивые заслонки — неизвестно, как они называются.

Вспомнив таким образом про Кудлатку, Павлик почувствовал беспокойство. Как она там без него живет в чулане? Дает ли ей тетя овес и сено? Не отъели ли у нее мыши хвост? Правда, хвоста у нее осталось уже маловато: два-три волоска да обойный гвоздик,— но все-таки.

Чувствуя страшное нетерпение, Павлик высунул набок язык и побежал к дому, чтобы поторопить папу и Петю.

Но, как его ни беспокоила участь Кудлатки, все же он ни на минуту не забывал о своей новой дорожной сумочке, висящей через плечо на тесемке. Он крепко держался за нее обеими ручонками.

Там, кроме плитки шоколада и нескольких соленых галетиков «Капитэн», лежала главная его драгоценность: копилка, сделанная из жестянки «Какао Эйнем». Там хранились деньги, которые Павлик собирал на покупку велосипеда.

Денег было уже довольно много: копеек тридцать восемь — тридцать девять...

Папа и Петя, наевшиеся парного молока с серым пшеничным хлебом, уже шли к дилижансу.

Петя бережно нес под мышкой свои драгоценности: банку с заспиртованными морскими иглами и коллекции бабочек, жуков, ракушек и крабов.

Все трое сердечно простились с хозяевами, вышедшими их проводить к воротам, уселись в дилижанс и поехали.

Дорога огибала ферму.

Дилижанс, гремя подвязанным ведром, проехал мимо фруктового сада, мимо беседки, мимо скотного и птичьего дворов. Наконец он поравнялся с гарманом, то есть с той ровной, хорошо убитой площадкой, на которой молотят и веют хлеб. В Средней России такая площадка называется ток, а в Бессарабии — гарман.

За дорожным валом, густо поросшим седой от пыли дерезой со множеством продолговатых капелек желтовато-алых ягод, сразу же начинался соломенный мир гармана. Скирды старой и новой соломы, большие и высокие, как дома, образовали целый город. Здесь были настоящие улицы, переулки и тупики. Кое-где под слоистыми, почти черными стенами очень старой соломы, пробиваясь из плотной, как бы чугунной земли, горели изумрудные фитильки пшеничных ростков изумительной чистоты и яркости.

Из трубы парового двигателя валил густой опаловый дым. Слышался воющий гул невидимой молотилки. Маленькие бабы с вилами ходили на верхушке новой скирды по колено в пшенице.

Тени хлеба, переносимого на вилах, летали по туче половы, пробитой косыми, движущимися балками солнечного света. Мелькнули мешки, весы, гири.

Потом проплыл высокий холм только что намолоченного зерна, покрытого брезентом.

И дилижанс выехал в открытую степь.

Одним словом, все было сначала так же, как и в прошлые годы. Открытое вокруг на десятки верст пустынное жнивье. Одинокий курган. Слюдяной блеск лиловых иммортелей. Присевший возле своей норки суслик. Кусок веревки, похожей на раздавленную гадюку...

Но вдруг впереди показалась пыль, и мимо дилижанса крупной рысью проехал небольшой отряд конных стражников.

— Стой!

Дилижанс остановился.

Один из всадников подъехал к дилижансу.

Короткий ствол карабина прыгал над зеленым погоном с цифрой. Прыгала пыльная фуражка набекрень. Скрипело и горячо воняло кожей седло.

Храпящая морда лошади остановилась на уровне открытого окна. Крупные зубы грызли белое железо мунд-

штука. Травянисто-зеленая пена капала с черных, как бы резиновых губ. Из нежных, телесно-розовых ноздрей вылетало горячее дыхание, обдавая паром сидящих в дилижансе.

Черные губы потянулись к соломенной шляпе Пети.

— Кого везешь? — раздался где-то вверху солдатский голос.

— Дачников на пароход,— ответил неузнаваемо тонкий, поспешный, какой-то угодливый голос кучера.— Они в Аккерман едут, а там прямо на пароход — и в Одессу. Они тута в экономии все лето жили. С самого начала июня. Теперь они едут обратно до дому...

— А ну, покажь!

И с этими словами в окно заглянуло красное, желтоусое и желтобровое солдатское лицо с жестко выскобленным подбородком и с овальной кокардой на зеленом околыше фуражки.

— Кто такие?

— Дачники,— сказал, улыбаясь, отец.

Солдату, видно, не понравились эта улыбка и это слишком вольное слово «дачники», показавшееся ему насмешкой.

— Я вижу, что дачники,— с грубым неудовольствием сказал он.— Мало что дачники! А кто такие — дачники?

Нижняя челюсть у отца дрогнула, бородка запрыгала. Побледнев от негодования, он дрожащими пальцами застегнул на все пуговицы летнее пальто, поправил пенсне и резким фальцетом закричал:

— Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Я — преподаватель среднеучебных заведений, коллежский советник Бачей, а это мои дети — Петр и Павел. Мы направляемся в Одессу.

На лбу у отца выступили розовые пятна.

— Виноват, ваше высокоблагородие,— бодро сказал солдат, вылупив почти белые глаза, и поднес руку с нагайкой к козырьку.— Обознался!

Как видно, он был смертельно перепуган, услышав хоть до сих пор ему и неизвестный, но столь грозный штатский чин — «коллежский советник».

Ну его к богу! Еще нарвешься на неприятность. Еще по зубам заработаешь.

Он дал лошади шпоры и ускакал.

— Дурак,— сказал Петя, когда солдаты были уже далеко.

Отец снова вскипятился:

— Замолчи! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел произносить этого слова! Тот, кто часто говорит «дурак», чаще всего сам... не слишком умный человек. Заруби это себе на носу.

В другое время Петя, конечно, полез бы в спор, но сейчас он смолчал. Он слишком хорошо понимал душевное состояние отца.

Отец, который всегда с раздражительным презрением говорил о чинах и орденах, который никогда не носил форменного вицмундира и никогда не надевал своей «Анны третьей степени», который не признавал никаких сословных привилегий и упрямо утверждал, что все жители России суть не что иное, как только «граждане», вдруг, в порыве раздражения, наговорил бог знает чего. И кому же? Первому встречному солдату...

«Преподаватель среднеучебных заведений»... «Коллежский советник»... «Как вы смеете говорить в таком тоне»... «Фу, какая ерунда! — говорило смущенное лицо отца.— Фу, как стыдно!»

Тем временем кучер, как это всегда бывает во время долгих поездок на лошадях, в общем замешательстве уже успел потерять ремешок кнута и ходил по дороге, шарпая кнутовищем по придорожным, седым от пыли кустикам полыни. Наконец он его нашел и привязал, затянув узел зубами.

— А, чтоб им пусто было! — сказал он, подходя к дилижансу.— Ездят эти стражники по всем дорогам и ездят, только людей пугают.

— Зачем ездят? — спросил отец.

— Кто их знает зачем. Ловят кого-нибудь, чи шо. Тут позавчера, верст за тридцать, экономию помещика Балабанова спалили. Говорят, какой-то беглый матрос с «Потемкина» поджег. Так теперь они скрозь ездят и ловят того беглого матроса. Он, говорят, где-то тут по степу скрывается. Такие дела. Что ж, поедем?

С этими словами кучер влез на свое высокое место, разобрал вожжи, и дилижанс тронулся дальше.

Однако, как ни прекрасно было это утро, настроение у всех было уже испорчено.

Очевидно, в этом чудесном мире густого синего неба, покрытого дикими табунами белогривых облаков, в мире лиловых теней, волнисто бегущих с кургана на курган по степным травам, среди которых нет-нет, да и мелькнет конский череп или воловьи рога, в мире, который был создан, казалось, исключительно для человеческой радости и счастья,— в этом мире не все обстояло благополучно.

И об этом думали в дилижансе и отец, и кучер, и Петя.

Только у одного Павлика были свои, особые мысли.

Крепко наморщив круглый кремовый лобик, на который спускалась из-под шляпки аккуратно подстриженная челка, мальчик сидел, сосредоточенно устремив в окно карие внимательные глаза.

— Папа...— сказал он вдруг, не отводя глаз от окна,— папа, а кто царь?

— То есть как это — кто царь?

— Ну — кто?

— Гм... Человек.

— Да нет же. Я сам знаю, что человек. Какой ты! Не человек, а кто? Понимаешь, к т о?

— Не понимаю, что́ ты хочешь.

— Я тебя спрашиваю: к т о?

— Вот, ей-богу... Кто да кто... Ну, если хочешь, помазанник.

— Чем помазанник?

— Что-о?

Отец строго посмотрел на сына.

— Ну — как: если помазанник, то чем? Понимаешь — ч е м?

— Не ерунди!

И отец сердито отвернулся.

4
ВОДОПОЙ

Часов в десять утра заехали в большое, наполовину молдаванское, наполовину украинское село «напувать» лошадей. Отец взял Павлика за руку, и они отправились покупать дыни. Петя же остался возле лошадей, с тем чтобы присутствовать при водопое.

Кучер подвел лошадей, тащивших за собой громозд-

кий вагон дилижанса, к кринице. Это был колодец, так называемый «журавель».

Кучер сунул кнут за голенище и поймал очень длинную, вертикально висящую палку, к концу которой была прикована на цепи тяжелая дубовая бадейка. Он стал, перебирая руками по палке, опускать ее в колодец. Журавель заскрипел. Один конец громадного коромысла стал наклоняться, как бы желая заглянуть в колодец, в то время как другой — с привязанным для противовеса большим ноздреватым камнем — легко поднимался вверх.

Петя навалился грудью на борт криницы и посмотрел в нее, как в подзорную трубу.

Круглая шахта, выложенная булыжником, покрытая глухим темно-коричневым бархатом плесени, уходила далеко вглубь. И там, в холодной темноте, блестел маленький кружочек воды с фотографически четким отражением Петиной шляпы.

Мальчик крикнул, и колодец, как глиняный кувшин, наполнился гулким шумом.

Бадейка очень далеко шла вниз, стала совсем маленькой, а все никак не могла дойти до воды. Наконец раздался далекий всплеск. Бадейка погрузилась в воду, захлебнулась и пошла вверх.

Увесистые капли шлепались в воду. Они стреляли, как пистоны.

Долго шла, поднимаясь, палка, натертая множеством рук, как стекло, пока наконец не появилась мокрая цепь.

Журавель скрипнул в последний раз. Кучер сильными руками подхватил пудовую бадейку и вылил в каменную колоду. Но, прежде чем вылить, напился из нее сам. После кучера напился и Петя. Именно в этом-то и заключалась главная прелесть водопоя.

Мальчик окунул нос и подбородок в совершенно прозрачную, холодную, как лед, воду. Бадейка изнутри обросла зеленой бородой тины. Что-то жуткое, почти колдовское было в этой бадейке и в этой тине. Что-то очень древнее, удельное, лесное, говорившее детскому воображению о водяной мельнице, колдуне-мельнике, омуте и царевне-лягушке.

От ледяной воды сразу стало ломить лоб. Но день был горяч. И Петя знал, что эта боль скоро пройдет.

Петя очень хорошо знал также, что надобно ведер во-

семь — десять, для того чтобы напоить лошадей. На это уйдет по меньшей мере полчаса. Можно погулять.

Мальчик осторожно пробрался через черную, как вакса, грязь водопоя, сплошь истыканную свиными копытцами. Затем пошел вдоль водостока, по лужку, покрытому гусиным пухом.

Водосток привел его к болотцу, сплошь заросшему высоким лесом камыша, осоки и сорняков.

Здесь даже в самый яркий полдень была сумрачная прохлада. Множество одуряющих запахов резко ударило в нос.

Особый, очень острый запах осоки смешивался со сладкой, какой-то ореховой вонью болиголова, от которой действительно начинала болеть голова.

Остролистые кустики дурмана, покрытые черно-зелеными коробочками с мясистыми колючками и длинными, необыкновенно нежными и необыкновенно белыми вонючими цветами, росли рядом с пасленом, беленой и таинственной сон-травой.

На тропинке сидела большая лягушка с закрытыми глазами, как заколдованная, и Петя изо всех сил старался на нее не смотреть, чтобы вдруг не увидеть на ее голове маленькую золотую коронку.

Вообще все казалось здесь заколдованным, как в сказочном лесу.

Не здесь ли бродила где-нибудь поблизости худенькая большеглазая Аленушка, безутешно оплакивая своего братика Иванушку?..

И если бы вдруг из чащи выбежал белый барашек и замекал детским, тоненьким голоском, то, вероятно, Петя лишился бы чувств от страха.

Мальчик решил не думать о барашке. Но чем больше он старался не думать, тем больше думал. А чем больше думал, тем становилось ему страшнее одному в черной зелени этого проклятого места.

Он изо всех сил зажмурился, чтобы не закричать, и бросился вон из ядовитой заросли. Он бежал до тех пор, пока не очутился на задах небольшого хозяйства.

За плетнем, на котором торчало множество глиняных кувшинов, Петя увидел уютный гарман. Посредине его маленькой арены, устланной свежей, только что с поля, пшеницей, стояла повязанная бабьим платком до глаз

девочка лет одиннадцати в длинной сборчатой юбке и короткой ситцевой кофточке с пышными рукавами.

Закрываясь от солнца локтем и переступая босыми ногами, она гоняла на длинной веревке по кругу двух лошадок, запряженных цугом. Мягко разбрасывая копытами солому, лошадки катили за собой по толстому слою блестящей пшеницы рубчатый каменный валик. Он твердо и бесшумно подпрыгивал.

За каменным валиком волоклась довольно широкая доска, загнутая спереди, как лыжа.

Петя знал, что в нижнюю поверхность этой доски врезано множество острых янтарных кремней, особенно чисто выбивающих из колоса зерно.

На этой быстро скользящей доске, с трудом сохраняя равновесие, лихо, как на салазках, стоял парнишка Петиных лет в расстегнутой вылинявшей рубахе и картузе козырьком на ухо.

Крошечная белоголовая девочка, судорожно ухватившись обеими ручонками за штанину брата, сидела у его ног на корточках, как мышка.

По кругу бегал старик, шевеля деревянными вилами пшеницу и подбрасывая ее под ноги лошадям. Старуха подравнивала длинной доской на палке рассыпающийся и теряющий форму круг.

Немного поодаль, у скирды, баба с черными от солнца, жилистыми, как у мужчины, руками с натугой крутила шарманку веялки. В круглом отверстии барабана мелькали красные лопасти.

Ветер выносил из веялки блестящую тучу половы. Она легко и воздушно, как кисея, оседала на землю, на бурьян, достигала огорода, где над подсохшей ботвой совершенно созревших, желто-красных степных помидоров торчало, раскинув лохмотья, пугало в рваной дворянской фуражке с красным околышем.

Здесь, на этом маленьком гармане, как видно, работала вся крестьянская семья, кроме самого хозяина. Хозяин, конечно, был на войне, в Маньчжурии, и, очень возможно, в это время сидел в гаоляне, а японцы стреляли в него шимозами [1].

[1] Шимоза — взрывчатое вещество. Употребляется для артиллерийских снарядов.

Эта бедная кропотливая молотьба была совсем не похожа на шумную, богатую, многолюдную молотьбу, к которой привык Петя в экономии. Но и в этой скромной молотьбе Петя тоже находил прелесть. Ему бы, например, очень хотелось покататься на доске с кремнями или даже, на худой конец, покрутить ручку веялки. И он в другое время обязательно попросил бы хлопчика взять его с собой на доску, но, к сожалению, надо было торопиться.

Петя пошел обратно.

Ему навсегда запомнились все простые, трогательные подробности крестьянского труда: светлый блеск новой соломы; чисто выбеленная задняя стена мазанки; по ней — тряпичные куклы и маленькие, высушенные тыквочки, так называемые «таракуцки», эти единственные игрушки крестьянских детей; а на гребне камышовой крыши — аист на одной ноге рядом со своим большим небрежным гнездом.

Особенно запомнился аист, его кургузый пиджачок с пикейной жилеткой, красная трость ноги (другой, поджатой ноги совсем не было видно) и длинный красный клюв, деревянно щелкавший наподобие колотушки ночного сторожа.

Возле хаты с синенькой вывеской «Волостное правление» стояли привязанные к столбикам крыльца три оседланные кавалерийские лошади.

Солдат с шашкой между колен, в пыльных сапогах сидел на ступеньках в холодке и курил махорку, закрученную в газетную бумажку.

— Послушайте, что вы здесь делаете? — спросил Петя.

Солдат лениво оглядел городского мальчика с ног до головы, пустил сквозь зубы далеко вбок длинную вожжу желтой слюны и равнодушно сказал:

— Матроса ловим.

«Что же это за таинственный, страшный матрос, который скрывается где-то тут поблизости, в степи, который поджигает экономии и которого ловят солдаты? — думал Петя, спускаясь по знойной, пустынной улице в балочку, к кринице.— Может быть, этот страшный разбойник нападает на дилижансы?»

Разумеется, Петя ничего не сказал о своих опасениях

отцу и брату. Зачем понапрасну волновать людей? Но сам он предпочел быть настороже и предусмотрительно засунул коллекции под скамейку, поближе к стенке.

Едва дилижанс тронулся и стал подыматься в гору, мальчик прильнул к окну и принялся не отрываясь смотреть по сторонам, не покажется ли где-нибудь из-за поворота разбойник. Он твердо решил до самого города ни за что не покидать своего поста.

Тем временем отец и Павлик, очевидно и не подозревавшие об опасности, занялись дыней.

В суровой полотняной наволоке с вышитыми по углам четырьмя букетами, полинявшими от стирок, лежал десяток купленных по копейке дынь. Отец вытащил одну — крепенькую, серовато-зеленую канталупку, всю покрытую тончайшей сеткой трещин, и, сказав: «А ну-ка, попробуем этих знаменитых дынь», аккуратно разрезал ее вдоль и раскрыл, как писанку. Чудесное благоухание наполнило дилижанс.

Отец подрезал внутренности дыни перочинным ножичком и ловким, сильным движением выхлестнул их в окно. Затем разделил дыню на тонкие аппетитные скибки и, уложив их на чистый носовой платок, заметил:

— Кажется, недурственная дынька.

Павлик, нетерпеливо ерзавший на месте, тотчас схватил обеими ручонками самую большую скибку и въелся в нее по уши. Он даже засопел от наслаждения, и мутные капли сока повисли у него на подбородке.

Отец же аккуратно положил в рот небольшой кусочек, пожевал его, сладко зажмурился и сказал:

— Действительно, замечательно!

— Наслаждец! — подтвердил Павлик.

Тут Петя, у которого за спиной происходили все эти невыносимые вещи, не выдержал и, забыв про опасность, кинулся к дыне.

5

БЕГЛЕЦ

Верст за десять до Аккермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели и корки выбросили в окно. Становилось скучно. Время подошло к полудню.

Легкий утренний ветер, свежестью своей напоминавший, что дело все-таки идет к осени, теперь совершенно

упал. Солнце жгло, как в середине июля, даже как-то жарче, суше, шире.

Лошади с трудом тащили громоздкий дилижанс по песку глубиной по крайней мере в три четверти аршина. Передние — маленькие — колеса зарывались в него по втулку. Задние —большие — медленно виляли, с хрустом давя попадавшиеся в песке синие раковины мидий.

Тонкая мука пыли душным облаком окружала путешественников. Брови и ресницы стали седыми. Пыль хрустела на зубах.

Павлик таращил свои светло-шоколадные зеркальные глаза и отчаянно чихал.

Кучер превратился в мельника.

А вокруг нескончаемые тянулись виноградники.

Узловатые жгуты старых лоз в строгом шахматном порядке покрывали сухую землю, серую от примеси пыли. Казалось, они скрючены ревматизмом. Они могли показаться безобразными, даже отвратительными, если бы природа не позаботилась украсить их чудеснейшими листьями благородного, античного рисунка.

Остро вырезанные, покрытые рельефным узором извилистых жил, в бирюзовых пятнах купороса, эти листья сквозили медовой зеленью в лучах полуденного солнца.

Молодые побеги лозы круто обвивались вокруг высоких тычков. Старые гнулись под тяжестью гроздьев.

Однако нужно было обладать зорким глазом, чтобы заметить эти гроздья, спрятанные в листве. Неопытный человек мог обойти целую десятину и не заметить ни одной кисти, в то время как буквально каждый куст был увешан ими и они кричали: «Да вот же мы, чудак человек! Нас вокруг тебя пудов десять. Бери нас, ешь! Эх ты, разиня!» И вдруг разиня замечал под самым своим носом одну кисть, потом другую, потом третью... пока весь виноградник вокруг не загорится кистями, появившимися, как по волшебству.

Но Петя был знающий в этих делах человек. Виноградные кисти открывались ему сразу. Он не только замечал их тотчас, но даже определял их сорт на ходу дилижанса.

Было множество сортов винограда.

Крупный светло-зеленый «чаус» с мутными косточками, видневшимися сквозь толстую кожу, висел длин-

ными пирамидальными гроздьями по два, по три фунта. Опытный глаз никак не спутал бы его, например, с «дамскими пальчиками», тоже светло-зелеными, но более продолговатыми и глянцевитыми.

Нежная лечебная «шашла» почти ничем не отличалась от «розового муската», но какая была между ними разница! Круглые ягодки «шашлы», сжатые в маленькую изящную кисть до того тесно, что теряли форму и делались почти кубиками, ярко отражали в своих медово-розовых пузырьках солнце, в то время как ягодки «розового муската» были покрыты мутной аметистовой пыльцой и солнца не отражали.

Но все они — и иссиня-черная «изабелла», и «чаус», и «шашла», и «мускат» — были до того соблазнительны в своей зрелой, прозрачной красоте, что даже разборчивые бабочки садились на них, как на цветы, смешивая свои усики с зелеными усиками винограда.

Иногда среди лоз попадался шалаш. Рядом с ним всегда стояла кадка с купоросом, испятнанная сквозной лазурной тенью яблони или абрикосы.

Петя с завистью смотрел на уютную соломенную халабуду. Он очень хорошо знал, как приятно бывает сидеть в таком шалаше на сухой, горячей соломе в знойной послеобеденной тени.

Неподвижная духота насыщена пряными запахами чебреца и тмина. Чуть слышно потрескивают подсыхающие стручки мышиного горошка. Хорошо!

Кусты винограда дрожали и струились, облитые воздушным стеклом зноя.

И надо всем этим бледно синело почти обесцвеченное зноем степное, пыльное небо.

Чудесно!

И вдруг произошло событие, до такой степени стремительное и необычайное, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом.

Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый, не страшный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет. Это был зловещий, ужасающий грохот трехлинейной винтовки казенного образца.

Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках.

Он еще раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперек седла, дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлепнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты, напрямик и вскоре скрылся из глаз.

Дилижанс продолжал ехать.

Некоторое время вокруг было пусто.

Вдруг позади, на валу виноградника, в одном месте закачалась дереза. Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался из рва на дорогу.

Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс.

Вероятно, кучер заметил ее сверху раньше всех. Однако, вместо того чтобы затормозить, он, наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. Лошади пустились вскачь.

Но неизвестный успел уже вскочить на подножку и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дилижанс.

Он тяжело дышал, почти задыхался.

Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то веселыми, не то на́смерть испуганными глазами.

На его круглой, ежом стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, какие носят мастеровые в праздник. Но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая батрацкая рубаха, так что как будто он был вместе с тем и батраком.

Однако толстые, гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уж никак не шли ни мастеровому, ни батраку. Одна штанина задралась и открыла рыжее голенище грубого флотского сапога с двойным швом.

«Матрос!» — мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему, мальчик явственно увидел голубой вытатуированный якорь.

Между тем неизвестный, как видно, был смущен своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров.

Увидев остолбеневшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашеве-

лил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться.

Но, кроме кривой, застенчивой улыбки, у него ничего не вышло.

Наконец он махнул рукой и уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дилижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь.

Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, стал на четвереньки и, к ужасу Пети, полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции.

Мальчик с отчаянием посмотрел на отца, но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, решительно выставив вперед бородку. Сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами — один вокруг другого.

Весь его вид говорил: ничего не произошло, ни о чем не надо расспрашивать, а надо сидеть на своем месте как ни в чем не бывало и ехать.

Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу.

Ничего не замечать! При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее.

Что касается кучера, то о нем нечего было и говорить. Он знай себе нахлестывал лошадей, даже не оборачиваясь назад.

Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания.

Разъезд поравнялся с дилижансом.

Несколько солдатских лиц заглянуло в окна. Но матрос уже лежал глубоко под скамейкой. Его совершенно не было видно.

По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дилижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо.

По крайней мере полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой. Вокруг все было спокойно.

Наконец впереди в жидкой зелени акаций показалась вереница крайних домиков города.

Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал как бы про себя, но вместе с тем и рассчитанно громко:

— Ого! Кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Аккерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души.

Петя сразу разгадал хитрость отца.

— Подъезжаем! Подъезжаем! — закричал он.

Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво-возбужденно крича:

— Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит!

— Где летит птичка? — спросил Павлик с любопытством, высовывая язык.

— Ах, господи, какой ты глупый! Вот же она, вот.

— Я не вижу.

— Значит, ты слепой.

В это время позади раздался шорох, и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся. Но все вокруг было как прежде. Только уже не торчал из-под скамейки сапог.

Петя в тревоге заглянул под скамейку: целы ли коллекции?

Коробки были целы. Всё в порядке.

А Павлик продолжал суетиться у окна, стараясь увидеть птичку.

— Где же птичка? — хныкал он, кривя ротик.— Покажите птичку. Пе-е-етька, где пти-и-ичка?

— Не ной! — наставительно сказал Петя. — Нет птички. Улетела. Пристал!

Павлик тяжело вздохнул и, поняв, что его грубо обманули, принялся с изумлением заглядывать под скамейку. Там никого не было.

— Папа,— наконец произнес он дрожащим голосом,— а где же дядя? Куда он девался?

— Не болтай! — строго заметил отец.

И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички и не менее таинственным исчезновением дяди.

Колеса застучали по мостовой.

Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями.

Замелькали серые кривые стволы телефонных стол-

бов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на минутку показалась скучная вода лимана.

В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей кадочкой на макушке.

Судя по солнцу, времени было уже больше часа. А пароход «Тургенев» отходил в два.

Отец велел, не останавливаясь в гостинице, ехать прямо на пристань, откуда как раз только что вытек очень длинный и толстый пароходный гудок.

6

ПАРОХОД «ТУРГЕНЕВ»

Не следует забывать, что описываемые в этой книге события происходили лет тридцать с лишним назад. А пароход «Тургенев» считался даже и по тому времени судном, порядочно устаревшим.

Довольно длинный, но узкий, с двумя колесами, красные лопасти которых виднелись в прорезях круглого кожуха, с двумя трубами, он скорее напоминал большой катер, чем маленький пароход.

Но Пете он всегда казался чудом кораблестроения, а поездка на нем из Одессы в Аккерман представлялась по меньшей мере путешествием через Атлантический океан.

Билет второго класса стоил дороговато: один рубль десять копеек. Покупалось два билета. Павлик ехал бесплатно.

Но все же ехать на пароходе было гораздо дешевле, а главное, гораздо приятнее, чем тащиться тридцать верст в удушливой пыли на так называемом «овидиопольце». Овидиопольцем назывался дребезжащий еврейский экипаж с кучером в рваном местечковом лапсердаке, лихо подпоясанном красным ямщицким кушаком. Взявши пять рублей и попробовав их на зуб, рыжий унылый возница с вечно больными розовыми глазами выматывал душу из пассажиров, через каждые две версты задавая овса своим полумертвым от старости клячам.

Едва заняли места и расположили вещи в общей каюте второго класса, как Павлик, разморенный духотой и дорогой, стал клевать носом. Его сейчас же пришлось уложить спать на черную клеенчатую койку, накаленную солнцем, бившим в четырехугольные окна.

Хотя эти окна и были окованы жарко начищенной медью, все-таки они сильно портили впечатление.

Как известно, на пароходе обязательно должны быть круглые иллюминаторы, которые в случае шторма надо «задраивать».

В этом отношении куда лучше обстояло дело в носовой каюте третьего класса, где имелись настоящие иллюминаторы, хотя и не было мягких диванов, а только простые деревянные лавки, как на конке.

Однако в третьем классе ездить считалось «неприлично» в такой же мере, как в первом классе «кусалось».

По своему общественному положению семья одесского учителя Бачей как раз принадлежала к средней категории пассажиров, именно второго класса. Это было настолько же приятно и удобно в одном случае, насколько неудобно и унизительно — в другом. Все зависело от того, в каком классе едут знакомые.

Поэтому господин Бачей всячески избегал уезжать с дачи в компании с богатыми соседями, чтобы не испытывать лишнего унижения.

Был как раз горячий сезон помидоров и винограда. Погрузка шла утомительно долго.

Петя несколько раз выходил на палубу, чтобы узнать, скоро ли наконец отчалят. Но каждый раз казалось, что дело не двигается. Грузчики шли бесконечной вереницей по трапу, один за другим, с ящиками и корзинками на плечах, а груза на пристани все не убывало.

Мальчик подходил к помощнику капитана, наблюдавшему за погрузкой, терся возле него, становился рядом, заглядывал сверху в трюм, куда осторожно опускали на цепях бочки с вином — сразу по три, по четыре штуки, связанные вместе.

Иногда он как бы нечаянно даже задевал помощника капитана локтем. Специально, чтобы обратить на себя внимание.

— Мальчик, не путайся под ногами,— с равнодушной досадой говорил помощник капитана.

Но Петя на него не обижался. Пете важно было лишь как-нибудь завязать разговор.

— Послушайте, скажите, пожалуйста: скоро ли мы поедем?

— Скоро.

— А когда скоро?

— Как погрузим, так и поедем.

— А когда погрузим?

— Тогда, когда поедем.

Петя притворно хохотал, желая подольститься к помощнику:

— Нет, скажите серьезно: когда?

— Мальчик, уйди из-под ног!

Петя отходил с оживленно-независимым видом, как будто между ними не произошло никаких неприятностей, а просто так — поговорили и разошлись.

Он снова принимался, положив подбородок на перила, рассматривать смертельно надоевшую пристань.

Кроме «Тургенева», здесь грузилось еще множество барж.

Вся пристань была сплошь заставлена подводами с пшеницей. С сухим, шелковым шелестом текло зерно по деревянным желобам в квадратные люки трюмов.

Белое, яростное солнце с беспощадной скукой царило над этой пыльной площадью, лишенной малейших признаков поэзии и красоты.

Все, все казалось здесь утомительно безобразным.

Чудесные помидоры, так горячо и лакомо блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в тысячи однообразных решетчатых ящиков.

Нежнейшие сорта винограда, каждая кисть которого казалась на винограднике произведением искусства, были жадно втиснуты в грубые ивовые корзинки и поспешно обшиты дерюгой с ярлыками, заляпанными клейстером.

С таким трудом выращенная и обработанная пшеница — крупная, янтарная, проникнутая всеми запахами горячего поля,— лежала на грязном брезенте, и по ней ходили в сапогах.

Среди мешков, ящиков и бочек расхаживал аккерманский городовой в белом кителе чертовой кожи, с оранжевым револьверным шнуром на черной шее и с большой шашкой.

От неподвижного речного зноя, от пыли, от вялого, но непрерывного шума медленной погрузки Петю клонило ко сну.

Мальчик еще раз, на всякий случай, подошел к стар-

шему помощнику узнать, скоро ли наконец поедем, и еще раз получил ответ, что как погрузим, так и поедем, а погрузим тогда, когда поедем.

Зевая и сонно думая о том, что, очевидно, все на свете товар, и помидоры — товар, и баржи — товар, и домики на земляном берегу — товар, и лимонно-желтые скирды возле этих домиков — товар, и, очень возможно, даже грузчики — товар, Петя побрел в каюту, примостился возле Павлика. Он даже не заметил, как заснул, а когда проснулся, оказалось, что пароход уже идет.

Положение каюты как-то непонятно переменилось. В ней стало гораздо светлей. По потолку бежало зеркальное отражение волны.

Машина работала. Слышался хлопотливый шум колес.

Петя пропустил интереснейший момент отплытия — пропустил третий гудок, команду капитана, уборку трапа, отдачу концов... Это было тем более ужасно, что ни папы, ни Павлика в каюте не было. Значит, они видели все.

— Что же вы меня не разбудили? — закричал Петя, чувствуя себя обворованным во сне.

Кинувшись из каюты на палубу, он пребольно ушиб ногу об острый медный порог. Но даже не обратил внимания на такие пустяки.

— Окаянные, окаянные!

Впрочем, Петя напрасно так волновался.

Пароход хотя действительно уже и отвалил от пристани, но все же шел еще не по прямому курсу, а только разворачивался. Значит, самое интересное еще не произошло.

Предстояли еще и «малый ход вперед», и «самый малый ход вперед», и «стоп», и «задний ход», и «самый малый задний», и еще множество увлекательнейших вещей, известных мальчику в совершенстве.

Пристань удалялась, становилась маленькой, поворачивалась.

Пассажиры, которых вдруг оказался полон пароход, столпились, навалившись на один борт. Они продолжали махать платками и шляпами с таким горячим отчаянием, словно отправлялись бог весть куда, на край света, в то время как в действительности они уезжали ровным счетом на тридцать верст по прямой линии.

Но уж таковы были традиции морского путешествия и горячий темперамент южан.

Главным образом это были пассажиры третьего класса и так называемые «палубные», помещавшиеся на нижней носовой палубе возле трюма. Они не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для «чистой» публики первого и второго классов.

Петя увидел папу и Павлика на верхней палубе. Они азартно махали шляпами.

Тут же находились капитан и весь экипаж корабля: старший помощник и два босых матроса. Из всей команды только капитан и один матрос занимались настоящим делом управления пароходом. Старший помощник и другой матрос продавали билеты. С разноцветными рулонами и зеленой проволочной кассой, вроде тех, что чаще всего бывают в пекарнях, они обходили пассажиров, не успевших купить билеты на пристани.

Капитан отдавал команду, расхаживая поперек палубы — между двумя мостиками на крыльях парохода. В это время матрос на глазах у изумленных пассажиров смотрел в медный котел большого компаса и крутил колесо штурвала, изредка помогая себе босой ногой. При этом штурвал невероятно скрипел и рулевые цепи с грохотом ползли взад и вперед вдоль борта, каждую минуту готовые оторвать шлейфы у неосторожных дам.

Пароход шел задним ходом, медленно поворачивая.

— Право на борт! — не обращая ни малейшего внимания на пассажиров, почтительно обступивших компас, кричал капитан рулевому хриплым, горчичным голосом обжоры и грубияна.— Право на борт! Еще правей! Еще немножко! Еще самую чуть-чуть! Хорошо. Так держать.

Он перешел на правый мостик, открыл крышечку рупора, труба которого была проведена вниз, и постучал ногою по педали. В недрах пакетбота раздалось дилиньканье колокольчика. Пассажиры с уважением подняли брови и молчаливо переглянулись. Они поняли, что капитан позвонил в машинное отделение.

Что делать? Бежать на мостик смотреть, как будет говорить капитан в рупор, или оставаться возле матроса и компаса? Петя готов был разорваться.

Но рупор перевесил.

Мальчик схватил Павлика за руку и поволок его к мостику, возбужденно крича не без тайного намерения поразить двух незнакомых, но прекрасных девочек своей осведомленностью в морских делах:

— Смотри, Павлик, смотри, сейчас он будет говорить в рупор: «Передний ход».

— Малый ход назад! — сказал капитан в трубку.

И тотчас внизу задилинькал колокольчик. Это означало, что команда принята.

7

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

Вот уже и Аккерман скрылся из глаз. Не стало видно развалин старинной турецкой крепости. А пароход продолжал идти по непомерно широкому днестровскому лиману, и казалось, конца-краю не будет некрасивой кофейной воде, облитой оловом солнца. Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней, как на глине.

Путешествие все еще как будто и не начиналось. Измученные лиманом, все ожидали выхода в море.

Наконец часа через полтора пароход стал выходить из устья лимана.

Петя прильнул к борту, боясь пропустить малейшую подробность этой торжественной минуты. Вода заметно посветлела, хотя все еще была достаточно грязной.

Волна пошла крупнее и выше. Красные палки буйков, показывавшие фарватер, торчали из воды, валко раскачиваясь остроконечными грибками шляпок.

Иногда они проплывали так близко от борта, что Петя ясно видел в середине такого решетчатого грибка железную клеточку, куда ночью вставляют фонарик.

«Тургенев» обогнал несколько черных рыбачьих лодок и два дубка с круто надутыми темными парусами.

Лодки закачались, поднятые и опущенные волной, оставленной пароходом.

Мимо горючего песчаного мыса Каролино-Бугаз с казармой и мачтой кордона широкая водяная дорога, отмеченная двумя рядами буйков, выводила в открытое море.

Капитан всякую минуту заглядывал в компас, лично показывая рулевому курс.

Дело было, как видно, нешуточное.

Вода стала еще светлей. Теперь она была явно разбавлена чистой голубоватой морской водой.

— Средний ход! — сказал капитан в рупор.

Впереди, резко отделяясь от желтой воды лимана, лежала черно-синяя полоса мохнатого моря.

— Малый ход!

Оттуда било свежим ветром.

— Самый малый!

Машина почти перестала дышать. Лопасти еле-еле шлепали по воде. Плоский берег тянулся так близко, что, казалось, до него ничего не стоит дойти вброд.

Маленький, ослепительно белый маячок кордона; высокая его мачта, нарядно одетая гирляндами разноцветных морских флагов, отнесенных крепким бризом в одну сторону; канонерка, низко сидящая в камышах; фигурки солдат пограничной стражи, стирающих белье в мелкой хрустальной воде,— все это, подробно освещенное солнцем, почти бесшумно двигалось мимо парохода, отчетливое и прозрачное, как переводная картинка.

Близкое присутствие моря возвратило миру свежесть и чистоту, как будто бы сразу сдуло с парохода и пассажиров всю пыль.

Даже ящики и корзины, бывшие до сих пор отвратительно скучным товаром, мало-помалу превращались в груз и по мере приближения к морю стали, как это и подобало грузу, слегка поскрипывать.

— Средний ход!

Кордон был уже за кормой, поворачивался, уходил вдаль. Чистая темно-зеленая глубокая вода окружала пароход. Едва он вошел в нее, как его сразу подхватила качка, обдало водяной пылью крепкого ветра.

— Полный ход!

Мрачные клубы сажи обильно повалили из сипящих труб. Косая тень легла на кормовой тент.

Как видно, не так-то легко было старушке машине бороться с сильной волной открытого моря. Она задышала тяжелей.

Мерно заскрипела дряблая обшивка. Якорь под бушпритом кланялся волне.

Ветер уже успел сорвать чью-то соломенную шляпу, и она уплывала за кормой, качаясь на широкой полосе пены.

Четыре слепых еврея в синих очках гуськом поднимались по трапу, придерживая котелки.

Усевшись на скамейке верхней палубы, они порывисто ударили в смычки.

Раздирающие фальшивые звуки марша «На сопках Маньчжурии» тотчас смешались с тяжелыми вздохами старой машины.

С развевающимися фалдами фрака пробежал вверх по тому же трапу один из двух пароходных официантов в сравнительно белых нитяных перчатках. С ловкостью фокусника он размахивал крошечным подносиком с дымящейся бутылкой «лимонада-газес».

Так началось море.

Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет и завести приятное знакомство почти не с кем.

Сначала, правда, была некоторая надежда на тех двух девочек, перед которыми Петя так неудачно показал свои морские познания.

Но эта надежда не оправдалась.

Прежде всего девочки ехали в первом классе и сразу же дали понять, заговорив с гувернанткой по-французски, что мальчик — из второго класса — не их поля ягода.

Затем одну из них сейчас же, как вышли в море, укачало, и она — Петя видел это в незапертую дверь — лежала на бархатном диване в недоступно роскошной каюте первого класса и сосала лимон, что было глубоко противно.

И, наконец, оставшаяся на палубе девочка, несмотря на свою несомненную красоту и элегантность (на ней было короткое пальтишко с золотыми пуговицами с якорями и матросская шапочка с красным французским помпоном), оказалась неслыханной капризой и плаксой. Она бесконечно препиралась со своим папой, высоким, крайне флегматичным господином в бакенбардах и крылатке. Он был как две капли воды похож на лорда Гленарвана из книги «Дети капитана Гранта».

Между отцом и дочерью все время происходил следующий диалог:

— Папа, мне хочется пить.

— Хочется, перехочется, перетерпится,— флегматич-

но отвечал лорд Гленарван, не отрываясь от морского бинокля.

Девочка капризно топала ногой и в повышенном тоне повторяла:

— Мне хочется пить!

— Хочется, перехочется, перетерпится,— еще более невозмутимо говорил отец.

Девочка с упрямой яростью твердила:

— Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить! Папа, мне хочется пить!

Слюни кипели на ее злых губах. Она нудно тянула голосом, способным у кого угодно вымотать душу:

— Па-а-апа-аа, мне-е-е хочетца-а-а пи-и-ить.

На что лорд Гленарван еще равнодушнее говорил, не торопясь и не повышая голоса:

— Хочется, перехочется, перетерпится.

Это был страшный поединок двух упрямцев, начавшийся еще чуть ли не в Аккермане.

Разумеется, ни о каком знакомстве нечего было и думать.

Тогда Петя нашел очень интересное занятие: он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир — туда и Петя.

Это было очень интересно, тем более что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения.

Может быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его.

Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал. Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса.

Петя ясно видел, что́ произошло, когда старший помощник подошел к странному пассажиру со своей проволочной кассой.

— Ваш билет,— сказал старший помощник.

Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал:

— Пожалуйста.

После этого никто уже больше не тревожил стран-

ного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду: в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм.

Кто же он был?

Помещик? Нет. Помещики так не одевались и не так себя вели.

У бессарабского помещика обязательно был парусиновый пылевик и белый дорожный картуз с козырьком, захватанным пальцами. Затем кукурузные степные усы и небольшая плетеная корзиночка с висячим замком. В ней обязательно находились ящичек копченой скумбрии, помидоры, брынза и две-три кварты белого молодого вина в зеленом штофике.

Помещики ехали ради экономии во втором классе, держались все вместе, из каюты не выходили и все время закусывали или играли в карты.

Петя не видел в их компании странного пассажира.

На нем, правда, был летний картуз, но зато не было ни пылевика, ни корзиночки.

Нет, конечно, это был не помещик.

Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель?

Вряд ли.

Хотя у него и была под пиджаком чесучовая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх черные, как вакса, усы и выскобленный подбородок.

И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом, вульгарном носу с ноздрями, набитыми волосом.

И потом эти брюки в мелкую полоску и скороходовские сандалии, надетые на толстые белые, какие-то казенные карпетки.

Нет, тут положительно что-то было неладно.

Засунув руки в карманы — что, надо сказать, было ему строжайше запрещено,— Петя с самым независимым видом расхаживал за странным пассажиром по всему пароходу.

Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения, рядом с кухней.

Из кухни разило горьким чадом кухмистерской, а

из открытых отдушин машинного отделения дуло горячим ветром, насыщенным запахом перегретого пара, железа, кипятка и масла.

Стеклянная рама люка была приподнята. Можно было сверху заглянуть в машинное отделение, что Петя с наслаждением и проделал.

Он знал эту машину, как свои пять пальцев. Но каждый раз она вызывала восхищение. Мальчик готов был смотреть на ее работу часами.

Хотя всем было известно, что машина устаревшая, никуда не годная и так далее, но, даже и такая, она поражала своей невероятной, сокрушительной силой.

Стальные шатуны, облитые тугим зеленым маслом, носились туда и обратно с легкостью, изумительной при их стопудовом весе.

Жарко шаркали поршни. Порхали литые кривошипы. Медные диски эксцентриков быстро и нервно терлись друг о друга, оказывая таинственное влияние на почти незаметную, кропотливую деятельность скромных, но очень важных золотников.

И надо всем этим головокружительным хаосом царил непомерно громадный маховик, крутившийся на первый взгляд медленно, а если присмотреться, то с чудовищной быстротой, поднимая ровный горячий ветер.

Жутко было смотреть, как машинист ходил среди всех этих неумолимо движущихся суставов, и, нагибаясь, прикладывал к ним длинный хоботок своей масленки.

Но самое поразительное во всем машинном отделении была единственная на весь пароход электрическая лампочка.

Она висела под жестяной тарелкой, в грубом проволочном намордничке. (Как она была не похожа на теперешние ослепительно яркие полуваттные электрические лампы!)

В ее почерневшей склянке слабо светилась докрасна раскаленная проволочная петелька, хрупко дрожавшая от сотрясений парохода.

Но она казалась чудом. Она была связана с волшебным словом «Эдисон», давно уже в понятии мальчика потерявшим значение фамилии и приобретшим таинственное значение явления природы, как, например, «магнетизм» или «электричество».

Затем странный человек не торопясь обошел нижние палубы. Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза.

Петя готов был держать пари — между прочим, пари тоже категорически запрещалось,— что этот человек тайно кого-то разыскивает.

Незнакомец довольно бесцеремонно переступал через спящих молдаван. Он протискивался сквозь группы евреев, обедающих маслинами. Он украдкой приподнимал края брезента, покрывавшего ящики помидоров.

Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту веревочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань.

Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги.

Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел: на них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами.

Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса.

Но даже если это и было простым совпадением, то уж во всяком случае не могло быть совпадением другое обстоятельство: на руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Петя явственно разглядел маленький голубой якорь.

Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности.

Но сдержался: он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего.

Усатый прошел несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку:

— Виноват.

Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь ничего не понимающими, заспанными глазами.

— А? Что такое? Куда? — бессмысленно бормотал он и тер кулаком щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната.

Это был он, тот самый матрос!

Петя спрятался за выступ трюма и затаив дыхание стал наблюдать, что будет дальше.

Однако ничего особенного не произошло. Еще раз извинившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось Пете, с какой-то нетерпеливой досадой.

Что делать? Бежать к папе? Рассказать все старшему помощнику?

Нет, нет!

Петя хорошо запомнил поведение отца в дилижансе. Очевидно, во всем этом происшествии было нечто такое, о чем никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь.

Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что он делает. Он нашел его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом.

Под рубкой шумело невидимое колесо, взбивая почти черную воду, покрытую крупным кружевом пены. Шум стоял, как на мельнице. Уже довольно длинная тень парохода быстро скользила по ярким волнам, которые чем дальше от парохода, тем становились синее.

За кормой развевался просвеченный солнцем бело-сине-красный торговый флаг. За пароходом, все расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масленичная, санная, хорошо разметанная дорога.

Слева уже шел высокий глинистый берег Новороссии.

А усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь.

Петя незаметно подошел сзади, стал на цыпочки и увидел ее. Это была небольшая, так называемого визитного формата, фотографическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной бескозырке с надписью на ленте: *«Князь Потемкин-Таврический»*.

Матрос был не кто иной, как тот самый, с якорем на руке.

И тут же в силу какого-то непонятного течения мыслей Петя вдруг совершенно ясно понял, что́ именно было странного в наружности усатого: усатый, так же как и тот, с якорем, тоже был переодет.

8
«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус.

Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица.

Впрочем, хороша безделица!

Сразу на одном пароходе, в одно и то же время и машина и парус. И пакетбот и фрегат одновременно!

Я думаю, что и вы бы, товарищи, пришли в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да, кроме того, еще и под парусом.

Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается. Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя.

Разумеется, мальчик сразу забыл и про усатого и про беглого. Он, как очарованный, стоял на носу, не сводя глаз с босого матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус.

Петя превосходно знал, что это кливер. Все же он подошел к старшему помощнику, помогавшему — за неимением других матросов — ставить парус.

— Послушайте, скажите, пожалуйста, это кливер?

— Кливер,— довольно неприветливо ответил старший помощник.

Но Петя на него ничуть не обиделся. Он прекрасно понимал, что настоящий морской волк обязательно должен быть несколько груб. Иначе что ж это за моряк?

Петя со сдержанной улыбкой превосходства посмотрел на пассажиров и снова несколько небрежно, как равный к равному, обратился к старшему помощнику:

— А скажите, пожалуйста, какие еще бывают паруса? Кажется, грот и фок?

— Мальчик, не путайся под ногами,— проговорил помощник с таким видом, как будто у него вдруг начал болеть зуб,— иди отсюда с богом в каюту к мамаше.

— У меня мама умерла,— с грустной гордостью ответил Петя грубияну.— Мы едем с папой.

Но старший помощник ничего на это не сказал, и разговор прекратился.

Наконец поставили кливер.

Пароходик побежал еще быстрее.

Уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса Сухого лимана. Низкая его вода была до того густой, синей, что даже отсвечивала красным.

Затем показались шиферные крыши немецкой колонии Люстдорф и высокая грубая кирка с флюгером на шпиле.

А уж дальше пошли дачи, сады, огороды, купальни, башни, маяки...

Сначала знаменитая башня Ковалевского, о которой даже существовала легенда.

Некий богач, господин Ковалевский, решил на свой риск и страх построить для города водопровод. Это принесло бы ему несметные барыши. Шутка сказать! За каждый глоток воды люди должны были платить господину Ковалевскому столько, сколько он пожелает. Дело в том, что в земле господина Ковалевского имелся источник пресной воды, единственный в окрестностях Одессы. Однако вода была очень глубоко. Чтобы ее добыть, следовало построить громаднейшую водокачку. Такое предприятие трудно поднять одному. Но господин Ковалевский ни с кем не захотел делить будущие барыши. Он начал строить башню один. Постройка оказалась гораздо дороже, чем он предполагал по смете. Родственники умоляли его отказаться от безумной затеи, но он уже вложил в это предприятие слишком много денег, отступать было поздно. Он продолжал постройку. Он вывел башню на три четверти, и у него не стало средств. Тогда он заложил все свои дома и земли, и ему удалось достроить башню. Это было громадное сооружение, похожее на чудовищно увеличенную шахматную туру. Одесситы приходили по воскресеньям целыми семьями посмотреть на диковину. Но одной башни, разумеется, было мало. Надо было выписывать из-за границы машины, бурить почву, прокладывать трубы. Господин Ковалевский в отчаянии бросился за деньгами к одесским негоциантам и банкирам. Он предлагал им баснословные проценты. Он обещал небывалые барыши. Он умолял, унижался, плакал. Богачи, которые не могли ему простить, что он раньше

не захотел взять их в компанию, теперь были непреклонны. Никто не дал ему ни копейки. Он был совершенно разорен, уничтожен, раздавлен. Водопровод сделался его навязчивой идеей. По целым дням он ходил, как безумный, вокруг башни, проглотившей все его состояние, и ломал голову — где бы достать денег. Он медленно сходил с ума. Наконец однажды он взобрался на самую верхушку проклятой башни и бросился вниз. Это случилось лет пятьдесят назад, но до сих пор почерневшая от времени башня стояла над морем, недалеко от богатого торгового города, мрачным предостережением, страшным памятником ненасытной человеческой алчности.

Затем показался новый белый маяк, а за ним старый — бездействующий. Оба они, выпукло освещенные розовым солнцем, садившимся в золотую пыль дачных акаций, так отчетливо, так близко — а главное, так знакомо — стояли над обрывами, что Петя готов был изо всех сил дуть в кливер, лишь бы скорее доехать.

Тут уже каждый кусочек берега был ему известен до малейших подробностей.

Большой Фонтан, Средний Фонтан, Малый Фонтан, высокие обрывистые берега, поросшие дерезой, шиповником, сиренью, боярышником.

В воде под берегом — скалы, до половины зеленые от тины, и на этих скалах — рыболовы с бамбуковыми удочками и купальщики.

А вот и «Аркадия», ресторан на сваях, раковина для оркестра — издали маленькая, не больше суфлерской будки,— разноцветные зонтики, скатерти, по которым бежит свежий ветер.

Все эти подробности возникали перед глазами мальчика, одна другой свежее, одна другой интереснее. Но они не были забыты. Нет! Их ни за что нельзя было забыть, как нельзя было забыть свое имя. Они лишь как-то ускользнули на время из памяти. Теперь они вдруг бежали назад, как домой после самовольной отлучки. Они бежали одна за другой. Их становилось все больше и больше. Они обгоняли друг дружку.

Казалось, они наперерыв кричали мальчику:

«Здравствуй, Петя! Наконец-то ты приехал! А мы все без тебя так соскучились! Неужели ты нас не узна-

ешь? Посмотри хорошенько: это же я, твоя любимая дача Маразли. Ты так любил ходить по моим великолепно выстриженным изумрудным газонам, хотя это строжайше воспрещалось! Ты так любил рассматривать мои мраморные статуи, по которым ползали крупные улитки с четырьмя рожками, так называемые «Лаврики-Павлики», оставляя за собой слюдяную дорожку! Посмотри, как я выросла за лето! Посмотри, какими густыми стали мои каштаны! Какие пышные георгины и пионы цветут на моих клумбах! Какие роскошнейшие августовские бабочки садятся в черной тени моих аллей!»

«А это я: «Отрада»! Не может быть, чтоб ты забыл мои купальни, и мой тир, и мой кегельбан! Посмотри же: пока ты пропадал, тут успели поставить замечательную карусель с лодочками и лошадками. Тут же неподалеку живет твой друг и товарищ Гаврик. Он ждет не дождется, когда ты приедешь. Скорее же, скорей!»

«А вот и я! Здравствуй, Петька! Не узнал Ланжерона? Смотри, сколько плоскодонных шаланд лежит на моем берегу, сколько рыбачьих сетей сушится на веслах, составленных в козлы! Ведь это именно в моем песке ты нашел в прошлом году две копейки и потом выпил — хоть в тебя уже и не лезло — четыре кружки кислого хлебного квасу, бившего в нос и щипавшего язык. Неужели ты не узнаешь эту будку квасника? Да вот же она, вот, стоит как ни в чем не бывало на обрыве в разросшемся за лето бурьяне! Тут даже и бинокля не надо».

«А вот и я! И я! Здравствуй, Петя! Ох, что тут без тебя в Одессе было! Здравствуй, здравствуй!»

Чем ближе к городу, тем ветер становился тише и теплей. Солнца уже совсем не было видно; только еще верхушка мачты с крошечным красным колпачком флюгера светилась в совершенно чистом розовом небе.

Кливер убрали.

Стук пароходной машины звучно отдавался в скалах и обрывах берега. Вверх по мачте полз бледно-желтый топовый огонь.

Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе.

Он ни за что не поверил бы, если бы ему сказали, что совсем-совсем недавно, лишь сегодня утром, он чуть не плакал, прощаясь с экономией.

Какая экономия? Что за экономия? Он уже забыл о

ней. Она уже не существовала для него... до будущего лета.

Скорее, скорее в каюту, торопить папу, собирать вещи!

Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса... Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шел прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчетливо скрипя «скороходами».

Он подошел к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо:

— Жуков?

— Чего — Жуков? — тихо, как бы через силу произнес матрос, заметно побледнел и встал на ступеньки.

— Сядь. Тихо. Сядь, я тебе говорю.

Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах.

Усатый нахмурился:

— С «Потемкина»? Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменил. А мы вас ждали, ждали, ждали... Ну, что скажешь, Родион Жуков? Приехали?

И с этими словами усатый крепко взял матроса за рукав.

Лицо матроса исказилось.

— Не трожь! — закричал он страшным голосом, рванулся и изо всех сил толкнул усатого кулаком в грудь.— Не тр-рожь больного человека, мор-рда!

Рукав затрещал.

— Стой!

Но было поздно.

Матрос вырвался и бежал по палубе, увертываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал усатый.

Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки.

Они, один за другим, нырнули в проход машинного отделения. Затем вынырнули с другой стороны. Пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек.

— Стой, держи! — кричал усатый, тяжело сопя.

В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка.

— Держи, держи-и-и!

Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток.

Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от усатого, обежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки — на перила борта, схватился за флагшток кормового флага, изо всей силы шарахнул усатого рейкой по морде и прыгнул в море.

Над кормой взлетели брызги.

— Ах!

Пассажиры все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло.

Усатый метался возле борта, держась руками за лицо, и хрипло кричал:

— Держите, уйдет! Держите, уйдет!

Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом.

— Человек за бортом!

Пассажиры качнулись вперед к борту, будто на них дунуло сзади.

Петя притиснулся к борту.

Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека.

Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая руками и ногами. Через каждые три-четыре взмаха он поворачивал назад злое, напряженное лицо.

Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть «спасенным». Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плывет, а до берега сравнительно недалеко.

Так что все в порядке.

Нет никаких оснований волноваться.

Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку.

— Это политический преступник. Вы будете отвечать!

Помощник флегматично пожал плечами:

— Не мое дело. Не имею приказанья. Обратитесь к капитану.

Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем. Куда там, батюшка! Очень нужно. Вот через полчасика пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счет нет никаких инструкций.

Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой, стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни.

Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и наконец очутился у самого борта, с тем чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят.

Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбачьими сетями и переметами.

9

В ОДЕССЕ НОЧЬЮ

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут.

Выпуклые стекла незаметно зажженных сигнальных фонарей на крыльях парохода — настолько темные и толстые, что днем невозможно было отгадать, какого они цвета,— теперь стали просвечивать зеленым и красным и хотя еще не освещали, но уже явственно светились.

Синий город, с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца, возник както сразу и заслонил полгоризонта.

Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и совершенно неподвижном озере гавани. Туда и заворачивал «Тургенев», очень близко огибая толстую башню, в сущности, не очень большого маяка с колоколом и лестницей.

В последний раз в машинном отделении задилинькал капитанский звонок.

— Малый ход!

— Самый малый!

Быстро и почти бесшумно скользил узкий пароходик мимо трехэтажных носов океанских пароходов Добровольного флота, выставленных в ряд с внутренней стороны брекватера. Чтобы полюбоваться их чудовищными якорями, Пете пришлось задрать голову.

Вот это пароходы!

— Стоп!

В полной тишине с разгону, не уменьшая хода, несся «Тургенев» наискось через гавань — вот-вот врежется в пристань.

Две длинные морщины тянулись от его острого носа, делая воду полосатой, как скумбрия. По борту слабо журчала вода.

От надвигавшегося города веяло жаром, как из печки.

И вдруг Петя увидел торчащие из зеркальной воды трубу и две мачты. Они проплыли совсем близко от борта, черные, страшные, мертвые...

Пассажиры, столпившиеся у борта, ахнули.

— Потопили пароход,— сказал кто-то тихо.

«Кто же потопил?» — хотел спросить мальчик, чувствуя ужас. Но тут же увидел еще более жуткое: железный скелет сгоревшего парохода, прислоненный к обуглившемуся причалу.

— Сожгли,— еще тише сказал тот же голос.

Тут навалилась пристань.

— Задний ход!

Замолкшие было колеса шумно забили, закрутились в обратную сторону. Воронки побежали по воде.

Пристань стала удаляться, как-то такое переходить на ту сторону, потом опять — очень медленно — приблизилась, но уже с другого борта.

Над головами пассажиров пролетел, разматываясь на лету, свернутый канат.

Петя почувствовал легкий толчок, смягченный веревочной подушкой. С пристани подали сходни. Первым по ним вбежал усатый и тотчас пропал, смешавшись с толпой.

Вскоре, дождавшись своей очереди, и наши путешественники медленно сошли на мостовую пристани.

Мальчика удивило, что у сходней стояли городовой и несколько человек штатских. Они самым внимательным образом осматривали каждого сходившего с паро-

хода. Осмотрели они также и папу. При этом господин Бачей машинально стал застегиваться, выставив вперед дрожащую бородку. Он крепко стиснул ручку Павлика, и лицо его приняло точно такое же неприятное выражение, как утром в дилижансе, когда он разговаривал с солдатом.

Они наняли извозчика — Павлика посадили на переднюю откидную скамеечку, а Петя, совершенно как взрослый, поместился рядом с папой на главном сиденье — и поехали.

При выезде из агентства у ворот стоял часовой в подсумках, с винтовкой. Этого раньше никогда не было.

— Папа, почему стоит часовой? — шепотом спросил мальчик.

— Ах, боже мой! — раздраженно сказал отец, дергая шеей.— Отчего да почему! А я почем знаю? Стоит и стоит. А ты сиди.

Петя понял, что расспрашивать не надо, но также не надо и сердиться на раздражительность папы.

Но, когда на железнодорожном переезде мальчик вдруг увидел сожженную дотла эстакаду, горы обугленных шпал, петли рельсов, повисших в воздухе, колеса опрокинутых вагонов, весь этот неподвижный хаос, он закричал, захлебываясь:

— Ой, что это? Посмотрите! Послушайте, извозчик, что это?

— Пожгли,— сказал извозчик таинственно и закачал головой в твердой касторовой шляпе, не то осуждая, не то одобряя.

Проехали мимо знаменитой одесской лестницы.

Вверху ее треугольника, в пролете между силуэтами двух полукруглых симметричных дворцов, на светлом фоне ночного неба стояла маленькая фигурка дюка де Ришелье с античной рукой, простертой к морю.

Сверкали трехрукие фонари бульвара. С эспланады открытого ресторана слышалась музыка. Над каштанами и гравием бульвара бледно дрожала первая звезда.

Петя знал, что именно там, наверху, за Николаевским бульваром, сияло и шумело то в высшей степени заманчивое, недоступное, призрачное, о чем говорилось в семействе Бачей с оттенком презрительного уважения: «в центре».

В центре жили «богатые», то есть те особые люди, которые ездили в первом классе, каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара, а вместо няньки — бонну и зачастую имели даже «собственный выезд», что уже превышало человеческое воображение.

Разумеется, Бачей жили далеко не «в центре».

Дрожки, треща по мостовой, проехали низом, Карантинной улицей, и затем, свернув направо, стали подниматься в город.

Петя за лето отвык от города.

Мальчик был оглушен хлопаньем подков, высекавших на мостовой искры, дробным стуком колес, звонками конок, скрипом обуви и твердым постукиванием тросточек по тротуару, выложенному синими плитками лавы.

На экономии, среди сжатых полей, в широко открытой степи, уже давно свежо и грустно золотела осень. Здесь, в городе, все еще стояло густое, роскошное лето.

Томная ночная жара неподвижно висела в бездыханном воздухе улиц, заросших акациями.

В открытых дверях мелочных лавочек желтели неяркие языки керосиновых ламп, освещая банки с крашеными леденцами.

Прямо на тротуаре, под акациями, лежали горы арбузов — черно-зеленых глянцевых «туманов» с восковыми лысинами и длинных «монастырских», светлых, в продольную полоску.

Иногда на углу возникало сияющее видение фруктовой лавки. Там персы в нестерпимо ярком свете только что появившихся калильных ламп обмахивали шумящими султанами из папиросной бумаги прекрасные крымские фрукты — крупные лиловые сливы, покрытые бирюзовой пылью, и нежные коричневые, очень дорогие груши «бер Александр».

Сквозь железные решетки, увитые диким виноградом, в палисадниках виднелись клумбы, освещенные окнами особняков. Над роскошно разросшимися георгинами, бегониями, настурциями трепетали пухлые ночные бабочки-бражники.

С вокзала доносились свистки паровиков.

Проехали мимо знакомой аптеки.

За большим цельным окном с золотыми стеклянными буквами выпукло светились две хрустальные груши, полные яркой фиолетовой и зеленой жидкости, Петя был уверен — яда. Из этой аптеки носили для умирающей мамы страшные кислородные подушки. Ах, как ужасно они храпели возле маминых губ, черных от лекарств!

Павлик совсем спал. Отец взял его на руки. Головка ребенка болталась и подпрыгивала. Тяжеленькие голые ноги сползали с отцовских колен. Но пальчики крепко держали сумку с заветной копилкой.

Таким его и передали с рук на руки кухарке Дуне, ожидавшей господ на улице, когда извозчик наконец остановился у ворот с глухим треугольным фонариком, слабо светившимся вырезанной цифрой.

— С приездом! С приездом!

Все еще продолжая чувствовать под ногами валкую палубу, Петя вбежал в парадное.

Какая громадная, пустынная лестница! Ярко и гулко. Сколько ламп! На стене каждого пролета — керосиновая лампа в чугунном кронштейне. И над каждой лампой сонно качается в световом круге крышечка.

Медные, ярко начищенные таблички на дверях. Кокосовые маты для ног. Детская коляска.

Все эти крепко забытые вещи вдруг возникли перед Петиными изумленными глазами во всей своей первобытной новизне.

К ним надо опять привыкать.

Вот где-то вверху звонко, на всю лестницу, щелкнул ключ, бухнула дверь, быстро заговорили голоса. Каждое восклицание — как пистолетный выстрел.

Побежали легкие и бравурные звуки рояля, приглушенные стеной. Эта музыка настойчивыми аккордами напоминала мальчику о своем существовании.

И наконец... боже мой!.. Кто это?..

Из двери выбегает забытая, но ужасно знакомая дама в синем шелковом платье с кружевным воротничком и кружевными манжетами. У нее красные от слез, возбужденные, радостные глаза, натянувшиеся от смеха губы. Ее подбородок дрожит не то от смеха, не то от слез.

— Павлик!

Она вырывает у кухарки из рук Павлика.

— Бож-же мой, какой стал тяжелый!

Павлик открывает совершенно черные со сна глаза, с безгранично равнодушным изумлением говорит:

— О? Тетя!

И засыпает опять.

Ну да, конечно, конечно же это тетя! Отлично знакомая, дорогая, родная, но только немножко забытая тетя. Как можно было не узнать?

— Петя? Мальчик! Какая громадина!

— Тетя, вы знаете, что с нами было? — сразу же начал Петя.— Тетя, вы ничего не знаете! Да тетя же! Вы слушайте, что только с нами было. Тетя, да вы же не слушаете! Тетя, вы же слушайте!

— Хорошо, хорошо, только не всё сразу. Иди в комнаты. А где же Василий Петрович?

— Здесь, здесь...

По лестнице поднимался отец:

— Ну, вот и мы. Здравствуйте, Татьяна Ивановна.

— С приездом, с приездом! Пожалуйте. Не укачало вас?

— Ничуть. Прекрасно доехали. Нет ли у вас мелочи? У извозчика нет с трех рублей сдачи.

— Сейчас, сейчас. Вы только не беспокойтесь... Петя, да не путайся же ты под ногами... После расскажешь. Дуня, голубчик, сбегайте вниз — отнесите извозчику... Возьмите у меня на туалете...

Петя вошел в переднюю, показавшуюся ему просторной, сумрачной и до такой степени чужой, что даже тот черномазый большой мальчик в соломенной шляпе, который вдруг появился, откуда ни возьмись, в ореховой раме забытого, но знакомого зеркала, освещенного забытой, но знакомой лампой, не сразу был узнан.

А его-то, кажется, Петя мог узнать без труда, так как это именно и был он сам!

10

ДОМА

Там, в экономии, была маленькая, чисто выбеленная комнатка с тремя парусиновыми кроватями, покрытыми летними марсельскими одеялами.

Железный рукомойник. Сосновый столик. Стул. Свеча

в стеклянном колпаке. Зеленые решетчатые ставни-жалюзи. Крашеный пол, облезший от постоянного мытья.

Как сладко и прохладно было засыпа́ть, наевшись простокваши с серым пшеничным хлебом, под свежий шум моря в этой пустой, печальной комнате!

Здесь было совсем не то.

Это была большая квартира, оклеенная старыми бумажными шпалерами и заставленная мебелью в чехлах.

В каждой комнате шпалеры были другие и мебель другая. Букеты и ромбы на шпалерах делали комнаты меньше. Мебель, называвшаяся здесь «обстановка», глушила шаги и голоса.

Из комнаты в комнату переносили лампы.

В гостиной стояли фикусы с жесткими вощеными листьями. Их новые побеги торчали острыми стручками, как бы завернутыми в сафьянные чехольчики.

Свет переставляемых ламп переходил из зеркала в зеркало. На крышке пианино дрожала вазочка: это по улице проезжали дрожки. Треск колес соединял город с домом.

Пете ужасно хотелось, поскорее напившись чаю, выбежать хоть на минуточку во двор — узнать, как там и что, повидаться с мальчиками. Но было уже очень поздно: десятый час. Все мальчики, наверно, давно спят.

Хотелось поскорее рассказать тете или, на худой конец, Дуне про беглого матроса. Но все были заняты: стелили постели, взбивали подушки, вынимали из комода тяжелые, скользкие простыни, переносили из комнаты в комнату лампы.

Петя ходил за тетей, наступая на шлейф, и канючил:

— Тетя, что же вы меня не слушаете? Послушайте!..

— Ты видишь, я занята.

— Тетя, ну что вам стоит!

— Завтра расскажешь.

— Ой, какая вы в самом деле! Не даете рассказать. Ну, тетя же!

— Не путайся под ногами. Расскажи Дуне.

Петя уныло плелся на кухню, где на окне в деревянном ящике рос зеленый лук.

Дуня торопливо гладила на доске, обшитой солдатским сукном, наволочку. Из-под утюга шел сытный пар.

— Дуня, послушайте, что с нами было...— жалобным

голосом начинал Петя, глядя на Дунин голый жилистый локоть с натянутой глянцевитой кожей.

— Панич, отойдите, а то, не дай бог, обшмалю утюгом.

— Да вы только послушайте!

— Идите расскажите тете.

— Тетя не хочет. Я лучше вам расскажу. Ду-уня же!

— Идите барину расскажите.

— Ой, боже мой, какая вы глупая! Папа же знает.

— Завтра, панич, завтра...

— А я хочу сегодня...

— Отойдите из-под локтя. Мало вам комнат, что вы еще в кухню лазите?

— Я, Дунечка, расскажу и сейчас же уйду, честное благородное слово, святой истинный крест!

— От наказание с этим мальчиком! Приехал на мою голову.

Дуня с сердцем поставила утюг на конфорку. Схватила выглаженную наволочку и бросилась в комнаты так стремительно, что по кухне пролетел ветер.

Петя горестно потер кулаками глаза, и вдруг его одолела такая страшная зевота, что он с трудом дотащился до своей кровати и, не в состоянии разлепить глаза, начал, как слепой, стаскивать матроску.

Он едва дотянулся разгоревшейся щекой до подушки, как тотчас заснул таким крепким сном, что даже не почувствовал бороды отца, пришедшего, по обычаю, поцеловать его на сон грядущий.

Что касается Павлика, то с ним пришлось-таки повозиться. Он до того разоспался на извозчике, что папа и тетя вместе раздели его с большим трудом.

Но едва его уложили в постель, как мальчик открыл совершенно свежие глаза, с изумлением осмотрелся и сказал:

— Мы еще едем?

Тетя нежно поцеловала его в горячую пунцовую щечку:

— Нет, уже приехали. Спи, детка.

Но оказалось, что Павлик уже выспался и склонен был к разговорам:

— Тетя, это вы?

— Я, курочка. Спи.

Павлик долго лежал с широко открытыми, внимательными, темными, как маслины, глазами, прислушиваясь к незнакомым городским звукам квартиры.

— Тетя, что это шумит? — наконец спросил он испуганным шепотом.

— Где шумит?

— Там. Храпит.

— Это, деточка, вода в кране.

— Она сморкается?

— Сморкается, сморкается. Спи.

— А что это свистит?

— Это паровоз свистит.

— А где?

— Разве ты забыл? На вокзале. Тут у нас напротив вокзал. Спи.

— А почему музыка?

— Это наверху играют на рояле. Разве ты уже забыл, как играют на рояле?

Павлик долго молчал.

Можно было подумать, что он спит. Но глаза его — в зеленоватом свете ночника, стоявшего на комоде,— отчетливо блестели. Он с ужасом следил за длинными лучами, передвигающимися взад и вперед по потолку.

— Тетя, что это?

— Извозчики ездят с фонарями. Закрой глазки.

— А это что?

Громадная бабочка «мертвая голова» со зловещим зуденьем трепетала в углу потолка.

— Бабочка. Спи.

— А она кусается?

— Нет, не кусается. Спи.

— Я не хочу спать. Мне страшно.

— Чего ж тебе страшно? Не выдумывай. Такой большой мальчик! Ай-яй-яй!

Павлик глубоко и сладко с дрожью втянул в себя воздух. Схватил обеими горячими ручонками тетину руку и прошептал:

— Цыгана видели?

— Нет, не видела.

— Волка видели?

— Не видела. Спи.

— Трубочиста видели?

— Трубочиста не видела. Можешь спать совершенно спокойно.

Мальчик еще раз глубоко и сладко вздохнул, перевернулся на другую щечку, подложил под нее ладошки ковшиком и, закрывая глаза, пробормотал:

— Тетя, дайте ганьку.

— Здравствуйте! А я-то думала, что ты от ганьки давно отвык.

«Ганькой» назывался чистый, специальный носовой платок, который Павлик привык сосать в постели и без которого никак не мог уснуть.

— Га-аньку...— протянул мальчик, капризно кряхтя.

Однако тетя ганьки не дала. Большой мальчик. Пора отвыкать. Тогда Павлик, продолжая капризничать, потянул в рот угол подушки, обслюнил его, вяло улыбнулся слипшимися, как вареники, глазами. Но вдруг он с ужасом вспомнил про копилку: а что, если ее украли воры? Однако уже не было сил волноваться.

И мальчик мирно уснул.

11

ГАВРИК

В этот же день другой мальчик, Гаврик — тот самый, о котором мы вскользь упомянули, описывая одесские берега,— проснулся на рассвете от холода.

Он спал на берегу возле шаланды, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило.

Ночь была теплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли. Гаврик спросонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова.

Гаврик начал дрожать, но не сдавался. Хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно.

Ничего не поделаешь, ну его к черту, надо вставать.

Гаврик кисло приоткрыл глаза. Он видел глянцевое лимонное море и сумрачную темно-вишневую зарю на совершенно чистом сероватом небе. День будет знойный. Но, пока не подымется солнце, о тепле нечего и думать. Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом?

Редкая волна тихо, чуть слышно, шлепает в берег. Шлепнет и уходит назад, лениво волоча за собой гравий. Подождет, подождет — и снова тащит гравий обратно, и снова шлепнет.

Серебристо-черное небо сплошь осыпано августовскими звездами. Раздвоенный рукав Млечного Пути висит над головой видением небесной реки.

Небо отражается в море так полно, так роскошно, что, лежа на теплой гальке, задрав голову, никак не поймешь, где верх, а где низ. Будто висишь среди звездной бездны.

По всем направлениям катятся, вспыхивая, падающие звезды.

В бурьяне тыркают сверчки. Где-то очень далеко на обрыве лают собаки.

Сначала можно подумать, что звезды неподвижны. Но нет. Присмотришься — и видно, что весь небесный свод медленно поворачивается. Одни звезды опускаются за дачи. Другие, новые, выходят из моря.

Теплый ветерок холодеет. Небо становится белее, прозрачнее. Море темнеет. Утренняя звезда отражается в темной воде, как маленькая луна.

По дачам сонно кричат третьи петухи. Светает.

Как же можно спать в такую ночь под крышей?

Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошел по щиколотку в воду. С ума он сошел, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут еще лезть в море, один вид которого вызывает озноб!

Однако мальчик хорошо знал, что́ он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень теплой, гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги.

Затем он умылся и так громко высморкался в море, что несколько головастых мальков, безмятежно заснувших под берегом, брызнули во все стороны, вильнули и пропали в глубине.

Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пестрое лицо с лилово-розовым носиком, облупленным, как молодая картофелька.

— Ох-ох-ох...— сказал он совершенно как взрослый, не торопясь перекрестил рот, где до сих пор еще не хва-

тало двух передних зубов, подобрал пиджак и побрел вверх валкой, цепкой походочкой одесского рыбака.

Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпа́вшего мокрые ноги и штаны желтым порошком цветения.

Хибарка стояла шагах в тридцати от берега на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца.

Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья: из обломков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт.

Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры.

Когда еще была жива бабушка, она обязательно два раза в год — на пасху и на спаса — белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми ее нищенский вид. Но бабушка умерла, и вот уже года три, как хибарку никто не белил. Ее стены потемнели, облезли. Но все же кое-где остались слабые следы мела, въевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке и о ее жизни, менее прочной, чем даже мел.

Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил. Мать помнил, но еле-еле: какое-то распаренное корыто, красные руки, киевское печатное кольцо на скользком, разбухшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг ее железных гребенок.

Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы — оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки.

Дедушка собирал помидоры в подол стираной-перестиранной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовой от восходящего солнца.

Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с черной ямкой пупа.

Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти всё. Дедушке удалось собрать штук восемь — маленьких, желтоватых. Больше не было.

Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал

босой ногой кусты бурьяна — не найдется ли там чего-нибудь? Но ничего больше не находилось.

Взрослый цыпленок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклевывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтички укропа.

Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не обозначало, что они в ссоре. Наоборот. Они были большие приятели.

Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжелого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями.

— Всё поели, ничего не осталось,— бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор.— Что ты скажешь! Восемь помидоров — куда это годится? На смех курям.

— Поедем, что ли? — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце.

— Надо ехать,— сказал дед, выходя из огорода.

Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой.

Старик крякнул, и Гаврик крякнул. Дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучек сделал то же самое.

Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с черными капочками.

Кроме того, он взял под мышку плоский бочоночек с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок.

Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих?

Гаврик снял с крыши весла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо.

Сегодня дедушке и внучку предстояло много дела. Третьего дня бушевал шторм. Волна порвала переметы. Рыба не шла. Улова не было никакого. Денег не осталось ни копейки.

Вчера море улеглось, и на ночь поставили перемет. Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемет и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды.

Они, натужась, стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну.

Стоя по колено в море, Гаврик поставил на корму садок для рыбы — маленькую закрытую лодочку с дырками, сильно толкнул шаланду, разбежался и лег животом на борт, болтая над скользящей водой ногами, с которых падали сверкающие капли. И лишь когда шаланда проскочила сажени три-четыре, мальчик влез в нее и сел грести рядом с дедушкой.

Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело: кто кого перегребет? Однако оба они равнодушно хмурились и только покрякивали.

Ладони у Гаврика приятно горели. Весло, опущенное в прозрачную зеленую воду, казалось сломанным. Узкая его лопаточка упруго шла под водой, гоня назад воронки. Шаланда подвигалась сильными рывками, поворачивая то вправо, то влево. То дедушка нажмет, то внучек нажмет.

— Эх-х! — крякал дедушка, отваливаясь с силой.

И шаланда рывком заворачивала влево.

— Эх-х-х! — еще сильнее крякал Гаврик.

И лодка рывком выравнивалась и поворачивала вправо.

Дедушка упирался в переднюю банку[1] босой ногой со скрюченным большим пальцем и коротко рвал весло. Но и внучек не отставал. Он упирался обеими ногами и закусывал губу.

— А вот не поду́жите, дедушка,— сквозь стиснутые зубы цедил Гаврик, обливаясь по́том.

— А вот, поду́жу,— кряхтел дед, тяжело переводя дыхание.

— Та, ей-богу, не поду́жите!

— Побачимо!

— Побачимо!

Но как дедушка ни наваливался, ничего не получалось. Не те годы! Да и внучек подрос подходящий. Маленький-маленький, а смотри ты, какой упрямый! Против собственного деда не боится идти на спор!

Дедушка сердито хмурился, искоса поглядывая из-под седых бровей на хлопчика, сопевшего рядом. И в его старчески водянистых глазах светилось веселое изумление.

Так, не осилив друг друга, они отошли по крайней

[1] Банкой называется у моряков скамейка. *(Примеч. автора.)*

мере на версту от берега. Тут среди волн качались на пробках выцветшие флажки их перемета.

Тем временем уже все море покрылось рыбачьими шаландами, вышедшими на лов.

Высоко подскакивая и с маху шлепаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица шаланда «Надя и Вера». На корме, небрежно раскинувшись, лежал хорошо знакомый Гаврику малофонтанский рыбак Федя с черной семечкой, прилипшей к губе.

Из-под клеенчатого козырька синей фуражки с якорными пуговичками лениво смотрели прекрасные томные глаза, почти прикрытые челкой, темной от брызг.

Прижав каменной спиной круто повернутый румпель, Федя даже не взглянул на жалкую шаланду дедушки.

Но Федин брат, Вася, в полосатом тельнике с короткими рукавами, увидев Гаврика, перестал раскручивать лесу самодура и, приложив к глазам против солнца руку, успел крикнуть:

— Эй, Гаврюха, ничего, не дрейфь! Держись за воду — не потонешь!

И «Надя и Вера» пронеслась мимо, обдав дедушку и внучка целым фонтаном брызг.

Конечно, в этом не было ничего обидного. Обыкновенная дружеская шутка. Но дедушка на всякий случай сделал вид, что ничего не расслышал. Однако в глубине души осталась обида. Ведь и у него, у дедушки, была когда-то прекрасная шаланда с новеньким, прочным парусом. Ловил на ней дедушка на самодур скумбрию. Да еще как ловил! В иной день по две, по три сотни тащила покойная бабушка на привоз. Но жизнь прошла... И остались у дедушки лишь нищенская хибарка на берегу да старая шаланда без паруса.

Парус пролечили, когда заболела бабушка. Да и то напрасно: все равно померла. Теперь такого паруса больше никогда не справишь. А без паруса какая же ловля? На смех курям! Разве только бычков на перемет. Грустно!

Гаврик прекрасно понимал, о чем думает дедушка. Но и виду не подавал. Наоборот. Чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, он стал деловито возиться возле перемета: вытаскивать первый флажок.

Дедушка тотчас перебрался через банки, стал рядом с внучком, и они начали в четыре руки травить мокрый конец перемета. Вскоре пошли крючки. Однако бычков на них было мало, да и то мелочь.

Гаврик крепко брал головастую трепещущую рыбку за скользкие жабры, ловко выдирал крючок из хищных челюстей и бросал ее в садок, спущенный в море.

Но из десяти крючков едва ли на трех попадалась настоящая добыча — на остальных болтались тощие глосики или крабы.

— Не идут на креветку,— сокрушенно бормотал дедушка.— Ну что ты скажешь! Одна мелочь. Надо мясом наживлять. На мясо обязательно пойдут. А где это взять тое мясо, если оно на привозе по одиннадцать копеек фунт! Просто курям на смех.

Но тут вдруг навалилось что-то громадное, с коричневым дымом. Пролетели по воде две косые тени. Страшно зашумела вода... И совсем близко от шаланды прошел пароход, хлопотливо мелькая красными лопастями колес.

Лодку подбросило, потом уронило, потом опять подбросило. Флажки перемета запрыгали почти под самыми колесами. Еще немножко — и их смололо бы в щепки.

— Эй, на «Тургеневе»! — заорал дедушка не своим голосом и растопырил руки, как бы желая остановить несущуюся лошадь.— Что у вас, повылазило? Не видите переметов! Паршивые сволочи!

Но пароход уже благополучно пронесло.

Он шумно удалялся — с трехцветным флагом за кормой, со спасательными кругами и шлюпками, с пассажирами, с клубами бурого каменноугольного дыма,— оставляя за собой крупное белоснежное кружево на чистой темно-зеленой воде.

Значит, было уже семь часов утра. «Тургенев» заменял рыбакам часы. В восемь часов вечера он проходил обратно из Аккермана в Одессу. Надо было торопиться, чтобы не опоздать с бычками на привоз.

Дедушка и внучек наскоро позавтракали помидорами с хлебом, запили свой завтрак водой, которая уже успела нагреться в бочоночке и приобрести дубовый привкус, и торопливо взялись за перемет.

12
«ПОДУМАЕШЬ, ЛОШАДЫ»

Часов около девяти Гаврик уже шагал в город. Он нес на плече садок с бычками. Можно было, конечно, переложить их в корзинку, но садок имел более солидный вид. Он показывал, что рыба совершенно свежая, живая, только что из моря.

Дедушка остался дома чинить перемет.

Хотя Гаврику едва минуло девять лет, но дедушка легко доверил ему такую важную вещь, как продажа рыбы. Он вполне надеялся на внучка. Сам понимает. Не маленький.

А на кого ж старику было еще надеяться, как не на собственного внучка?

С полным сознанием важности и ответственности поручения Гаврик деловито и даже несколько сумрачно шлепал по горячей тропинке среди пахучего бурьяна, оставляя в пыли отчетливые оттиски маленьких ножек со всеми пятью пальцами.

Весь его сосредоточенный, солидный вид как бы говорил: «Вы себе там как хотите — купайтесь в море, валяйтесь на песке, ездите на велосипедах, пейте возле будки зельтерскую воду,— мое дело рыбацкое — ловить бычков на перемет и продавать их на привозе, остальное меня не касается».

Проходя мимо купальни, где над окошечком кассы висела замурзанная черная доска с надписью мелом «18°», Гаврик даже презрительно усмехнулся: до того противно было ему смотреть на белотелого толстяка с платочком на лысине. Толстяк, заткнув пальцами нос и уши, окунулся в глинистую прибрежную воду, не отходя от спасательного каната, обросшего зеленой бородой тины.

Подняться на обрыв можно было двумя способами: по длинному, пологому спуску в три марша или по крутой, почти отвесной деревянной лестнице с гнилыми ступеньками.

Нечего и говорить, что Гаврик выбрал лестницу.

Поджав губы, мальчик быстро заработал ногами. До самого верха он добежал, ни разу не остановившись передохнуть.

Пыльный, но тенистый переулок вывел его мимо «За-

ведения теплых морских ванн» к юнкерскому училищу.

Тут уж был почти совсем город.

По Французскому бульвару, в тени пятнистых платанов, тащилась в Аркадию открытая конка. Со стороны солнца она была занавешена парусиной. С задней площадки торчал вверх пучок бамбуковых удочек с поплавками, наполовину красными, наполовину синими. Три бодрые клячки щелкали подковами по мелкому щебню. Визжал и ныл на повороте тормоз.

Будка квасника особенно привлекала внимание мальчика. Это был рундук под двускатной крышей на двух столбиках. Снаружи он был выкрашен зеленой масляной краской, а внутри — такой же густой и блестящей — белой.

Сам квасник являл собою вид такой непревзойденной, праздничной красоты, что Гаврик каждый раз, как его видел, не мог не остановиться на углу в порыве восхищения и зависти.

Гаврик никогда не задумывался над вопросом, кем ему быть, когда он вырастет и станет взрослым. Особенно нечего выбирать. Но уж если выбирать, то разумеется, квасником.

Все одесские квасники были нарядные и красивые, как на картинке.

А этот в особенности. Ни дать ни взять — Ванька-ключник.

И точно. Высокий купеческий картуз тонкого синего сукна, русые кудри, сапоги бутылками. А рубаха! Господи, да такую рубаху только и надевать, что на первый день пасхи: блестящая, кумачовая, рукава пузырями, длинная — до колен, со множеством синеньких стеклянных пуговичек!

А поверх рубахи— черный суконный жилет с серебряной часовой цепочкой, вдетой в петлю серебряной палочкой.

Один вид его пламенной рубахи вызывает в человеке желание напиться холодного квасу.

А как он работает! Ловко, споро, чисто...

Вот подходит покупатель:

— Дай-ка, милый, стаканчик.

— Какого прикажете? Кислого, сладкого? Сладкий — копейка кружка, кислый — на копейку две.

— Давай кислого.

— Извольте-с!

И тут же мигом одна рука проворно отдирает за кольцо круглую крышку рундука и лезет в глубокий ледяной сумрак за бутылкой, в то время как другая вытирает тряпкой и без того сухой белый прилавок, полощет в ведре громадную литую кружку с жульническим толстым дном, щегольски переворачивает эту кружку и со стуком ставит перед покупателем.

Маленький штопор вонзается в пробку. Бутылка, зажатая между сапог, стреляет. Рыжая пена лезет из горлышка длинными буклями.

Молодец опрокидывает бутылку над кружкой, наполняя ее на четверть желто-лимонным квасом и на три четверти пеной.

Покупатель жадно сдувает пену и пьет, пьет, пьет... А Ванька-ключник уже лихо вытирает стойку и смахивает мокрую копейку с орлом в жестяную коробочку из-под монпансье фабрики «Бр. Крахмальниковы».

Вот это человек! Вот это жизнь!

Конечно, Гаврику ужасно хотелось выпить квасу, но не было денег. Может быть, на обратном пути, да и то вряд ли. Дело в том, что хотя бычков и было в садке сотни две, но торговке, которой всегда продавали улов, дедушка сильно задолжал. Он взял у нее на прошлой неделе три рубля на пробки и крючки для перемета, а отдал всего рубль сорок пять. Так что оставалось больше чем полтора рубля долгу — деньги громадные.

Хорошо, если торговка согласится удержать не всё. А если всё? Тогда дай бог, чтоб осталось на мясо для наживки и на хлеб, а уж о квасе нечего и думать!

Гаврик сплюнул совершенно так же, как это делали взрослые рыбаки, когда их одолевала забота.

Он переставил садок с одного плеча на другое и отправился дальше, унося в воображении нарядный образ Ваньки-ключника и душистую прохладу кислого кваса, которого так и не попробовал.

Дальше шел уже настоящий город, с высокими домами, лавками, складами, воротами.

Все было испещрено сквозной тенью акаций, светившихся зелеными виноградинами листьев.

По мостовой тарахтел фургон. Пестрая тень неслась

сверху вниз по лошадям в высоких немецких хомутах, по кучеру, по белым стенкам с надписью: «Завод искусственного льда».

Шли кухарки с корзинками. По ним тоже скользила тень.

Собаки с высунутыми языками подбежали к специальным жестянкам, прикованным к стволам деревьев. Задрав хвост бубликом, они лакали теплую воду, чрезвычайно довольные одесской городской управой, позаботившейся о том, чтобы они не бесились от жажды.

Все это было хорошо знакомо и малоинтересно.

Но вот что вызвало изумление — тележка, запряженная пони. Такой маленькой лошадки Гаврик еще никогда в жизни не видывал. Не больше теленка и вместе с тем совершенно как большая.

Бежевая, пузатенькая, с шоколадной гривкой и маленьким, но пышным хвостом, в соломенной шляпке с дырами для ушей, она стояла, подняв мохнатые ресницы, смиренно и скромно, как благовоспитанная девочка; возле подъезда в тени акации.

Лошадку окружали дети.

Гаврик подошел и долго стоял молча, не зная, как отнестись к феномену. Нет слов, лошадка ему понравилась. Но вместе с тем она вызывала также и чувство раздражения.

Он обошел лошадку со всех сторон. Лошадь как лошадь: копытца, челочка, зубки. Но до чего ж маленькая! Даже противно.

— Подумаешь, лошадь! — сказал он с презрением и сморщил нос.

— Это не лошадь, это не лошадь! — поспешно затараторила девочка с двумя косичками, приседая от восторга и хлопая в ладоши.— Это совсем не лошадь, а всего только поня.

— А вот лошадь,— сумрачно сказал Гаврик и тотчас надулся от стыда за то, что не удержался и унизился до разговора с такой малявкой в бантиках.

— А вот поня, а вот поня!

— Из цирка,— сиплым басом проговорил Гаврик, как бы не обращаясь ни к кому.— Обыкновенная из цирка.

— А вот не из цирка, а вот не из цирка! Поня. На

ней развозят керосин Нобеля, на поне. Видишь, жестянки.

Действительно, в тележке стояли чистенькие бидоны с керосином.

Для Гаврика это была полная неожиданность. Известно всем, что керосин покупается в лавочке на копейку кварта в собственную посуду.

Но чтоб его развозили по домам в тележке, да еще и запряженной какой-то нарядной поней,— это было уж слишком!

— Простая лошадь! — сердито огрызнулся Гаврик, отходя прочь.

— А вот поня! А вот поня! А вот поня! — кричала ему вслед девочка, как попугай, и, приседая, хлопала в ладоши.

«Сама ты поня»,— подумал Гаврик, но, к сожалению, не было времени затевать крупную ссору.

Огибая вокзальный сквер, из-за чугунной решетки которого горячо и сухо пахло миртом и туей с терпкими шишечками, мальчик остановился, задрал голову и довольно долго смотрел на циферблат вокзальных часов.

Совсем недавно он наконец научился узнавать по часам время. Теперь он не мог пройти мимо часов без того, чтобы не остановиться и не посчитать.

Он еще считал по пальцам эти странные палочки римских цифр, так не похожих на обычные цифры из арифметики. Он только знал, что самая верхняя — двенадцать и от нее надо начинать считать.

Гаврик поставил к ногам садок и зашевелил губами, крепко загибая пальцы.

— Одна, две, три, четыре...— шептал он, наморщив лоб.

Маленькая стрелка стояла на девяти, а большая — на шести.

— Девять и с половиной,— со вздохом удовлетворения проговорил мальчик, вытирая рубахой пот с носа.

Похоже, что так. Но все же не мешало бы проверить.

— Дядя, сколько время?

Господин в чесучовом пиджаке и люфовом шлеме «здравствуй и прощай» приложил к римскому носу золотое пенсне, задрал седую бородку, мельком взглянул на циферблат и быстро сказал:

— Половина десятого.

Гаврик остолбенел от изумления:

— Дядя, а как же там написано — девять и с половиной?

— Значит, и есть полчаса десятого,— не глядя на мальчика, строго сказал господин, сел на извозчика и уехал, поставив между колен палку с костяным набалдашником.

Гаврик стоял некоторое время, полуоткрыв рот с недостающими зубами, стараясь понять, пошутил ли над ним барин или так оно и есть.

Наконец он взвалил на плечо садок, подтянул штаны и пошел дальше, крутя головой и недоверчиво улыбаясь.

Оказывается, девять и с половиной все равно, что полчаса десятого. Странно. Очень странно. Во всяком случае, не мешало б спросить у кого-нибудь понимающего.

13
МАДАМ СТОРОЖЕНКО

— Раки! Раки! Раки! Раки!

— Камбала! Камбала! Камбала!

— Скумбрия живая! Скумбрия, скумбрия!

— Барбунька! Барбунька!

— Мидии! Мидии! Мидии! Мидии! Мидии!

— Бычки! Бычки! Бычки!

Из всех торговок привоза наиболее резкими, крикливыми голосами славились торговки рыбного ряда.

Надо было обладать бесстрашием одесских хозяек и кухарок, чтобы неторопливо пройтись по этой аллее столов, корзинок и рундуков, заваленных грудами морской рыбы, раковин и раков.

Под громадными парусиновыми зонтиками и дощатыми навесами, трепеща и сверкая, лежали вываленные напоказ живые богатства Черного моря.

Какое разнообразие форм, цветов, размеров!

Природа приложила все усилия, чтобы защитить и спасти от гибели свои замечательные создания. Она постаралась сделать их как можно более незаметными для человеческого глаза. Она раскрасила их во все оттенки моря.

Например, благородная и дорогая рыба скумбрия,

царица Черного моря. Ее тугое тело, прямое и гладкое, как веретено, окрашено нежнейшими муаровыми тонами, от светло-голубого до темно-синего.

Гаврик знал, что именно такого цвета — голубого, с синими морщинами ряби — бывает море далеко от берега, как раз там, где главным образом ходят косяки скумбрии.

Ишь, какая хитрая скумбрия!

Хотя Гаврик ежедневно видел рыбу, привык к ней, умел за полверсты обнаружить в море косяк скумбрии, но все же каждый раз он неизменно восхищался ее красотой и хитростью.

Или бычки. Они водятся под берегом, среди скал, а также в песке, поглубже. Поэтому и окрашены они в бурый цвет скал или желтоватый цвет песка.

Смотри ты!

Большие плоские камбалы, привыкшие жить на тинистом дне тихих бухточек, поражают черно-зеленым цветом своей толстой кожи, усеянной плоскими костяными шипами, похожими на ракушки. Оба глаза помещаются у них сверху, почему камбала и напоминает детский рисунок углем на заборе: голова в профиль, но с двумя глазами.

Правда, брюхо у камбалы воскового, поросячьего цвета, но ведь брюхо-то эта рыба никогда не показывает, а всегда лежит на дне, плотно прижавшись к песку.

И мальчик восхищался хитростью камбалы.

Была еще барбунька, маленькая красно-черная горбатая рыбка с крупной, как бы окровавленной чешуей. Точно такие же крупные розовые ракушки мерцают в самых чистых бухточках.

Стада серебряной тюльки кишат на поверхности моря у берега, сливаясь с серебряным кипением утреннего солнца.

Нет слов, природа хитра. Но Гаврик знал, что человек еще хитрее. Человек как наставит сетей и переметов, как забросит прозрачную лесу удочек, как сверкнет блесной и пестрыми перышками самодура, и вот вся эта рыба, такая незаметная в море, будет великолепно сверкать всеми своими волшебными красками в корзинках и на прилавках привоза!

Лишь бы только деньги на хорошую снасть!

Мальчик шел, отыскивая знакомую торговку, мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелеными раками. Раки, шурша, протягивали вверх свои клешни, судорожно разинутые, как ножницы.

Тюлька горела грудами серебряной мелочи.

Пружинистые креветки щелкали под мокрой сеткой и стреляли во все стороны солью.

Слюдяные чешуйки прилипали к босым ногам. Пятки скользили по рыбьим внутренностям.

Ободранные базарные кошки с безумными, стоячими зрачками, прижав уши и хищно выставив лопатки, ползали по земле за добычей.

Хозяйки с веревочными кошелками, из которых торчала морковь, подбрасывали на ладонях толстые бруски разрубленной камбалы.

Солнце жгло. Рыба засыпала.

Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окруженная корзинами с товаром. Громадная, одетая, несмотря на двадцатиградусную жару, в зимнюю жакетку с буфами, накрест обвязанная песочным платком и с увесистым кошельком через плечо, она как раз в этот момент торговалась с покупательницей.

Гаврик почтительно остановился поодаль, дожидаясь, когда она освободится. Он прекрасно понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой женщины. Значит, надо быть как можно скромнее и вежливее. Он непременно снял бы шапку, если бы она у него была. Но шапки не было.

Мальчик ограничился тем, что тихонько поставил садок на землю, опустил руки и посматривал на свои босые переминающиеся ноги, по щиколотку одетые серой замшевой пылью.

Хотя дело шло всего о двух десятках бычков, торговля продолжалась ужасно долго.

Десять раз покупательница уходила и десять раз возвращалась. Десять раз торговка бралась за медные чашки весов, облепленные рыбьей чешуей, и десять раз бросала их обратно в корзину с камбалой.

Она быстро жестикулировала мясистыми руками в черных нитяных перчатках с отрезанными пальцами, не забывая изящно отставить мизинцы.

Она вытирала рукавом лилово-красное глянцевитое лицо с черными усиками и с седыми колечками на подбородке. Она судорожно втыкала в синие сальные волосы большие железные шпильки. Она кричала осипшим голосом:

— Мадам, о чем может быть речь? Таких бычков вы нигде не будете иметь! Разве это бычки? Это золото!

— Мелочь,— говорила покупательница, презрительно отходя,— нечего жарить.

— Мадам, вернитесь! Если эту рыбу вы называете нечего жарить, то я не знаю, у кого вы будете иметь крупнее! Может быть, у жидов! Так идите до жидов! Вы же меня хорошо знаете. Я никогда не позволю себе всучить постоянной покупательнице мелочь!

— Такие бычки — десять копеек десяток! Никогда! Самое большее — восемь.

— Возьмите два десятка за девятнадцать.

— Лучше я возьму у кого-нибудь другого на те же деньги чирус.

— Мадам, последняя цена — восемнадцать. Не хотите, как хотите... Мадам, куда же вы идете?

Наконец торг состоялся, и, отпустив рыбу, торговка высыпала в кошель деньги.

Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его.

Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждет. Ничего. Не сдохнет — постоит.

— Кому свежей рыбы? Живые бычки! Камбала, камбала, камбала! — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: — Ну? Покажь!

Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке.

— Бычки,— сказал он почтительно.

Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, черными и синими, как виноград «изабелла».

— Ну? Где ж бычки?

Гаврик молчал.

— Я тебя спрашиваю: где бычки?

Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.

— Так вот же бычки, тетя. У вас в руках. Что вы, не видите?

— Где бычки? — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свекла.— Где бычки? Покажи мне где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть, что жарить? Тут даже нет, чего жарить! Что вы мне все носите мелочь и мелочь! Носите жидам мелочь!

Гаврик молчал.

Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж во всяком случае и не такая мелочь, как кричала торговка. Однако возражать не приходилось.

Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки. Ее руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счетом. Ему казалось, что она хочет его обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В ее корзине лежали другие бычки.

Поди разберись!

Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения.

— Для ровного счета две с половиной сотни,— сказала торговка, закрывая корзинку рогожкой.— Забирай садок. До свиданья. Скажешь деду, что с него еще остается восемьдесят копеек. Чтоб он помнил. И пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать!

Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось.

А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания:

— Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!

— Мадам Стороженко,— наконец с большим трудом выговорил мальчик,— мадам Стороженко...

Она нетерпеливо обернулась:

— Ты еще здесь? Ну?

— Мадам Стороженко... сколько же вы даете за сотню?

— Тридцать копеек сотня, итого семьдесят пять копеек, да вы мне остались один рубль пятьдесят пять,

значит, еще с вас восемьдесят. Так и скажешь дедушке. До свиданья.

— Тридцать копеек сотня!

Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так чтоб из носа потекла юшка. Обязательно чтоб потекла. Или укусить...

Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача:

— Мадам Стороженко, вы же всегда давали по сорок пять...

— Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать. Иди с богом!

— Мадам Стороженко... Вы ж сами торгуете по восемьдесят...

— Иди, иди, не морочь голову! Мой товар. По сколько надо, по столько и торгую. Ты мне можешь не указывать... Камбала, камбала, камбала!

Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке — громадная, неприступная, каменная.

Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать — двадцать,— но стоило ли унижаться?

В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость.

Он вытер рукавом слезы, щипавшие облупленный носик, высморкался двумя пальцами в пыль, вскинул на плечо легкий садок и пошел прочь своей цепкой, черноморской походочкой.

Он шел и думал, где бы раздобыть мяса и хлеба.

14

«НИЖНИЕ ЧИНЫ»

Хотя, как мы это видели, жизнь Гаврика была полна трудов и забот, совершенно как у взрослого человека, все же не следует забывать, что он был всего лишь девятилетний мальчик.

У него были друзья и приятели, с которыми он охотно играл, бегал, дрался, ловил воробьев, стрелял из рогатки и вообще занимался всем тем, чем занимались все одесские мальчики небогатых семейств.

Он принадлежал к категории так называемых «уличных мальчиков», а потому знакомства у него были обширные.

Никто не мешал ему ходить по любым дворам и играть на любой улице. Он был свободная птица. Весь город принадлежал ему.

Однако и у самой свободной птицы есть свои особо излюбленные места. Гаврик обосновался главным образом в районе приморских улиц Отрады и Малого Фонтана. Здесь он безраздельно царил среди прочих мальчиков, со страхом и восхищением взиравших на его независимую жизнь.

Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один — Петя.

Проще всего было бы пойти к Пете и посоветоваться насчет хлеба и мяса. Конечно, денег у Пети не было, особенно таких больших, как пятнадцать копеек. Об этом нечего и думать. Но Петя мог бы утащить на кухне кусочек мяса и достать в буфете хлеб.

Гаврик был один раз у Пети в гостях на прошлое рождество и прекрасно знал, что у них есть буфет, где лежит много хлеба, на который никто не обращает внимания. Так что ничего не стоит вынести хоть полбатона. Там у них с этим не считаются.

Вся же беда заключалась в том, что не было известно, приехал ли Петя из экономии. Пора бы уже, кажется, приехать. Несколько раз в течение лета заходил Гаврик к Пете во двор узнавать, как дела. Но Пети все не было и не было.

В прошлый раз их кухарка Дуня сказала, что скоро вернутся. Это было дней пять тому назад. Может быть, уже приехали?

С привоза Гаврик отправился во двор к Пете. Благо недалеко: прямо против вокзала — Куликово поле, угол Канатной, рядом со штабом — большой, четырехэтажный дом, прекрасно приспособленный для хорошей жизни.

Во-первых, он был незаменим для уличных сражений, так как в нем было двое ворот. Одни выходили на Куликово поле, или попросту Кулички, а другие — на великолепнейший пустырь, с кустарником, с норками тарантулов и, правда, небольшой, но зато исключительно богатой помойкой.

Там, если хорошенько порыться, всегда можно было набрать массу полезных предметов — от аптекарского пузырька до мертвой крысы.

Петьке повезло. Не у каждого мальчика рядом с домом такая помойка!

Во-вторых, мимо дома бегали маленькие дачные поезда с паровичком-кукушкой. Так что, для того чтобы положить под колеса петарду или камень, не нужно было далеко ходить.

В-третьих, соседство штаба. Там, за высокой каменной стеной, выходящей на полянку, находился таинственный мир, днем и ночью охраняемый часовыми. Там шумели машины штабной типографии. Ветер переносил через забор вороха удивительно интересных обрезков: лент, полосок, бумажной лапши.

На полянку же выходили и окна писарских квартир. Взобравшись на камень, можно было заглянуть через решетку и посмотреть, как живут писаря, эти в высшей степени красивые, важные и молодцеватые молодые люди в длинных офицерских брюках, но в солдатских погонах.

О писарях было достоверно известно, что они самые обыкновенные «нижние чины», то есть те же солдаты. Но какая громадная разница была между ними и солдатами! Может быть, за исключением квасников, писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе.

Горничные из соседних домов при виде писаря дрожали и бледнели, каждую минуту готовые упасть в обморок. Они нещадно палили себе виски и волосы щипцами, пудрили нос зубным порошком и румянили щеки конфетной бумажкой. Но писаря не обращали на них внимания.

Если для любого одесского солдата горничная была существом недоступным и высшим, то для писаря это была не больше как «деревенщина», недостойная даже взгляда.

Писаря одиноко и меланхолично сидели на железных койках у себя за решеткой и, сняв мундиры, тихонько наигрывали на гитарах. Были они в длинных брюках с высоким красным стеганым корсажем и в чистых сорочках с черным офицерским галстуком.

Если же в воскресенье вечером писарь появлялся

на улице, то непременно под ручку с двумя модистками в высоких прическах валиком.

Писаря были неслыханно богаты. Гаврик собственными глазами видел, как однажды писарь ехал на извозчике.

И все же, как это ни странно, писаря были всего только «нижние чины». И Гаврик собственными глазами видел, как однажды на углу Пироговской и Куликова поля генерал с серебряными погонами бил писаря по зубам, крича грозным голосом:

— Как стоишь, каналья? Как-к с-с-стоишь?

И писарь, вытянувшись и мотая головой, с вылупленными, как у простого солдата, светлыми крестьянскими глазами, бормотал:

— Виноват, ваше превосходительство! Последний раз!

Вот это двойственное положение и делало писарей существами странными, прекрасными и вместе с тем жалкими, как падшие ангелы, сосланные в наказание с неба на землю.

Была также очень интересна и жизнь простых караульных солдат, помещавшихся рядом с писарями.

У солдат тоже было два естества.

Одно — это когда они стояли попарно, в полной караульной форме с подсумками, у алебастрового штабного подъезда, каждую минуту лихо вытягиваясь и делая по-ефрейторски «на краул», то есть отводя немного в сторону хорошо смазанный салом штык, перед входящим или выходящим офицером.

Другое естество было простое, домашнее, крестьянское, когда они сидели в казарме, пришивая пуговицы, чистя сапоги ваксой или играя в шашки, а по-ихнему — «в дамки».

На окнах у них вечно сушились миски и деревянные ложки, лежало много объедков черного солдатского хлеба, которые они охотно отдавали нищим.

С мальчиками они разговаривали также охотно, но задавали такие вопросы и произносили такие слова, что у мальчиков горели уши и они в ужасе разбегались.

Оба двора, покрытые асфальтом, как нельзя лучше подходили для игры в классы. По асфальту можно было превосходно чертить углем и мелом клетки с цифрами. Гладкие морские камешки скользили замечательно.

Если же дворник, выведенный из терпения детским гвалтом, выгонял игроков метлой, очень удобно было тотчас перейти на другой двор. Кроме того, в доме имелись чудесные таинственные подвалы с дровяными сараями. Прятаться в этих сараях среди дров и различной рухляди, в пыльной сухой тьме, в то время как на дворе яркий день, было неописуемым блаженством.

Одним словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях был превосходный.

Гаврик вошел во двор и остановился под окнами Петиной квартиры, находившейся в третьем этаже.

Двор, рассеченный наискось резкой, полуденной тенью, был совершенно пуст. Ни одного мальчика! Очевидно, все или в деревне, или на море.

Большинство окон закрыто ставнями. Знойная, полуденная, ленивая тишина. Ни звука.

Только откуда-то издалека — может быть, даже с Ботанической улицы — слышатся урчанье и выстрелы раскаленной сковородки. Судя по запаху, где-то жарится кефаль на подсолнечном масле.

— Петя! — закричал Гаврик вверх, приложив ко рту ладошки.

Молчание.

— Пе-еть-ка!

Ставни закрыты.

— Пе-е-е-тька-а-а-а!!

Форточка в кухне отворилась, и выглянула повязанная белым платком голова кухарки Дуни.

— Еще не приехали,— быстро сказала она обычную фразу.

— А когда приедут?

— Ожидаем сегодня вечером.

Мальчик сплюнул и растер ногой. Помолчал.

— Слушайте, тетя, как только он приедет, скажите, что Гаврик приходил.

— Слушаюсь, ваше благородие.

— Скажите, что я завтра утречком зайду.

— Свободно можешь не заходить. Нашего Петю теперь в гимназию будут отдавать. Так что — до свиданья всем вашим шкодам.

— Ладно,— хмуро буркнул Гаврик,— вы только, главное, скажите. Скажете?

— Скажу, не плачь.

— До свиданья, тетя.

— До свиданья, прекрасное созданье.

Как видно, самой Дуне до такой степени надоело летнее безделье, что она даже снизошла до шутливого разговора с маленьким босяком.

Гаврик подтянул штаны и побрел со двора.

Плохо дело! Как же теперь быть?

Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на Ближние Мельницы. Но, во-первых, эти Ближние Мельницы бог знает где — туда и обратно часа четыре, не меньше. А во-вторых, после беспорядков еще неизвестно, дома ли Терентий. Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам «сидит на дикофте», то есть самому нечего есть.

Что ж понапрасну бить ноги — не казенные!

Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо, заглянул в окна к солдатам.

Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце.

Мухи ползали по черным губчатым кускам с каштановой, даже на вид кисленькой коркой.

Гаврик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия.

Он помолчал и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал грубо:

— Дядя, дайте хлеба!

Но тут же спохватился, подобрал садок и пошел дальше, показав солдатам щербатую улыбку:

— Та нет, я так! Не надо.

Но солдаты сгрудились на подоконнике, крича и свистя мальчику:

— Эй! Псс! Куда побёг? Вертай назад!

Они протягивали ему через решетку куски хлеба:

— Бери! Не бойсь!

Он нерешительно остановился.

— Подставляй рубаху!

В их криках и шуме было столько веселого добродушия, что Гаврик понял: не будет ничего унизительного, если он возьмет у них хлеб. Он подошел и подставил рубаху.

Полетели куски.

— Ничего, поешь нашего солдатского, казенного! Приучайся!

Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили еще порядочно вчерашней каши.

Мальчик аккуратно уложил все это в садок и, провожаемый крепкими шутками насчет действия на живот солдатской пищи, отправился домой помогать дедушке чинить перемет.

К вечеру они снова вышли в море.

15

ШАЛАНДА В МОРЕ

Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя.

Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приема стянул пиджак, тяжелый от воды, как чугун.

Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног.

Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света.

Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем.

Матрос яростно нога об ногу сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высовываясь из волны по плечи.

Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и схватил сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рвал его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами и проклиная все на свете.

Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошел легче.

Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался.

Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду.

Он почти не спал двое суток, прошел пешком верст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато. Впрочем, может быть, оттого, что быстро наступал вечер.

Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то хотя и глянцевитой, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти черной в глубине.

Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звездочкой.

Значит, в той стороне берег, и туда надо плыть.

На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали. Но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось все труднее.

Иногда ему казалось, что он теряет сознание. Иногда начинало тошнить. А то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его.

Раньше с ним этого никогда не бывало. Похоже на то, что он заболел.

Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жесткими, что кололи голову.

Вокруг не было ни души.

Вверху в пустом вечереющем воздухе пролетел мартын на толстых крыльях и сам толстый, как кошка. В длинном, изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку.

Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвется сердце, и он пойдет ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы.

Вдруг он услышал нежный всплеск весел и немного погодя увидел почти черный силуэт шаланды.

Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал ее и успел схватиться за высокую корму.

Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в шаланду.

— А ну, не балуйся! — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом.

Появление этой головы нисколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами.

Иные из них, случалось, заплывали версты за три, за четыре от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов.

Но уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам! А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы.

— А ну, не валяй дурака, отцепляйся! А то сейчас веслом как двину!..

И мальчик для пущей острастки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь как это делал в подобных случаях дедушка.

— Я... больной...— задыхаясь, сказала голова.

Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи.

Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец: пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают.

— Ты что, тонул?

Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке.

Гаврик и дедушка побросали весла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжелое тело в шаланду.

— Ух ты, какой горячий! — сказал дедушка, переводя дух.

Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим, болезненным жаром.

— Дядя, хочете напиться? — спросил Гаврик.

Матрос не ответил. Он только бессмысленно повел глазами с мутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом.

Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило.

Голова упала и стукнулась о банку.

Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его

в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился.

Дедушка покрутил головой:

— История!..

— Дядя, откуда вы? — спросил мальчик.

Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил ее в бессилии.

— Ой, ну его к черту! — пробормотал он неразборчивой скороговоркой.— Не показывайте меня людям... Я матрос... сховайте где-нибудь... а то повесят... ей-богу, правда... святой истинный...

Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам прошла поволока.

И он опять потерял сознание.

Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего — знать да помалкивать.

Они осторожно положили матроса на решетчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на весла.

Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчетом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было.

Стояла теплая, глубокая тьма, полная сверчков и звезд.

Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька.

Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.

Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что все в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему, уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.

Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал:

— Идти можете?

Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.

— Потихонечку, потихонечку,— приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.

— Тут недалеко, дядя... два шага...

Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орет песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки.

Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку.

Дедушка заложил окошечко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажег маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче.

Лампочка стояла в углу, на полке, покрытой старой газетой.

Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтоб не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной серой соли в большой синей раковине мидии — словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.

Старая, до черноты закопченная икона св. Николая-чудотворца — покровителя рыбаков,— прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма.

Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились легкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живет, дышит...

Давно уже дедушка не верил ни в бога, ни в черта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла. А в Николая-чудотворца верил.

Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжелом и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла.

Но, по правде сказать, последнее время чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, чудотворец — ничего, помо-

гал. Был от чудотворца в хозяйстве кое-какой толк. Но чем старее становился дед, тем меньше было толку и от святого.

Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днем убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец — рыба пойдет мелкая, никудышная... И нечего от человека требовать.

Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности.

Все же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть-пить он не просит, висит в углу смирно. Ну, да уж пусть висит: авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу.

Возвращаясь после лова в хибарку — а лов теперь по большей части был из рук вон плох,— дедушка ворчал, искоса поглядывая на смущенного чудотворца:

— Ну что, старый хрен, опять мы с тобой сели? Такую мелочь привезли, что на привоз совестно нести. Не бычки, а воши.

И он добродушно прибавлял, для того чтобы не окончательно унижать угодника:

— Да что! Разве ж настоящий крупный бычок на креветку пойдет? Настоящему сытому бычку на креветку плевать. Ему надо мясо, настоящему, сытому бычку. А где мы его возьмем с тобой, мясо-то? Его чудом не купишь? Вот то-то!

Однако сейчас старику было не до угодника. Его сильно беспокоил матрос. И не столько его жар и беспамятство, сколько предчувствие смертельной опасности, угрожающей ему неведомо откуда.

Разумеется, дедушка кое-что соображал, кое о чем догадывался. Но все же, чтобы помочь человеку, надо бы знать побольше.

А матрос, как на грех, лежал в забытьи, разметавшись в жару по лоскутному одеялу, и смотрел перед собой открытыми, но ничего не видящими глазами.

Одна его рука свесилась с койки, а другая лежала на груди. На ней дедушка рассмотрел голубой якорек.

По временам матрос пытался вскочить; мыча и об-

ливаясь горячим пóтом, он грыз в беспамятстве руку, как бы стараясь выгрызть якорь, точно, не будь этого якоря, ему сразу бы полегчало.

Дедушка силой укладывал его обратно, обтирая ему лоб и приговаривая:

— Ну, ляжь... Ляжь, я тебе говорю... И спи, не бойся... Спи!

Гаврик на огороде кипятил в казанке воду — напоить больного чаем. То есть не чаем, а, вернее сказать, той душистой травкой, которую дедушка собирал в мае на окрестных холмах, сушил и употреблял вместо чая.

16

«БАШЕННОЕ, ОГОНЬ!»

Ночь прошла очень тревожно.

Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно.

Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха.

Матрос увидел звездное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову.

Гаврик лег на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху. До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым, прозрачным голосом:

— Башенное, огонь! Кошуба! Бей, башенное!..

И всякую другую чепуху.

Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром:

— Ляжь, не кричи. За ради самого господа бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказанье!

И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами.

Кто же такой был этот странный больной?

В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потемкин» на румынский берег, был Родион Жуков.

Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля.

С первой минуты восстания, с той самой минуты,

когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов,— в легком тумане, в восторге, в жару,— до тех пор, пока не пришлось сдаться румынам и высадиться в Констанце.

Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька.

«Потемкин» стоял совсем близко от пристани.

Среди фелюг и грузовых пароходов, трехтрубный и серый, окруженный яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером он был бессмысленно велик.

Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями все еще висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечеркнутый пакет.

Но вот флаг дрогнул, опал и короткими стежками стал опускаться.

Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-черные деревенские цветы чернобривцы.

— Просто срам... Чистый срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов хоть залейся, наводчики один в одного. Даром Кошубу не послушались. Дорофей Кошуба правильно говорил: кондукторов, паршивых шкур,— за борт! «Георгия Победоносца» — потопить. Идти на Одессу высаживать десант. Весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, все бы Черное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было бы тебя послушаться... А то такая ерунда получилась!

В последний раз поклонился Родион своему родному кораблю.

— Ладно,— сказал он сквозь зубы,— ладно. За нами не пропадет. Все равно всю Россию подымем.

Через несколько дней, купив на последние деньги

вольную одежду, он ночью переправился через гирло Дуная, возле Вилково, на русскую сторону.

План у него был такой: добраться степью до Аккермана, оттуда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до родного села Нерубайского — рукой подать. А там — как выйдет...

Одно только знал Родион наверняка: что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди желтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда.

Теперь — либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город искать комитет.

Он почувствовал себя худо еще в дороге. Но останавливаться было уже нельзя. Он шел больной.

И вот теперь... Что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звезды? И звезды ли это?

Черным морем обступила Родиона ночь. Звезды сгустились, разгорелись и легли перед глазами низкими карантинными огнями. Зашумел город, загорелась в порту эстакада, побежали люди, путаясь в бунтующем огне. Длинными рельсами упали вдоль мостовых железные винтовочные залпы.

Качнулась ночь корабельной палубой. Зеркальный круг прожектора побежал по волнистому берегу, добела раскаляя углы домов, вспыхивая в стеклах, выдергивая из темноты бегущих солдат, красные лоскутья флагов, зарядные ящики, лафеты, поваленные поперек улицы конки.

И вот он видит себя в орудийной башне.

Наводчик глазом припал к дальномеру. Башня поворачивается сама собой, наводя на город пустое дуло, сияющее внутри зеркальными нарезами. Стоп! Как раз точка в точку против синего купола театра, где осанистый генерал держит военный совет против мятежников.

В башне канителится жидкий телефонный звонок.

А может быть, это сверчки воркуют в степи?

Нет, это телефон. Электрический подъемник с медленным лязгом выносит из погреба снаряд — он качается на цепях — прямо в руки Родиона.

А может быть, это не снаряд, а прохладная дыня? Ах, как хорошо было б напиться! Но нет, нет, это снаряд.

— Башенное, огонь!

И в тот же миг зазвенело в ушах, словно ударило снаружи в башенную броню, как в бубен. Вспыхнул огонь, и обварило запахом жженого гребня.

Дрогнул рейд во всю ширь. Закачались на рейде шлюпки. Железная полоса легла между броненосцем и городом.

Перелет.

Разгорелись у Родиона руки. Но вот опять сверчки хрустальным ручейком пробираются среди частых звезд и бурьяна.

А может, это воркует телефон?

И второй снаряд сам собой лезет из подъемника в руки матроса. Доконаем генерала, погоди!

— Башенное, огонь! Башенное, огонь!

— Ляжь, не кричи... Может, тебе дать напиться? Ляжь тихо...

...И вторая полоса легла поперек бухты. Опять перелет. Ничего, авось в третий раз не промажем! Снарядов небось хватит. Полны погреба.

Легче пушинки и вместе с тем тяжелее дома лег в ослабевшие ладони третий снаряд.

Только бы пустить его поскорее. Только бы дым повалил поскорее из синего купола. А там и пойдет, и пойдет!..

Но что-то не воркует телефон, перестали звенеть сверчки... Поумирали там все наверху, что ли?

Или это утро наступает такое тихое и такое розовое?

Башня словно сама собой поворачивается обратно. «Отбой!» — и снаряд, выскользнув из упавших рук, опускается обратно в погреб, гремя цепями подъемника. Нет, нет, это покатилась из пальцев кружка и нежно журчит водица с койки на пол.

И тишина, тишина...

«Да что ж это такое? Эх, продали, продали волю, чертовы шкуры! Сдрейфили! Уж если бить, так бить до конца! Чтоб камня на камне не осталось!»

— Бей, башенное, бей!..

— Ох, господи, господи, святой чудотворец Николай! Ляжь, выпей еще воды. Несчастье!..

Слабая, розовая тишина утра нежно и успокоительно прилегла к воспаленной щеке Родиона. Далеко на золотистом обрыве кричали петухи.

17
ХОЗЯИН ТИРА

Дедушка и внучек обсудили положение и решили, что больного покуда не следует никому показывать. Тем более не следует отправлять его в городскую больницу, где обязательно спросят паспорт.

По мнению дедушки, у матроса — обыкновенная, не слишком даже сильная горячка, которая скоро пройдет. А там пускай сам себе обдумает.

Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море.

Больной не спал. Ослабевший от ночного пота, он неподвижно лежал на спине, глядя живыми, сознательными глазами на образ чудотворца с пучком свежих васильков, заткнутых за согнутую от времени темную доску.

— Чуешь? — спросил дедушка, подходя к больному.

Тот слабо пошевелил губами, как бы желая промолвить: «Чую».

— Полегчало?

Больной в знак утверждения прикрыл глаза.

— Может, ты хочешь кушать?

Дедушка покосился на полку с хлебом и кашей.

Матрос слабо качнул головой: «Нет».

— Ну, как хочешь. Слухай, сынок... Нам надо выходить в море по бычки, чуешь? Так мы тебя здесь оставим одного и запрем на замочек. Можешь нам свободно доверять. Мы такие же самые люди, как ты,— черноморские. Чуешь? Ты себе тута тихонечко лежи и отдыхай. А если кто-нибудь постучится, так ты просто молчи, и больше ничего. Мы с Гавриком за́раз управимся и тоди быстренько вернемся. Я тебе тут в кружечке воду поставлю: захочешь, так напейся, это ничего. И ни об чем не думай, можешь вполне надеяться. Ты чуешь?

Старик разговаривал с больным, как с несмышленым ребенком, через каждые два слова приговаривая: «Чуешь?»

Матрос смотрел на него улыбающимися через силу

глазами и прикрывал их изредка: дескать, не беспокойся, понимаем, спасибо.

Заперев матроса, рыбаки отправились на промысел и часа через четыре возвратились назад, найдя дома все в полном порядке. Больной спал.

На этот раз им повезло. Они сняли с перемета сотни три с половиной прекрасных, крупных бычков, и дедушка, благосклонно посмотрев на чудотворца и пожевав морщинистыми губами, заметил:

— Ничего. Сегодня ничего. Хотя и на креветку, а крупные. Дай бог тебе здоровья.

Но чудотворец, в полном сознании своего могущества, смотрел на деда строго и даже высокомерно, как бы желая сказать: «А ты еще сомневался, хреном называл. Сам ты хрен».

Дедушка решил сам идти с бычками на привоз. Надо было наконец выяснить отношения с мадам Стороженко. А то что ж это такое получается: сколько ни носи товара, все равно остается долг, а живых денег не видно!

Так и рыбачить, выходит, неинтересно.

Сегодня для этого представлялся самый подходящий случай. Не стыдно показать товар. Бычки — один в одного.

Гаврику, конечно, тоже бы хотелось сходить сегодня на привоз, чтобы на обратном пути повидаться с Петькой и наконец выпить на углу квасу.

Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье: на берег, наверно, понаедет множество народа из города.

Дедушка взвалил на плечо еще мокрый садок и пошлепал на привоз, а Гаврик переменил в кружке воду, прикрыл матросу ноги, чтоб не кусали мухи, и, навесив на дверь замок, отправился немножко пройтись.

Тут совсем недалеко, на берегу, находились различные увеселительные заведения: ресторанчик с садом и кегельбаном, тир, карусель, будки с сельтерской водой и восточными сладостями, автоматы-силомеры — словом, маленькая ярмарка. Походить по ней и поглазеть было для мальчика настоящей радостью.

Обедни еще не отошли. Вверху, над обрывами, плыл колокольный звон приморских церквей.

Ветер, совершенно не ощутимый внизу, иногда плавно

проносил по небу белоснежное облако, такое же круглое и яркое, как этот звон.

Гулянье по-настоящему еще не начиналось, но несколько нарядно разодетых горожан уже слонялись возле карусели, ожидая, когда же наконец снимут с нее парусиновый чехол.

Из кегельбана доносилось медленное чугунное ворчанье тяжелого шара, пущенного по узкой дороге. Шар катился ужасно долго, его шум все слабел и слабел, пока вдруг, после короткой тишины, не долетало из-за ограды, поросшей желтой акацией, легкое музыкальное щелканье рассыпавшихся кеглей.

В тире кто-то изредка постреливал. Иногда после слабенького отрывистого выстрела слышался звон разбитой бутылки или начинал шуметь механизм движущейся мишени.

Тир притягивал к себе неудержимо.

Гаврик подошел к балагану и остановился возле дверей, жадно вдыхая ни с чем не сравнимый, какой-то синевато-свинцовый запах пороха. Особый, кисленький и душный вкус выстрела чувствовался даже на языке.

О, эти ружья, расставленные так заманчиво на специальных стойках! Маленькие, точно литые приклады, чисто сработанные из тяжелого, как железо, дерева, нарезанного острой сеткой в тех местах, где надобно браться рукой, чтобы не скользило. Толстый, но длинный граненый ствол синей вороненой стали с маленькой, как горошинка, дырочкой дула. Синяя стальная мушка. И так легко и просто поднимается рамка затвора.

Даже самые богатые мальчики мечтали о таком ружье. Слово «монтекристо» произносилось с замиранием сердца. В нем заключалось всеобъемлющее понятие сказочного богатства, счастья, славы, мужества. Обладать монтекристо было даже больше, чем иметь собственный велосипед. Мальчики, имевшие монтекристо, были известны далеко за пределами своего квартала. О них так и говорилось: «Тот Володька с Ришельевской, у которого монтекристо».

Конечно, Гаврик не смел мечтать о монтекристо. Он даже не смел мечтать из него выстрелить, так как выстрел стоил бессовестно дорого: пять копеек. Быть стрелком мог позволить себе только очень состоятельный че-

ловек. Гаврик смел мечтать только прицелиться из чудесного ружья. Хозяин тира иногда доставлял ему это удовольствие.

Но теперь в тире находился посетитель, так что сейчас об этом нечего было и думать. Может быть, когда стрелок уйдет, Гаврик попросит хозяина, и тогда...

Но посетитель не торопился уходить. Он стоял, расставив плотные ноги в закрытых скороходовских сандалиях, и не столько стрелял, сколько разговаривал с хозяином тира.

Гаврик улучил минуту, когда хозяин оглянулся, и учтиво поздоровался:

— Бог помощь, дядя. С праздником.

Хозяин с большим достоинством ответил медленным кивком головы, как и подобало владельцу такого необыкновенного увеселительного предприятия. Это был хороший признак. Значит, хозяин в духе и, весьма-весьма возможно, даст подержать монтекристо.

Мальчик счел возможным приблизиться и даже стать на пороге тира.

Он с жадным восхищением рассматривал висящие над прилавком пистолеты, ветвистую подставку для стрельбы с упора, заводные игрушки мишеней, из которых одна особенно нравилась мальчику.

Это был японский броненосец с пушками и флагом среди резко зеленых волн жестяного моря. Из моря торчал на палочке маленький кружок. Стоило в него попасть, как броненосец с шумом раскалывался пополам и тонул, а на его месте выскакивал жестяной веер взрыва.

Конечно, среди барабанящих зайцев, балерин, рыболовов с башмаком на удочке и бутылок, движущихся одна за другой на бесконечной ленте, японский броненосец занимал первое место по блестящей выдумке и художественному выполнению.

Всем было известно, что японцы совсем недавно под Цусимой пустили ко дну весь русский флот, и среди стрелков непременно находился охотник отомстить япошкам.

В тире был еще настоящий фонтанчик. Его пускали по особому заказу. Хозяин клал на струю легонький целлулоидный шарик. Вода подбрасывала его, вертела: то вдруг опускала, то вдруг подымала. Это было настоящее чудо, загадка природы.

Попасть в него было неслыханно трудно. Любители, войдя в азарт, просаживали по десять — пятнадцать пуль и чаще всего уходили ни с чем.

Но уж если кто-нибудь сбивал шарик, то за это ему полагался лишний выстрел бесплатно.

— Значит, ничего такого у вас вчера вечером не случилось? — продолжал разговор посетитель, играя изящным ружьецом, совсем маленьким в его больших лапах.

— Как будто бы ничего.

— Так-с.

Стрелок поискал глазами, во что бы прицелиться. Он снял синее пенсне, отчего на его мясистом носу обнаружились две коралловые вдавлины, и прицелился в зайца с барабаном. Но затем раздумал и опустил ружье.

— И местные рыбаки ничего такого не рассказывали?

— Не рассказывали.

— Гм...

Посетитель опять прикинул монтекристо и опять его опустил.

— А я слышал, что вчера вечером здесь против берега какой-то человек с «Тургенева» упал. Ничего не слышали?

— Ничего.

У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг окатили целым ведром ледяной воды. Сердце так стиснулось, что его не стало слышно. Ноги ослабли. Мальчик боялся пошевелиться.

— А я слышал, что будто прыгнул с парохода один человек, которого преследует полиция. Вот тут, против этого берега. Не знаете?

— От вас первого слышу.

Как видно, хозяину тира уже давно надоел этот усатый болтун.

Хозяин с учтивым достоинством вертел в руках зеленую коробочку с патрончиками и почти зевал. Он совершенно справедливо полагал, что если ты пришел стрелять, то и стреляй. Если же тебе хочется поговорить с человеком, то — отчего же? — можно и поговорить между двумя выстрелами. Но только, разумеется, поговорить на какую-нибудь интересную тему: например, о велосипедных гонках на циклодроме или же о русско-японской войне.

На его потертом, истерзанном тайными страстями лице неудачника отражалась томительная скука.

Гаврику было его от всего сердца жаль. Он, как и все другие дети, почему-то очень любил этого человека с косо подрезанными бачками, с кривыми, как у таксы, ногами, с волосатой грудью, просвечивавшей сквозь сетчатый тельник густой татуировкой.

Гаврик знал, что, несмотря на приличные заработки, у него никогда не было копейки за душой. Всегда он кому-нибудь должен, всегда чем-то озабочен до крайности. Про него ходили слухи, что когда-то он был знаменитый цирковой наездник, но однажды, за какую-то подлость ударил хозяина цирка хлыстом по лицу. Его выгнали. Лишенный куска хлеба, с волчьим билетом в кармане, он стал играть на бегах, и игра погубила его. Теперь он играл во все игры, не брезгая даже играть с мальчишками в «пожара́» по копейке.

Страшный азарт вечно терзал его душу.

Было известно, что иногда он проигрывал с себя все. Например, штиблеты, бывшие на нем, принадлежали не ему. Он их проиграл еще в начале лета в «двадцать одно» и теперь, закрывая на ночь свое заведение, снимал их и шел домой босиком, держа под мышкой ящик с ружьями и пистолетами, которые — из страха проиграть их — сдавал до утра на хранение одному знакомому дворнику с Малой Арнаутской улицы.

Однажды на глазах у Гаврика он поспорил на полтинник с каким-то гулявшим по берегу барином, что попадет из монтекристо в воробья на лету. Разумеется, он промазал.

Гаврику до слез жалко было смотреть, как он долго с искусственным постыдным удивлением рассматривал ружье, пожимал плечами и наконец полез куда-то в подкладку своего латаного пиджачка. Он извлек оттуда полтинник и, бледный, подал барину. Барин стал было со смехом отказываться, говоря, что это было в шутку. Но хозяин тира посмотрел вдруг на него такими сумасшедшими, жалкими и вместе с тем грозно налившимися кровью глазами, что тот поспешил взять полтинник и смущенно спрятал его в карман чесучового пиджака.

В этот день хозяин тира не закрывал своего заведения на обед.

— ...Я вам советую, господин, выстрелить в балерину. Увидите, как она пикантно сделает ножками,— с польским акцентом сказал хозяин, чтобы прекратить надоевший разговор и вернуть посетителя к стрельбе.

— Однако же странно, что никто ничего не знает,— сказал посетитель и вдруг заметил Гаврика.

Он осмотрел его бегло с ног до головы:

— Мальчик, ты тутошний?

— Тутошний,— неожиданно тонким голоском сказал мальчик.

— Рыбацкий?

— Рыбацкий.

— Чего ж ты стесняешься? Подойди, не бойся.

Гаврик смотрел на жесткие, крепко закрученные черные, как вакса, усы, на длинную полоску пластыря поперек щеки и, машинально переступая ногами, с ужасом приближался к господину.

18

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— У тебя есть батька и матка?

— Ни.

— С кем же ты живешь?

— С дедом.

— А дед кто?

— Старик.

— Понятно, что старик, а не молодой. А что он делает?

— Рыбу ловит.

— Значит, рыбак?

— Ну, рыбак. Рыбалка.

— А ты что?

— Хлопец.

— Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю: что ты делаешь?

— А ничего. Дедушке помогаю.

— Стало быть, вместе рыбачите?

— Эге.

— Так-с. Понятно. Как же это вы так рыбачите?

— А просто. Ставим на ночь перемет, а потом утром вытягиваем бычков.

— Стало быть, выходите в море на шаланде?
— Эге.
— Каждый день?
— Как это? Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю.
— Экий ты дурень! Я тебя спрашиваю: каждый ли вы день выходите в море на шаланде?
— А то как же!
— Утром и вечером?
— Ни.
— Что ни?
— Только утром.
— А вечером?
— И вечером тоже.
— Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже?
— Ни. Мы вечером только ставим перемет. А бычков — тех вытягиваем утречком.
— Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером только ставим.
— Ой, господи боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море?
— А как же!
— Значит, вечером тоже выходите?
— Ни. Вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком.
— А вечером выходите ставить?
— А как же!
— Стало быть, вечером тоже выходите?
— Эге.
— Ну, вот видишь, какой ты дурень! С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень?
— Я маленький.

Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щелкнул его по голове.

— Эх ты, рыбалка!

Но мальчик вовсе не был таким дурнем.

Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выспрашивает про матроса. Только делает вид, что пришел пострелять. А на самом

деле, кто его знает, что у него на уме. Наверно, какой-нибудь из сыскного. Еще, чего доброго, пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог!

Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка не много узнаешь.

Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу, ковыряя на губе за́еду.

Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышленышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всем выспросить. Он не без основания полагал, что дети — народ любопытный и наблюдательный и знают лучше взрослых, что́ делается вокруг.

— А как тебя звать, мальчик?

— Гаврик.

— Так-с. Стало быть, Гаврюха?

— Эге. Гаврюха.

— Ну, вот что, Гаврюха: хочешь выстрелить?

Даже уши у мальчика и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском:

— А у меня, дяденька, нету пятачка.

— Это я понимаю, что у тебя нету капиталов. Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу.

— Дяденька, а вы с меня не смеетесь?

— Не доверяешь? Ну хорошо... Вот!

С этими словами усатый выложил на прилавок большой, совершенно новый пятак.

— Пали!

Гаврик, задохнувшийся от счастья, нерешительно посмотрел на хозяина тира.

Но у того на лице появилось уже строго официальное выражение, исключавшее даже самую возможность дружеских перемигиваний.

Он посмотрел на мальчика, как на незнакомого, и, учтиво склонившись над прилавком, спросил:

— Из чего вы предпочитаете стрелять, молодой человек: из пистолета или же из ружья-с?

Тут Гаврик и взаправду почувствовал себя дурач-

ком — до того растерялся от так неожиданно подвалившего ему счастья.

Он обалдело улыбнулся и, почти заикаясь, пролепетал:

— Из монтекристо.

Хозяин элегантно зарядил ружье и подал его мальчику. Гаврик, сопя, припал к прилавку и стал целиться в бутылку. Конечно, ему больше хотелось бы выстрелить в японский броненосец. Но он боялся промахнуться, а бутылка была большая.

Мальчик старался как можно дольше растянуть наслаждение прицеливания. Поцелившись немножко в бутылку, он стал целить в зайца, потом в броненосец, потом опять в бутылку. Он переводил мушку с кружка на кружок, глотая слюну и с ужасом думая, что вот он сейчас выпалит — и все это блаженство кончится.

Гаврик глубоко вздохнул, положил ружье и, виновато взглянув на хозяина, сказал усатому:

— Знаете что, дядя: я лучше не буду стрелять, я уже все равно поцелился, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сюропом. Вам же дешевле обойдется.

Усатый ничего не имел против, и они, стараясь не глядеть на хозяина, на его презрительную и вместе с тем насмешливо-равнодушную физиономию, отправились к будке.

Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал не больше не меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за восемь копеек.

Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскрутил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка.

Бутылка выстрелила, но не грубо, как стрелял квас, а тоненько, упруго, деликатно. И тотчас прозрачная вода закипела, а из горлышка пошел легкий дымок, действительно распространивший нежнейший аромат самой настоящей фиалки.

Гаврик осторожно взял обеими руками, как драгоценность, холодный кипучий стакан и, зажмурившись против солнца, стал пить, чувствуя, как пахучий газ бьет через горло в нос.

Мальчик глотал этот волшебный напиток богачей, и ему казалось, что на его триумф смотрит весь мир: солнце, облака, море, люди, собаки, велосипедисты, деревянные лошадки карусели, кассирша городской купальни... И все они говорят: «Смотрите, смотрите, этот мальчик пьет воду «Фиалка»!»

Даже маленькая бирюзовая ящеричка, выскочившая из бурьяна погреть на солнце бисерную спину, висела, схватившись лапкой за камень, и смотрела на мальчика прищуренными глазами, как бы говоря тоже: «Смотрите на этого счастливого мальчика: он пьет воду «Фиалка»!»

Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет вывираться, если усатый снова начнет приставать с вопросами. У мальчика на этот счет даже созрел целый план.

— Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода «Фиалка»?

— Спасибо, дядечка, сроду такой вкусной не пил.

— Я думаю. А скажи мне теперь: выходили вы вчера вечером в море?

— Выходили.

— Пароход «Тургенев» видели?

— А как же! Он нам чуть было весь перемет колесами не покалечил.

— А с парохода никто не прыгал?

Усатый смотрел на мальчика в упор черными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно возбужденно заговорил:

— А ей-богу, прыгал! Чтоб мне пропасть! Он ка-ак прыгнет, а брызги во все стороны ка-ак полетят! А он как поплывет наразмашку!..

— Стоп! Да ты не брешешь? Куда ж он поплыл?

— Ей-богу, не брешу, святой истинный крест!

Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро раза четыре подряд перекрестился.

— Как поплывет, как поплывет...

И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос.

— Куда же?

— Туда! — Мальчик махнул рукой в море.

— А куда ж он потом делся?

— Потом его якась шаланда подобрала.

— Шаланда? Какая?

— Такая, знаете, большая — громадная очаковская шаланда под парусом.

— Здешняя?

— Не.

— А какая?

— С Большого Фонтана... А то, может, из Люстдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла и пошла прямо на Люстдорф. Святой истинный крест...

— Название лодки не заметил?

— Как же, заметил: «Соня».

— «Соня»? Прекрасно. Да ты не врешь?

— Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видеть, или «Соня», или «Вера».

— «Соня» или «Вера»?

— Или «Соня», или «Вера»... или «Надя».

— А то смотри...

Тут, вместо того чтобы расплатиться, усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, от чего лицо будочника сразу стало кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъему в город, как понял мальчик — на дачный поезд...

Гаврик только того и дожидался.

19

ПОЛТОРА ФУНТА ЖИТНОГО

Надо поскорее предупредить матроса.

Но Гаврик был мальчик смышленый и осторожный. Прежде чем вернуться домой, он отправился за усатым, издали наблюдая за ним до тех пор, пока собственными глазами не убедился, что тот действительно поднялся наверх и скрылся в переулке.

Только тогда мальчик побежал в хибарку. Матрос спал. Но едва щелкнул замок, как вскочил и сел на койке, повернув к двери лицо с блестящими, испуганными глазами.

— Не бойтесь, дядя, это я. Ложитесь.

Больной лег.

Мальчик долго возился в углу, делая вид, что пересматривает крючки перемета, уложенного «бухтой» в круглую ивовую корзинку. Он не знал, как приступить к делу, чтобы не слишком встревожить больного.

Наконец подошел к койке и некоторое время мялся, почесывая одну ногу о другую.

— Легче вам, дядя?

— Легче.

— Соображаете что-нибудь?

— Соображаю.

— Дать вам кушать?

Больной, обессиленный даже таким коротким разговором, замотал головой и прикрыл глаза.

Мальчик дал ему отдохнуть.

— Дядя,— сказал он через некоторое время тихо, с настойчивой лаской,— это вы вчерась прыгали с парохода «Тургенев»?

Больной открыл глаза и посмотрел на мальчика снизу вверх, внимательно и очень напряженно, но ничего не ответил.

— Дядя, слухайте, что я вам скажу,— зашептал Гаврик, подсаживаясь к нему на койку.— Только вы не дергайтесь, а лежите тихо...

И мальчик как можно осторожней рассказал ему о своем знакомстве с усатым.

Больной снова вскочил и сел на койке, крепко держась руками за ее доску. Он не спускал с мальчика неподвижно расширенных глаз. Его лоб стал сырой. Однако он все время молчал. Только один раз он нарушил молчание, именно тогда, когда Гаврик сказал, что у усатого на щеке был пластырь. В этом месте рассказа в глазах у больного мелькнуло какое-то дикое и веселое украинское лукавство, и он проговорил сипло, сквозь зубы:

— Это его, наверно, кошка поцарапала.

Потом он вдруг засуетился и, держась за стенку, встал на дрожащие ноги.

— Давай,— бормотал он, бестолково тычась во все стороны,— давай куда-нибудь... За ради Христа...

— Дядя, ложитесь. Вы ж больной.

— Давай... давай... Давай мою робу... Где вещи?

Он, вероятно, забыл, что скинул верхнюю одежду в море, и теперь беспомощно шарил похудевшей рукой по койке, небритый, страшный, похожий в белой рубахе и подштанниках на сумасшедшего.

Его вид был так жалок и вместе с тем так грозен, что Гаврик готов был бежать от страха куда глаза глядят.

Но все же, пересиливая страх, он с силой обхватил больного руками за туловище и пробовал уложить обратно на койку. Мальчик чуть не плакал:

— Дядя, пожалейте себя, ляжьте!

— Пусти. Я сейчас пойду.

— Куда ж вы пойдете в подштанниках?

— Дай вещи...

— Что вы говорите, дядя? Какие вещи? Ложитесь обратно. На вас ничего не было.

— Пусти. Пойду...

— Вот мне с вами наказанье, если бы вы только знали, дядя! Все равно как маленький! Ложитесь, я вам говорю! — вдруг сердито крикнул мальчик, потеряв терпенье.— Что я тут буду с вами цацкаться, как с дитём!

Больной покорно лег, и Гаврик увидел, что его глаза снова подернулись горячечной поволокой.

Матрос тихонько замычал, морщась и потягиваясь:

— За ради Христа... Пускай меня кто-нибудь сховает... Пустите меня в комитет... Вы не знаете, где тут одесский комитет?.. Не стреляйте, ну вас к черту, а то веесь виноград перестреляете...

И он понес чепуху. «Дело плохо»,— подумал Гаврик. В это время снаружи послышались шаги. Кто-то шел прямо к хибарке через бурьян, с шумом ломая кусты.

Мальчик весь так и сжался, не смея дохнуть. Множество самых ужасных мыслей пронеслось у него в голове.

Но вдруг он услышал знакомый кашель. В хибарку вошел дедушка.

И по тому, как старик сбросил у порога пустой садок, как высморкался и как долго и ядовито крестился на чудотворца, Гаврик безошибочно понял, что дедушка выпил.

Это случалось со стариком чрезвычайно редко и обязательно после какого-нибудь из ряда вон выходящего события, все равно — радостного или печального. На этот раз, судя по обращению к Николаю-угоднику, случай был скорее всего печальный.

— Ну что, дедушка, купили мясо для наживы?

— Мясо для наживы?

Старик прозрачно посмотрел на Гаврика и сунул ему под самый нос дулю.

— На́ мясо! Наживляй! И скажи спасибо нашему

хрену-чудотворцу. Помолись ему, старому дурню, чтоб он лопнул! Наловить крупных бычков — это он может, а цены подходящие сделать на привозе — так это маком! Что вы скажете, господа! За такого бычка -- тридцать копеек сотня! Где-нибудь это видано?

— По тридцать копеек! — ахнул мальчик.

— По тридцать, чтоб мне не сойти с этого места! Я ей: «За такой товар по тридцать копеек? Побойтесь бога, мадам Стороженко!» А она мне: «У нас бог до привозных цен не касается. У нас свои цены, а у бога свои. А если вы несогласные, то идите к жидам, может, они вам на какую-нибудь копейку больше дадут, только сначала верните мне восемьдесят копеек вашего долга». Видели вы такое? Ну, не плюнуть за это в самые ее поганые очи? Так представьте ж себе, господа, что я таки и плюнул. Перед всем привозом не посмотрел и нахаркал! Истинный крест! Наплевал ей полные очи!

Дедушка при этом стал поспешно креститься.

Но он привирал. Никому он в очи, конечно, не плевал. Он только весь затрясся, побледнел, засуетился и стал швырять рыбу из садка в корзину мадам Стороженко, бормоча: «Забирайте и подавитесь. Чтоб вам от этих бычков повылазило!»

Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими медяками, коротко заметив: «В расчете».

Дедушка взял деньги и тут же, весь клокоча от бессильного гнева, пошел в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку.

Он одним духом вылил в горло водку и «вместо закуски» вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога.

Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке — ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик,— а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса.

Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного.

По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко.

— Святой истинный крест! — говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руку леденечного петуха.— Кого хочешь спроси на привозе — весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи! А ты, деточка, скушай петушка, ничего. Он все равно как пряник.

Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики.

— Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает.

Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал:

— Ссс! Ссс! Пускай теперь отдыхает. А потом, как проснется, будет есть. Житный ему нельзя: у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего.

Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно:

— Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело!

Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать.

Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил, не медля ни минуты, отправиться на Ближние Мельницы, к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет. Но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.

20

УТРО

Петя проснулся и был поражен, увидев себя в городской комнате, среди забытой за лето мебели и обоев.

Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху донизу. Ярко освещенные опилки воздуха — пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные,— образовали полупрозрачную стену,

Крупная осенняя муха, пролетая сквозь нее, вдруг вспыхнула и тотчас погасла.

Не слышалось ни кряканья качек, ни истерического припадка курицы, снесшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков, ни свежего чириканья воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой веточке шелковицы, согнутой под ним в дугу.

Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры.

В столовой легко гремели венские стулья. Музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан. Раздавался «бородатый» — в представлении мальчика — голос отца, мужественный и по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная, и Петя вдруг узнавал по звуку, которая из них хлопнула.

А между тем снаружи, из какой-то комнаты с окном, открытым во двор — ах, да! из тетиной,— не прекращаясь ни на минуту, слышалось пение разносчиков. Они появлялись один за другим, эти дворовые гастролеры, и каждый исполнял свою короткую арию.

— Угле-ей! Угле-е-ей! — откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою былую удаль, свое улетевшее счастье.— Угле-е-ей!

Его место занимал низкий комический басок точильщика:

— Точить ножи-ножницы, бритвы!.. Чшшить ножиножжж, бритввв!.. Ножиножжж... Брррр-иттт...

Паяльщик появлялся вслед за точильщиком, наполняя двор мужественными руладами бархатного баритона:

— Па-аять, починять ведра, каструли! Па-ять, починять ведра, каструлии!

Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом:

— Груш, яблук, помадоррр! Груш, яблук, помадоррр!

Печальный старьевщик исполнял еврейские куплеты:

— Старые вещи, старые вещи! Старивэшшш... Старивэшшш...

Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской канцонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы «Нечада», и раздавался крикливый голос уличной певицы:

Ветерок чуть колышет листочки,
Где-то слышится трель со-ло-вья.
Ты вчера лишь гуляла в плато-чке,
А се-го-дня гу-ляешь в шел-ках.
Пой, ласточка, пой.
Сэр-це ус-па-кой...

— Углей, угле-е-ей! — запел русский тенор сейчас же после того, как шарманка ушла.

И концерт начался снова.

В то же время с улицы слышались стук дрожек, шум дачного поезда, военная музыка.

И вдруг среди всего этого гомона раздалось какое-то ужасно знакомое шипенье, что-то щелкнуло, завелось, и один за другим четко забили, как бы что-то отсчитывая, прозрачные пружинные звуки. Что это? Позвольте, но ведь это же часы! Те самые знаменитые столовые часы, которые, как гласила семейная легенда, папа выиграл на лотерее-аллегри, будучи еще женихом мамы.

Как Петя мог о них забыть! Ну да, конечно, это они! Они отсчитывали время. Они «били»! Но мальчик не успел сосчитать сколько. Во всяком случае, что-то много: не то десять, не то одиннадцать.

Боже мой! На даче Петя вставал в семь...

Он вскочил, поскорее оделся, умылся — в ванной! — и вышел в столовую, жмурясь от солнца, лежавшего на паркете горячими косяками.

— Ай, как не стыдно! — воскликнула тетя, качая головой и вместе с тем радостно улыбаясь так выросшему и так загоревшему племяннику.— Одиннадцать часов. Мы тебя нарочно не будили. Хотели посмотреть, до каких пор ты будешь валяться, деревенский лентюга. Ну, да ничего! С дороги можно. Скорей садись. Тебе с молоком или без? В стакан или в твою чашку?

Ах, совершенно верно! Как это он забыл? «Своя чашка»! Ну да, ведь у него была «своя чашка», фарфоровая, с незабудками и золотой надписью: «С днем ангела», прошлогодний подарок Дуни.

Позвольте, батюшки, наш самовар! Оказывается, он о нем тоже забыл. И бублики греются, повешенные на его ручки! И сахарница белого металла в форме груши, и щипчики в виде цапли!

Позвольте, а желудь звонка на шнурке под висячей лампой... Да и сама лампа: шар с дробью над белым колпаком!

Позвольте, а что это в руках у отца? Ба, газета! Вот уж, правду сказать, совсем забыл, что в природе существуют газеты! «Одесский листок» с дымящим паровозиком над расписанием поездов и дымящим пароходиком над расписанием пароходов. (И дама в корсете среди объявлений!) Э, э!.. «Нива»! «Задушевное слово»! Ого, сколько бандеролей накопилось за лето!

Одним словом, вокруг Пети оказалось такое множество старых-престарых новостей, что у него разбежались глаза.

Павлик же вскочил чуть свет и уже вполне освоился с новой старой обстановкой. Он уже давно напился молока и теперь запрягал Кудлатку в дилижанс, составленный из стульев.

Иногда он озабоченно пробегал по комнатам, трубя в трубу и сзывая воображаемых пассажиров.

Тут Петя вспомнил вчерашние события и даже вскочил из-за стола:

— Ой, тетечка! Я же вам вчера так и не успел рассказать! Ах, что только с нами было, вы себе не можете представить! Сейчас я вам расскажу, только ты, Павлик, пожалуйста, не перебивай...

— Да уж знаю, знаю.

Петя даже слегка побледнел:

— И про дилижанс знаете?

— Знаю, знаю.

— И про пароход?

— И про пароход.

— И как он прыгал прямо в море?

— Знаю все.

— Кто ж вам рассказал?

— Василий Петрович.

— Ну, папа! — в отчаянии закричал Петя и даже топнул обеими ногами.— Ну, кто тебя просил рассказывать, когда я лучше умею рассказывать, чем ты! Вот видишь, ты теперь мне все испортил!

Петя чуть не плакал. Он даже забыл, что он уже взрослый и завтра будет поступать в гимназию.

Стал хныкать:

— Тетечка, я вам лучше еще раз расскажу, у меня будет гораздо интереснее.

Но у тети вдруг покраснел нос, глаза наполнились слезами, и она, прижав пальцы к вискам, проговорила со страданием в голосе:

— Ради бога, ради бога, не надо! Ну, не могу я это еще раз слушать равнодушно. Как только у людей, которые называют себя христианами, хватает совести так мучить друг друга!

Она отвернулась, вытирая нос маленьким платочком с кружевами.

Петя испуганно взглянул на отца. Отец смотрел очень серьезно и очень неподвижно в окно.

Мальчику показалось, что на его глазах тоже блестят слезы.

Петя ничего не понял, кроме того, что рассказать здесь вчерашнюю историю вряд ли удастся.

Он поскорее выпил чай и отправился во двор искать слушателей.

Дворник выслушал рассказ весьма равнодушно и заметил:

— Ну что ж, очень просто. Бывает и не такое.

А больше рассказывать было положительно некому. Нюся Коган, сын лавочника из этого же дома, как назло, поехал гостить к дяде на Куяльницкий лиман. Володька Дыбский куда-то перебрался. Прочие еще не возвращались с дач.

Гаврик передал через Дуню, что сегодня зайдет, но его все не было. Вот ему бы рассказать! Не пойти ли к Гаврику на берег?

Пете не разрешалось ходить одному на берег, но искушение было слишком велико.

Петя засунул руки в карманы, покрутился равнодушно под окнами, затем так же равнодушно, чтобы не возбуждать подозрений, вышел на улицу, погулял для виду возле дома, завернул за угол и бросился рысью к морю.

Но на середине переулка с теплыми морскими ваннами наткнулся на босого мальчика. Что-то знакомое... Кто это?

Позвольте, да ведь это же Гаврик!

21
ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО

— О Гаврик!

— О Петька!

Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей.

Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки.

Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились.

Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам: выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера.

— Куда ты идешь?

— На море.

— А ты?

— На Ближние Мельницы, к братону.

— Зачем?

— Надо. Пойдешь?

— На Ближние Мельницы?

— А что же?

— Ближние Мельницы...

Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, «у черта на куличках».

Ближние Мельницы в его представлении были печальной страной вдов и сирот. Существование Ближних Мельниц всегда обнаруживалось вследствие какого-нибудь несчастья.

Чаще всего понятие «Ближние Мельницы» сопутствовало чьей-нибудь скоропостижной смерти. Говорили: «Вы слышали, какое горе? У Анжелики Ивановны скоропостижно скончался муж и оставил ее без всяких средств. Она с Маразлиевской перебралась на Ближние Мельницы».

Оттуда не было возврата. Оттуда человек если и возвращался, то в виде тени, да и то ненадолго — на час, не больше.

Говорили: «Вчера к нам с Ближних Мельниц приходила Анжелика Ивановна, у которой скоропостижно скончался муж, и просидела час — не больше. Ее трудно узнать. Тень...»

Однажды Петя был с отцом на похоронах одного скоропостижно скончавшегося преподавателя и слышал дивные, пугающие слова, возглашенные священником перед гробом,— о каких-то «селениях праведных, идеже упокояются», или что-то вроде этого.

Не было ни малейшего сомнения, что «селения праведных» суть не что иное, как именно Ближние Мельницы, где как-то потом «упокояются» родственники усопшего.

Петя живо представлял себе эти печальные селения со множеством ветряных мельниц, среди которых «упокоются» тени вдов в черных платках и сирот в заплатанных платьицах.

Разумеется, пойти без спросу на Ближние Мельницы являлось поступком ужасным. Это было, конечно, гораздо хуже, чем полезть в буфет за вареньем или даже принести домой за пазухой дохлую крысу. Это было настоящим преступлением. И, хотя Пете ужасно хотелось отправиться с Гавриком в волшебную страну скорбных мельниц и собственными глазами увидеть тени вдов, все же он решился не сразу.

Минут десять его мучила совесть. Он колебался.

Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлебываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях.

Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась все-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко.

Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее.

Однако Петин рассказ, против всяких ожиданий, произвел на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал: «брешешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика.

Он раскраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах:

— Тогда этот ка-ак вдарит его по морде щепкой с гвоздем! Честное благородное слово! А тогда тот ка-ак закричит на весь «Тургенев»: «Сто-ой, сто-о-ой!» Можешь мне наплевать в глаза, если вру. А тогда этот ка-ак вскочит на перила да как соскочит в море — бабах! — аж только брызги полетели, высокие, до четвертого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!..

Петя так размахался руками и так распрыгался, что опрокинул у какой-то лавочки корзину с рожками, и мальчикам пришлось, высунув языки, два квартала бежать от хозяина.

— А этот был какой? — спросил Гаврик.— С якорем на руке, что ли?

— Ну да! Ясно! — возбужденно орал Петя, тяжело переводя дух.

— Вот тут якорь?

— Ясно. А ты откуда знаешь?

— Не видал я матросов! — буркнул Гаврик и сплюнул, совершенно как взрослый.

Петя с завистью посмотрел на своего приятеля и тоже плюнул. Но плевок вышел не такой отрывистый и шикарный. Вместо того чтобы отлететь далеко, он вяло капнул на Петино колено, и пришлось вытирать рукавом.

Тогда Петя взял себе на заметку, что необходимо малость подучиться плевать, и всю дорогу практиковался в плевании так усердно, что на другой день у него потрескались губы и больно было есть дыню...

— А тот,— сказал Гаврик,— был в «скороходах» и в очках?

— В пенсне.

— Нехай будет так.

— А ты откуда знаешь?

— Не видал я агентов из сыскного!

Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и тотчас, без передышки, стал рассказывать ее опять с самого начала.

Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик. Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выеденного яйца! Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос

в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон.

Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню. И это было нестерпимо.

А может быть, все-таки намекнуть? Так только, одно словечко. Нет, нет, ни за что! Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, нет, все равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить — на церковь, то не разболтает...

Словом, Гаврика терзали сомнения.

Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, с силой сжимал себе пальцами губы. Однако ничто не помогало. Открыть тайну хотелось все сильней и сильней. А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера, как Петя на него закричал и как тот спрятался под скамейку...

Это было уже слишком. Гаврик не выдержал:

— Дай честное благородное слово, что никому не скажешь!

— Честное благородное слово,— быстро, не моргнув глазом, сказал Петя.

— Побожись!

— Ей-богу, святой истинный крест! А что?

— Я тебе что-то скажу.

— Ну?

— Только ты никому не скажешь?

— Чтоб я не сошел с этого места!

— Побожись счастьем!

— Чтоб мне не видеть в жизни счастья! — с готовностью проговорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни, и для большей верности быстро прибавил: — Пусть у меня лопнут глаза! Ну?

Гаврик некоторое время шел молча, сопя и отплевываясь. В нем все еще продолжалась борьба с искушением. Но искушение побеждало.

— Петька,— сказал Гаврик сипло,— перекрестись на церкву.

Петя, сгоравший от нетерпения поскорее услышать секрет, стал искать глазами церковь.

Как раз в это время мальчики проходили мимо Старого христианского кладбища. Над известняковой стеной, вдоль которой расположились продавцы венков и памятников, виднелись верхушки старых акаций и мраморные крылья скорбных ангелов. (Значит, и вправду Ближние Мельницы находились в тесном соседстве со смертью, если путь к ним лежал мимо кладбища!)

За акациями и ангелами в светло-сиреневом пыльном небе висел голубой купол кладбищенской церкви.

Петя истово помолился на золотой крест с цепями и проговорил с убеждением:

— Святой истинный крест, что не скажу! Ну?

— Слышь, Петька...

Гаврик кусал губы и грыз себе руку. У него в глазах стояли слезы.

— Слышь, Петька... Ешь землю, что не скажешь!

Петя внимательно осмотрелся по сторонам и увидел под стеной подходящую, довольно чистую землю. Он выцарапал ногтями щепотку и, высунув язык, свежий и розовый, как чайная колбаса, положил на него землю. После этого он вопросительно повернул выпученные глаза к приятелю.

— Ешь! — мрачно сказал Гаврик.

Петя зажмурился и начал старательно жевать землю.

Но в этот миг на дороге послышался странный нежный звон.

Два солдата конвойной команды, в черных погонах, с шашками наголо, вели арестанта в кандалах. Третий солдат, с револьвером и толстой разносной книгой в мраморном переплете, шел сзади. Арестант в ермолке солдатского сукна и в таком же халате, из-под которого высовывались серые подштанники, шел, опустив голову.

Ножных кандалов не было видно — они глухо брякали в подштанниках,— но длинная цепочка ручных висела спереди и, нежно звеня, била по коленям.

То и дело арестант подбирал ее жестом священника, переходящего через лужу.

Выбритый и серолицый, он походил чем-то на солдата или на матроса. Было заметно, что ему очень совестно идти среди бела дня по мостовой в таком виде. Он старался не смотреть по сторонам.

Солдатам, по-видимому, тоже было совестно, но они

смотрели не вниз, а, наоборот, вверх, сердито, с таким расчетом, чтобы не встречаться глазами с прохожими.

Мальчики остановились и, открыв рты, разглядывали косо посаженные бескозырки солдат, синие револьверные шнуры и ярко-белые ножи качающихся вместе с руками шашек, на кончиках которых ослепительно вспыхивало солнце.

— Проходите, не останавливайтесь,— не глядя на мальчиков, сказал сердито солдат с книгой.— Не приказано смотреть.

Арестанта провели.

Петя вытер язык рукавом и сказал:

— Ну?

— Чего?

— Ну, теперь скажи.

Гаврик вдруг злобно посмотрел на приятеля, с ожесточением согнул руку и сунул заплатанный локоть Пете под самый нос:

— На! Пососи!

Петя глазам своим не поверил. Губы у него дрогнули.

— Я ж землю кушал! — проговорил он, чуть не плача.

Глаза Гаврика блеснули диким лукавством, и он, присев на корточки, завертелся юлой, крича оскорбительным голосом:

— Обманули дурака на четыре кулака, на пятое стуло, чтоб тебя раздуло!

Петя понял, что попал впросак: никакой тайны у Гаврика, разумеется, не было, он только хотел над ним посмеяться — заставить есть землю! Это, конечно, обидно, но не слишком.

В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что тот не обрадуется. Посмотрим!

— Ничего, сволочь, попомнишь! — с достоинством заметил Петя, и приятели продолжали путь как ни в чем не бывало.

Только иногда Гаврик вдруг ни с того ни с сего начинал дробно стучать босыми пятками и петь:

Обманули дурака
На четыре кулака,
На пятое стуло,
Чтоб тебя раздуло!

22
БЛИЖНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Идти было весело и очень интересно.

Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились все беднее и беднее. Иногда попадались магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар.

Под акациями стояли дешевые железные кровати, полосатые матрацы, кухонные табуреты. Были навалены большие красные подушки, просяные веники, швабры, мебельные пружины. Всего много, и все крупное, новое, по-видимому, дешевое.

За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный горячий, но несколько кисловатый запах дуба.

Потом начались лабазы — овес, сено, отруби — с несуразно большими весами на железных цепях. Там стояли гири, громадные, как в цирке.

Затем — лесные склады с сохнущим тесом. Здесь тоже преобладал горячий запах пиленого дерева. Но так как это была сосна, то запах казался не кислым, а, наоборот, сухим, ароматным, скипидарным.

Сразу бросалось в глаза, что по мере приближения к Ближним Мельницам мир становился грубее, некрасивее.

Куда девались нарядные «буфеты искусственных минеральных вод», сверкающие никелированными вертушками с множеством разноцветных сиропов? Их заменили теперь съестные лавки с синими вывесками — селедка на вилке — и трактиры, в открытых дверях которых виднелись полки с белыми яйцевидными чайниками, расписанными грубыми цветами, более похожими на овощи, чем на цветы.

Вместо щеголеватых извозчиков по плохой мостовой, усыпанной сеном и отрубями, грохотали ломовики.

Что же касается находок, то в этой части города их оказалось гораздо больше, чем в знакомых местах. То и дело в пыли мелькнет подкова, или гайка, или папиросная коробка.

Увидя находку, мальчики бросались к ней наперегонки, толкая друг друга и крича не своим голосом:

— Чур, без доли!

Или:

— Чур, на долю!

И в зависимости от того, кто прежде крикнул, находка свято, нерушимо считалась личной или же общей.

Находок было так много, что мальчики в конце концов перестали их подбирать, делая исключение лишь для папиросных коробок.

Коробки были необходимы для игры в «картонки». Каждая имела свою ценность в зависимости от картинки. Человеческая фигура считалась за пятерку, животное — за один, дом — за пятьдесят.

У каждого одесского мальчика в кармане обязательно находилась колода таких папиросных крышечек.

Играли также и в конфетные бумажки, но по преимуществу девочки и совсем маленькие мальчики, не свыше пяти лет.

Что касается Гаврика и Пети, то они, разумеется, давно уже относились к бумажкам с глубочайшим презрением и играли только в картонки.

В приморских районах почему-то курили исключительно «Цыганку» и «Ласточку».

Что привлекательного находили приморские курильщики в этих папиросах, было неразрешимой загадкой. Отвратительнейшие папиросы!

На одних — яркий лаковый портрет черноокой цыганочки: дымящаяся папироска в коралловом ротике и роза в синих волосах. «Цыганка» считалась всего-навсего пятеркой, да и то с большой натяжкой, так как фигура цыганки была только по пояс.

На других — три жалкие ласточки. Они стоили и того меньше: всего-навсего тройку.

Некоторые чудаки курили даже «Зефир», где вообще не было никакой картинки, одна только надпись, так что картонка и вовсе в игру не принималась. А именно эти-то папиросы, как ни странно, были самые дорогие в лавочке.

Надо быть круглым дураком, чтобы покупать такую дрянь.

Мальчики даже плевались, когда им попадалась коробочка «Зефир».

Петя и Гаврик горели нетерпением поскорее вырасти и сделаться курильщиками. Уж они-то не сваляют дурака и будут покупать исключительно «Керчь» — превосход-

ные папиросы, где на крышечке целая картина: приморский город и гавань со множеством пароходов.

Самые лучшие специалисты по картонкам и те не знали в точности, за сколько надо считать «Керчь», так как расходились в оценке пароходов. На всякий случай, для ровного счета, «Керчь» на уличной бирже шла за пятьсот.

Мальчикам обыкновенно везло.

Можно было подумать, что все кладбищенские курильщики задались специальной целью обогатить Петю и Гаврика: они курили исключительно «Керчь».

Мальчики не успевали поднимать драгоценные коробочки. Сначала они не верили своим глазам. Это было совершенно как во сне, когда идешь по дороге и через каждые три шага находишь три рубля.

Вскоре их карманы оказались набитыми доверху. Богатство было так велико, что перестало радовать. Наступило пресыщение.

Под высокой и узкой стеной какой-то фабрики, где по черноватому от копоти кирпичу были намалеваны такие громадные печатные буквы, что их невозможно было вблизи прочитать, мальчики сыграли несколько партий, подбрасывая картонки и следя, какой стороной они упадут. Однако игра шла без всякого азарта. Слишком много у каждого было картонок. Не жаль проигрывать. А без этого какое же удовольствие?

А город все тянулся и тянулся, с каждой минутой меняя свой вид и характер.

Сначала в нем преобладал оттенок кладбищенский, тюремный. Потом — какой-то «оптовый» и вместе с тем трактирный. Потом — фабричный.

Теперь пейзажем безраздельно завладела железная дорога. Пошли пакгаузы, блокпосты, семафоры... Наконец дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.

Из будочки вышел стрелочник с зеленым флажком. Раздался свисток. Из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собою тендер.

О, что за зрелище! Ради этого одного стоило уйти без спросу из дому.

Как суетливо и быстро стучали шатуны, как пели рельсы, с какой непреодолимой волшебной силой притягивали к себе головокружительно мелькающие литые колеса, окутанные плотным и вместе с тем почти прозрачным паром!

Очарованная душа охвачена сумасшедшим порывом и вовлечена в нечеловеческое, неотвратимое движение машины, в то время как тело изо всех сил противится искушению, упирается и каменеет от ужаса, на один миг покинутое бросившейся под колеса душой!

Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги, бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы.

У, как это было жутко и в то же время весело!

Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядывал солдат в бескозырке с красным околышем и на тендере стоял другой солдат, в подсумках, с винтовкой.

Едва локомотив скрылся за поворотом, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добела натертым рельсам, гремящим, как оркестр.

Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому — вот только что, сию минуту — прошел настоящий локомотив?

— Почему на нем вместо машиниста солдат? — спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав «кремушков» с балласта, отправились дальше.

— Видать, опять железнодорожники бастуют,— нехотя ответил Гаврик.

— Что это значит —бастуют?

— Бастуют — значит бастуют,— еще сумрачнее сказал Гаврик.— Не выходят на работу. Тогда, бывает, заместо их солдаты водят поезда.

— А солдаты не бастуют?

— Солдаты не бастуют. Не имеют права. Ихнего брата за это — ого! — в арестантские роты могут. Очень просто.

— А то бы бастовали?

— Спрашиваешь!
— А твой братон Терентий бастует?
— Когда как...
— Отчего же он бастует?
— Оттого, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше — «Одесса-Товарная». А вон они самые, Ближние Мельницы.

Напрасно Петя вытягивал шею, всматриваясь в даль. Решительно нигде не было никаких мельниц: ни ветряных, ни водяных.

Были: водокачка, желтый частокол станционного двора Одессы-Товарной, красные вагоны, санитарный поезд с флажком Красного Креста, штабеля грузов, покрытых брезентом, часовые...

— Где же мельницы? Где?
— Вот же они, прямо за вагонными мастерскими, чудило!

Петя смолчал, боясь как-нибудь снова не очутиться в дураках.

Он так усердно вертел во все стороны головой, что даже натер себе воротником шею, но мельниц нигде так и не заметил.

Странно!

Между тем Гаврик не обнаруживал ни малейшего удивления по поводу их отсутствия. Он бойко шагал по узенькой тропинке вдоль длинной закопченной стены, мимо громадных клетчатых окон со множеством выбитых стеклышек.

Петя, порядком уже уставший, плелся за ним, шаркая башмаками по траве, темной от пыли и копоти. Иногда под ногой хрустела железная стружка, очевидно выкинутая из окна.

Гаврик привстал на цыпочки и заглянул в окно.

— Смотри, Петька, вагонные мастерские. Тута Терентий работает. Никогда не видал? Иди сюда.

Петя стал рядом с приятелем на цыпочки и заглянул в выбитое стекло. Он увидел громадный сумрачный воздух и мутные крошечные квадратики противоположных окон. Висели широкие ремни, всюду стояли какие-то большие скучные железные вещи с колесиками. Все было усыпано металлической стружкой.

Солнечный свет, пройдя сквозь пыльные стекла, ле-

жал по всему непомерному полу бледными клетчатыми косяками.

И во всем этом громадном, странном пространстве не было заметно ни одной живой души.

Сверху донизу стояла такая немая, такая нечеловеческая тишина, что Пете стало страшно, и он прошептал чуть внятно:

— Никого нету...

И Гаврик, подчиняясь его шепоту, сказал еще тише, одними губами:

— Наверно, опять бастуют.

— А ну, не балуйся под окнами! — раздался вдруг над мальчиками грубый голос.

Они вздрогнули и обернулись. Рядом с ними стоял солдат в скатке через плечо, с винтовкой. Он стоял так близко, что Петя явственно услышал страшный запах солдатских щей и ваксы.

Светло-желтые кожаные подсумки — тяжелые, скрипучие, наверное полные боевых патронов,— грозно и близко торчали перед мальчиками, а весь солдат в целом казался таким громадным, что два ряда медных пуговиц уходили снизу вверх на головокружительную высоту, в самое небо.

«Погиб!» — с ужасом подумал Петя и почувствовал: вот-вот с ним случится постыдная неприятность, та самая, что обычно случается с очень маленькими детьми от сильного испуга.

— Тикай! — закричал Гаврик тонким голосом и, шмыгнув мимо солдата, кинулся удирать.

Не слыша под собой ног, Петя рванулся за приятелем. Ему казалось, что позади топают солдатские сапоги. Он припустил еще, насколько хватало сил. Сапоги не отставали. Глаза ничего не видели, кроме мелькающих впереди коричневых пяток Гаврика. Сердце колотилось громко и быстро. Солдат не отставал. Ветер шумел в ушах.

И, только пробежав по крайней мере версту, Петя наконец сообразил, что это не стук солдатских сапог, а колотится на спине сорвавшаяся соломенная шляпа.

Мальчики с трудом перевели дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли.

Но едва мальчики убедились, что солдата поблизости

нет, как тотчас сделали совершенно равнодушные лица и, небрежно засунув руки в карманы, не торопясь зашагали дальше.

Они делали вид друг перед другом, будто бы решительно ничего не случилось, а если даже и случилось, то такие пустяки, о которых не стоит и разговаривать.

Теперь они уже давно шли по широкой немощеной улице. Хотя на калитках и на домиках висели городские фонари с номерами и вывески лавочек и мастерских, а на одном из углов находилась даже аптека с разноцветными графинами и золотым орлом, все же улица эта скорее напоминала не городскую, а деревенскую.

— Ну, где же твои Ближние Мельницы? — сказал Петя кисло.

— А это тебе что? Скажешь, не Мельницы?

— Где?

— Что значит — где? Тут.

— Где же тут?

— Где мы идем.

— А самые мельницы?

— Чудак человек! — снисходительно сказал Гаврик.— А где ты видел на Фонтане фонтан? Все равно как маленький! Спрашиваешь, а сам не знаешь что!

Петя ничего не ответил. Гаврик был совершенно прав. В самом деле, Малый Фонтан, Большой Фонтан, Средний Фонтан. А самих фонтанов там, оказывается, никаких нет. Просто «так называется».

Называется Мельницы, а мельниц-то никаких на самом деле и нет.

Но мельницы — это, в сущности, пустяки. А вот где тени не похожих на себя вдов и маленькие бледные сиротки в заплатанных платьицах? Где серое, призрачное небо и плакучие ивы? Где сказочно-грустная страна, откуда нет возврата?

Гаврика об этом нечего было и спрашивать!

К своему полному разочарованию, Петя не видел ни вдов, ни плакучих ив, ни серого неба. Наоборот. Небо было горячее, ветреное, яркое, как синька.

Во дворах блестели шелковицы и акации. На огородах светились запоздавшие цветы тыкв. По курчавой травке шли гуси, поворачивая глупые головы то направо, то налево, как солдаты на Куликовом поле.

В кузне звенели молотки и слышался ветер мехов.

Конечно, все это было по-своему тоже очень увлекательно. Но трудно было расстаться с представлением о призрачном мире, где как-то таинственно «упокояются» родственники скоропостижно скончавшихся мужчин.

И долго еще в Петиной душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где «упокояются», с живой, разноцветной картиной железнодорожной слободки Ближние Мельницы, где жил братон Гаврика Терентий.

23

ДЯДЯ ГАВРИК

— Тута!

Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями.

— Цыц, Рудько! — крикнул Гаврик.— Не узнала?

Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. Зря побеспокоилась. Задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и, часто, сухо дыша, побежала в глубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь.

Из деревянных сеней слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад:

— Ничего. Это до тебя братик прийшов.

Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца.

Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим.

Подтянув ремешок штанов, мужчина подошел к мальчикам.

— Это Петька с Канатной, угол Куликова поля,— сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля.— Учителя мальчик. Ничего.

Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазами с веселой искоркой.

— Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на пасху? Что ты ходишь, все равно как босяк с Дюковского сада?

Гаврик печально и длинно свистнул:

— Эге-э-э, где теи башмаки-и-и...

— Босявка ты, босявка!

Терентий сокрушенно покрутил головой и пошел за дом, куда последовали и мальчики.

Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе, под шелковицей, была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя.

Судя по детской цинковой ванночке, прислоненной вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке у Терентия, можно было заключить, что хозяин занят работой.

— Майстрачишь? — спросил Гаврик, сплевывая совершенно как взрослый.

— Эге.

— А мастерские стоят?

Терентий, как бы не расслышав вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал:

— Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрачим...

Гаврик сел на табуретку и скрючил не достававшие до земли босые ноги.

Он уперся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повел степенный хозяйский разговор со старшим братом.

Морща облупленный носик и сдвинув брови, совсем обесцвеченные солнцем и солью, Гаврик передавал поклон от дедушки, сообщал цены на бычки, с негодованием обрушивался на мадам Стороженко, которая — «такая стерва — держит все время за горло и не дает людям дышать», и прочее в таком же роде.

Терентий поддакивал, осторожно проводя носиком накаленного молоточка по слитку олова, которое от его прикосновения таяло, как масло.

На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришел в гости к брату и разговаривает с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братоном, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело.

Несколько раз Терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал как ни в чем не бывало беседу.

Петя же забыл все на свете, поглощенный волшебным зрелищем паяния. Он не отрываясь следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу.

Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролер, фокусник на сцене: быстро и ловко сделал свое дело — запаял чайник, перекинул через плечо свернутые в трубку обрезки жести, подхватил жаровню и пошел себе со двора, крича: «Па-ять, па-а-ачинять!...»

А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий свое искусство дома, для избранных. В любой момент можно было спросить у него: «Послушайте, а что это у вас здесь в железной коробочке — кислота, что ли?» — и не нарваться на грубый ответ: «Иди, мальчик, откуда пришел. Не мешай человеку паять». Это совсем другое дело.

Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошел от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребенком на руках, подошедшую к шелковице.

Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику:

— Посмотри, кто пришел, агу! Гаврик пришел, агу! Скажи дяде Гаврику: «Здравствуйте, дядя Гаврик!»

Гаврик с чрезвычайной серьезностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлек оттуда красного леденечного петуха на палочке.

Три часа таскать с собой такое лакомство и не только

не попробовать его, но даже не показать — это мог сделать только человек с неслыханной силой воли! Гаврик протянул петуха ребенку:

— На!

— Возьми, Женечка,— засуетилась девочка, поднося ребенка к самому петушку.— Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принес дядя Гаврик. Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде: «Спасибо, дядечка!» Ну, скажи: «Спасибо, дядечка».

Ребенок крепко держал пухлой замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно голубыми глазками.

— Видите, это он говорит: «Спасибо, дядечка»,— суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства.— Куда же ты тянешь в рот. Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо кашку покушать, а тогда уже можно петушка...— продолжала она с благонравной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках на пуговичках и в соломенной шляпе.

— Это Петя с Канатной, угол Куликова,— сказал Гаврик,— пойди с ним поиграй, Мотя.

Девочка от волнения даже побледнела.

Прижимая к себе ребенка, она попятилась, глядя исподлобья на Петю, и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечику, поправил на ее остриженной под нуль голове беленький чепчик с оборочкой и сказал:

— Пойди, Мотя, поиграй с мальчиком, покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе купляю, когда ты лежала больная. Пойди, деточка, а Женечку отдай маме.

Мотя потерлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Ее глаза были полны слез, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые сережки.

Петя заметил, что такие сережки чаще всего бывают у молочниц.

— Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся.

Мотя послушно отнесла ребенка в дом и вернулась,

прямая, как палка, со втянутыми щеками, страшно серьезная.

Она остановилась шагах в четырех от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза, неестественно тонким голосом:

— Мальчик, хочете, я вам покажу русско-японские картины?

— Покажь,— сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким, по правилам хорошего тона, следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо.

— Пойдем, мальчик.

Девочка не без некоторого кокетства повернулась к Пете спиной и, чересчур часто двигая плечами, пошла, подскакивая, в глубь двора, за погреб, где у нее было устроено свое кукольное хозяйство.

Петя вразвалку следовал за ней. Глядя на ее худую шею с ложбинкой и треугольным мысиком волос, мальчик чувствовал такое волнение, что у него подгибались ноги. Конечно, нельзя сказать, чтобы это была страстная любовь. Но в том, что дело кончится серьезным романом, не могло быть никакого сомнения.

24

ЛЮБОВЬ

Сказать по правде, Петя уже любил на своем веку многих. Во-первых, он любил ту маленькую черненькую девочку — кажется, Верочку,— с которой познакомился в прошлом году на елке у одного папиного сослуживца. Он любил ее весь вечер, сидел рядом с ней за столом, потом ползал впотьмах под затушенной елкой по полу, скользкому от напа́давших иголок.

Он полюбил ее с первого взгляда и был в полном отчаянии, когда в половине девятого ее стали уводить домой. Он даже начал капризничать и хныкать, когда увидел, как все ее косички и бантики скрываются под капором и шубкой.

Он тут же мысленно поклялся любить ее до гроба и подарил ей на прощанье полученную с елки картонажную мандолину и четыре ореха: три золотых и один серебряный.

Однако прошло два дня, и от этой любви не осталось ничего, кроме горьких сожалений по поводу так безрассудно утраченной мандолины.

Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле кадки с водой под абрикосой. Но эта любовь оказалась ошибкой, так как на другой же день Зоя так нахально мошенничала в крокет, что пришлось ей дать хорошенько крокетным молотком по ногам, после чего, конечно, ни о каком романе не могло быть и речи.

Потом мимолетная страсть к той красивой девочке на пароходе, которая ехала в первом классе и всю дорогу препиралась со своим отцом, лордом Гленарваном.

Но все это, разумеется, не в счет. Кто не испытывал таких безрассудных увлечений!

Что же касается Моти, то это совсем другое дело. Помимо того, что она была девочкой, помимо того, что у нее в ушах качались голубенькие сережки, помимо того, что она так ужасно бледнела и краснела и так мило двигала худыми лопатками,— помимо всего этого, она была еще и сестра товарища. Собственно, не сестра, а племянница. Но по возрасту Гаврика — совсем сестренка! Сестра товарища! Разве может быть в девочке что-нибудь более привлекательное и нежное, чем то, что она с е с т р а т о в а р и щ а? Разве не заключено уже в одном этом зерно неизбежной любви?

Петя сразу почувствовал себя побежденным. Пока они дошли до погреба, он влюбился окончательно.

Однако, чтобы Мотя как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут же напустил на себя невыносимое высокомерие и равнодушие.

Едва Мотя вежливо стала ему показывать своих кукол, аккуратно уложенных по кроваткам, и маленькую плиту с всамделишными, но только маленькими кастрюльками, сделанными отцом из обрезков цинка — что, если правду сказать, Пете ужасно понравилось,— как мальчик презрительно сплюнул сквозь зубы и, оскорбительно хихикая, спросил:

— Мотька, чего ты такая стриженая?

— У меня был тиф,— тоненьким от обиды голоском сказала Мотя и так глубоко вздохнула, что в горле у нее пискнуло, как у птички.— Хочете посмотреть картины?

Петя снисходительно согласился.

Они сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания, главным образом морские сражения.

Узкие лучи прожекторов пересекали по всем направлениям темно-синее липкое небо. Падали сломанные мачты с японскими флагами. Из острых волн вылетали белые фонтанчики взрывов. В воздухе звездами лопались шимозы.

Задрав острый нос, тонул японский крейсер, весь охваченный желто-красным пламенем пожара. В кипящую воду сыпались маленькие желтолицые человечки.

— Япончики! — шептала восхищенная девочка, ползая на коленях возле картины.

— Не япончики, а япошки,— строго поправил Петя, знавший толк в политике.

На другой картине лихой казак, с красными лампасами, в черной папахе набекрень, только что отрубил нос высунувшемуся из-за сопки японцу.

Из японца била дугой толстая струя крови. А курносый оранжевый нос с двумя черными ноздрями валялся на сопке совершенно отдельно, вызывая в детях неудержимый смех.

— Не суйся, не суйся! — кричал Петя, хохоча, и хлопал ладонями по теплой сухой земле, испятнанной известковыми звездами домашней птицы.

— Не совайся! — суетливо повторяла Мотя, поглядывая через плечико на красивого мальчика, и морщила худой, остренький нос, пестрый, как у Гаврика.

Третья картина изображала того же казака и ту же сопку. Теперь из-за нее виднелись гетры удирающего японца. Внизу было написано:

Генерал японский Ноги,
Батюшки,
Чуть унес от русских ноги,
Матушки!

— Не совайся, не совайся! — заливалась Мотя, прижимаясь доверчиво к Пете.— Правда, пускай тоже не совается!

Петя, насупившись, густо краснел и молчал, стараясь не смотреть на худенькую голую руку девочки с двумя

лоснившимися на предплечье шрамиками оспы, нежнотелесными, как облатки.

Но поздно. Он уже был влюблен по уши.

Когда же оказалось, что, кроме русско-японских картин, у Моти есть еще превосходные кремушки, орехи для игры в «короля-принца», бумажки от конфет и даже картонки, Петина любовь дошла до наивысшего предела.

Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! Никогда в жизни Петя не забудет его.

Петя заинтересовался, каким образом на ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколотые совсем недавно дырочки. Петя даже решился потрогать мочку Мотиного уха, нежную и еще припухшую, как долька мандарина.

Потом они поиграли в картонки, причем Петя начисто обыграл девочку. Но у нее сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко, и он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает!

Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в «дыр-дыра», иначе — в прятки.

Прячась друг от друга, они залезали в такие отдаленные, глухие местечки, сидеть в которых одному становилось даже страшновато.

Но зато как жгуче-радостно было слышать осторожное приближение робких шажков, сидя в засаде и обеими руками закрывая рот и нос, чтобы не фыркнуть!

Как дико колотилось сердце, какой неистовый звон стоял в ушах!

И вдруг из-за угла медленно-медленно выдвигается половина бледного от волнения, вытянутого лица с плотно сжатыми губами. Облупленный носик, круглый глаз, острый подбородок, чепчик с оборочками...

Глаза вдруг встречаются. Оба так испуганы, что вот-вот потеряют сознание. И тотчас неистовый, душераздирающий вопль торжества и победы:

— Петька! Дыр-дыра!

И оба лупят во все лопатки — кто скорее? — к месту, где лежит палочка-стукалочка.

— Дыр-дыра!

— Дыр-дыра!

Один раз девочка спряталась так далеко, что мальчик искал ее битых полчаса, пока наконец не догадался перелезть через задний плетень и сбегать на выгон.

Мотя сидела на корточках, полумертвая от страха, в яме, заросшей будяками. Поставив худой подбородок на исцарапанные колени, она смотрела исподлобья вверх, в небо, по которому плыло предвечернее облако.

Вокруг тыркали сверчки и ходили коровы. Было необыкновенно жутко.

Петя заглянул в яму. Дети долго смотрели друг другу в глаза, испытывая необъяснимое жгучее смущение, совсем не похожее на смущение игры.

«Дыр-дыра, Мотька!» — хотел крикнуть мальчик, но не мог вымолвить ни слова. Нет, это уже, конечно, не была игра, а что-то совсем, совсем другое.

Мотя осторожно вылезла из ямы, и они смущенно пошли во двор как ни в чем не бывало, поталкивая друг друга плечами, но в то же время стараясь не держаться за руки.

Тень облака прохладно скользила по бессмертникам городского выгона.

Впрочем, едва они перелезли обратно через плетень, как Петя опомнился.

— Дыр-дыра! — отчаянно закричал хитрый мальчик и кинулся к палочке-стукалочке, чтобы поскорее «задыркать» зазевавшуюся девочку.

Словом, все было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврика, подошедшего в самый разгар игры.

— Петька, как звать того матроса? — озабоченно спросил Гаврик.

— Какого матроса?

— Который прыгал с «Тургенева».

— Не знаю...

— Ты ж еще рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый черт из сыскного.

— Ну да... Ах, да!.. Жуков. Родион Жуков... Не мешай, мы играем.

Гаврик ушел озабоченный, а Петя тотчас забыл об этом, всецело поглощенный новой любовью.

Вскоре пришла Мотина мама звать ужинать:

— Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать, а то они, наверно, голодный.

Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая, как палка, и произнесла сдавленным голосом:

— Мальчик, хочете с нами кушать кулеша?

Только сейчас Петя почувствовал голод. Ведь он сегодня не обедал!

Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительно придымленной картошечкой и маленькими кубиками свиного сала!

После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой.

С ними пошел в город и Терентий. Он на минутку сбегал в дом и вернулся в коротком пиджаке и люстриновом картузике с пуговичкой, держа в руке тоненькую железную палочку от зонтика, такую самую, с какой обыкновенно гуляли одесские мастеровые в праздник.

— Тереша, не ходи, поздно,— умоляюще сказала жена, провожая мужа до калитки.

Она посмотрела на него с такой тревогой, что Пете почему-то стало не по себе.

— Сиди лучше дома! Мало что...

— Есть дело.

— Как хочешь,— покорно сказала она.

Терентий весело мигнул:

— Ничего.

— Не иди мимо Товарной.

— Спрашиваешь!

— Счастливого.

— Взаимно.

Терентий и мальчики зашагали в город.

Однако это была совсем не та дорога, по которой пришли сюда. Терентий вел их какими-то пустырями, переулками, огородами. Этот путь оказался гораздо короче и безлюднее.

По дороге Терентий остановился возле небольшого домика и постучал в окно. В форточку выглянуло худое, костлявое лицо человека с усами, опущенными на рот.

— Здорово, Синичкин,— сказал Терентий.— Выйди на минуточку. Есть новости.

Затем на улицу вышел в жилете поверх сатиновой ру-

бахи, высокий, тощий человек, напоминавший Пете «Дон-Кихота», которого он недавно читал.

Терентий и Синичкин пошептались, после чего путь продолжался.

Совершенно неожиданно они вышли на знакомую Сенную площадь. Здесь Терентий сказал Гаврику:

— Я еще сегодня к вам заскочу.

Кивнул головой и исчез в толпе.

Солнце уже село. Кое-где в лавочках зажигали лампы.

Петя ужаснулся: что будет дома!

Счастье кончилось. Наступила расплата. Петя старался об этом не думать, но не думать было невозможно.

Боже, на что стали похожи новые башмаки! А чулки! Откуда взялись эти большие круглые дыры на коленях? Утром их совсем не было. О руках нечего и говорить — руки, как у сапожника. На щеках следы дегтя. Боже, боже!

Нет, положительно дома будет что-то страшное!

Ну, пусть бы хоть отлупили. Но ведь в том-то и ужас, что лупить ни в коем случае не будут. Будут стонать, охать, говорить разрывающие душу горькие, но — увы! — совершенно справедливые вещи.

А папа еще, чего доброго, схватит за плечи и начнет изо всех сил трясти, крича: «Негодяй, где ты шлялся? Ты хочешь свести меня в могилу?», что, как известно, в десять раз хуже, чем самая лютая порка.

Эти и тому подобные горькие мысли привели мальчика в полное уныние, усугублявшееся безумными сожалениями по поводу картонок, так глупо отданных в порыве страсти первой попавшейся девчонке.

25

«МЕНЯ УКРАЛИ»

Казалось, никакая сила в мире не могла спасти Петю от неслыханного скандала. Однако недаром у него на голове была не одна макушка, как у большинства мальчиков, а две, что, как известно, является вернейшим признаком счастливчика. Судьба посылала Пете неожиданное избавление.

Можно было ожидать всего что угодно, но только не этого.

Недалеко от Сенной площади, по Старопортофранковской улице, спотыкаясь, бежал Павлик. Он был совершенно один.

По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слезы. В открытом квадратном ротике горестно дрожал крошечный язык. Из носу текли нежные сопли.

Он непрерывно голосил на букву «а», но так как при этом не переставал бежать, то вместо плавного: «а-а-а-а-а» — получалось икающее и прыгающее: «а! а! а! а! а!»

— Павлик?!!

Ребенок увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата.

— Петя, Петя — кричал он, дрожа и захлебываясь.— Петечка!

— Что ты здесь делаешь, скверный мальчишка? — сурово спросил Петя.

Ребенок вместо ответа стал икать, не в силах выговорить ни слова.

— Я тебя спрашиваю: что ты здесь делаешь? Ну? Негодяй, где ты шлялся? Ты, кажется, хочешь довести меня до могилы. Вот... набью тебе морду, тогда будешь знать!

Петя схватил Павлика за плечи и стал его трясти до тех пор, пока тот не прорыдал сквозь икоту:

— Меня... и!.. Меня ук... украли.

И опять залился слезами.

Что же случилось?

Оказывается, не одному Пете пришла в голову счастливая мысль на другой день после приезда самостоятельно погулять. Павлик тоже давно мечтал об этом.

Он, конечно, не собирался заходить так далеко, как Петя. В его планы входило лишь побывать на помойке да, в самом крайнем случае, сходить за угол посмотреть, как у подъезда штаба солдаты отдают ружьями честь. Но, на беду, как раз в это время во двор пришел Ванька-Рутютю, иначе говоря — Петрушка. Вместе с другими детьми Павлик посмотрел все представление, показавшееся слишком коротким. Впрочем, распространился слух, что в другом дворе будут показывать больше.

Дети перекочевали вслед за Ванькой-Рутютю в другой двор. Но там представление оказалось еще короче. Оно закончилось тем, что Ванька-Рутютю — длинноносая кукла в колпаке, похожем на стручок красного перца,

с деревянной шеей паралитика — убил дубинкой городового. Между тем решительно всем было известно, что потом должно еще обязательно появиться страшное чудовище — нечто среднее между желтой мохнатой уткой и крокодилом — и, схватив Ваньку-Рутютю зубами за голову, утащить его в преисподнюю.

Однако этого-то и не показали. Может быть, потому, что слишком мало падало из окон медяков. Не было сомнения, что в следующем дворе дело пойдет лучше.

Жадно поглядывая на плетеную кошелку с таинственно спрятанными там куклами, дети, как очарованные, переходили таким образом из одного двора в другой вслед за пестрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки, с ширмой под мышкой.

Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей. Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими черными зрачками, ребенок забыл все на свете: и тетю, и папу, и даже Кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном.

Мальчик потерял всякое представление о времени и пришел в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер и он идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один.

Пестрая женщина и мужчина с ширмой шли быстро, очевидно торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился все более незнакомым, подозрительным, Павлику показалось, что мужчина и женщина о чем-то зловеще шепчутся.

Поворачивая за угол, они оба вдруг обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам.

О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Бр. Крахмальниковы» можно отравиться или что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных.

Сомненья нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата.

С громким ревом Павлик бросился наутек и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю.

Задав братику основательную трепку, Петя торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тетя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок заявлять о пропаже детей.

Увидев Павлика целым и невредимым, тетя бросилась к нему, не зная, что делать — плакать или смеяться.

Она заплакала и засмеялась в одно и то же время. Потом под горячую руку хорошенько отшлепала беглеца. Потом обцеловала всю его зареванную мордочку. Потом опять отшлепала. И только после этого обратила грозное лицо к Пете:

— А ты, друг мой?

— А ты где шлялся, разбойник? — закричал отец, хватая мальчика за плечи.

— Искал Павлика, — скромно ответил Петя. — По всему городу бегал, пока не нашел. Скажите спасибо. Если б не я, его бы уже давно украли.

И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он все-таки его схватил за шиворот и стал звать городового. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам все-таки удрал.

— А то б я его в участок посадил, истинный крест!

Хотя Петин рассказ, против ожидания, не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав: «Как не стыдно языком молоть... Ведь уши вянут!» — однако ничего не поделаешь: не кто другой, а именно Петя привел домой пропавшего Павлика. Благодаря этому Петя и вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала.

На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками!

...Тем временем Гаврик вернулся в хибарку, где за-

стал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности.

— А это у тебя кто лежит? — спросил вдруг господин с портфелем, заметив матроса.

Дедушка замялся.

— Больной, что ли? Если больной, то что ж ты его не отведешь в больницу?

— Не,— сказал дедушка, напуская на себя веселое равнодушие,— он не больной, а только пьяный.

— А, пьяный! Сын, что ли?

— Не.

— Чужой?

— Я же вам говорю, ваше благородие: пьяный!

— Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?

— Как это — откуда? — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком.— Ну, пьяный и пьяный, известное дело. Валялся в бурьяне, и го́ди!

Господин внимательно посмотрел на матроса:

— Что ж он, так и валялся в бурьяне в одних подштанниках?

— Так и валялся.

— Эй, ты, а ну-ка, дыхни! — закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу.

Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стенке, закрыв голову подушкой.

— Пьяный, а вином не пахнет,— заметил господин и, строго уставившись на дедушку, прибавил:— Смотри!

С тем комиссия и удалилась.

Гаврику это не понравилось.

Проходя мимо ресторана, он видел за столиком околоточного надзирателя, того самого вредного надзирателя, которого местные рыбаки называли не иначе, как «наш около-лодочный».

Он пил пиво, ставя кружку на толстый кружочек из прессованного картона с надписью «Пиво Санценбахера». И не столько пил, сколько посматривал на серебряные часы.

...Матрос чувствовал себя гораздо лучше. Как видно, кризис уже миновал. Жара не было.

Он сидел на койке, потирая колючие щеки, и говорил:

— Не иначе, как сейчас же надо скрываться.

— Куда ж ты пойдешь без штанов? — сокрушенно заметил дедушка.— Пока не смеркнет, надо в хате сидеть. Одно. Гаврик, кушать хочешь?

— Я у Терентия повечерял.

Дедушка высоко поднял брови. Вот оно что. Значит, внучек уже успел побывать у Терентия. Ловко!

— Как там дело?

— Собирался сегодня до нас заскочить.

Старик пожевал губами и еще выше поднял брови, удивляясь, какой у него вырос бедовый внучек: все понимает лучше всякого взрослого. И, главное, хитрый! У, хитрый!

Несмотря на свои девять с половиной лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено. Мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков, а одесские рыбаки, в сущности, мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих из доков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения.

Все эти люди на своем веку довольно хлебнули горя и на собственной шкуре испытали, «почем фунт лиха», что взрослые, что дети — безразлично. Может быть, детям было даже еще хуже, чем взрослым.

Шел тысяча девятьсот пятый год, год первой русской революции.

Все нищие, обездоленные, бесправные подымались на борьбу с царизмом. Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая: не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости.

Все эти качества совершенно незаметно, исподволь, росли и развивались в маленьком рыбаке.

Брат Гаврика, Терентий, тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошел работать в вагонные мастерские. По множеству признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно — «движение».

Бывая в гостях у Терентия на Ближних Мельницах, Гаврик частенько слышал, как братон говорил слова

«комитет», «фракция», «явка»... И хотя смысла их Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому: «забастовка», «сыскное», «листовка».

Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки — эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды, по просьбе Терентия, Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбачьи шаланды.

Тогда Терентий сказал:

— А как кто-нибудь увидит — прямо кидай их в воду и тикай. А как поймают — скажи, что нашел в бурьяне.

Но все обошлось благополучно.

Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему, Терентию. Мальчик знал, что Терентий все устроит. Однако он понимал, что следует еще кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом «комитете».

Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно.

Несколько раз матрос приоткрывал дверь и осторожно выглядывал наружу. Но хотя вокруг было уже довольно темно, все же не настолько, чтобы можно было выйти в таком виде, не обратив на себя внимания, тем более что на берегу еще оставалось много народа и с моря слышались песни катающихся на лодках.

Матрос снова садился на койку и, уже не стесняясь старика и Гаврика, громко говорил:

— Драконы... Шкуры... Ну, только пусть они мне когда-нибудь попадут в руки!.. Я из них не знаю что наделаю... Голову положу, а наделаю...— и постукивал тихонько по койке литым кулаком.

26

ПОГОНЯ

Уже смеркалось, когда дверь хибарки неожиданно открылась и вошел большой человек, на миг заслонив собой звезды. Матрос вскочил.

— Ничего, дядя, сидите, это наш Терентий,— сказал Гаврик.

Матрос сел, силясь в темноте рассмотреть вошедшего.

— Вечер добрый,— сказал голос Терентия.— Кто тут есть, никого не вижу. Почему лампу не зажигаете: керосину нема, чи шо?

— Ще трошки есть,— прокряхтел дедушка и зажег лампочку.

— Здорово, диду, как дело? А я вышел сегодня в город — и дай, думаю, заскочу до своих родичей. Э, да, я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате! Здравствуйте!

Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса при слабом свете разгоравшейся коптилки.

— Наш утопленник,— с добродушной усмешкой пояснил дедушка.

— Слыхал.

Матрос с сумрачным сомнением смотрел на Терентия и молчал.

— Родион Жуков? — спросил Терентий почти весело.

Матрос вздрогнул, но взял себя в руки. Он еще тверже уперся кулаками в койку и, сузив глаза, выговорил с дерзкой улыбкой:

— Допустим, Жуков. А вы кто такой, что я вам обязанный отвечать? Я, может быть, обязанный отвечать лишь перед одним комитетом.

Усмешка сошла с рябоватого лица Терентия. Гаврик никогда не видел брата таким серьезным.

— Можешь меня считать за комитет,— немного подумав, заметил Терентий и сел рядом с матросом на койку.

— Чем вы докажете? — упрямо сказал матрос, отвергая товарищеское «ты» и отодвигаясь.

— Надо сначала, чтоб вы доказали,— ответил Терентий.

— Кажется, мои факты довольно-таки ясные.— И матрос сердито показал глазами на ноги в подштанниках.

— Мало что!

Терентий подошел к двери, приоткрыл ее и негромко сказал в щель:

— Илья Борисович, зайдите на минуту.

Тотчас зашумел бурьян, и в хибарку вошел маленький, щуплый, очень молодой человек в пенсне с черной тесемкой, заложенной за ухо. Под старой расстегнутой тужуркой виднелась черная сатиновая косоворотка, подпоясанная ремешком. На обросшей голове сидела приплюснутая техническая фуражка.

Матросу показалось, что он уже где-то видел этого «студента».

Молодой человек стал боком, поправил пенсне и посмотрел на матроса одним глазом.

— Ну? — спросил Терентий.

— Я видел товарища утром пятнадцатого июня на Платоновском молу в карауле у тела матроса Вакулинчука, зверски убитого офицерами,— быстро и без передышки проговорил молодой человек.— Вы там были, товарищ?

— Факт!

— Видите. Стало быть, я не ошибся.

Тогда Терентий молча достал из-под пиджака сверток и положил на колени матросу.

— Пара брюк, ремешок, тужурка, ботинок, к сожалению, не достали, пока будете ходить так, а потом купите, не теряя времени — одевайтесь, мы можем отвернуться,— так же быстро и без знаков препинания высыпал молодой человек, прибавив:— а то мне кажется, что за этим домом слежка.

Терентий мигнул:

— А ну-ка, Гаврик.

Мальчик сразу понял и тихонько выбрался из хибарки в темноту. Он остановился. Прислушался. Ему показалось, что на огороде трещит сухая картофельная ботва.

Он пригнулся, сделал несколько шажков и вдруг, привыкнув к темноте, ясно увидел посреди огорода две неподвижные фигуры.

У мальчика захватило дух. В ушах так зашумело, что он перестал слышать море. Прикусив изо всех сил губу, Гаврик совсем неслышно пробрался за хибарку, с тем чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на тропинке.

На тропинке стояло еще двое, из которых один белел кителем.

Гаврик пополз к горке и увидел на ней несколько городовых. Он сразу узнал их по белым кителям. Хибарка была окружена.

Мальчик хотел броситься назад, как вдруг почувствовал большую горячую руку, крепко схватившую его сзади за шею. Он рванулся, но тотчас получил подножку и полетел лицом в бурьян.

Сильные руки схватили его. Он вывернулся и, к ужасу

своему, нос к носу увидел над собой усатого, его открытый рот, из которого разило говядиной, его жесткий, как сосновая доска, солдатский подбородок.

— Дяденька-а-а,— притворно тонким голосом заплакал Гаврик.

— Молчи, шкура...— зашипел усатый.

— Пусти-и-ите!

— А ну, покричи у меня, сволочуга,— сквозь зубы выцедил усатый, взяв железными пальцами мальчика за ухо.

Гаврик съежился и диким голосом закричал, повернув лицо к хибарке:

— Тикайте!

— Молчи, убью!

Усатый так рванул ухо, что оно затрещало. Показалось, что лопнула голова. Ужасная, ни с чем не сравнимая боль обожгла мозг. Вместе с тем Гаврик почувствовал прилив ненависти и ярости, от которой потемнело в глазах.

— Тикайте! — еще раз закричал он во всю глотку, корчась от боли.

Усатый навалился на Гаврика, продолжая одной рукой изо всех сил крутить ухо, а другой затыкая рот. Но мальчик катался по земле, кусая потную, ненавистную волосатую руку, и, обливаясь слезами, исступленно орал:

— Тикайте! Тикайте! Тика-а-а-айте-е-е!

Усатый яростно отшвырнул мальчика и кинулся к хибарке. Раздался длинный полицейский свисток.

Гаврик поднялся на ноги и сразу понял, что его крик был услышан: три фигуры — две рослые и одна маленькая — выскочили из хибарки и, спотыкаясь, бежали через огород.

Два белых кителя преградили им дорогу. Беглецы хотели повернуть, но увидели, что окружены.

— Стой! — закричал в темноте незнакомый голос.

— Илья Борисович, стреляйте! — услышал мальчик отчаянный крик Терентия.

В тот же миг сверкнули огоньки, и раздались подряд три револьверных выстрела, похожих на хлопанье кнута. По крикам и возне Гаврик понял, что в темноте происходит свалка.

Неужели их возьмут? Ничего не соображая от ужаса,

Гаврик бросился вперед, как будто мог чем-нибудь помочь.

Не успел он пробежать и десяти шагов, как увидел, что из свалки вырвались все те же три фигуры — две большие и одна маленькая,— кинулись к обрыву и пропали в темноте.

— Держи! Держи-и-и!

Вылетел красный сноп огня. Ударил сильный выстрел из полицейского смит-вессона. Вверху на обрывах заливались свистки городовых. Было похоже, что оцеплен весь берег.

Мальчик в отчаянии прислушивался к шуму погони. Он совершенно не понимал, зачем Терентий выбрал для бегства это направление. Надо быть сумасшедшим, чтобы взбираться наверх: там засада, и наверняка их там схватят. Лучше было бы проскользнуть вдоль берега.

Гаврик пробежал еще немного, и ему показалось, что он видит, как по крутому, почти отвесному обрыву карабкаются три фигурки. Верная гибель!

— Ой, Терентий, куда ж вы полезли! — с отчаянием шептал мальчик, кусая руки, чтоб не заплакать, а едкие слезы щекотали нос и кипели в горле.

И вдруг, в одну секунду, мальчик понял, зачем понадобилось им лезть на обрыв. Он совсем упустил из виду... А ведь это так просто! Дело в том, что... Но в это время усатый налетел на Гаврика, схватил его под мышку и, разрывая на нем рубаху, поволок его обратно. Он с силой втолкнул мальчика в хибарку. Возле нее уже стояло двое городовых. Гаврик больно треснулся скулой о косяк и упал в угол на дедушку, сидевшего на земле.

— Уйдут — головы сорву! — крикнул усатый городовым и выбежал вон.

Гаврик сел рядом с дедушкой, совершенно так же как и он, подвернув ноги. Они сидели, ничего не говоря, прислушиваясь к свисткам и крикам, мало-помалу затихающим в отдалении. Наконец шума совсем не стало слышно.

Тогда Гаврик почувствовал ухо, о котором было забыл. Оно ужасно болело. Казалось раскаленным. До него страшно было дотронуться.

— У, дракон, чисто все ухо оторвал,— проговорил Гаврик, изо всех сил сдерживая слезы и желая казаться равнодушным.

Дедушка искоса посмотрел на него. Глаза старика были неподвижны, страшные своей глубокой пустотой. Губы мягко жевали. Он долго молчал. Наконец покачал головой и укоризненно произнес:

— Видели вы, господа, такое дело, чтобы ухи детям обрывать? Разве это полагается?

Он тяжко вздохнул и опять зажевал губами. Вдруг суетливо наклонился к Гаврику, испуганно посмотрел на дверь — не подслушивает ли кто — и шепнул:

— Ничего не слыхать, ушли они или остались?

— Они на обрыв полезли,— быстро и тихо сказал мальчик.— Терентий их повел до катакомбы. Если их по дороге не постреляют, непременно уйдут.

Дедушка повернул лицо к чудотворцу, прикрыл глаза и медленно, размашисто перекрестился, с силой вдавливая сложенные щепоткой пальцы в лоб, в живот, в оба плеча. Крошечная, еле заметная слеза поползла по щеке и пропала в морщине.

27

ДЕДУШКА

Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиливали известняк для построек. Они и сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой.

Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой.

Но недаром же Терентий был в свое время рыбаком. Он великолепно знал одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю.

Один из таких выходов находился в ста шагах позади хибарки, посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и бересклетом. Маленький ручеек просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползучие растения и бурьян.

Отбившись от первого натиска городовых и сыщиков, Терентий повел товарищей прямо к знакомой расселине.

Преследователи понятия о ней не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами пробраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду.

Поэтому после первого же выстрела городовым было приказано больше не стрелять.

Однако, прождав внизу с четверть часа, пристав Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники.

Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся еще через четверть часа, сообщив, что беглецы наверху не появлялись. Таким образом, их не было ни наверху, ни внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посредине обрыва, в кустах, и ждали, пока их схватят.

Тем не менее пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя «этим болванам».

Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы, в самом деле, сквозь землю!

— Ваше высокоблагородие! — раздался вдруг испуганный голос сверху.— Пожалуйте сюда!

— Что там такое?

— Так что, ваше высокоблагородие, катакомба!

Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку.

Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами черную узкую шель в скале.

Пристав мигом понял, что дело проиграно. Ушла такая добыча! Он затрясся от ярости, затопал узкими сапогами и, тыча кулаками в белых перчатках направо и налево, куда попало, в морды, в скулы, в усы, кричал залихватским, осипшим от крика голосом:

— Что же вы стоите, бал-л-ваны?! Вперед! Обыскать

все катакомбы! Головы посрываю, мор-р-ды р-р-р-раскрошу к чертовой матери! Чтоб негодяи были схвачены! Марш!

Но он сам понимал, что все равно ничего не выйдет. Чтобы обыскать все катакомбы, надо по крайней мере недели две. Да и все равно напрасно, так как прошло уже больше получаса и беглецы, несомненно, уже давно в другом конце города.

Несколько городовых с неохотой полезли в щель и, беспрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая сырые известняковые стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме.

Пристав изо всех сил плюнул и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул перекрахмаленный воротник пикейного кителя с такой силой, что отлетели крючки.

Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошел к хибарке и с остервенением дернул дверь. Городовые в ужасе вытянулись.

Пристав вошел в каморку и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый.

— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить,— таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку:— хозяин конспиративной квартиры, а это его мальчишка.

Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятерней за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул:

— Тебя, бал-лвана, не спрашивают. Сам знаю.

Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдет что-то страшное. Бледный и маленький, с красным, распухшим ухом, он смотрел не мигая на стройного, плечистого офицера в голубых шароварах и черной лаковой портупее через плечо.

Постояв таким образом не менее минуты, показавшейся мальчику часом, пристав присел боком на койку. Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлек из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил желтую папироску.

«Фабрики Асмолова»,— подумал Гаврик.

Пристав пустил из ноздрей дым, произнес вместе с

дымом: «Н-нусcс» — и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенело в ушах:

— Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера!

Дедушка суетливо вскочил. Скрючив босые черные ноги и оправляя на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами.

Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожжами натягивалась под подбородком сухая кожа со старинным шрамом.

— Нелегальных прячешь? — ледяным голосом произнес пристав.

— Никак нет,— прошептал дедушка.

— Говори: кто у тебя только что был?

— Не могу знать.

— Ах, ты не можешь знать! — И офицер медленно привстал.

Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся в стенку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать,— твердо сказал старик, двигая скулами.

Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул.

— За что же вы бьете, ваше благородие? — тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу запачканную руку.

— Молчать! — заорал офицер бледнея.

Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать...

Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришелся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз.

— Дядя, не бейте его, он — старик! — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу.

Но пристав уже выходил из хибарки, крича:

— Взять мерзавца! Отвезти!

Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми, бешеными слезами.

Некоторое время он сидел не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло. Иногда мальчик нарочно затыкал здоровое ухо. Тогда со всех сторон его охватывала глубокая, немая тишина. Становилось страшно, как будто в этой тишине его молчаливо подстерегала какая-то опасность. Он открывал ухо, как бы торопясь выпустить на волю запертые звуки. Но одно ухо не могло вместить в себя все их разнообразие.

То слышались редкие, сильные вздохи моря, и ничего больше. То начиналась хрустальная музыка сверчков, и тогда прекращался шум моря. То теплый бриз пробегал по бурьяну, наполняя ночь шелестом, не оставляющим места ни для сверчков, ни для моря. То слышался один лишь треск лампочки, в которой выгорел керосин.

Внезапно мальчик ясно почувствовал свое одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой.

Роскошная августовская ночь висела над миром. Черное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звездами. Звон сверчков подымался, струясь, до самого Млечного Пути. Но какое дело было измученному и оскорбленному ребенку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым?

Гаврик бежал изо всех сил.

Он догнал дедушку лишь в городе, на Старопортофранковской улице, возле самого участка.

Два городовых — один сидя, а другой стоя — везли дедушку на извозчике. Старик лежал, соскользнув с сиденья, в ногах у городового, поперек дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу, грязному от пыли и крови, бежал свет газовых фонарей.

Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота.

— Дедушка! — закричал мальчик.

Городовой слегка стукнул Гаврика ножнами шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один.

28
УПРЯМАЯ ТЕТЯ

Наступил миг величайшего Петиного торжества и счастья.

Не было еще и часу дня, а он уже обегал всех знакомых в доме, показывая свою новенькую гимназическую фуражку и возбужденно рассказывая, как он только что экзаменовался.

По совести признаться, рассказывать было почти нечего. Никакого экзамена, собственно, не было — было легкое приемное испытание, продолжавшееся пятнадцать минут. Оно началось в половине одиннадцатого, а в пять минут двенадцатого приказчик в магазине рядом с гимназией уже вручил мальчику, галантно улыбаясь, его старую соломенную шляпу, завернутую в бумагу.

Фуражку Петя как надел перед зеркалом в магазине, так уже и не снимал до самого вечера.

— Ух, как я ловко выдержал экзамен! — возбужденно говорил Петя, торопливо шагая по улице.

Он заглядывал во все стекла, чтобы лишний раз увидеть себя в фуражке.

— Друг мой,— замечала тетя, у которой от смеха дрожал подбородок,— успокойся. Это был не экзамен, а всего лишь испытание.

— Ну, тетя! Как вы можете так говорить? — гневно багровея и топая ногами, на всю улицу кричал Петя, готовый зарыдать от обиды.— Ведь вы же не видели, а утверждаете! Это был самый настоящий экзамен, а вы в это время сидели в приемной и не имеете права так утверждать! Я вам говорю, что был эк-за-мен!

— Конечно. Я дура, а ты умный! Было испытание.

— А вот экзамен!

— Я ему — брито, а он мне — стрижено.

Этими словами тетя весьма прозрачно намекала на старинный украинский анекдот про одного упрямца, который поспорил с женой: стрижена или брита борода у волостного писаря.

Упрямец против всякой очевидности кричал «стрижено» до тех пор, пока разъяренная жена не кинула его в речку. Уже утопая, он продолжал показывать пальцами над водой, что стрижено.

Но Петя не обратил на этот намек никакого внимания и со слезами в голосе повторял:

— А вот экзамен, а вот экзамен!

У тети было доброе сердце. Ей стало жаль отнимать у племянника самую дорогую часть его торжества. «Экзамен» — одно слово чего стоит! Пусть же мальчик радуется. Не стоит его огорчать в этот знаменательный день.

Тут тетя даже решила немножко покривить душой.

— Впрочем,— сказала она с тонкой улыбкой,— я, вероятно, ошиблась. Кажется, это был действительно экзамен.

Петя просиял:

— Ого, еще какой экзамен!

Но в глубине души Петю, конечно, грызло сомнение. Все произошло как-то чересчур быстро и легко для «экзамена».

Правда, детей выстроили в пары и повели «в класс». Правда, был длинный стол, покрытый синим сукном. Правда, сидели строгие преподаватели в синих мундирах, в золотых очках и пуговицах, в орденах, в крахмальных, даже на вид твердых, как скорлупа, манишках и гремящих манжетах. Среди них выделялись муаровая ряса и женские кудри священника.

Опускался желудок, потели ноги, ледяной пот выступал на висках... Все было, как полагается испокон веков.

Но сам экзамен... Нет, теперь Петя ясно понимал, что это было все-таки лишь испытание.

Как только мальчики расселись по партам, один из преподавателей тотчас уткнул нос в большую бумагу на столе и произнес, прекрасно, отчетливо, кругло выговаривая каждое слово:

— Что ж, приступим. Александров Борис, Александров Николай, Бачей Петр. Пожалуйте сюда.

Услышав свою фамилию и имя, прозвучавшие так чуждо и вместе с тем так жгуче в этом гулком, пустынном классе, Петя почувствовал, будто его внезапно ударили кулаком под ложечку. Он никак не предполагал, что страшный миг наступит так быстро.

Мальчик был застигнут врасплох. Он густо покраснел и, почти теряя сознание, подошел по скользкому полу к столу.

Три мальчика поступили в распоряжение преподавателей.

Петя достался священнику.

— Нуте-с,— сказал громадный старик, заворачивая широкий рукав рясы.

Затем он воткнул в узкую грудь кинжал наперсного креста на серебряной цепочке. Цепочка была из плоских звеньев, с прорезью, как в кофейных зернышках.

— Подойди, отрок. Как звать?

— Петя.

— Петр, дорогой мой, Петр. Петя дома остался. Фамилия как?

— Бачей.

— Василия Петровича сын? Преподавателя ремесленного училища из школы десятников?

— Да.

Священник откинулся на спинку стула в мечтательной позе курильщика.

Он прищурился на Петю и с непонятной для мальчика усмешкой сказал:

— Знаю, как же. Либеральный господин. Нуте-с...— Священник еще больше откинулся.

Теперь маленький стул качался на двух задних ножках.

— Какие знаешь молитвы? «Верую» читаешь?

— Читаю.

— Говори.

Петя набрал полон рот воздуха и пошел чесать без знаков препинания, норовя выпалить всю молитву одним духом:

— Верую во единого бога отца вседержителя творца неба и земли видимым же всем и невидимым и во единого господа Иисуса Христа сына...

Тут воздух кончился, и Петя остановился.

Торопливо, чтобы священник не подумал, что он забыл, мальчик со всхлипом вобрал в себя свежую порцию воздуха, но священник испуганно махнул рукой:

— Довольно, довольно. Иди дальше.

И тут же мальчик поступил в распоряжение математика.

— До скольких умеешь считать?

— До сколько угодно,— сказал Петя, ободренный триумфом по закону божьему.

— Прекрасно. Считай до миллиона.

Пете показалось, что он провалился в прорубь, он даже — совершенно непроизвольно — сделал ртом такой звук, будто захлебнулся. С отчаянием посмотрел по сторонам, ища помощи. Но все вокруг были заняты, а математик смотрел в сторону сквозь очки, в стеклах которых выпукло и очень отчетливо отражались два больших классных окна с зеленью гимназического сада, с голубыми куполами Пантелеймоновского подворья и даже с каланчой Александровского участка, на которой висело два черных шарика, означавших, что во второй части — пожар.

Считать до миллиона... Петя погиб!

— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь...— старательно начал мальчик, исподтишка загибая пальцы и блудливо, но грустно улыбаясь,— восемь, девять, десять, одиннадцать...

Математик бесстрастно смотрел в окно. Когда удрученный мальчик произнес «семьдесят девять», учитель сказал:

— Достаточно. Таблицу умножения учил?

— Одиныжды один — один, одиныжды два — два, одиныжды три — три,— быстро и звонко начал Петя, боясь, чтобы его не прервали, но преподаватель кивнул головой:

— Будет.

— Я еще знаю сложение, вычитание, умножение и деление!

— Будет. Ступай дальше.

Что ж это такое, рта не дают открыть? Даже обидно!

Петя перешел к следующему преподавателю, с орденом, просвечивающим сквозь сухую бороду.

— Читай вот от сих пор.

Петя с уважением взял книгу в мраморном переплете и посмотрел на толстый желтый ноготь, лежавший на крупном заголовке «Лев и собачка».

— «Лев и собачка,— начал Петя довольно бойко, хотя и запинаясь от волнения.— Лев и собачка. В одном зверинце находился лев. Он был очень кровожаден. Сторожа боялись его. Лев пожирал очень много мяса. Хозяин зверинца не знал, как тут быть...»

— Хватит.

Петя чуть не заплакал. Еще даже не дошло до собачки, а он уже — «хватит»...

— Стихотворение какое-нибудь на память знаешь?

Этого момента Петя ждал с трепетом тайного торжества. Вот тут-то он себя наконец покажет в полном блеске!

— Знаю «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова.

— Ну, скажи.

— Сказать с выражением?

— Скажи с выражением.

— Сейчас.

Петя быстро отставил ногу, что являлось совершенно необходимым условием выразительного чтения, и гордо закинул голову.

— «Парус», стихотворение М. Ю. Лермонтова! — провозгласил он с некоторым завыванием.

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном!

Наскоро сделав обеими руками знак удивления и вопроса, он продолжал, торопясь сказать как можно больше, пока его не остановили:

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит...
Увы, он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Петя торопливо показал жестом «увы», но преподаватель успел замахать руками:

— Хватит.

— Я сейчас кончу, там еще чуть-чуть, — простонал мальчик.

Под ним струя светлей лазури...

— Хватит, хватит. Иди домой.

— А еще больше ничего не надо? Я еще знаю «Как ныне сбирается...», стихотворение А. С. Пушкина.

— Ничего больше не надо. Можешь сказать родителям, что ты принят. Вот и все.

Петя был ошеломлен. Он минуты две стоял посредине класса, не зная, что же теперь делать.

Казалось совершенно невероятным, что это страшное и загадочное событие, к которому он с трепетом готовился все лето, уже совершилось.

Наконец мальчик неловко шаркнул ногой, споткнулся и бросился из класса. Но через секунду, как очумелый, вбежал назад и спросил прерывающимся от волнения голосом:

— Гимназическую фуражку уже можно покупать?

— Можно, можно. Ступай.

Петя ворвался в приемную, где на золоченом стуле под гипсовым бюстом Ломоносова сидела тетя в летней шляпе с вуалью и в длинных перчатках.

Он кричал так громко, что его, несомненно, слышали на улице извозчики.

— Тетя! Идем скорее! Они сказали, что уже надо покупать гимназическую фуражку!

20

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ УЧАСТОК

Ах, какое это было блаженство — покупать фуражку!

Сначала ее долго примеривали, потом торговались, потом выбирали герб, эту изящнейшую серебряную вещицу. Она состояла из двух скрещенных колючих веточек с «О. 5. Г.» между ними — вензелем Одесской пятой гимназии.

Герб выбрали самый большой и самый дешевый, за пятнадцать копеек.

Приказчик проткнул шилом две дырки в твердом околыше синей касторовой фуражки и вставил в них герб, отогнув с внутренней стороны латунные лапки.

Дома фуражка с гербом вызвала общий восторг. Все норовили потрогать ее. Но Петя не давал. Любоваться — пожалуйста, любуйтесь, а руками не хватать!

Папа, Дуня, Павлик — все наперебой спрашивали: «Сколько стоит?», как будто в этом было дело.

Петя горячо отвечал всем:

— Руб сорок пять фуражка и пятнадцать герб, да это что? Вот если бы видели, как я выдержал экзамен, вы б тогда знали!

Глядя на фуражку, Павлик завистливо косил глаза и сопел, каждую минуту готовый зареветь.

Затем Петя побежал показывать фуражку вниз, в лавочку, Нюсе Когану.

Нюся Коган опять гостил на лимане. Наказание!

Зато чрезвычайно заинтересовался новой фуражкой отец Нюси, старик Коган, лавочник, по прозвищу «Борис — семейство крыс».

Надев очки, он долго рассматривал фуражку со всех сторон, цокая языком — «ц-ц-ц» — и наконец задал вопрос:

— Сколько стоит?

Обегав всех знакомых в доме, Петя отправился на полянку и показал фуражку солдатам. Солдаты тоже спросили, сколько стоит. Больше показывать было некому, а не прошло еще и половины дня!

Петя был в отчаянии.

Вдруг он увидел Гаврика, шедшего под забором родильного приюта. Петя бросился к приятелю, оглашая воздух криками и размахивая фуражкой.

Но — боже мой! — что сделалось с Гавриком? Его маленькие глаза были обведены коричневыми кругами. Они тусклой злобой блестели на худом, немытом лице. Рубаха была изодрана. Одно ухо, лилово-красное, распухшее, сразу бросалось в глаза, пугая своим страшным неправдоподобием.

«Ух, как я ловко выдержал экзамен!» — хотел было крикнуть Петя, но слова эти застряли у него в горле.

Он прошептал:

— Ой! С кем ты дрался? Кто тебя побил?

Гаврик угрюмо усмехнулся, опуская глаза.

— А ну покажь,— сказал он вместо ответа и протянул руку к фуражке.— Сколько стоит?

Хотя давать фуражку в чужие руки было мучительно, все же Петя — правда, с болью в сердце — позволил Гаврику потрогать обновку.

— Только ты не попорти!

— Не дрейфь.

Мальчики уселись под кустиком возле помойки и принялись всесторонне рассматривать фуражку.

Гаврик тотчас открыл в ней множество тайн и возможностей, ускользнувших от глаз Пети.

Во-первых, обнаружилось, что вынимается тонкий стальной обруч, распирающий дно. Обруч был оклеен за-

ржавленной бумагой и, вытащенный из фуражки, представлял самостоятельную ценность.

Из него ничего не стоило наломать массу маленьких стальных пластинок, годных хотя бы для того, чтобы класть на рельсы под дачный поезд — интересно, что с ними сделается!

Во-вторых, была черная сатиновая подкладка с напечатанной золотом прописью: «Бр. Гуральник». Если ее немножко отодрать, за нее можно прятать различные мелкие вещи — ни за что никто не найдет!

В-третьих, кожаный козырек, покрытый снаружи черным лаком, можно легко сделать более блестящим, если хорошенько натереть зелеными стручками дерева, носящего среди мальчиков название «лаковое».

Что касается герба, то его немедленно надо подогнуть по моде и даже слегка подрезать веточки.

Мальчики тут же с жаром принялись за дело и работали до тех пор, пока не извлекли из фуражки все удовольствия, какие в ней заключались.

Это немного развлекло Гаврика.

Но, когда фуражка окончательно потеряла человеческий вид и надоела, Гаврик снова стал угрюм.

— Слышь, Петька, вынеси кусок хлеба и два куска сахару,— сказал он вдруг с напускной грубостью.— Отнесу деду.

— Куда?

— В участок.

Петя смотрел на приятеля широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами.

Гаврик сумрачно усмехнулся и сплюнул под ноги:

— Ну, чего смотришь? Не понимаешь, чи шо? Маленький? Нашего деда вчерась забрали в участок. Надо нести передачу.

Петя продолжал ничего не понимать.

Он слышал, что в участок забирают пьяниц, буянов, воров, босяков. Но — дедушку Гаврика? Это было выше его понимания.

Петя прекрасно знал старика: мальчик часто приходил к Гаврику в гости, на берег.

Сколько раз дедушка брал его вместе с Гавриком в море ловить бычков! Сколько раз он угощал его своим особенным, душистым и придымленным, чаем, всегда изви-

няясь, что «только нема сахару»! Сколько раз он налаживал Пете грузило и учил, как надо привязывать лесу!..

А какие смешные украинские поговорки были у него припасены на всякий случай жизни, какое множество историй из времен турецкой кампании, какую уйму солдатских анекдотов он знал!

Бывало, сидит сам, как турок, подвернув под себя ноги, штопает сеть специально вырезанной деревянной иглой и рассказывает и рассказывает. Животики можно надорвать. И про то, как солдат топор варил, и про бомбардира, попавшего в рай, и про денщика, так ловко обманувшего пьяного офицера...

В жизни не встречал Петя такого любезного, гостеприимного хозяина. Сам рассказывает охотно, но и других слушает с удовольствием, с радостью.

Начнет Петя, бывало, что-нибудь рассказывать, увлечется, размахается руками, заврется до того, что уши вянут, а дедушка ничего — сидит и серьезно кивает головой:

— А что вы себе думаете, очень даже просто могло случиться!

И такого человека забрали в участок! Невероятно!

— Да за что же, за что?

— А вот за то самое!

Гаврик вздохнул солидно, как взрослый, немного помолчал и вдруг, прислонившись плечом к другу, таинственно шепнул:

— Слухай...

И он рассказал Пете, что́ случилось ночью. Конечно, он рассказал не все. Он ни словом не упомянул ни о матросе, ни о Терентии. Из его рассказа выходило, что ночью к ним в хибарку прибежали каких-то трое, которые спрятались от городовых. Остальное в точности соответствовало тому, что было.

— Тут этот самый дракон ка-ак пошел мне накручивать ухи!

— Я б ему так наддал, так наддал!..— возбужденно закричал Петя, сверкая глазами.— Он бы у меня тогда хорошенько узнал!..

— Заткнись,— угрюмо сказал Гаврик и, крепко взявшись за козырек Петиной фуражки, насунул ее Пете до половины лица, так что оттопырились уши.

Проделавши это, Гаврик продолжал свой рассказ. Петя слушал его с ужасом.

— Кто ж были эти? — спросил он, когда Гаврик кончил.— Грабители?

— Зачем? Я ж тебе говорю кто: простые люди, комитетчики.

Петя не понял:

— Какие?

— Ну, с тобой разговаривать — житного хлеба сперва накушаться. Я ж тебе говорю — комитетчики. Значит, с комитету.

Гаврик совсем близко наклонился к Пете и прошептал ему в самый рот, дыша луком:

— Которые делают забастовки. Из партии. Чуешь?

— Так зачем же дедушку били и отвезли в участок?

Гаврик с презрением усмехнулся:

— Я ему сто, а он мне двести. За то, что он их ховал. Голова! Меня б тоже забрали, только не имеют права: я маленький. Знаешь, сколько полагается сидеть тем, кто ховает? Ого! Только, чуешь...

Гаврик еще больше понизил голос и прошептал совсем еле слышно, озираясь по сторонам:

— Только, чуешь, он не просидит больше как одну неделю. Те все скоро пойдут по Одессе участки разбивать. Драконов до одного покидают в Черное море... Чтоб я не видел счастья! Святой истинный крест!

Гаврик опять сплюнул под ноги и уже совсем другим, деловым тоном сказал:

— Так вынесешь?

Петя помчался домой и через две минуты вернулся с шестью кусками сахара в кармане и половиной ситного хлеба за пазухой матроски.

— Хватит,— сказал Гаврик, посчитав сахар и взвесив на ладони хлеб.— Пойдешь со мной в участок?

Хотя участок был недалеко, но, разумеется, ходить туда безусловно запрещалось. Пете же, как назло, до такой степени захотелось вдруг в участок, что невозможно описать. В душе мальчика снова началась жестокая борьба с совестью, и борьба эта продолжалась всю дорогу, вплоть до самого участка.

Когда же совесть в конце концов победила, то уже было поздно: мальчики пришли к участку.

Все понятия и вещи в присутствии Гаврика тотчас теряли свою привычную оболочку и обнаруживали множество качеств, до сих пор скрытых от Пети,— Ближние Мельницы из печального селения вдов и сирот превращались в рабочую слободку с лиловыми петушками в палисадниках; городовой становился драконом; в фуражке оказывался стальной обруч.

И вот теперь — участок.

Чем был он до сих пор в Петином представлении? Основательным казенным зданием на углу Ришельевской и Новорыбной, против Пантелеймоновского подворья. Сколько раз мимо него проезжал Петя на конке!..

Главное в этом здании была высокая четырехугольная каланча с маленьким пожарным наверху. День и ночь, озирая сверху город, ходил человек в овчинной шубе по балкончику вокруг мачты с перекладиной. Мачта эта всегда напоминала Пете весы или трапецию. На ней постоянно висело несколько черных зловещих шариков, числом своим показывая, в какой части города пожар. Город же был так велик, что непременно где-нибудь горело.

У подножия каланчи находилось депо одесской пожарной команды. Оно состояло из ряда громадных кованых ворот. Иногда оттуда, при раздирающих криках труб, вырывались одна за другой четверки бешеных лошадей в яблоках, с развевающимися белоснежными гривами и хвостами.

Красный пожарный обоз, зловещий и вместе с тем как бы игрушечный, проносился по мостовой, сопровождаемый беспрерывным набатом и оставляя за собой в воздухе оранжевые языки пламени, оторвавшиеся от факелов. Огонь отражался в медных касках. Призрак беды вставал над беспечным городом. Кроме этого, ничем замечательным в глазах Пети не отличался участок.

Но стоило только Гаврику приблизиться к нему — и он оборотился, как от прикосновения волшебной палочки, узким переулком, куда выходили решетчатые окна арестного дома.

Участок оказался просто тюрьмой.

— Постой здесь,— сказал Гаврик.

Он перебежал сырую мостовую и незаметно юркнул мимо городового в ворота участка. Как видно, и здесь Гаврик был свой человек.

Петя остался один в небольшой толпе против участка. Это были родственники. Они переговаривались через улицу с арестованными.

Петя никак не предполагал, что в участке может «сидеть» столько людей. Их было не меньше сотни.

Впрочем, они отнюдь не сидели. Одни стояли на подоконниках, держась за решетки открытых окон; другие выглядывали из-за них, махая руками; третьи подпрыгивали, стараясь через головы и плечи увидеть улицу.

К удивлению Пети, здесь не было ни воров, ни пьяных, ни босяков. Наоборот: обыкновенные, простые, вполне приличные люди, из числа тех, каких можно было каждый день встретить возле вокзала, на Ланжероне, в Александровском парке, на конке... Было даже несколько студентов. Один привлекал особое внимание черной кавказской буркой поверх белого кителя с золотыми пуговицами. Приложив ладони к своим худым щекам, он кричал кому-то в толпе оглушительным гортанным голосом:

— Передайте, пожалуйста, в землячество, что сегодня ночью товарища Лордкипанидзе, Красикова и Буревого вызвали из камеры с вещами. Повторяю: Лордкипанидзе, Красикова и Буревого! Сегодня ночью! Организуйте общественный протест! Привет товарищам!

Человек в пиджаке и косоворотке с расстегнутым воротом, чем-то напоминавший Терентия, кричал из другого окна:

— Пущай Сережа пойдет в контору за моей получкой!

Раздавались голоса, перебивавшие друг друга:

— Не доверяйтесь Афанасьеву! Слышь, Афанасьеву не доверяйтесь!

— Колька сидит в Бульварном!

— У Павел Иваныча в ящике, за шкафом!

— Самое позднее — в среду!

Родственники тоже кричали, поднимая над головой кошелки и детей.

Одна женщина держала на руках девочку с такими же точно сережками, как у Моти. Она кричала:

— За нас не беспокойся! Нас люди не оставляют! Мы имеем что кушать. Смотри, какая наша Верочка здоровенькая!

Иногда к толпе подходил городовой, держась обеими руками за ножны шашки.

— Господа, вас честью просят не останавливаться напротив окон и не вступать с задержанными в разговоры.

Но тотчас из окон раздавались оглушительные свистки, невообразимая брань, рев. В городового летели арбузные корки, кукурузные кочерыжки, огурцы.

— Дракон!

— Фараон!

— Иди бей японцев!

И городовой с шашкой под мышкой неторопливо возвращался к воротам, делая вид, что ничего особенного не произошло.

Нет, положительно, на свете все было вовсе не так благополучно, как это могло показаться с первого взгляда.

Гаврик возвратился сумрачный, злой.

— Ну что, видел дедушку?

Гаврик не ответил ни слова. Мальчики пошли назад. Возле вокзала Гаврик остановился.

— Они его каждый день бьют,— глухо сказал он, вытирая драным рукавом щеки.— Увидимся.

И Гаврик пошел прочь.

— Куда?

— На Ближние Мельницы.

Через Куликово поле Петя побрел домой. Ветер гнал тучи сухой, скучной пыли.

На душе у мальчика было так тяжело, что даже сплющенная гильза от винтовочного патрона, которую он нашел по дороге, нисколько не обрадовала его.

30
В ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМ

Наступила осень.

Петя уже ходил в гимназию. Из большого загорелого мальчика с длинными ногами в фильдекосовых чулках он, надев форму, превратился в маленького, выстриженного под нуль, лопоухого приготовишку, на гимназическом языке — «мартыхана».

Длинные суконные брюки и форменная курточка, купленные за тридцать шесть рублей в конфекционе гото-

вого платья Ландесмана, сидели мешковато, очень неудобно.

Грубый воротник натирал нежную шею, привыкшую к свободному вырезу матроски.

Даже пояс, настоящий гимназический пояс с мельхиоровой бляхой, о котором больше всего после фуражки мечтал Петя, не оправдал ожиданий. Он все время лез под мышки, бляха съезжала набок, языком висел свободный конец ремня.

Не придавая фигуре ничего мужественного — на что сильно рассчитывал мальчик,— пояс оказался лишь постоянным источником унизительных хлопот, вызывавших неуместные насмешки взрослых.

Но зато сколько неожиданной радости принесла Пете покупка тетрадей, учебников, письменных принадлежностей!

Как не похож оказался серьезный, тихий книжный магазин на другие, уже известные мальчику легкомысленные, вздорные магазины Ришельевской улицы или Пассажа! Пожалуй, он даже был серьезней аптеки, во всяком случае — много интеллигентней.

Уже одна его узкая, скромная вывеска

ОБРАЗОВАНИЕ

внушала чувство глубочайшего уважения.

Был темный осенний вечер, когда Петя отправился с папой в «Образование».

Это было сонное царство книжных корешков, зеленовато, как-то по-университетски освещенных газовыми рожками и увенчанных раскрашенными головами представителей четырех человеческих рас: красной, желтой, черной и белой.

Первые три головы в точности соответствовали названию своей расы. Индеец был действительно совершенно красный. Китаец — желтый, как лимон. Негр — чернее смолы. И лишь для представителя белой, господствующей расы сделали послабление: он был не белый, но нежно-розовый, с гофрированной русой бородкой. Петя, как очарованный, рассматривал голубые глобусы с медными меридианами, черные карты звездного неба,

страшные и вместе с тем поразительно яркие анатомические таблицы.

Вся мудрость Вселенной, сосредоточенная в этом магазине, казалось, проникала в поры покупателя. По крайней мере, Петя, возвращаясь на конке домой, уже чувствовал себя необыкновенно образованным. А между тем в магазине пробыли не более десяти минут и купили всего пять книжек, из которых самая толстая стоила сорок две копейки.

Потом был куплен настоящий ранец из телячьей кожи шерстью наружу и маленькая корзиночка для завтраков.

Затем выбрали прекраснейший пенал с переводной картинкой на выдвижной лакированной крышке. Тугая крышка скрипела, как деревянная писанка. Все отделения пенала Петя с большим вкусом и старанием наполнил предназначенными для них предметами, особенно заботясь, чтоб ни одно не пустовало.

Были положены разных сортов перышки: синие с тремя дырочками, «коссодо», «рондо», «номер восемьдесят шесть», «Пушкин» — с курчавой головой знаменитого писателя — и множество других.

Затем — резинка со слоном, липка, растушевка, два карандаша: один для писания, другой для рисования, перламутровый перочинный ножичек, дорогая ручка за двадцать копеек, разноцветные облатки, кнопки, булавки, картинки.

И все это совершенно новенькое, лаковое, упоительно пахучее — все эти маленькие, изящные орудия прилежания!

Весь вечер Петя усердно обертывал учебники и тетради специальной синей бумагой, скрепляя ее облатками. Он приклеивал к углам промокашек кружевные картинки. Лакированные букеты и ангелы крепко прижимали шелковые ленточки.

Все тетради были аккуратно надписаны:

ТЕТРАДЬ

ученика приготовительного класса О. 5. Г.

ПЕТРА БАЧЕЙ

Петя едва дождался утра. На дворе было еще почти темно, а дома горела утренняя лампа, когда мальчик

побежал в гимназию, с ног до головы снаряженный, как на войну.

Уж теперь-то ни одна наука не устоит против Пети! Три недели мальчик с неслыханным терпением — в гимназии и дома — занимался улучшением своего научного хозяйства. Он то и дело переклеивал картинки, заново обертывал учебники, менял в пенале перья, добиваясь наибольшей красоты и совершенства.

И когда тетя, бывало, скажет:

— Ты бы лучше уроки учил...

Петя с отчаянием стонал:

— Ой, тетя, ну что вы говорите разные глупости! Как же я могу учить уроки, когда у меня еще ничего не готово?

Словом, все шло прекрасно.

Одно только омрачало радость ученья: Петю еще ни разу не вызывали, и ни одной отметки еще не стояло в его записной тетради. Почти у всех мальчиков в классе были отметки, а у Пети не было.

Каждую субботу он с грустью приносил свою пустую записную тетрадь, роскошно обернутую в розовую бумагу, оклеенную золотыми и серебряными звездами, орденами, украшенную разноцветными закладками. Но вот однажды в субботу Петя, не раздеваясь, вбежал в столовую, сияющий, взволнованный, красный от счастья. Он размахивал нарядной записной тетрадью, крича на всю квартиру:

— Тетя! Павка! Дуня! Идите сюда скорее! Смотрите, мне поставили отметки! Ах, как жалко, что папа на уроках!

И, торжественно швырнув тетрадь на стол, мальчик с гордой скромностью отошел в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок.

— А ну-ка, ну-ка! — воскликнула тетя, вбегая с выкройкой в руках в столовую.— Покажи свои отметки.

Она взяла со стола тетрадь и быстро пробежала ее глазами.

— Закон божий — два, русский — два, арифметика — два, внимание — три и прилежание — три,— с удивлением сказала тетя, укоризненно качая головой.— Не понимаю, чего же ты радуешься? Сплошные двойки!

Петя с досады даже топнул ногой.

— Вот так я и знал! — закричал он, чуть не плача от обиды.— Как вы, тетя, не понимаете? Важно, что отметки! Понимаете: от-мет-ки! А вы этого не хотите понять... Так всегда!..

И Петя, сердито схватив знаменитую тетрадь, помчался во двор показывать отметки мальчикам.

На этом закончился первый, праздничный период Петиного ученья. За ним наступили суровые будни, скучная пора зубрежки.

Гаврик больше не появлялся, и Петя его почти забыл, всецело занятый гимназией.

До поры до времени забыл о Петином существовании и Гаврик.

Теперь он жил на Ближних Мельницах, у Терентия.

Дедушку все еще не выпускали. Он сидел то в Александровском участке, то в охранке, куда его часто возили ночью на извозчике. Но, как видно, старик умел держать язык за зубами, так как Терентия до сих пор не трогали.

Куда девался матрос, Гаврик в точности не знал. Расспрашивать же Терентия он не считал нужным. Впрочем, по некоторым признакам можно было заключить, что матрос в безопасности и находится где-то поблизости.

Мало ли было на Ближних Мельницах трущоб и закоулков, где человек мог сгинуть, пропасть, исчезнуть? И мало ли было таких сгинувших до поры до времени людей в районе Ближних Мельниц?

Не в правилах Гаврика было совать нос в чужие дела. У него и своих дел оказалось достаточно.

Терентию с семьей приходилось туго. Железная дорога бастовала почти все время. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой, которую брал на дом. Но, во-первых, работы было мало, а во-вторых, много времени отнимали те неотложные дела, о которых в семье принято было говорить только намеками.

Терентий как бы вовсе не принадлежал себе. Случалось, за ним являлись ночью, и он, не говоря ни слова, одевался и уходил, иногда на целые сутки.

Постоянно в доме сидели какие-то приезжие, которым надо было готовить кулеш, кипятить в чайнике воду. В сенях не выводилась осенняя грязь, в комнате столбом стоял махорочный дым.

У мальчика не хватало совести сесть на шею семей-

ному брату, приходилось кормиться самому. Не маленький! Надо было тоже носить передачи дедушке в участок. Конечно, без дедушки о рыбной ловле нечего было и думать. Да и погода пошла плохая — через день шторм.

Гаврик сходил на берег, перетащил лодку к соседям и запер хибарку на замок.

Теперь он целыми днями бродил по городу в старых чоботах Терентия, ища себе пропитания. Конечно, выгоднее всего было просить милостыню. Но Гаврик скорее согласился бы сдохнуть, чем протянуть руку прохожему. Вся его рыбацкая кровь закипала при одной мысли об этом.

Нет! Он привык добывать хлеб трудом. Он носил кухаркам корзинки с привоза до самого дома за две копейки. Он помогал грузчикам на станции Одесса-Товарная. Для извозчиков, которые, под угрозой штрафа, не имели права отлучаться от лошади, он бегал в монопольку за шкаликом водки.

Если же работы все-таки не находилось, а есть хотелось, он отправлялся в кладбищенскую церковь и дожидался покойника, чтобы получить в шапку горсть колева, этого погребального блюда, состоящего из вареного риса, засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками.

Раздавать на похоронах колево — таков был одесский обычай. Этим обычаем широко пользовались кладбищенские нищие. Некоторые из них нагуливали себе довольно толстые морды. Но так как колево ели не только нищие, но и все присутствующие на похоронах, то Гаврик не считал для себя унизительным пользоваться столь удобным обычаем. Тем более, что попадавшиеся мармеладки можно было снести детям Терентия в виде гостинца, без которого Гаврик считал неудобным являться ночевать.

Иногда Терентий посылал его отнести какой-нибудь сверток по адресу, который непременно надо было выучить наизусть и ни в коем случае не записывать на бумажку. Гаврику очень нравились эти поручения, несомненно имевшие какую-то связь с теми делами, которыми постоянно был занят Терентий.

Сверток — чаще всего это были бумаги — Гаврик засовывал глубоко в карман и сверху приглаживал, чтобы

не торчало. Он знал: «в случае чего» надо говорить, что сверток нашел.

Отыскав человека, надо обязательно сначала сказать: «Здравствуйте, дядя, вам кланяется Софья Ивановна». Человек ответит: «Как здоровье Софьи Ивановны?» И только тогда можно отдать сверток, но не раньше! Очень часто человек, получая сверток, давал целый гривенник «на конку».

Ух, как жутко и весело было идти по такому поручению!

Наконец, Гаврик добывал деньги игрой в ушки. Эта игра только что вошла в моду. Ею увлекались не только дети, но и взрослые. Ушками назывались форменные пуговицы различных ведомств, со вбитыми внутрь петельками.

В общих чертах игра состояла в том, что игроки ставили чашечки ушек в кон, а затем по очереди били по ним специальной ушкой-битой, стараясь их перевернуть орлом вверх. Каждая перевернутая таким образом ушка считалась выигранной.

Игра в ушки не была труднее или интереснее других уличных игр, но в ней заключалась особая дьявольская прелесть: ушки стоили денег. Их всегда можно было купить и продать. Они котировались по особому курсу на уличной бирже.

Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твердый, сильный удар и очень меткий глаз. В короткое время он приобрел славу чемпиона. Его мешочек всегда был наполнен превосходными, дорогими ушками. Когда его дела становились особенно скверными, он продавал часть своего запаса.

Но его мешочек никогда не пустовал. На другой же день Гаврик выигрывал еще больше ушек, чем продал накануне.

Таким образом, то, что для других было развлечением, для мальчика стало чем-то вроде выгодной профессии. Ничего не поделаешь, приходилось выкручиваться!

31
ЯЩИК НА ЛАФЕТЕ

Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно. В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда.

Как хорошо было знакомо Гаврику, жителю Ближних Мельниц, это чувство ожидания летящего поезда!

Поезд еще где-то очень далеко, его еще не видно и не слышно, но длинное дилинькание повестки на станции Одесса-Товарная уже дает знать о его приближении. Путь свободен. Семафор открыт. Рельсы блестящи и неподвижны. Вокруг полная тишина. Но все уже знают, что поезд идет и никакая сила не может его остановить.

Медленно опускается на переезде шлагбаум. Мальчики торопятся взобраться на станционный забор. Стаи птиц в тревоге снимаются с деревьев и кружат над водокачкой. Они с высоты уже, наверно, видят поезд.

Издалека доносится еле слышный рожок стрелочника. И вот, совершенно незаметно, к тишине примешивается слабый шум. Даже нет. Это еще не шум. Это как бы предчувствие шума, тончайшая дрожь рельсов, наполняющихся неощутимым звуком. Но тем не менее это — дрожь, это — звук, это — шум.

Теперь он уже ясно слышен: медленные выдохи пара, каждый следующий явственнее предыдущего.

И все-таки еще не верится, что через минуту пролетит курьерский. Но вот вдруг впереди неожиданно обнаруживается паровоз, охваченный облаком пара. Кажется, что он стоит неподвижно, в конце аллеи зеленых насаждений.

Да, несомненно, он остановился. Но тогда почему же он так чудовищно увеличивается с каждым мигом? Однако уже нет времени ответить на этот вопрос.

Отбрасывая в стороны шары пара, проносится курьерский, обдавая головокружительным вихрем колес, окон, площадок, бандажей, тамбуров, буферов...

Бродя целыми днями по городу, Гаврик не мог не чувствовать приближения событий. Они еще были где-то в пути — может быть, на полдороге между Одессой и Санкт-Петербургом,— но к тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения.

По улицам, качаясь на новеньких костылях, ходили обросшие бородой раненые в черных косматых маньчжурских папахах и в накинутых на плечи шинелях с георгиевскими крестами.

Приезжавшие из Центральной России мастеровые приносили слухи о всеобщей стачке. В толпах возле участков говорили о насилии. В толпах возле университета и высших женских курсов говорили о свободе. В толпах возле завода Гена говорили о вооруженном восстании.

Однажды в конце сентября в порт пришел большой белый пароход с телом генерала Кондратенко, убитого в Порт-Артуре.

Почти год странствовал громадный, шестидесятипудовый ящик со свинцовым гробом по чужим землям и морям, пока наконец не добрался до родины.

Здесь, в порту, его поставили на лафет и повезли по широким аллеям одесских улиц на вокзал.

Гаврик видел мрачную, торжественную процессию, освещенную бедным сентябрьским солнцем: погребальные ризы священников, кавалерию, городовых в белых перчатках, креповые банты на газовых уличных фонарях.

Мортусы [1] в черных треуголках, обшитых серебряным галуном, несли на палках стеклянные фонари с бледными языками свечей, еле видными при дневном свете.

Беспрерывно, но страшно медленно играли оркестры военной музыки, смешиваясь с хором архиерейских певчих.

Нестерпимо высокие, почти воющие, но вместе с тем удручающе стройные детские голоса возносились вверх, дрожа под сводами вялых акаций. Слабое солнце сквозило в сиреневом дыму ладана. И медленно-медленно двигался к вокзалу посредине оцепленной войсками Пушкинской улицы лафет с высоко поставленным громадным черным ящиком, заваленным венками и лентами. Когда процессия поравнялась с вокзальным сквером, на чугунной решетке появился студент. Он взмахнул над заросшей головой студенческой фуражкой с выгоревшим добела голубым околышем и закричал:

— Товарищи!

---

[1] Так называли в Одессе факельщиков.

В этой громадной толпе безмолвного народа его голос показался совсем слабым, еле слышным. Но слово, которое он выкрикнул — «товарищи»,— было так невероятно, непривычно, вызывающе, что его услышали все, и все головы, сколько их было, повернулись к маленькой фигурке, повисшей на массивной ограде сквера.

— Товарищи! Помните о Порт-Артуре, помните о Цусиме! Помните о кровавых днях девятого января! Царь и его опричники довели Россию до неслыханного позора, до неслыханного разорения и нищеты! Но великий русский народ живет и будет жить! Долой самодержавие!

Городовые уже стаскивали студента. Но он, цепляясь ногами за ограду и размахивая фуражкой, кричал быстро, исступленно, во что бы то ни стало желая окончить речь:

— Долой самодержавие! Да здравствует свобода! Да здравствует ре...

Гаврик видел, как его стащили и, держа за руки, повели.

Погребальный звон плыл над городом. Пощелкивали подковы конницы. Гроб с телом генерала Кондратенко поставили в траурный вагон санкт-петербургского поезда. В последний раз грянули оркестры.

— На-а-а! кра-а-а! ул!

Поезд тронулся.

Траурный вагон медленно проплыл за светлой оградой вытянутых в струнку штыков, унося черный ящик с крестом на верхней крышке, мимо Одессы-Товарной, мимо предместий, усыпанных толпами неподвижных людей, мимо молчаливых станций и полустанков — через всю Россию на север, в Петербург. Призрак проигранной войны двигался по России вместе с этим печальным поездом.

Пете в эти несколько дней казалось, что в их доме — покойник. Ходили тихо. Говорили мало. У тети на туалете лежал скомканный носовой платок. Сразу после обеда отец молча накрывал лампу зеленым абажуром и до поздней ночи исправлял тетрадки, то и дело роняя пенсне и протирая его подкладкой сюртука.

Петя притих. Он рисовал в специальной «рисовальной тетради» вместо заданных шаров и конусов бой под Тюренченом и остроносый крейсер «Ретвизан», окруженный

фонтанами взрывающихся японских мин. Только неутомимый Павлик то и дело запрягал Кудлатку в перевернутый стул и, неистово дуя в крашеную жестяную трубу, возил по коридору «похороны Кондратенко».

Однажды, ложась спать, Петя услышал из столовой голоса папы и тети.

— Невозможно, невозможно жить,— говорила тетя в нос, как будто у нее был насморк.

А мальчик прекрасно знал, что она здорова.

Петя стал слушать.

— Буквально нечем дышать,— продолжала тетя со слезами в голосе.— Неужели вы этого не чувствуете, Василий Петрович? Мне бы на их месте совестно было людям в глаза смотреть, а они — боже мой! — как будто бы это так и надо. Иду по Французскому бульвару и глазам своим не верю. Великолепнейший выезд, рысаки в серых яблоках, ландо, на козлах кучер-солдат в белых перчатках, шум, гром, блеск... Две дамы в белых косынках с красными крестами, в бархатных собольих ротондах, на пальцах вот такие брильянты, лорнеты, брови намазаны, глаза блестят от белладонны, и напротив два шикарных адъютанта с зеркальными саблями, с папиросами в белых зубах. Хохот, веселье... И, как бы вы думали, кто? Мадам Каульбарс с дочерью и поклонниками катит в Аркадию, в то время когда Россия буквально истекает кровью и слезами! Ну, что вы скажете? Нет, вы только подумайте — вот такие брильянты! А, позвольте спросить, откуда? Наворовали, награбили, набили карманы... Ох, до чего ж я ненавижу всю эту — простите меня за резкость — сволочь! Три четверти страны голодает... Вымирают целые уезды... Я больше не могу, не в состоянии, поймите же это!

Петя услышал горячие всхлипывания.

— Ради бога, Татьяна Ивановна... Но что же делать? Что делать?

— Ах, почем я знаю, что делать! Протестовать, требовать, кричать, идти на улицу...

— Умоляю вас... Я понимаю... Но скажите, что мы можем?

— Что мы можем? — вдруг воскликнула тетя высоким и чистым голосом.— Мы всё можем, всё! Если только захотим и не побоимся. Мы можем мерзавцу ска-

зать в глаза, что он мерзавец, вору — что он вор, трусу — что он трус... А мы вместо этого сидим дома и молчим! Боже мой, боже мой, страшно подумать, до чего дошла несчастная Россия! Бездарные генералы, бездарные министры, бездарный царь...

— Ради бога, Татьяна Ивановна, услышат дети!

— И прекрасно, если услышат. Пусть знают, в какой стране они живут. Потом нам же скажут спасибо. Пусть знают, что у них царь — дурак и пьяница, кроме того еще и битый бамбуковой палкой по голове. Выродок! А лучшие люди страны, самые честные, самые образованные, самые умные, гниют по тюрьмам, по каторгам...

Отец осторожно прошел в детскую — посмотрел, спят ли мальчики. Петя закрыл глаза и стал дышать глубоко и ровно, делая вид, что спит. Отец наклонился к нему, поцеловал дрожащими губами в щеку и вышел на цыпочках, плотно притворив за собой дверь.

Но долго еще из столовой доносились голоса.

Петя не спал. По потолку взад и вперед двигались полосы ночного света. Щелкали подковы. Тихонько дрожали стекла.

И мальчику казалось, что это мимо окон все время ездит взад и вперед сверкающее ландо мадам Каульбарс, наворовавшей в казне (казна имела вид кованого ящика на колесах) множество денег и брильянтов.

32

ТУМАН

В этот вечер Пете открылось много такого, о чем он раньше не подозревал.

Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать.

Например — Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия — самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России?

Затем папа. Папа — самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете.

Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь — это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый бо-

гатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например французскому?

Ну и, конечно, бог, о котором уже совсем нечего говорить,— все понятно.

И вдруг что же оказалось? Оказалось, что Россия — несчастная, что, кроме папы, есть еще какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь — дурак и пьяница, да еще и битый бамбуковой палкой по голове. Кроме того, министры — бездарные, генералы — бездарные, и, оказывается, не Россия побила Японию, в чем не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония — Россию.

И самое главное — что об этом говорили папа и тетя. Впрочем, кое о чем уже догадывался и сам Петя.

В участке сидели приличные, трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, еще и били. Матрос прыгнул с парохода. Солдаты остановили дилижанс. В порту стояли часовые. Горела эстакада. С броненосца стреляли по городу.

Нет, было совершенно ясно, что жизнь — вовсе не такая веселая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась еще совсем-совсем недавно.

Пете ужасно хотелось спросить тетю, как это и кто бил царя по голове палкой. Главное, почему именно бамбуковой? Но мальчик понимал уже, что существуют вещи, о которых лучше ничего не говорить, а молчать, делая вид, будто ничего не знаешь. Тем более, что тетя продолжала быть той же приветливой, насмешливой, деловитой тетей, какой была и раньше, ничем не показывая своих чувств, так откровенно выраженных лишь один раз вечером.

Уже шел октябрь.

Акации почти осыпались. В море ревели штормы.

Вставали и одевались при свете лампы.

По неделям над городом стоял туман. Люди и деревья были нарисованы на нем, как на матовом стекле.

Лампы, потушенные в девять часов утра, зажигались снова в пять вечера. Моросил дождь. Иногда он переставал. Ветер уносил туман. Тогда рябиновая заря долго горела на чистом, как лед, небе, за вокзалом, за привозом, за костылями заборов, за голыми прутьями деревьев, гу-

сто закиданных вороньими гнездами, большими и черными, как маньчжурские папахи.

Руки сильно зябли без перчаток. Земля становилась тугой. Страшная пустота и прозрачность стояли над чердаками. В эти недолгие часы тишина стояла от неба до земли. Город был отрезан от Куликова поля ее прозрачной стеной. Он бесконечно отдалялся со всеми своими тревожными слухами, тайнами, ожиданиями событий. Он виднелся четко, почти резко и вместе с тем страшно далеко, как в обратную сторону бинокля.

Но портилась погода, небо темнело, с моря надвигался непроницаемый туман. В двух шагах ничего не было видно. Наступал страшный слепой вечер, потом — ночь.

С моря дул прохватывающий ветер. Из порта доносился темный, вселяющий ужас голос сирены. Он начинался с низких, басовых нот и вдруг с головокружительной быстротой взвивался хроматической гаммой до пронзительного, но мягкого воя нечеловеческой высоты и мрачности. Как будто вырывался с леденящим воем смертоносный снаряд и уносился во мрак непогоды.

В такие вечера Пете было даже страшно подойти к окну и, приоткрыв ставни, посмотреть на улицу.

На всем громадном и диком пространстве Куликова поля не было видно ни зги. Туманная тьма плотно соединяла его с городом. Тайны делались общими. Казалось, они незаметно распространяются от фонаря к фонарю, задушенному туманом.

Скользили тени редких прохожих. Иногда в темноте слышался длинный и слабый полицейский свисток. У штаба стоял усиленный караул. Раздавались грубые шаги проходящего патруля.

За каждым углом мог кто-то прятаться, каждую минуту могло что-то случиться — непредвиденное и ужасное.

И действительно, однажды случилось.

Часов около десяти вечера в столовую вбежала, не снимая платка, Дуня, ходившая в лавочку за керосином, и сказала, что пять минут назад на пустыре, под стеной штаба, застрелился часовой. Она передала страшные подробности: солдат снял сапог, вложил дуло винтовки в рот и большим пальцем босой ноги спустил курок. Ему разнесло затылок. Дуня стояла мертвенно блед-

ная, с пепельными губами, все время развязывая и завязывая узел теплого платка с бахромой.

— Главное дело, говорят, даже записки никакой не оставил, — вымолвила она наконец. — Наверно, неграмотный.

Тетя изо всех сил сжала косточками кулаков виски.

— Ах, да какая там записка!..— воскликнула она со слезами досады и положила голову на скатерть возле блюдца чая, где во всех подробностях, но крошечная, отражалась, покачиваясь, столовая лампа в белом абажуре.— Какая там записка! И так все ясно...

Из окна кухни, выходившего на пустырь, Петя видел блуждающие фонари кареты скорой помощи, тени людей.

Дрожа от страха и холода, мальчик сидел на ледяном подоконнике пустой кухни, припав к облитому дождем стеклу, не в силах отвести глаза от темноты, в которой еще чудилось присутствие смерти.

Петя долго не засыпал в эту ночь, все время с ужасом представляя себе труп босого солдата, в полной караульной форме, с размозженным затылком и синим, загадочно неподвижным лицом.

Все же на следующее утро, несмотря на весь свой ужас, он не смог преодолеть искушения взглянуть на страшное место. Необъяснимая сила тянула его на пустырь. По дороге в гимназию он завернул туда и осторожно, на цыпочках, как в церкви, приблизился по мокрой от дождя и тумана гнилой траве к тому месту, где уже стояло несколько любопытных.

Возле штабной стены мальчик увидел выдавленную в сырой земле круглую ямку величиной с человеческую голову. Она была полна дождевой воды, бледно-розовой от примеси размытой крови. На этом месте мертвый солдат, вероятно, и стукнулся затылком.

Это было все, что осталось от ночного происшествия.

Петя поднял воротник гимназической шинели и, дрожа от сырости, некоторое время стоял возле ямки. И тут под ногами мальчик заметил какой-то небольшой кружок. Он поднял его и задрожал от радости. Это был пятак, черный и пятнистый, с бирюзовым лишаем вместо орла.

Разумеется, находка была случайная и к происшествию никакого отношения не имела. Вернее всего, пятак пролежал здесь с лета, когда его потеряли игравшие

в орлянку мастеровые или обронила ночевавшая под кустом нищенка. Однако монета сразу приобрела в глазах мальчика значение как бы заколдованной, не говоря уже о том, что, помимо всего, это было целое богатство: пять копеек!

Отец никогда не давал Пете на руки денег. Он считал, что деньги легко могут развратить мальчика. Найдя пятак, Петя был вне себя от восторга.

Весь этот день, волшебно озаренный находкой, превратился для мальчика в сплошной праздник.

В классе пятак переходил из рук в руки. Среди товарищей нашлись люди, опытные в такого рода делах. Они божились, крестясь на купола Пантелеймоновского подворья, что наверняка это не что иное, как неразменный пятак, младший брат сказочного неразменного рубля. Он должен принести Пете неслыханные богатства.

Один мальчик — Жорка Колесничук — даже предлагал Пете в обмен на этот талисман завтрак вместе с корзиночкой и в придачу перочинный ножичек. Разумеется, Петя с грубым смехом отказался.

Но Жорка Колесничук не отставал.

Маленький, носатый — за что в первый же день пребывания в гимназии заработал прозвище «зубастый» — он ходил за Петей по коридору, в курточке до колен и в чересчур длинных брюках «на вырост», которые то и дело подворачивались под каблуки, мешая ходить, и канючил:

— Ну, дава-а-ай..

— Отчепись!

— Корзиночку и но-о-ожик...

— Не треба.

— Петька, не будь вредный!

— Уйди, зубастый.

— Что тебе сто-о-ит...— ныл Жорка Колесничук.

— Сказано: нет! — неумолимо отвечал Петя.

Только круглый дурак согласился бы на такую мену.

Петя, задыхаясь, бежал из гимназии домой.

— Жада помада! — кричал издали Жорка Колесничук, путаясь в штанах, угрожая: — Будешь помнить!.. Придет коза до воза и скажет мэ-э-э!..

Но Петя даже ни разу не обернулся: ему хотелось как можно скорее показать находку дома и во дворе.

Какова же была его радость, когда он увидел во дворе Гаврика!

Гаврик стоял на коленях, окруженный детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки.

Петя еще даже не успел хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика. Но это еще больше раззадорило Петю.

— Гаврик, дай на разживу десяток,— сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения.— Я, как только наиграю, так и отдам, святой истинный крест!

— Не лапай, не купишь,— сумрачно ответил Гаврик, высыпал ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком.— Ушки тебе не картонки. Они деньги стоят. Могу продать, если хочешь.

Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба — дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег — значит, за них надо платить деньги, и никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы.

Но как же быть?

Играть хотелось мучительно. Буря пронеслась в душе мальчика. Он колебался не дольше минуты, полез в карман и протянул Гаврику знаменитый пятак.

Гаврик внимательно со всех сторон осмотрел подозрительную монету и покачал головой:

— Его никто не возьмет.

— А вот возьмет!

— А вот не возьмет!

— Дурак!

— От такового слышу... Пойди в лавочку разменяй.

— Поди ты разменяй.

— Чего я буду ходить! Твой пятак!

— Твои ушки.

— Не хочешь — не надо.

— Не надо.

Гаврик спокойно опустил мешочек в карман и равнодушно плюнул сквозь зубы далеко в сторону. Тогда Петя бросился в лавочку и попросил разменять свой пятак. Пока «Борис — семейство крыс» подносил к больным глазам подозрительную монету, мальчик пережил

множество самых унизительных чувств, среди которых преобладало трусливое нетерпение вора, сбывающего краденое.

Петя, пожалуй, не удивился бы, если бы в эту минуту в лавочку спустились городовые с шашками и отвезли его на извозчике в участок за соучастие в некоем тайном и постыдном преступлении.

Наконец «Борис — семейство крыс» скинул пятак в ящик и равнодушно выбросил на чашку весов пять копеек мелочью. Петя поспешил во двор, где Гаврик уже продавал ушки другим мальчикам. Петя купил у него на все деньги несколько штук разного достоинства.

Они начали играть. Петя забыл все на свете.

На дворе уже стало совсем темно, когда у Пети не осталось больше ни одной ушки. Это было тем более ужасно, что сначала ему страшно везло и выигранные ушки уже не помещались в кармане.

А теперь, увы, ни денег, ни ушек.

Петя чуть не плакал. Он был в полном отчаянии. Гаврик сжалился над приятелем. Он дал в долг на отыгрыш две ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив — он в пять минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться.

Гаврик небрежно ссыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдет опять.

33

УШКИ

О, как много их было!..

Дутые студенческие десятки с накладными орлами. Золотые офицерские пятки с орлами чеканными. Коричневые — коммерческого училища, с жезлом Меркурия, перевитым змеями, и с плутовской крылатой шапочкой. Светлые мореходные со скрещенными якорями. Почтово-телеграфные с позеленевшими молниями и рожками. Артиллерийские с пушками. Судейские со столбиками законов. Медные ливрейные величиной с полтинник, украшенные геральдическими львами. Толстые тройки чиновничьих вицмундиров. Тончайшие писарские «лимонки» с острыми, режущими краями, издающие при игре комариный звон. Толстые одинарки гимназических ши-

нелей с серебряными чашечками, докрасна вытертыми посредине.

Сказочные сокровища, вся геральдика Российской империи, на один счастливый миг были сосредоточены в Петиных руках.

Ладони мальчика еще продолжали ощущать многообразные формы ушек и их солидный свинцовый вес. Между тем он был уже совершенно разорен, опустошен, пущен по ветру. Вот тебе и волшебный неразменный пятак!

Мальчик думал об ушках, и только об ушках. Они стояли все время перед его глазами видением приснившегося богатства. Он рассеянно смотрел за обедом в тарелку супа, в масляных капсюлях которого отражались по крайней мере триста крошечных абажуров столовой лампы, он видел триста сверкающих ушек с золотыми орлами.

Он с отвращением рассматривал пуговицы отцовского сюртука, обшитые сукном и не представляющие ни малейшей ценности.

Вообще он только сегодня заметил, что, в сущности, живет в нищей семье, где во всем доме нет ни одной приличной пуговицы.

Тетя сразу обратила внимание на странное состояние мальчика.

— Что с тобой сегодня такое? — спросила она, проницательно вглядываясь в необычно возбужденное лицо Пети.— Может быть, тебя мальчики на дворе побили?

Петя сердито мотнул головой.

— Или, может быть, опять двоек нахватался? Так ты лучше прямо скажи, чем сидеть и мучиться.

— Да нет же! Ну что вы ко мне все пристали, я не понимаю!

— А ты, часом, не болен?

— Ой, боже мой!..

Петя даже захныкал от этих расспросов.

— Ну, как знаешь. Не хочешь говорить — не надо. Страдай!

И Петя действительно страдал, ломая голову, где бы раздобыть денег, необходимых на завтрашнюю игру. Он даже неважно спал, терзаемый желанием поскорее отыграться. Утром он решился на тонкую хитрость. Он долго и нежно терся возле отца, просовывая голову под

его локоть, целовал красную пористую шею, пахнущую свежестью умывания. Отец гладил колючую головку маленького гимназиста и прижимал ее к сюртуку с отвратительными пуговицами.

— Ну что, Петюша, ну что, маленький?

Мальчик только и дожидался этого вопроса, этого нежного дрожания в отцовском голосе, показывающего, что отец теперь ни в чем не откажет, чего ни попроси.

— Папа! — сказал мальчик, выкручиваясь возле отца и с деланной застенчивостью поправляя пояс.— Папа, дай мне пять копеек.

— Для чего? — спросил отец, никогда, даже в самые нежные минуты, не отказывавшийся от строгих принципов воспитания.

— Мне очень нужно.

— Нет, ты скажи, для чего.

— Нет, ты дай.

— Нет, ты скажи. Я должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. На дельную, полезную вещь я тебе дам денег с удовольствием, а на вредную не дам. Так вот, ты мне и скажи: на что тебе нужны деньги?

Как мог Петя сказать отцу, что ему необходимы деньги для азартной игры? Разумеется, это было совершенно невозможно.

Тогда Петя сделал простодушное лицо благонравного мальчика, которому хочется немножко полакомиться.

— Я себе куплю шоколадку,— тихим голосом сказал он.

— Шоколадку? Прекрасно! Против этого трудно что-нибудь возразить.

Петя так и просиял.

Но тут отец молча подошел к письменному столу, отомкнул его и подал совершенно ошеломленному мальчику плитку шоколада с передвижной картинкой на обертке, запечатанной, как конвертик, пятью сургучными кляксами.

Со слезами на глазах Петя взял шоколадку, пробормотав:

— Спасибо, папочка.

С разбитым сердцем он отправился в гимназию.

Но все же это было лучше, чем ничего. Шоколадку можно было попытаться обменять на ушки.

Однако в этот день Пете не пришлось играть.

Едва мальчик, миновав Куликово поле, вышел на Новорыбную, где находилась гимназия, как он сразу заметил, что в городе происходит какое-то важное, торжественное и чрезвычайно радостное событие.

Несмотря на ранний час, улицы были полны народа. Вид у всех был крайне возбужденный и деловитый, хотя никто никуда не торопился. По большей части люди стояли кучками возле ворот и задерживались на углах, окружая киоски. Всюду разворачивались газеты, сразу становившиеся под мелким дождиком еще более серыми.

Над всеми воротами были выставлены национальные бело-сине-красные флаги. По ним Петя привык судить о богатстве домовладельца. Были флаги небольшие, полинявшие, на коротких палках, кое-как привязанных к воротам. Были совершенно новые, громадные, обшитые трехцветным шнуром с пышными трехцветными кистями до самого тротуара.

Ветер с трудом поворачивал грузные полотнища, ощутительно пахнущие краской сырого коленкора.

Гимназия оказалась закрытой. Навстречу бежали веселые гимназисты. Гимназический дворник в белом фартуке поверх зимнего пальто с барашковым воротником протягивал вдоль фасада, между деревьями, тонкую проволоку. Значит, вечером будет иллюминация! Она обычно зажигалась в табельные дни. Например, в день тезоименитства государя императора.

Эти три магических слова — иллюминация, табель и тезоименитство — были для мальчика как бы тремя гранями стеклянного подвеска. Такие подвески от церковных люстр весьма ценились среди одесских мальчиков. Стоило только поднести к глазам эту маленькую призму, как тотчас мир загорался патриотической радугой «царского дня».

Но разве сегодня царский день? Нет. О царском дне обычно известно заранее из календаря. Сегодня же на папином отрывном календаре цифра была черная, не предвещавшая ни иллюминации, ни табеля, ни тезоименитства.

Что же случилось? Неужели у царя опять, как и в прошлом году, родился наследник? Нет, нет! Не может быть, чтобы каждый год по мальчику! Наверное, что-то другое. Но, в таком случае, что?

— Послушайте,— спросил Петя у дворника,— что сегодня?

— Свобода,— ответил дворник, как показалось мальчику, несерьезно.

— Нет, кроме шуток.

— Какие могут быть шутки? Говорю — свобода.

— Как это — свобода?

— А так са́мо, что вы сегодня свободно можете идти домой, потому что уроков не будет. Отменяются.

Петя обиделся.

— Послушайте, дворник, я вас серьезно спрашиваю,— строго сказал он, изо всех сил поддерживая достоинство гимназиста Одесской пятой гимназии.

— А я вам серьезно говорю, что идите себе домой к родителям, которые вас ждут не дождутся, и не путайтесь у занятого человека под ногами.

Петя презрительно пожал плечами и независимо, как бы прогуливаясь, отошел от дворника, усвоившего себе отвратительную привычку разговаривать с гимназистами тоном классного наставника.

Городовой, к которому Петя решил обратиться со своим вопросом как к представителю власти, посмотрел на черномазого мальчика сверху вниз и неторопливо разгладил рыжие усы с подусниками.

Вдруг он неожиданно скорчил совершенно еврейское лицо и, ломая язык, сказал:

— Швабода!

Вконец обиженный, мальчик побрел домой.

Людей на улице становилось все больше и больше. Мелькали студенческие фуражки, каракулевые муфточки курсисток, широкополые шляпы вольнодумцев. Несколько раз Петя услышал не совсем понятное слово «свобода».

Наконец на углу Канатной его внимание привлекла небольшая толпа возле бумажки, наклеенной на дощатый забор дровяного склада.

Петя пробрался вперед и прочел по-печатному следующее.

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ

Божьей милостью Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, прочая, и прочая, и прочая.

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях

Империи Нашей великой и тяжелою скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое настроение народное и угроза целости и единству Державы Нашей.

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты...

Петя не без труда дочитал до этих пор, спотыкаясь на трудных и туманных словах: «преисполняют», «ныне возникших», «повелевают», «скорейшему прекращению», и на множестве больших букв, торчавших из строчек вопреки всяким правилам правописания в совершенно неожиданных местах, как обгорелые пни на пожарище.

Мальчик ничего не понял, кроме того, что царю, наверное, приходится плохо и он просит по возможности ему помочь кто чем может.

Признаться, мальчику в глубине души даже стало немножко жаль бедного царя, особенно когда Петя вспомнил, что царя стукнули по голове бамбуковой палкой.

Но почему же все вокруг радуются и развешивают флаги — это было непонятно. Может быть, что-нибудь веселое написано еще дальше? Однако у мальчика не хватило прилежания дочитать эту грустную царскую бумагу до конца.

Впрочем, мальчик заметил, что почти каждый подходивший к афишке первым долгом отыскивал в ней в середине место, которое почему-то всем особенно нравилось. Это место каждый непременно читал вслух и с торжеством оборачивался к остальным, восклицая:

— Эге! Действительно — черным по белому: даровать неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов.

При этом некоторые, не стесняясь тем, что находятся на улице, кричали «ура» и целовались, как на пасху. Тут же мальчик оказался свидетелем сцены, потрясшей его до глубины души.

К толпе подкатили дрожки, из которых проворно выпрыгнул господин в совершенно новом, но уже продавленном котелке, быстро прочитал, приложив к носу кривое пенсне, знаменитое место, затем трижды поцеловал ошалевшего извозчика в медно-красную бороду, плюх-

нулся на дрожки и, заорав на всю улицу: «Полтинник на водку! Гони, скотина!», пропал из глаз так же быстро, как и появился.

Словом, это был во всех отношениях необыкновенный день.

Тучи поредели. Перестал дождик. Просвечивало перламутровое солнце.

Во дворе важно расхаживал в своей черной гимназической курточке с крючками вместо пуговиц и в фуражке без герба Нюся Коган, мечтая, как он теперь, ввиду наступившей свободы вероисповедания, поступит в гимназию и какой у него появится на фуражке красивый герб.

Петя долго играл с ним в классы, после каждого прыжка останавливаясь и продолжая рассказывать про гимназию страшные вещи.

Пугал:

— А потом он тебя ка-ак вызовет да ка-ак начнет спрашивать, а ты ка-ак не будешь ничего знать, а тогда он тебе ка-ак скажет: «Можете идти на место, садитесь», да ка-ак припаяет тебе кол, вот тогда будешь знать!

На что рассудительный Нюся возражал, тихо сияя:

— Почему? А если я буду хорошо готовить уроки?

И пожимал плечами.

— Все равно,— неумолимо резал Петя, прыгая на одной ноге и норовя носком выбить камешек из клетки «небо» (через ять).— Все равно! Ка-ак влепит кол!

Потом Петя угостил Нюсю шоколадкой, а Нюся сбегал в лавочку и принес «вот такую жменю кишмиша».

Потом Петю позвали завтракать. Петя пригласил к себе Нюсю. Отец был уже дома.

— А! — воскликнул он весело, увидев Нюсю.— Надо полагать, что теперь мы скоро будем иметь удовольствие видеть вас гимназистом, молодой человек! Поздравляю, поздравляю...

Нюся вежливо и солидно шаркнул ногой.

— Почему нет? — сказал он, с застенчивым достоинством опуская глаза, и густо покраснел от удовольствия.

Тетя сияла. Папа сиял. Павлик громыхал в коридоре, играя в «свободу», причем перевернутые и расставленные в ряд стулья он почему-то накрывал ковриком и ползал под ними, нещадно дуя в трубу, без которой, к общему ужасу, не обходилась ни одна игра.

Но сегодня мальчика никто не останавливал, и он возился в полное свое удовольствие.

Каждую минуту со двора прибегала Дуня, взволнованно сообщая свежие городские новости. То у вокзала видели толпу с красным флагом — «не пройдешь!» То на Ришельевской качали солдатика: «Он, бедненький, так и подлетает, так и подпрыгивает!» То народ бежал со всех сторон к участку, где, говорят, выпускают арестованных. «Одна женщина бежит с девочкой на руках, а у самой аж слезы из глаз капают и капают». То возле штаба поставили караул из юнкеров — никого посторонних до штабных солдат не пропускают, даже от окон отгоняют. А вольный один все-таки успел подбежать к окну, стал на камень и как закричит: «Да здравствует свобода!» А те солдаты ему из своих окошек обратно: «Да здравствует свобода!»

Все эти новости принимались с радостью, с поспешными вопросами:

— А что полиция?

— А что он?

— А что она?

— А что они?

— А что на Греческой?

Иногда открывали балкон и, не обращая внимания на холод, выходили посмотреть, что делается на улице. В конце Куликова поля можно было рассмотреть темную массу народа и красный флаг.

Вечером пришли гости, чего уже давно не бывало: папины сослуживцы, тетины знакомые курсистки. Вешалка в передней покрылась черными пальто, мантильями, широкополыми шляпами, каракулевыми шапочками пирожком.

Петя видел, как резали на кухне чайную колбасу, прекрасную ветчину и батоны хлеба.

И, засыпая после этого утомительного, но веселого дня, мальчик слышал доносившиеся из столовой густые раскаты чужих голосов, смех, звон ложечек.

Вместе с ярким лучом лампы из столовой в детскую проникал синеватый дым папиросы, вносивший в свежий и теплый воздух нечто необыкновенно мужское и свободное, чего в доме не было, так как папа не курил.

За окном было гораздо светлее, чем обычно: к сла-

бому свету уличных фонарей примешивались разноцветные, как бы желатиновые линейки иллюминации.

Петя знал, что теперь взамен флагов по всему городу между деревьями развешаны на проволоке шестигранные фонарики со стеклами, раскаленными и закопченными горящей внутри свечкой.

Двойные нити однообразных огоньков тянутся в глубину прямых и длинных одесских улиц. Они манят все дальше и дальше в таинственную даль неузнаваемого города, из улицы в улицу, как бы обещая где-то, может быть совсем-совсем близко, вот тут за углом, некое замечательнейшее многоцветное зрелище необычайной красоты и блеска.

Но за углом все та же длинная улица, все те же однообразные, хотя и разноцветные нити фонариков, так же уставших гореть, как и человек среди них — гулять.

Красные, зеленые, лиловые, желтые, синие полотнища света, поворачиваясь в тумане, падают на прохожих, скользят по фасадам, обманывают обещанием показать за углом что-то гораздо более прекрасное и новое.

И все это утомительное разнообразие, всегда называвшееся «тезоименитство», «табель», «царский день», сегодня называется таким же разноцветным словом «конституция». Слово «конституция» то и дело раздавалось из столовой среди раскатов чужих басов и серебряного дилиньканья чайных ложечек.

Петя заснул под шум гостей, которые разошлись необыкновенно поздно — наверное, часу в двенадцатом.

34
В ПОДВАЛЕ

Едва на Ближних Мельницах распространился слух, что выпускают арестованных, Гаврик тотчас побежал к участку.

Терентий, не ночевавший последнюю неделю дома и неизвестно откуда появившийся рано утром, проводил Гаврика до угла, сумрачный, шатающийся от усталости.

— Ты, Гаврюха, конечно, старика встреть, только, не дай бог, не веди его сюда. А то с этой самой «свободой», будь она трижды проклята, возле участка, наверное, полно тех драконов. Подцéпите за собой какого-нибудь

Якова, а потом провалите нам квартиру, даром людей закопаете. Чуешь?

Гаврик кивнул головой:

— Чую.

За время жизни на Ближних Мельницах мальчик научился многое понимать и многое узнал. Для него уже не было тайной, что у Терентия на квартире собирается стачечный комитет.

Сколько раз приходилось Гаврику просиживать на скамеечке у калитки почти всю ночь, давая тихий свисток, когда возле дома появлялись чужие люди!

Несколько раз он даже видел матроса, приходившего откуда-то на рассвете и быстро исчезавшего. Но теперь матроса почти невозможно было узнать. Он завел себе приличное драповое пальто, фуражку с молоточками, а главное — небольшие франтоватые усики и бородку, делавшие его до такой степени не похожим на себя, что мальчику не верилось, будто он именно тот самый человек, которого они вместе с дедушкой подобрали в море.

Однако стоило только всмотреться в эти карие смешливые глаза, в эту капризную улыбку, в якорь на руке, чтобы всякие сомнения тотчас рассеялись.

По неписаному, но твердому закону Ближних Мельниц — никогда ничему не удивляться, никогда никого не узнавать и держать язык за зубами — Гаврик, встречаясь с матросом, представлялся, что видит его в первый раз. Точно так же держался и матрос с Гавриком.

Только один раз Жуков, уходя, кивнул мальчику, как хорошо знакомому, мигнул и, хлопнув по плечу совершенно как взрослого, запел:

— Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя!

И, нагнув голову, шагнул в сени, в темноту.

А между тем Гаврик догадывался, что из всех людей, приходивших к Терентию, из всех представителей завода Гена, мукомольной фабрики Вайнштейна, доков, фабрики Бродского и многих, многих других матрос был самый страшный, самый опасный гость.

Несомненно, он принадлежал к той славной и таинственной «боевой организации», о которой так много было разговоров в последнее время не только на Ближних Мельницах, но и по всему городу.

— ...Чую,— сказал Гаврик.— Только куда ж я нашего

старика отведу по такому холоду, если не на Ближние Мельницы?

Терентий задумался.

— Слушай здесь,— сказал он наконец: — ты его перво-наперво отведи на море в хибарку. В случае, если за вами кто-нибудь и прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли. Переждете в своей халабуде до вечера, а как только смеркнет, тихонько идите прямо по такому адресу... я тебе сейчас скажу, а ты хорошенько запоминай: Малая Арнаутская, номер пятнадцать. Зайдешь к дворнику и спросишь Иосифа Карловича. Ему скажешь, хорошенько запоминай: «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала Софья Петровна узнать, получили ли вы письмо из Николаева». Тогда он тебе ответит: «Уж два месяца нету писем». Чуешь?

— Чую.

— Повторить можешь?

— Могу.

— А ну скажи.

Гаврик собрал на лбу прилежные складки, сморщил носик и сосредоточенно выговорил, как на экзамене:

— Значится, Малая Арнаутская, пятнадцать, спросить у дворника Иосифа Карловича, сказать: «Здравствуйте, Иосиф Карлович, прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева». Тогда той мне должен сказать: «Уж два месяца нету писем»...

— Верно. Тогда ты ему можешь смело сказать, что прислал Терентий, и пускай он нашего старика возьмет пока что к себе и кормит его, а там видно будет. Я туда заскочу... Чуешь?

— Чую.

— Ну, так будь здоров.

Терентий повернул домой, а Гаврик побежал к участку.

Он бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу все гуще и гуще.

Начиная с Сенной площади навстречу ему стали попадаться выпущенные из участка арестованные. Они шли или ехали на извозчиках, с корзинками и кошелками, как с вокзала, размахивая шапками, в сопровождении родственников, знакомых, товарищей.

Толпы бегущих по мостовой людей провожали их, крича без перерыва:

— Да здравствует свобода! Да здравствует свобода!

Возле Александровского участка, окруженного усиленными нарядами конной и пешей полиции, стояла такая громадная и тесная толпа, что даже Гаврику не удалось пробраться сквозь нее. Тут легко можно разминуться со стариком.

При одной мысли, что в случае, если действительно разминутся, дедушка может привести за собой на Ближние Мельницы «Якова», мальчик вспотел.

С бьющимся сердцем он бросился в переулок, с тем чтобы как-нибудь обойти толпу, во что бы то ни стало пробраться к участку и перехватить дедушку. Неожиданно он увидел его в двух шагах от себя.

Но, боже мой, что стало с дедушкой! Гаврик даже не сразу его узнал.

Навстречу мальчику, держась поближе к домам, покачиваясь на согнутых, как бы ватных ногах, тяжело шаркая рваными чоботами по щебню и останавливаясь через каждые три шага, шел дряхлый старик с серебряной щетиной бороды, с голубенькими слезящимися глазами и провалившимся, беззубым ртом. Если бы не кошелка, болтавшаяся в дрожащей руке старика, Гаврик ни за что б не узнал дедушку. Но эта хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем не сравнимой боли.

— Дедушка! — испуганно закричал он. — Дедушка, это вы?

Старик даже не вздрогнул от этого неожиданного окрика. Он медленно остановился и медленно повернул к Гаврику лицо с равнодушно жующими губами, не выражая ни радости, ни волнения — ничего, кроме покорного, выжидающего спокойствия.

Можно было подумать, что он не видит внука,— до того неподвижны были его слезящиеся глаза, устремленные куда-то мимо.

— Дедушка, куда вы идете? — спросил Гаврик громко, как у глухого.

Старик долго жевал губами, прежде чем произнес — тихо, но сознательно:

— На Ближние Мельницы.

— Туда нельзя,— шепотом сказал Гаврик, осторожно оглядываясь.— Терентий сказал, чтоб на Ближние, ради бога, не приходили.

Старик тоже оглянулся по сторонам, но как-то слишком медленно, безразлично, машинально.

— Пойдемте, дедушка, пока до дому, а там посмотрим.

Дедушка покорно затоптался, поворачиваясь в другую сторону, и, не говоря ни слова, зашаркал назад, с усилием переставляя ноги.

Гаврик подставил старику плечо, за которое тот крепко взялся. Они потихонечку пошли через возбужденный город к морю, как слепой с поводырем: мальчик впереди, дедушка несколько сзади.

Очень часто старик останавливался и отдыхал. Они шли от участка до берега часа два. Этот путь Гаврик один пробегал обычно в пятнадцать минут.

Помятый и заржавленный замок валялся в коричневом бурьяне возле хибарки. Дверь косо висела на одной верхней петле, скрипя и покачиваясь от ветра. Осенние ливни смыли с почерневших досок последние следы бабушкиного мела. Вся крыша была сплошь утыкана репейником — видать, здесь хозяйничали птицеловы, устроившие в пустой хибарке засаду.

В каморке все было перевернуто вверх дном. Лоскутное одеяльце и подушка — сырые, вымазанные глиной,— валялись в углу. Однако сундучок, нетронутый, стоял на своем месте. Старик не торопясь вошел в свой дом и присел на край койки. Он поставил на колени кошелку и безучастно смотрел в угол, не обращая ни малейшего внимания на разгром. Казалось, он зашел сюда отдохнуть: вот посидит минуты две, переведет дух и пойдет себе помаленьку дальше.

В разбитое окно дул сильный, холодный ветер, насыщенный водяной пылью прибоя. Шторм кипел вдоль пустынного берега. Белые клочья чаек и пены летали по ветру над звучными скалами. Удары волн отдавались в пещерах берега.

— Что же вы сидите, дедушка? Вы ляжьте.

Дедушка послушно лег. Гаврик дал ему подушку и прикрыл одеялом. Старик поджал ноги. Его знобило.

— Ничего, дедушка. Слушайте здесь. Как смеркнет, мы отсюдова пойдем в одно место. А пока лежите.

Дедушка молчал, всем своим видом выражая полное равнодушие и покорность. Вдруг он повернул к Гаврику отекшие, как бы вывернутые наизнанку глаза, долго жевал проваленным ртом и наконец выговорил:

— Шаланду не унесет?

Гаврик поспешил успокоить его, сказав, что шаланда в безопасном месте, у соседей. Старик одобрительно кивнул головой и смолк.

Через час он, кряхтя, перевернулся на другой бок и осторожно застонал.

— Дедушка, у вас болит?

— Отбили...— промолвил он и виновато улыбнулся, обнаружив розовые беззубые десны.— Чисто все печенки отбили...

Гаврик отвернулся.

До самого вечера старик не произнес больше ни слова. Как только стемнело, мальчик сказал:

— Пойдемте, дедушка.

Старик поднялся, взял свою кошелку, и они пошли мимо заколоченных дач, мимо закрытого тира и ресторана в город, на Малую Арнаутскую, пятнадцать.

Расспросив дворника, Гаврик без труда отыскал в темном полуподвале квартиру Иосифа Карловича и постучал в дверь, обитую рваным войлоком.

— Кто там? — послышался голос, показавшийся знакомым.

— Здесь квартира Иосифа Карловича?

— А что надо?

— Откройте, дядя. Я к вам от Софьи Петровны.

Дверь тотчас открылась, и, к своему величайшему изумлению, мальчик увидел на пороге, с керосиновой лампочкой в руке, хозяина тира. Он посмотрел невозмутимо, но несколько высокомерно на мальчика и, не двигаясь с места, сказал:

— Я Иосиф Карлович. Ну, а что же дальше?

— Здравствуйте, Иосиф Карлович,— произнес мальчик тщательно, как хорошо выученный урок.— Прислала до вас Софья Петровна узнать, чи вы получили письмо с Николаева.

Удивленно осмотрев мальчика с ног до головы, на что

ушло по меньшей мере минуты две, хотя мальчик был весьма небольшой, хозяин тира произнес еще более высокомерно:

— Уж два месяца нету писем.

Он помолчал и, сокрушенно покачав головой, прибавил:

— Какая, знаете ли, неаккуратная дамочка! Ай-яй-яй!

И вдруг сделал любезнейшее лицо польского магната, принимающего у себя в имении папского нунция. Это ни в какой мере не соответствовало его босым ногам и отсутствию рубахи под пиджаком.

— Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, иногда посещали мое заведение? Какой приятный случай! А этот старик, если не ошибаюсь, ваш дедушка? Заходите же в комнату.

Дедушка и внучек очутились в конуре, поразившей даже их своей нищетой.

О, совсем, совсем не так представлял себе Гаврик жизнь этого могущественного, богатейшего человека, хозяина тира и — шутка ли! — обладателя четырех монтекристо.

Мальчик с удивлением оглядывал пустые, зеленоватые от сырости стены. Он ожидал увидеть на них развешанные ружья и пистолеты. Но вместо этого увидел одинединственный гвоздь, на котором висели неслыханно запущенные подтяжки, более, впрочем, похожие на вожжи.

— Дядя, а где ж ваши ружья? — почти с ужасом воскликнул Гаврик.

Иосиф Карлович сделал вид, что не расслышал этого вопроса.

Он широким жестом предложил сесть на стул и, отойдя в угол, глухо сказал:

— Вы имеете мне что-нибудь сообщить?

Гаврик от имени брата попросил временно приютить дедушку.

— Передайте вашему брату, что все будет исполнено, пускай не сомневается,— быстро сказал Иосиф Карлович.— У меня есть в городе кое-какие связи. Я думаю, что мне удастся в конце концов устроить его ночным сторожем.

Гаврик оставил дедушку у Иосифа Карловича, обещал заходить и вышел. У дверей его нагнал хозяин.

— Передайте Терентию,— сказал он шепотом,— что Софья Петровна просила передать: у нее имеется порядочный запас орехов, только, к сожалению, не очень крупных. Не грецких. Он поймет. Не грецких. Пусть наладит транспорт. Вы меня поняли?

— Понял,— сказал Гаврик, уже привыкший к подобным поручениям.— Не грецких, и пущай сам за ними присылает.

— Верно.

Иосиф Карлович полез в подкладку своего ужасного пиджака, порылся и подал Гаврику гривенник:

— Прошу вас, возьмите это себе на конфеты. К сожалению, больше ничего не могу вам предложить. Я бы вам, клянусь честью, с удовольствием подарил монтекристо, но...

Иосиф Карлович горестно развел руками, и по его истерзанному страстями лицу пробежала судорога.

— ...но, к сожалению, благодаря моему несчастному характеру я больше не имею ни одной штуки.

Гаврик серьезно и просто взял гривенник, поблагодарил и вышел на улицу, озаренную тревожным светом иллюминации.

35

ДОЛГ ЧЕСТИ

Утром Петя унес из чулана две пары летних кожаных скороходов и по дороге в гимназию продал их старьевщику за четыре копейки.

Когда днем явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки. Петя проиграл всё только что купленное у Гаврика еще скорее, чем в первый раз.

Да и понятно: у приятелей были слишком неравные силы.

Почти все ушки Приморского района лежали в мешочках Гаврика. Он мог широко рисковать, в то время как Петя принужден был дорожить каждой двойкой и делать нищенские ставки, а это, как известно, всегда приводит к быстрому проигрышу.

На другой день Петя, уже совершенно не владея собой, потихоньку взял шестнадцать копеек — сдачу, оставленную Дуней на буфете.

На этот раз он решил вести себя умнее и осторожнее.

Прежде всего для удачной игры была необходима настоящая, хорошая битка.

Петина битка — большая и на вид необыкновенно красивая ливрейная пуговица с геральдическими львами и графской короной,— несмотря на всю свою красоту, никуда не годилась: она была слишком легкая. Ее требовалось утяжелить. Петя отправился на вокзал, пробрался на запасные пути и в отдаленном тупике, за депо, сходя с ума от страха, срезал с товарного вагона свинцовую пломбу.

Дома он вколотил ее молотком в чашечку битки, потом вышел на Куликово поле и положил битку под дачный поезд. Он поднял ее с рельсов великолепно расплющенную, горячую, тяжелую. Теперь она не уступала лучшим биткам Гаврика.

Вскоре пришел Гаврик, и началась игра. Мальчики сражались долго и ожесточенно.

Однако оказалось, что иметь хорошую битку — этого еще мало. Надо быть мастером! В конце концов Петя проиграл не только все, что у него было, но еще остался должен.

Гаврик пообещал прийти завтра за долгом.

Для Пети наступило время, похожее на дурной сон.

— На буфете лежала сдача, шестнадцать копеек,— спокойно сказал отец вечером, после обеда.— Ты случайно не брал?

Кровь прилила к Петиному сердцу и тотчас отхлынула.

— Нет,— сказал он как можно равнодушнее.

— А посмотри-ка мне в глаза.

Отец взял мальчика за подбородок и повернул его лицо к себе.

— Честное благородное слово,— сказал Петя, изо всех сил стараясь смотреть отцу прямо в глаза.— Святой истинный крест!

Холодея от ужаса, мальчик перекрестился на икону. Он ожидал, что сию же секунду разверзнется потолок и в него ударит молния. Ведь должен же был бог немедленно покарать за такое наглое клятвопреступление!

Однако все было тихо.

— Это очень странно,— хладнокровно заметил отец.— Значит, у нас в доме завелся вор. Мне и тете, разумеется,

нет никакой необходимости тайно брать деньги с буфета. Павлик целый день на глазах у взрослых и тоже не мог этого сделать. Ты дал честное слово. Следовательно, остается предположить, что это сделала Дуня, которая у нас служит пять лет...

В это время Дуня заправляла в передней лампу.

Она тотчас положила на подзеркальник стекло и тряпку и появилась в дверях. Не только шея, но даже обнаженные до локтей руки ее стали красными. Большое добродушное лицо было покрыто пятнами и искажено му́кой.

— Чтоб мне не было в жизни счастья,— закричала она,— если тую сдачу с базара паныч не проиграл в ушки Гаврику!

Отец взглянул на Петю.

Мальчик понял, что должен немедленно, молниеносно, сию же секунду сказать нечто благородное, гордое, справедливое, страшное, что мгновенно сняло бы с него всякое подозрение.

Минуту назад он еще мог бы, пожалуй, сознаться. Но теперь, когда дело коснулось ушек,— ни за что!

— Вы не имеете права так говорить! — заорал Петя сипнущим голосом, и яркий румянец лживого негодования выступил на его лице.— Вы врете!

Но и этого показалось ему мало.

— Вы... вы, наверное, сами... воровка! — затопав ногами, выкрикнул Петя.

Отец с серьезной грустью укоризненно качал головой, не в состоянии понять, что делается в душе мальчика.

Покуда Дуня бестолково суетилась в кухне, собирая вещи и требуя расчета, Петя выбежал в детскую и так страшно хлопнул дверью, что на спинке кровати закачался эмалевый образок ангела-хранителя.

Мальчик наотрез отказался просить у Дуни прощенья. Он лег в постель и притворился, что у него обморок. Его оставили в покое.

Отец не поцеловал его на ночь.

Петя слышал, как тетя уговаривала Дуню остаться и как та, всхлипывая, наконец согласилась.

Среди ночи Петя часто просыпался, ужасаясь своему поступку. Он был готов бежать в кухню и целовать Дуне ноги, умоляя о прощении. Но еще большее волнение охва-

тывало мальчика при мысли о Гаврике, который потребует завтра денег.

Утром, выждав момент, когда отец повел Павлика в ванную комнату умываться, Петя вынул из шкафа старый вицмундир.

Семейное предание гласило, что вицмундир этот был сшит папой тотчас при выходе из университета и надет всего один раз в жизни, по настоянию маминых чопорных родственников, требовавших, когда папа венчался с мамой, чтобы все было, как у людей. С тех пор вицмундир висел, всеми забытый, в шкафу.

Ушек на нем оказалось очень много, но большинство из них, к сожалению, были слишком маленькие, в игру не годившиеся.

Больших имелось всего четыре, да и они не оправдывали надежд. Это были малоценные толстые, белые, почти вышедшие из употребления тройки.

На совесть пришитые к тонкому сукну старательным одесским портным прошлого века, они не поддавались ножницам. Петя нетерпеливо зубами выдрал их с мясом.

Стоит ли говорить, что и на этот раз Петю постигла в игре полная неудача? Его долг Гаврику возрос необычайно.

Петя окончательно запутался. Гаврик посматривал на приятеля с мрачным сочувствием, не предвещавшим ничего хорошего.

— Ну, Петька, как же будет? — спросил он сурово.

В значении этих слов трудно было ошибиться. Их смысл был примерно таков: «Что ж это, брат? Набрал в долг ушек и не отдаешь? Печально. Придется набить морду. Дружба — дружбой, да ничего не поделаешь. Так полагается. Сам понимаешь. Ушки — это тебе не картонки, они денег стоят. Уж ты на меня не сердись».

Петя и не сердился. Он понимал, что Гаврик совершенно прав. Он только тяжело вздохнул и попросил еще немножечко обождать. Гаврик согласился.

Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые.

Мальчик перебрал тысячи способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные.

Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор! О, как он мог это забыть!

Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминой маме, письмо в Екатеринослав.

Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах — что, по правде сказать, было сильно преувеличено,— Петя просил прислать ему на память — как можно скорее — майорский мундир дорогого дедушки.

Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой кампании, и любившая Петю, своего старшего внучка.

Мальчик извещал ее далее, что, по примеру дедушки-героя, сам твердо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нем воинского духа.

Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек — штук двадцать, если не тридцать, отличных офицерских пятков с чеканными орлами.

Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыграться.

По Петиным расчетам, посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже.

Петя рассказал Гаврику все.

Гаврик вполне одобрил.

Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой желтый ящик с изображением заказного пакета за пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков.

Теперь оставалось спокойно ждать.

В предвкушении несметных богатств Гаврик открыл Пете новый неограниченный кредит, и Петя беззаботно проигрывал будущее дедушкино наследство.

38

ТЯЖЕЛЫЙ РАНЕЦ

Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила.

Несмотря на объявленную царем «свободу», беспорядки усиливались. Почта работала плохо. Отец перестал получать из Москвы газету «Русские ведомости» и сидел по вечерам молчаливый, расстроенный, не зная, что делается на свете и как надо думать о событиях.

Приготовительный класс распустили на неопределенное время. Петя целый день болтался без дела. За это время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать.

Однажды пришел Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал:

— Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдет всеобщая.

Может быть, еще месяц тому назад Петя не понял бы, о чем говорит Гаврик. Но теперь было вполне ясно: раз «всеобщая» — значит, «забастовка».

Сомневаться же в достоверности Гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на Ближних Мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце.

— А может, успеют дойти?

— Навряд ли.

Петя даже побледнел.

— Как же будет насчет долга? — спросил Гаврик настойчиво.

Дрожа от нетерпения поскорее начать игру, Петя поспешно дал честное благородное слово и святой истинный крест, что завтра, так или иначе, непременно расквитается.

— Смотри! А то — знаешь...— сказал Гаврик, расставив по-матросски ноги в широких бобриковых штанах лилового, сиротского цвета.

Вечером того же дня Петя осторожно выкрал знаменитую копилку Павлика. Запершись в ванной, он столовым ножом извлек из коробки все сбережения — сорок три копейки медью и серебром.

Проделав эту сложную операцию с удивительной лов-

костью и быстротой, мальчик набросал в опустошенную жестянку различного гремучего хлама: гвоздиков, пломб, костяных пуговиц, железок.

Это было совершенно необходимо, так как бережливый и аккуратный Павлик обязательно два раза в день — утром и вечером — проверял целость кассы: он подносил жестянку к уху и, свесив язык, тарахтел копейками, наслаждаясь звуком и весом своих сокровищ. Можно себе представить, какие вопли поднял бы он, обнаружив покражу! Но все сошло благополучно.

Ложась спать, Павлик потарахтел жестянкой, набитой хламом, и нашел, что касса в полном порядке.

Впрочем, известно, что богатства, приобретенные преступлением, не идут человеку впрок. В три дня Петя проиграл деньги Павлика.

Надежды на быстрое получение дедушкиного мундира не было. Гаврик опять стал настойчиво требовать долг.

Ежедневно, сидя на подоконнике, Петя дожидался Гаврика.

Он с ужасом представлял себе тот страшный день, когда все откроется: и ушки, и сандалии, и вицмундир, и копилка Павлика. А ведь это обязательно — рано или поздно — должно обнаружиться. О, тогда будет что-то страшное! Но мальчик старался об этом не думать, его терзала вечная и бесплодная мечта проигравшихся игроков — мечта отыграться!

Ходить по улицам было опасно, но все же Гаврик обязательно появлялся и, остановившись посредине двора, закладывал в рот два пальца. Раздавался великолепный свист. Петя торопливо кивал приятелю в окно и бежал черным ходом вниз.

— Получил ушки? — спрашивал Гаврик.

— Честное благородное слово, завтра непременно будут! Святой истинный крест! Последний раз.

В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя как несостоятельный должник поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается.

Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы.

Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы.

— Теперь ты скрозь будешь со мною ходить,— добродушно сказал он и прибавил строго: — Вынеси ранец.

— Зачем... ранец?

— Чудак человек, а ушки в чем носить?

И глаза Гаврика блеснули веселым лукавством.

По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого веселого рабства: ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу. Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной: он здесь ни при чем, такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы не ходить, да нельзя: такие правила.

Петя сбегал домой и вынес ранец.

— Надень,— сказал Гаврик.

Петя послушно надел. Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели, с пустым ранцем за спиной. По-видимому, он остался вполне доволен.

— Билет гимназический есть?

— Есть.

— Покажь!

Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочел первые слова: «Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения...»

— Верно,— заметил он, возвращая билет.— Сховай. Может, сгодится.

Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжелыми мешочками ушек.

— Теперь мы всюду пройдем очень свободно,— сказал Гаврик, застегивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке.

Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону — поменьше спрашивать и побольше знать,— промолчал. Мальчики осторожно вышли со двора.

Так начались их совместные странствования по городу, охваченному беспорядками.

С каждым днем ходить по улицам становилось все более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинст-

венно увлекательной жизни странствующего чемпиона. Наоборот. Чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие, опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядками существует какая-то необъяснимая связь.

С утра до вечера мальчики шлялись по каким-то черным дворам, где у Гаврика были с тамошними мальчиками различные дела по части купли, продажи и мены ушек. В одних дворах он получал долги. В других играл. В третьих — вел загадочные расчеты со взрослыми, которые, к крайнему Петиному изумлению, по-видимому, так же усердно занимались ушками, как и дети.

Таща на спине тяжелый ранец, Петя покорно следовал за Гавриком повсюду. И опять в присутствии Гаврика город волшебно оборачивался перед изумленными глазами Пети проходными дворами, подвалами, щелями в заборах, сараями, дровяными складами, стеклянными галереями, открывая все свои тайны.

Петя видел ужасающую и вместе с тем живописную нищету одесских трущоб, о существовании которых до этого времени не имел ни малейшего представления.

Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя опрокинутые поперек мостовой конки, мальчики колесили по городу, посещая самые отдаленные его окраины.

Благодаря Петиной гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить:

— Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону, мы с товарищем живем вон в том большом сером доме, мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет.

Вид у мальчика в форменной шинели, с телячьим ранцем за плечами был такой простодушный и приличный, что обыкновенно офицер, не имевший права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек.

— Валяйте, только поосторожней! Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел! Брысь!

Таким образом мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других.

Несколько раз они были на Малой Арнаутской, в старом греческом доме с внутренним двором. Там был фонтан в виде пирамиды губчатых морских камней, с зеленой железной цаплей наверху. Из клюва птицы в былые времена била вода.

Гаврик оставлял Петю во дворе, а сам бегал куда-то вниз, в полуподвал, откуда приносил множество мешочков с необыкновенно тяжелыми ушками. Он поспешно набивал ими Петин ранец, и мальчики быстро убегали из этого тихого двора, окруженного старинными покосившимися галереями.

В этом же дворе Петя как-то увидел дедушку Гаврика. Он тихо шел на согнутых ногах через двор к мусорному ящику.

— О! Дедушка! — закричал Петя.— Послушайте, что вы здесь делаете? А я думал, вы — в участке.

Но дедушка посмотрел на мальчика, как видно не узнавая.

Он переложил из руки в руку ведро и прошамкал глухо:

— Я здесь теперь... Сторожу... Ночной сторож... да...

И тихонько пошел дальше.

Мальчики заходили в порт, на Чумку, в Дюковский сад, на Пересыпь, на завод Гена. Они побывали всюду, кроме Ближних Мельниц.

На Ближние Мельницы Гаврик возвращался один после трудового дня.

Тетя и папа сошли бы, вероятно, с ума, если бы только могли себе представить, в каких местах побывал за это время их Петя.

37

БОМБА

Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни.

В этот памятный день Гаврик пришел раньше обыкновенного, и мальчики тотчас отправились в город.

У Гаврика было серое, необычайно собранное неподвижное лицо с пестрыми от холода, крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шел, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов,— малень-

кий, сгорбившийся, решительный. Только в его прозрачных, как у дедушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление. Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице, безлюдной, как во сне.

Напряженное ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу.

Вдруг где-то далеко, в центре, раздался легкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков и внезапно они развязались и рухнули на мостовую.

Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха.

— Что это? — шепотом спросил Петя.— Ящики?

— Бомба,— сухо и уверенно сказал Гаврик.— Когось трахнули.

Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва.

— Ой, господи Иисусе Христе, ой, мать пресвятая богородица...— бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей рукой натянуть сбившийся с головы платок.— Ох, господи, что же это делается! На кусочки разорвало...

— Где?

— На Полицейской... Вот так я иду, а вот так он едет... И как рванет... На мелкие кусочки... Господи, помилуй... Лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки...

— Кого?

— Пристава... С Александровского участка... Вот так — я, а вот так — он... А тот боевик — напротив, и у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завернутый в газету...

— Поймали?

— Боевика-то? Куда там! Как бросились все в разные стороны — его и след простыл... боевика-то... Говорят, какой-то переодетый матрос...

Женщина побежала дальше. Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами.

— Это того самого, который деда бил кулаком по морде! — быстро, горячо зашептал он.— А пускай не дает волю своим рукам. Верно?

— Верно,— сказал Петя холодея.

В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу, во двор с фонтаном и цаплей.

В первый раз, забрав «товар», как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили.

Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота.

Мальчики прошли через большой безлюдный двор, мимо казачьей коновязи, по пустым обоймам и винтовочным гильзам, вбитым солдатскими подошвами в тугую, промерзшую землю.

Мальчики спустились в подвал и долго шли в сырой темноте мимо дровяных сараев, пока не вышли на другой двор. Из этого двора узкой щелью между двумя высокими и мрачными кирпичными стенами можно было пробраться еще в один двор.

Как видно, Гаврик хорошо знал здесь все ходы и выходы. Щель была такая узкая, что Петя, пробираясь за Гавриком, то и дело царапал ранец о стены. Наконец они выбрались на этот третий двор, узкий, высокий и темный, как цистерна. Судя по тому, как долго пришлось сюда пробираться и сколько сделали поворотов и зигзагов, дом этого двора выходил на какую-то другую улицу.

Весь двор был усеян битым стеклом и штукатуркой. Окна дома, окружавшего двор, были плотно закрыты ставнями. Казалось, что дом необитаем.

Гулкая тишина стояла вокруг.

Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения.

Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же не торопясь вложил в рот два пальца и свистнул.

Где-то наверху стукнул ставень, и раздался голос:

— Сейчас!

Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери черного хода выскочил красный, потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом.

Петя увидел и ахнул.

Это был Терентий.

— Давай, давай, давай! — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо.

Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу:

— Давай скорей! Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось.

Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя, переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть:

— Пущай Иосиф Карлович сей же час присылает еще! Тащите что есть. А то не продержимся.

— Ладно,— сказал Гаврик,— принесем.

Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпался розовый порошок кирпича.

Они поспешили той же дорогой назад, на Малую Арнаутскую, и взяли новую партию «товара». Ранец на этот раз был так тяжел, что Петя его еле тащил.

Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы все и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, ни за что не согласился бы оставить товарища одного. К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишен права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями.

Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город! Теперь он кипел.

Улицы то наполнялись бегущим в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно, подметенные железной метелкой залпа.

Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню.

— Стой!

— Что?

Не выпуская Петиной руки, Гаврик осторожно выгля-

нул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под черной доской с фамилиями жильцов.

— Слышь, Петька... Дальше не пройдем... Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил... Смотри...

Петя на цыпочках подошел к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решеток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулевой шляпе пирожком. Он повернулся, и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видел. Но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой? И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода «Тургенев», но только бритый, без усов. Он тогда врезался в память на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи даже бритым.

— Усатый,— прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком, ранцем к стенке.— Который ловил матроса. Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты еще смеялся.

— Ишь, побрился, чтоб не узнали... Шкура... Он меня знает, как облупленного,— сказал Гаврик с досадой.— Ни за что не пройдем.

— А может, пройдем?

— Смеешься?

Гаврик выглянул из ворот.

— Ходит...

Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев.

— А они тама сидят и дожидаются... У, дракон!

В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдаленные выстрелы. Их шум перекатывался где-то по крышам города.

— Слышь, Петька,— сказал вдруг Гаврик,— понимаешь, они тама сидят и даром дожидаются... без товара... Их тама всех перестреляют, очень просто... А я не могу идтить, потому что этот черт непременно за мной прилипнет!

Злые слезы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался в землю и сердито посмотрел Пете в глаза:

— Чуешь, что я тебе говорю?

— Чую,— одними губами проговорил Петя, бледнея от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища.

— Сможешь пойтить один? Не сдрейфишь?

От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнув головой. Воровато озираясь по сторонам и выглядывая из ворот, Гаврик стал набивать Петины карманы своими мешочками.

— Слышь, все отдашь, весь товар. И что в ранце, отдашь, и что в карманах. А если поймаешься, молчи и отвечай, что нашел на улице и ничего не знаешь. Понял?

— Понял.

— Как только отдашь, так беги сюда обратно, я тебя буду тута дожидаться, в воротах. Понял?

— Понял.

С неудобно раздутыми карманами Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошел к заставе.

— Куда лезешь, не видишь, что ли? — закричал усатый, бросаясь к мальчику.

— Дяденька,— захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика,— пожалуйста, пропустите, мы живем тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме, мама очень беспокоится: наверное, думает, что меня убили.

И совершенно натуральные слезы брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щечкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку приготовишки и взял Петю за ранец.

Он подвел мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом:

— Жарь!

Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому.

38
ШТАБ БОЕВИКОВ

Мальчик шмыгнул в ворота, стал пробираться через двор.

Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Тогда он чувствовал себя под надежной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишенным собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный.

Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше.

И тотчас в отсутствие Гаврика мир стал вокруг Пети грозным, громадным, полным скрытых опасностей.

Опасность пряталась в каменных арках внутренней галереи, среди зловещих ящиков и старой, поломанной мебели. Она неподвижно стояла посредине двора за шелковицей, ободранной зубами лошадей. Она выглядывала из черной дыры мусорного ящика.

Все вещи вокруг мальчика приобретали преувеличенные размеры. Громадные казачьи лошади теснились, напирая на Петю золотисто-атласными танцующими крупами. Чудовищные хвосты со свистом били по ранцу. Чубатые казаки в синих шароварах с красными лампасами прыгали на одной ноге, вдев другую в стремя.

— Справа-а по три-и-и! — кричал осипший голос хорунжего.

Вырванная из ножен шашка зеркальной дугой повисла в воздухе над приплюснутыми набекрень фуражками донцов.

Петя спустился в подвал.

Он долго шел ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши. Наконец он выбрался на второй двор. Здесь было пусто.

Только сейчас, среди этой небывалой пустоты, в полной мере ощутил Петя свое страшное одиночество. Он готов был броситься назад, но тысячи верст и тысячи страхов отделяли его от улицы, от Гаврика.

В щели между вторым и третьим двором стояла такая немыслимая тишина, что хотелось изо всех сил кричать, не щадя горла. Кричать отчаянно, страстно, исступленно, лишь бы только не слышать этой тишины.

Такая тишина бывает лишь в промежутке между двумя выстрелами.

Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть — нет. Не сообразил. Забыл.

Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул, но свиста не вышло. В отчаянии он дунул еще раз, изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение.

Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул:

— Э-э!

Голос прозвучал совсем слабо. Но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора.

Однако никто не откликнулся. Тишина стала еще страшней.

Вверху что-то оглушительно щелкнуло, и вниз полетело колено сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли, известку.

— Э-э! Э-э! Э-э! — закричал мальчик изо всей мочи.

Наверху приоткрылся ставень, и выглянуло незнакомое лицо.

— Чего кричишь? Принес? Беги сюда наверх! Живенько!

И лицо скрылось.

Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться.

Вверху опять щелкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившейся вдребезги у самых Петиных ног.

Съежившись, мальчик бросился в дверь черного хода. Путаясь в полах слишком длинной, сшитой «на рост», шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх.

— Давай, давай, давай! — кричал сверху сердитый голос.

Тяжелый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка

внутри стала горячая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало.

А раздраженный, умоляющий голос продолжал кричать сверху:

— Давай! Давай же, ну тебя к черту!

Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвертого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу.

Его франтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспаленному простому, курносому лицу, осыпанному известкой.

Отчаянные, веселые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали.

Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи.

Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха. Но человек ласково заглянул в глаза.

— Принес? — торопливым шепотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой — Петя сразу это почувствовал — делалось что-то громадное и страшное, что обычно в квартире делаться не может.

Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаскивать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки.

Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда?

Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка?

Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка.

— Все? — спросил он.

— Нет, еще есть в ранце.

— Молодец мальчик! — закричал человек.— Ай, спасибо! А еще гимназист!

Он в знак восторга крепко взялся за козырек Петиной фуражки и глубоко насунул ее мальчику по самые уши.

И тут Петя увидел возле самого носа закопченную, тухло пахнущую порохом коренастую руку с маленьким голубым якорем.

— Матрос! — воскликнул Петя.

Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло. Рванулся воздух. С полки упала кастрюля. Матрос мягким, кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть:

— Сиди тут!

Через минуту где-то совсем рядом раздалось подряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорей сбросил ранец и стал его расстегивать дрожащими пальцами.

В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошел Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер.

Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран.

— Принес? — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бившей в его неправдоподобно белое лицо.— Где Гаврюшка? Живой?

— Живой.

Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки.

— Все равно не удержимся,— бормотал он, еле держась на ногах.— Будем по крышам уходить... Они тама орудие ставят... А ты, мальчик, тикай, а то тебя здесь подстрелят... Тикай скорей. Спасибо, будь здоров.

Терентий присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвер о колено, побежал по коридору туда, откуда слышались беспрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стекол.

Петя схватил легкий ранец и бросился к двери. Но любопытство все-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной

мебелью. Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решеткой дранки.

Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, припав к подоконникам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов.

Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка.

И все это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма.

Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дергающуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом:

— Огонь! Огонь! Огонь!

И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма лишь один человек — с желтым, равнодушным, восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом — был совершенно спокоен.

Он неудобно лежал поперек комнаты, лицом вверх, на полу, среди пустых обойм и гильз.

Разбитое пенсне, зацепившееся черным шнурком за его твердое и белое ухо, лежало рядом с головой на паркете, запудренном известкой. И тут же, на паркете, аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком.

Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это — труп.

Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик.

— Ну как, отнес?

— Отнес.

Петя, захлебываясь, рассказал все, что видел в страшной квартире.

— Они все равно не удержатся. Будут уходить по крышам...— шептал Петя, тяжело дыша: — Там против них пушку ставят...

Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным.

Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам.

— Пропало! — закричал Гаврик в отчаянии.— Тикай!

Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу, в третий раз изменившемуся за это утро.

Теперь в нем безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков.

Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками.

От них некуда было спрятаться: все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку.

Остатки рассеянных демонстраций бежали врассыпную, куда глаза глядят, без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке.

На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда.

Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас.

Через каждые десять шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное, истерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались два донца.

Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледные при дневном свете.

Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного.

Дверь была заперта. Он рвал ее с отчаянием, он бил в нее изо всех сил ногами, ломился плечом. Дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар.

Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижал к груди флаг. Блеснула шашка. Спина покачнулась. Пиджак лопнул наискось. Хозяин тира дернулся и повернулся.

На один миг мелькнуло его искаженное болью лицо с косо подрубленными бачками.

— Негодяи! Сатрапы! Палачи! — страстно закричал он на всю улицу.— Долой самодержавие!

Но в тот же миг — резко и одновременно — блеснули две шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой.

Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал.

Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на веревке тело человека, оставлявшее на мертвенно-серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.

Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков.

39

ПОГРОМ

В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он наконец добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было еще и двух часов.

В районе Куликова поля и штаба все было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдаленных выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли.

Низкое, почти черное небо дышало крепким холодом недалекого снега. В такую пору вечер начинается с утра. В мутном, синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок. Но твердая земля все еще была совершенно черной, без единой сединки.

Петя вошел через черный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике еще и не начинали беспокоиться.

Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать все.

Но это чувство возникло в потрясенной душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому — сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик просто и серьезно, всем сердцем, понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно.

Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошел и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки.

— Ну что, сынок, скучно ничего не делать? Ничего, поскучай. Скоро все уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия. Пойдешь в гимназию. Нахватаешь двоек. Легче станет на сердце.

И он улыбнулся своей милой, близорукой улыбкой.

В кухне хлопнула дверь, по коридору быстро застучали шаги. На пороге столовой появилась Дуня. Она бессильно прислонилась к дверному косяку, тесно прижимая руки к груди.

— Ой, барин...

Больше она не могла выговорить ни слова.

Дуня трудно и часто дышала, глотая воздух полуоткрытым ртом. Из-под сбившегося платка на небывало бледное лицо упала прядь волос с повисшей шпилькой.

За последнее время в доме привыкли к ее неожиданным вторжениям. Почти каждый день она сообщала какую-нибудь городскую новость. Но на этот раз ее безумные глаза, судорожное дыхание, весь ее невменяемый вид говорили, что произошло нечто из ряда вон выходящее, ужасное. Она внесла с собой такую темную, такую зловещую тишину, что показалось, будто часы защелкали в десять раз громче, а в окна вставили серые стекла. Стук швейной машинки тотчас оборвался. Тетя вбежала, приложив пальцы к вискам с лазурными жилками:

— Что?.. Что случилось?..

Дуня молчала, беззвучно шевеля губами.

— На Канатной евреев бьют,— наконец выговорила она еле слышно,— погром...

— Не может быть! — вскрикнула тетя и села на стул, держась за сердце.

— Чтоб мне пропасть! Чисто все еврейские лавочки разбивают. Комод со второго этажа выбросили на мостовую. Через минут десять до нас дойдут.

Отец вскочил бледный, с трясущейся челюстью, силясь надеть непослушной рукой пенсне.

— Да что ж это, господи!

Он поднял глаза к иконе и дважды перекрестился.

Дуня приняла это за некий знак. Она очнулась, полезла на стул и стала порывисто снимать икону.

— Что вы делаете, Дуня?

Но она, не отвечая, уже бегала по комнатам, собирая иконы. Она суетливо расставляла их на подоконниках лицом на улицу и подкладывала под них стопки книг, коробки, цибики из-под чаю — все, что попадалось под руку.

Отец растерянно следил за ней:

— Я не понимаю... Что вы хотите?

— Ой, барин, да как же? — испуганно бормотала она.— Да как же? Разбивают евреев... А русских не трогают... У кого на окнах иконы — до тех не заходят!

Вдруг лицо отца исказилось.

— Не смейте! — закричал он высоким, срывающимся голосом и начал изо всех сил дробно стучать кулаком по столу.— Не смейте... Я вам запрещаю!.. Слышите? Сию же минуту прекратите... Иконы существуют не для этого... Это... это кощунство... Сейчас же...

Круглые крахмальные манжеты выскочили из рукавов. Лицо стало смертельно бледным, с розовыми пятнами на высоком лепном лбу.

Никогда еще Петя не видел отца таким: он трясся и был страшен. Он бросился к подоконнику и схватил икону.

Но Дуня крепко держала ее и не отпускала.

— Барин!.. Что вы делаете?..— с отчаянием кричала она.— Они же всех чисто поубивают! Татьяна Ивановна! Ясочка! Чисто всех побьют! Ни на что не посмотрят!..

— Молчать! — заорал отец, и жилы у него на лбу страшно вздулись.— Молчать! Здесь я хозяин! Я не позволю у себя в доме... Пускай приходят! Пускай убивают всех!.. Скоты!.. Вы не имеете права... Вы не имеете...

Тетя хрустела пальцами:

— Василий Петрович! Умоляю вас, успокойтесь!..

Но отец уже стоял, прислонясь головой к обоям и закрыв руками лицо.

— Идут! — крикнула вдруг Дуня.

Наступила тишина.

На улице слабо слышалось стройное пение. Можно было подумать, что где-то очень далеко — крестный ход или похороны.

Петя осторожно посмотрел в окно. На улице не было

ни души. Еще более опустившееся и потемневшее небо грифельного цвета висело над безлюдным Куликовым полем. Несколько длинных ниток легкого, как лебяжий пух, снега, собранного ветром, лежало в морщинах голой земли.

Между тем пение становилось все явственнее. Тогда Петя с полной ясностью увидел, что та низкая и темная туча, которая лежала на горизонте Куликова поля справа от вокзала, вовсе не туча, а медленно приближающаяся толпа.

В доме захлопали форточки.

В кухне послышались чьи-то сдержанные, очень тихие голоса, топтанье, шум юбок, и в коридоре совершенно неожиданно появилась пожилая женщина, держа за руку ярко-рыжую заплаканную девочку.

Женщина была одета, как для визита, в черные муаровые юбки, мантильку и фильдекосовые митенки. На голове у нее несколько набок торчала маленькая, но высокая черная шляпка с куриными перьями. Из-за ее плеча выглядывали матово-бледное круглое лицо Нюси и котелок «Бориса — семейство крыс».

Это была мадам Коган со всей своей семьей.

Не смея переступить порог комнаты, она долго делала в дверях реверансы, одной рукой подбирая юбки, а другую прижимая к сердцу. Сладкая, светская и вместе с тем безумная улыбка играла на ее подвижном, морщинистом личике.

— Господин Бачей! — воскликнула она пронзительным птичьим голосом, простирая обе дрожащие руки в митенках к отцу.— Господин Бачей! Татьяна Ивановна! Мы всегда были добрыми соседями!.. Разве люди виноваты, что у них разный бог?..

Она вдруг упала на колени.

— Спасите моих детей! — исступленно закричала она рыдая.— Пусть они разбивают всё, но пусть пощадят детей!

— Мама, не смей унижаться! — злобно крикнул Нюся, засовывая руки в карманы, и отвернулся, показав свою подбритую сзади, синеватую шею.

— Наум, замолчишь ли ты наконец? — прошипел «Борис — семейство крыс».— Или ты хочешь, чтобы я тебе надавал по щекам? Твоя мать знает, что́ она делает.

Она знает, что господин Бачей — интеллигентный человек. Он не допустит, чтоб нас убили!

— Ради бога, мадам Коган! Что вы делаете? — бормотала тетя, бросаясь и поднимая еврейку.— Как вам не стыдно? Конечно же, конечно! Ах, господи, прошу вас, входите... Господин Коган... Нюся... Дорочка... Какое несчастье!

Пока мадам Коган, рыдая, рассыпалась в благодарностях, от которых папа и тетя готовы были провалиться со стыда сквозь землю, пока она рассовывала детей и мужа по дальним комнатам, пение за окном росло и приближалось с каждым шагом.

По Куликову полю к дому шла небольшая толпа, действительно напоминавшая крестный ход.

Впереди два седых старика в зимних пальто, но без шапок на полотенце с вышитыми концами несли портрет государя.

Петя сразу узнал эту голубую ленту через плечо и желудь царского лица. За портретом качались церковные хоругви, высоко поднятые в холодный, синеватый, как бы мыльный воздух.

Дальше виднелось множество хорошо, тепло одетых мужчин и женщин, чинно шедших в калошах, ботиках, сапогах. Из широко раскрытых ртов вился белый пар. Они пели:

— Спаси, го-о-споди, лю-у-ди твоя и благослови досто-я-а-ние твое...

У них был такой мирный и такой благолепный вид, что в лице у отца на одну минуту даже заиграла нерешительная улыбка.

— Ну, вот видите,— сказал он: — идут себе люди тихо, мирно, никого не трогают, а вы...

Но как раз в этот миг шествие остановилось против дома на той стороне улицы. Из толпы выбежала большая, усатая, накрест перевязанная двумя платками женщина с багрово-синими щеками. Ее выпуклые черные глаза цвета винограда «изабелла» были люто и решительно устремлены на окна. Она широко, по-мужски, расставила толстые ноги в белых войлочных чулках и погрозила дому кулаком.

— А, жидовские морды! — закричала она пронзительным, привозным голосом.— Попрятались? Ничего, мы

вас сейчас найдем! Православные люди, выставляйте иконы!

С этими словами она подобрала спереди юбку и решительно перебежала улицу, выбрав на ходу большой голыш из кучи, приготовленной для ремонта мостовой.

Следом за ней из толпы вышло человек двадцать чубатых длинноруких молодцов с трехцветными бантиками на пальто и поддевках. Они не торопясь один за другим перешли улицу мимо кучи камней, и каждый, проходя, наклонялся глубоко и проворно.

Когда прошел последний, на месте кучи оказалась совершенно гладкая земля.

Наступила мертвая тишина. Теперь часы уже не щелкали, а стреляли, и в окнах были вставлены черные стекла.

Тишина тянулась так долго, что отец успел проговорить:

— Я не понимаю... Где же, наконец, полиция?.. Почему из штаба не посылают солдат?..

— Ах, да какая там полиция! — закричала тетя с истерической запальчивостью.

Она осеклась. Тишина сделалась еще ужаснее. «Борис — семейство крыс», присевший на край стула посредине гостиной, в котелке, сдвинутом на лоб, смотрел в угол косо и неподвижно больными глазами.

Нюся ходил взад и вперед по коридору, положив руки в карманы. Теперь он остановился, прислушиваясь. Его полные губы кривились презрительно, натянутой улыбкой.

Тишина продолжалась еще одно невыносимое мгновение и рухнула. Где-то внизу бацнул в стекло первый камень. И тогда шквал обрушился на дом. На тротуар полетели стекла. Загремело листовое железо сорванной вывески. Раздался треск разбиваемых дверей и ящиков. Было видно, как на мостовую выкатываются банки с монпансье, бочонки, консервы.

Вся озверевшая толпа со свистом и гиканьем окружила дом. Портрет в золотой раме с коронкой косо поднимался то здесь, то там. Казалось, что офицер в эполетах и голубой ленте через плечо, окруженный хоругвями, все время встает на цыпочки, желая заглянуть через головы.

— Господин Бачей! Вы видите, что делается? — шептал Коган, потихоньку ломая руки.— На двести рублей товару!

— Папа, замолчите! Не смейте унижаться! — закричал Нюся.— Это не относится к деньгам.

Погром продолжался.

— Барин! Пошли по квартирам, евреев ищут!

Мадам Коган вскрикнула и забилась в темном коридоре, как курица, увидевшая нож.

— Дора! Наум! Дети!..

— Барин, идут по нашей лестнице...

На лестнице слышался гулкий, грубый шум голосов и сапог, десятикратно усиленный в коробке парадного хода. Отец трясущимися пальцами, но необыкновенно быстро застегнулся на все пуговицы и бросился к двери, обеими руками раздирая под бородой крахмальный воротник, давивший ему горло. Тетя не успела ахнуть, как он уже был на лестнице.

— Ради бога, Василий Петрович!

— Барин, не ходите, убьют!

— Папочка! — закричал Петя и бросился за отцом.

Прямой и легкий, с остановившимся лицом, в черном сюртуке, отец, гремя манжетами, быстро бежал вниз по лестнице.

Навстречу ему, широко расставляя ноги, тяжело лезла женщина в белых войлочных чулках. Ее рука в нитяных перчатках с отрезанными пальцами крепко держала увесистый голыш. Но теперь ее глаза были не черными, а синевато-белыми, подернутыми тусклой плевой, как у мертвого вола. За ней поднимались потные молодцы в синих суконных картузах чернобакалейщиков.

— Милостивые государи!—неуместно выкрикнул отец высоким фальцетом, и шея его густо побагровела.— Кто вам дал право врываться в чужие дома? Это грабеж! Я не позволяю!

— А ты здесь кто такой? Домовладелец?

Женщина переложила камень из правой руки в левую и, не глядя на отца, дала ему изо всех сил кулаком в ухо.

Отец покачнулся, но ему не позволили упасть: чья-то красная веснушчатая рука взяла его за шелковый лацкан сюртука и рванула вперед. Старое сукно затрещало и полезло.

— Не бейте его, это наш папа! — не своим голосом закричал Петя, обливаясь слезами.— Вы не имеете права! Дураки!

Кто-то изо всей мочи, коротко и злобно, дернул отца за рукав. Рукав оторвался. Круглая манжета с запонкой покатилась по лестнице.

Петя видел сочащуюся царапину на носу отца, видел его близорукие глаза, полные слез — пенсне сбили,— его растрепанные семинарские волосы, развалившиеся надвое.

Невыносимая боль охватила сердце мальчика. В эту минуту он готов был умереть, лишь бы папу больше не смели трогать.

— У, зверье! Скоты! Животные! — сквозь зубы стонал отец, пятясь от погромщиков.

А сверху уже бежали с иконами в руках тетя и Дуня.

— Что вы делаете, господа, побойтесь бога! — со слезами на глазах твердила тетя.

Дуня, поднимая как можно выше икону спасителя с восковой веточкой флердоранжа под стеклом, разгневанно кричала:

— Очумели, чи шо? Уже православных хрестиян бьете! Вы сначала посмотрите хорошенько, а уж потом начинайте. Ступайте себе, откуда пришли! Нема тут никаких евреев, нема. Идите себе с богом!

На улице раздавались свистки городовых, как всегда явившихся ровно через полчаса после погрома. Женщина в белых чулках положила на ступеньки голыш, аккуратно вытерла руки о подол юбки и кивнула головой:

— Ну, зáраз здесь будет. Хорошенького помаленьку. А то уже слышите, как там наши городовики разоряются. Айда теперь до жида на Малофонтанскую, угол Ботанической.

И она, подобрав тяжелые юбки, кряхтя, стала спускаться с лестницы.

40

ОФИЦЕРСКИЙ МУНДИР

Несколько дней после этого тротуар возле дома был усеян камнями, битым стеклом, обломками ящиков, растертыми шариками синьки, рисом, тряпками и всевозможной домашней рухлядью.

На полянке, в кустах, можно было вдруг найти альбом с фотографиями, бамбуковую этажерку, лампу или утюг.

Прохожие тщательно обходили эти обломки, как будто одно прикосновение к ним могло сделать человека причастным к погрому и запятнать на всю жизнь.

Даже дети, с ужасом и любопытством спускавшиеся в разграбленную лавочку, нарочно прятали руки в карманы, чтобы не соблазниться валяющимся на полу мятным пряником или раздавленной коробочкой папирос «Керчь».

Отец целыми днями ходил по комнатам, какой-то помолодевший, строгий, непривычно быстрый, с заметно поседевшими висками, с напряженно выдвинутым вперед подбородком. Сюртук зашили так искусно, что повреждений почти не было видно.

Жизнь возвращалась в свою колею.

На улицах уже не стреляли. В городе была мирная тишина. Мимо дома проехала первая после забастовки трам-карета, это громоздкое и нелепое сооружение вроде городского дилижанса с громаднейшими задними колесами и крошечными передними.

На вокзале свистнул паровик.

Принесли «Русские ведомости», «Ниву» и «Задушевное слово».

Однажды Петя, посмотрев в окно, увидел у подъезда желтую почтовую карету.

Сердце мальчика облилось горячим и замерло.

Почтальон открыл заднюю дверцу и вынул из кареты посылку.

— От бабушки! — закричал Петя и хлопнул ладонями по подоконнику.

Ах, ведь он совсем об этом забыл! Но теперь, при виде желтой кареты, сразу вспомнились и ушки, и окончательно испорченный вицмундир, и проданные сандалии, и копилка Павлика — словом, все его преступления, которые могли открыться каждую минуту.

Раздался звонок. Петя бросился в переднюю.

— Не смейте трогать,— кричал он возбужденно,— это мне! Это мне!

Действительно, к общему изумлению, на холсте было

выведено крупными лиловыми буквами: «Петру Васильевичу Бачей в собственные руки».

Ломая ногти, мальчик содрал парусину, крепко прошитую суровой ниткой. У него не хватило терпения аккуратно отделить скрипучую крышку, прибитую длинными, тонкими гвоздиками.

Петя схватил кухонную секачку и грубо раскроил ящик, легкий, как скрипка. Он вынул нечто любовно завернутое в очень старый номер газеты «Русский инвалид».

Это был офицерский сюртук.

— Дедушкин мундир! — торжественно провозгласил Петя.— Вот!

Больше в посылке ничего не было.

— Я... не понимаю...— пробормотала тетя.

— Странная фантазия — посылать ребенку какие-то военные реликвии,— сухо заметил отец, пожав плечами.— Удивительно... непедагогично!

— Ах, замолчите, вы ничего не понимаете! Молодец бабушка! — воскликнул мальчик в восторге и бросился с заветным свертком в детскую.

Из тончайшей шелковой бумаги блеснули старательно завернутые золотые пуговицы. Петя торопливо стал их разворачивать.

Но боже мой, что это? Они оказались без орлов!

Пуговицы были совершенно гладкие и ничем не отличались от самых дешевых солдатских одинарок. Петя, правда, насчитал их шестнадцать штук. Но за все это нельзя было получить больше трех пятков.

Что же случилось? Впоследствии, много лет спустя, Петя узнал, что во времена императора Александра Второго пуговицы у офицеров были без орлов. Но кто же мог это предвидеть? Мальчик был совершенно подавлен. Он сидел на подоконнике, опустив на колени ненужный мундир.

За окном, мимо термометра, летели снежинки. Мальчик равнодушно следил за ними, не испытывая при виде первого снега обычной радости.

Перед его глазами одна за другой возникали картины событий, участником и свидетелем которых он был совсем недавно. Но теперь все это казалось мальчику таким далеким, таким смутным, неправдоподобным, как

сон. Как будто все это произошло где-то совсем в другом городе, может быть даже в другой стране.

Между тем Петя знал, что это не был сон. Это было вон там, совсем недалеко, за Куликовым полем, за молочным дымом снега, несущегося между небом и землей.

Где сейчас Гаврик? Что стало с Терентием и матросом? Удалось ли им уйти по крышам?

Но не было ответа на эти вопросы.

А снег продолжал лететь все гуще и гуще, покрывая черную землю Куликова поля чистой, веселой пеленой наступившей наконец зимы.

41
ЕЛКА

Пришло рождество.

Павлик проснулся до рассвета. Для него сочельник был двойным праздником: он как раз совпадал с днем рождения Павлика.

Можно себе представить, с каким нетерпением дожидался мальчик наступления этого хотя и радостного, но вместе с тем весьма странного дня, когда ему вдруг сразу делалось четыре года!

Вот только еще вчера было три, а сегодня уже четыре. Когда ж это успевает случиться? Вероятно, ночью.

Павлик решил давно подстеречь этот таинственный миг, когда дети становятся на год старше. Он проснулся среди ночи, широко открыл глаза, но ничего особенного не заметил. Все как обычно: комод, ночник, сухая пальмовая ветка за иконой.

Сколько же ему сейчас: три или четыре года?

Мальчик стал внимательно рассматривать свои руки и подрыгал под одеялом ногами. Нет, руки и ноги такие же, как вечером, когда ложился спать. Но, может быть, немного выросла голова? Павлик старательно ощупал голову — щеки, нос, уши... Как будто бы те же, что вчера.

Странно.

Тем более странно, что утром-то ему непременно будет четыре. Это уже известно наверняка. Сколько же ему сейчас? Не может быть, чтобы до сих пор оставалось три. Но, с другой стороны, и на четыре что-то не похоже.

Хорошо было бы разбудить папу. Он-то наверное знает. Но вылезать из-под теплого одеяльца и шлепать

босиком по полу... нет уж, спасибо! Лучше притвориться, что спишь, и с закрытыми глазами дождаться превращения.

Павлик прикрыл глаза и тотчас, сам того не замечая, заснул, а когда проснулся, то сразу увидел, что ночник уже давно погас и в щели ставней брезжит синеватый, темный свет раннего-раннего зимнего утра.

Теперь не было ни малейшего сомнения, что уже — четыре.

В квартире все еще крепко спали; даже на кухне не слышалось Дуниной возни. Четырехлетний Павлик проворно вскочил с кровати и «сам оделся», то есть напялил задом наперед лифчик с полотняными пуговицами и сунул босые ножки в башмаки.

Осторожно, обеими руками открывая тяжелые скрипучие двери, он отправился в гостиную. Это было большое путешествие маленького мальчика по пустынной квартире. Там впотьмах, наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное, смутное, до самого паркета опустившее темные лапы в провисших бумажных цепях.

Павлик уже знал, что это елка. Пока его глаза привыкали к сумраку, он осторожно обошел густое, бархатное дерево, еле-еле мерцающее серебряными нитями канители. Каждый шажок мальчика чутко отдавался в елке легким бумажным шумом, вздрагиванием, шуршанием картонажей и хлопушек, тончайшим звоном стеклянных шаров.

Привыкнув к темноте, Павлик увидел в углу столик с подарками и тотчас бросился к нему, забыв на минуту о елке. Подарки были превосходные, гораздо лучше, чем он ожидал: лук и стрелы в бархатном колчане, роскошная книга с разноцветными картинками: «Птичий двор бабушки Татьяны», настоящее «взрослое» лото и лошадь — еще больше, еще красивее, а главное, гораздо новее, чем Кудлатка. Были, кроме того, жестяные коробочки монпансье «Жорж Борман», шоколадки с передвижными картинками и маленький тортик в круглой коробке.

Павлик никак не ожидал такого богатства. Полон стол игрушек и сластей — и все это принадлежит только ему.

Однако мальчику это показалось мало. Он потихоньку перетащил из детской в гостиную все свои старые игрушки, в том числе и ободранную Кудлатку, и присоединил к новым. Теперь игрушек было много, как в магазине, но и этого показалось недостаточно.

Павлик принес знаменитую копилку и поставил ее посредине стола, на барабане, как главный символ своего богатства.

Устроив эту триумфальную башню из игрушек и налюбовавшись ею всласть, мальчик снова вернулся к елке. Его уже давно тревожил один очень большой, облитый розовым сахаром пряник, повешенный совсем невысоко на желтой гарусной нитке. Красота этого звездообразного пряника с дыркой посредине вызывала непреодолимое желание съесть его как можно скорее.

Не видя большой беды в том, что на елке будет одним пряником меньше, Павлик отцепил его от ветки и сунул в рот. Он откусил порядочный кусок, но, к удивлению своему, заметил, что пряник вовсе не такой вкусный, как можно было подумать. Больше того, пряник был просто отвратительный: тугой, житный, несладкий, с сильным запахом патоки. А ведь по внешнему виду можно было подумать, что именно такими пряниками питаются белоснежные рождественские ангелы, поющие на небе по нотам.

Павлик с отвращением повесил обратно на ветку надкушенный пряник. Было очевидно, что это какое-то недоразумение. Вероятно, в магазине случайно положили негодный пряник.

Тут Павлик заметил другой пряник, еще более красивый, облитый голубым сахаром. Он висел довольно высоко, и пришлось подставить стул. Не снимая пряника с ветки, мальчик откусил угол и тотчас его выплюнул — до того неприятен оказался и этот пряник.

Но трудно было примириться с мыслью, что все остальные пряники тоже никуда не годятся.

Павлик решил перепробовать все пряники, сколько их ни висело на елке. И он принялся за дело. Высунув набок язык, кряхтя и сопя, мальчик перетаскивал тяжелый стул вокруг елки, взбирался на него, надкусывал пряник, убеждался, что дрянь, слезал и тащил стул дальше.

Вскоре все пряники оказались перепробованными, кро-

ме двух — под самым потолком, куда невозможно было добраться. Павлик долго стоял в раздумье, задрав голову. Пряники манили его своей недостижимой и потому столь желанной красотой.

Мальчик не сомневался, что уж эти-то пряники его не обманут. Он подумывал уже, как бы поставить стул на стол и оттуда попытаться достать их.

Но в это время послышался свежий шелест праздничного платья, и тетя, сияя улыбкой, заглянула в гостиную:

— А-а, наш рожденник встал раньше всех! Что ты здесь делаешь?

— Гуляю коло елочки,— скромно ответил Павлик, глядя на тетю доверчивыми, правдивыми глазами благовоспитанного ребенка.

— Ах ты, моя рыбка ненаглядная! Коло! Не коло, а около. Когда ты отвыкнешь наконец от этого! Ну, поздравляю, поздравляю!

И мальчик очутился в горячих, душистых и нежных объятиях тети.

А из кухни торопилась красная от конфуза Дуня, держа перед собой хрупкую голубую чашку с золотой надписью: «С днем ангела».

Так начался этот веселый день, которому суждено было закончиться совершенно неожиданным и страшным образом.

Вечером к Павлику привели гостей — мальчиков и девочек. Все они были такие маленькие, что Петя считал ниже своего достоинства не то что играть с ними, но даже разговаривать.

Чувствуя на сердце необъятную тоску и тяжесть, Петя сидел в темной детской на подоконнике и смотрел в нарядно замерзшее окно, где среди ледяных папоротников мерцал золотой орех уличного фонаря.

Зловещее предчувствие омрачало Петину душу.

А из гостиной струился жаркий, трескучий свет елки, пылающей костром свечей и золотого дождя. Слышались подмывающие звуки фортепьяно. Это отец, расправив фалды сюртука и гремя крахмальными манжетами, нажаривал семинарскую польку. Множество крепких детских ножек бестолково топало вокруг елки.

— Ничего, терпи, казак,— сказала тетя, проходя мимо Пети.— Не завидуй. И на твоей улице будет праздник.

— А, тетя, вы совсем ничего не понимаете! — жалобно сказал мальчик.— Идите себе.

Но вот наступил желанный миг раздачи орехов и пряников. Дети обступили елку и, став на цыпочки, потянулись к пряникам, сияющим, как ордена. Елка зашаталась, зашумели цепи.

И вдруг раздался звонкий, испуганный голосок:

— Ой, смотрите, у меня надкусатый пряник!

— Ой, и у меня!

— У меня — два, и все объеденные...

— Э! — сказал кто-то разочарованно.— Они уж вовсе не такие новые. Их уже один раз кушали.

Тетя стояла красная до корней волос среди надкусанных пряников, протянутых к ней со всех сторон.

Наконец ее глаза остановились на Павлике:

— Это ты сделал, скверный мальчишка?

— Я, тетечка, их только чуть-чуть хотел попробовать,— сказал Павлик, невинно глядя на разгневанную тетю широко открытыми, янтарными от елки глазами. И прибавил со вздохом: — Я думал, они вкусные, а они, оказывается, только для гостей.

— Замолчишь ли ты, сорванец? — закричала тетя, всплеснув руками, и бросилась к буфету, где, к счастью, оставалось еще много лакомств.

Все обиженные тотчас были удовлетворены, и скандал замяли.

Скоро сонных гостей стали уносить по домам. Праздник кончился. Павлик занялся приведением своих сокровищ в порядок.

В это время в дверях детской таинственно появилась Дуня и поманила Петю.

— Паныч, вас на черной лестнице дожидается той скаженный Гаврик,— прошептала она оглядываясь.

Петя бросился на кухню.

Гаврик сидел на высоком подоконнике черного хода, прислонившись плечом к ледяному окну, игравшему синими искрами месяца. Из башлыка блестели маленькие злые глаза. Мальчик тяжело сопел.

В первый миг Петя подумал, что Гаврик пришел за долгом. Он уже приготовился рассказать о несчастье, постигшем их с дедушкиными пуговицами, и дать честное благородное слово, что не позже как через два дня рас-

квитается. Но Гаврик торопливо вытащил из-за пазухи ватной кофты четыре хорошо знакомых мешочка и сунул их Пете.

— Сховай, и будем с тобой в расчете,— тихо и твердо сказал он.— От Иосифа Карловича остаток, царство ему небесное.— При этих словах Гаврик истово перекрестился.— Сховай и держи, пока не пригодятся.

— Сховаю,— шепотом ответил Петя.

Гаврик долго молчал. Наконец резко вытер кулачком под носом и сполз с подоконника.

— Ну, Петька... Будь здоров...

— А те — ушли тогда?

— Ушли. По крышам. Теперь их повсюду ищут.

Гаврик задумался, не сказал ли чего-нибудь лишнего, но потом доверчиво приблизился к самому Петиному уху и прошептал:

— Уй, сколько народа похватали! Ну, их не споймают. Я тебе говорю. Они в катакомбах отсиживаются. Все ихние боевики тама. Весной опять начнут. А Терентия жену с маленькими детьми — с Женечкой и Мотечкой — хозяин дома с квартиры выселяет. Такое дело...

Гаврик озабоченно почесал брови.

— Не знаю теперь, что мне с ними делать. Верно, придется всем вместе переезжать с Ближних Мельниц в дедушкину хибарку. А дедушка, знаешь, совсем никуда стал. Верно, скоро помрет. Ты до нас когда-нибудь, Петька, все-таки заскочи. Только пережди время. Главное, мешочки хорошенько сховай. Ничего. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Дай пять.

Гаврик сунул Пете руку дощечкой и побежал, дробно стуча своими разбитыми чоботами по лестнице.

Петя вернулся в детскую и спрятал мешочки в ранец под книги.

Но тут вдруг с невероятным стуком распахнулась дверь, и в комнату вошел быстро отец, держа в руках изуродованный вицмундир.

— Что это значит? — спросил он таким тихим голосом, что мальчик чуть не потерял сознание.

— Святой истинный крест...— пробормотал Петя, не находя в себе сил перекреститься.

— Что это значит? — заорал отец и затрясся багровея.

И в ту же секунду, как бы откликаясь на гневный голос отца, из гостиной раздался душераздирающий рев Павлика.

Маленький мальчик вбежал, шатаясь на ослабевших от ужаса ножках, и обнял отца за колени. Его четырехугольный ротик был так широко разинут, что ясно виднелось орущее горло. Дрожал крошечный язычок. Текли слезы. В пухлой ручке прыгала открытая копилка, полная вместо денег всякой гремучей дряни.

— П... па... п... па! — икая, лепетал Павлик.— Пе-еть... ка меня... обо... ик... обо... крал!

— Честное благород...— начал Петя, но отец уже крепко держал его за плечи.

— Негодный мальчишка, сорванец,— кричал он,— я знаю все! Ты играешь в азартные игры! Лгунишка!

Он с такой яростью стал трясти Петю, точно хотел вытрясти из мальчика душу. Нижняя челюсть его прыгала, и прыгало на черном шнурке пенсне, соскользнувшее с вспотевшего носа, пористого, как пробка.

— Сию же минуту давай сюда эти... как они там у вас называются... чушки или душки...

— Ушки,— криво улыбнувшись, пролепетал Петя, надеясь как-нибудь обернуть дело в шутку.

Но, услышав слово «ушки» из уст сына, отец вскипел еще пуще:

— Ушки? Отлично... Где они? Сию же минуту давай их сюда. Где эта уличная мерзость? Где эти микробы? В огонь! В плиту! Чтобы духу их не было!

Он стремительно осмотрел комнату и бросился к ранцу.

Петя, рыдая, бежал за ним по коридору до самой кухни, куда отец, широко и нервно шагая, быстро и брезгливо, как дохлых котят, нес мешочки.

— Папочка! Папочка! — кричал Петя, хватая его за локти.— Папочка!

Отец грубо оттолкнул Петю, затем шумно сдвинул кастрюлю и, яростно пачкая сажей манжеты, сунул мешочки в пылающую плиту.

Мальчик замер от ужаса.

— Тикайте! — закричал он не своим голосом.

Но в этот миг в плите застреляло. Раздался небольшой взрыв.

Из конфорки рванулось разноцветное пламя. Лапша вылетела из кастрюльки и прилипла к потолку. Плита треснула. Из трещин повалил едкий дым, в одну минуту наполнивший кухню.

Когда плиту залили водой и выгребли золу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов.

Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Поставили термометр. Оказалось тридцать девять и семь десятых.

42

КУЛИКОВО ПОЛЕ

Едва кончилась скарлатина, началось воспаление легких.

Петя проболел всю зиму. Лишь в середине великого поста он стал ходить по комнатам.

Приближалась весна. Сначала ранняя весна, совсем-совсем ранняя. Уже не зима, но еще далеко и не весна.

Недолгий, южный снег, которым мальчику так и не пришлось насладиться в этом году, давно сошел. Стояла сухая серая погода одесского марта.

На слабых ногах Петя слонялся по комнатам, сразу сделавшимся, как только он встал с кровати, маленькими и очень низкими. Он становился на цыпочки перед зеркалом в темной передней и с чувством щемящей жалости разглядывал свое вытянувшееся белое лицо с тенями под неузнаваемыми, какими-то испуганно-изумленными глазами.

Всю первую половину дня мальчик оставался в квартире совершенно один: отец бегал по урокам, тетя гуляла с Павликом.

От шума пустынных комнат нежно кружилась голова. Резкий стук маятника пугал своей настойчивостью, неумолимой непрерывностью. Петя подходил к окнам. Они были еще по-зимнему закупорены — с валиком пожелтевшей ваты, посыпанной настриженным гарусом, между рамами.

Мальчик видел нищету серой, сухой мостовой, черствую землю Куликова поля, серое небо с еле заметными, водянистыми следами голубизны. Из кухонного окна виднелись голубые прутики сирени на полянке. Петя знал,

что если сорвать зубами эту горькую кожицу, то обнаружится изумительно зеленая фисташковая плоть.

Редко и погребально дрожал в воздухе низкий бас великопостного колокола, вселяя в сердце дух праздности и уныния.

И все же в этом скудном мире уже были заложены — и только дожидались своего часа — могущественные силы весны. Они ощущались во всем. Но особенно сильно — в луковицах гиацинтов.

Комнатная весна была еще спрятана в темном чулане. Там, среди хлама, в мышином запахе домашней рухляди, тетя расставила вдоль стен узкие вазончики. Петя знал, что прорастание голландских луковиц требует темноты. В темноте чулана совершалось таинство роста.

Из шелковой истощенной шелухи луковицы прорезывалась бледная, но крепкая стрела. И мальчик знал, что как раз к самой пасхе чудесно появятся на толстой ножке тугие, кудрявые соцветия бледно-розовых, белых и лиловых гиацинтов.

А между тем Петино детское сердце ныло и тосковало в этом пустом, сером мире весеннего равноденствия.

Дни прибывали, и мальчику уже нечем было заполнить невероятно растянувшиеся часы между обедом и вечером. О, как они были длинны, эти тягостные часы равноденствия! Они были еще длиннее пустынных улиц, бесконечно уходивших в сторону Ближних Мельниц.

Пете уже разрешали гулять возле дома. Он медленно ходил взад и вперед по сухому тротуару, жмурясь на солнце, садившееся за вокзалом.

Еще год тому назад вокзал казался ему концом города. За вокзалом уже начиналась география. Теперь же мальчик знал, что за вокзалом продолжается город, тянутся длинные пыльные улицы предместий. Он ясно представлял себе их уходящими на запад.

Там в перспективе, заполняя широкий просвет между скучными кирпичными домами, висит чудовищный круг красного допотопного солнца, лишенного лучей и все же ослепляющего резким, угрюмым светом.

За две недели до пасхи биндюжники привезли на Куликово поле лес. Появились плотники, землекопы, десятники. Во всех направлениях по земле протянулись ленты рулеток. Подрядчики со складными желтыми аршинами

в наружных карманах зашагали, отмеривая участки. Это началась постройка пасхальных балаганов.

Для Пети не было большего удовольствия, чем бродить по Куликову полю среди ящичков с большими гвоздями, топоров, пил, бревен, щепы, гадая, где что будет выстроено. Каждый новый ряд вкопанных столбов, каждая новая канава, каждый обмеренный рулеткой и отмеченный колышками участок тревожили воображение.

Разыгравшаяся фантазия рисовала сказочной красоты балаганы, полные чудес и тайн, в то время как рассудительный опыт твердил, что все будет точно таким же, как и в прошлом году. Не хуже, не лучше. Но фантазия не могла примириться с этим — она требовала нового, небывалого. Петя подходил к рабочим, к подрядчикам, терся возле них, желая что-нибудь выпытать:

— Послушайте, вы не знаете, что здесь будет?

— Известно что. Балаган.

— Я знаю, что балаган, а какой?

— Известно какой. Деревянный.

Мальчик притворно хохотал, стараясь подольститься:

— Да я сам знаю, что деревянный. Вот комик! А что в нем будет? Цирк?

— Цирк.

— Как же цирк, когда цирк круглый, а это не круглое?

— Значит, не цирк.

— Может быть, паноптикум?

— Паноптикум.

— Такой маленький?

— Значит, не паноптикум.

— Нет, серьезно, что?

— Нужник.

Багровея от неприличного слова, Петя хохотал еще громче, готовый на все унижения, лишь бы узнать хоть что-нибудь.

— Ха-ха-ха! Нет, серьезно, скажите, что здесь будет?

— Иди, мальчик, иди, тебе здесь не компания. На уроки опоздаешь.

— Я еще не хожу в гимназию. У меня была скарлатина, а потом воспаление легких.

— Так иди и ляжь в постелю, чем путаться под ногами. Не морочь людям голову!

И Петя, натянуто улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом.

Впрочем, было отлично известно: все равно до тех пор, пока балаганы не обтянут сверху холстом и не увешают картинами, ничего нельзя узнать. Это было так же невозможно, как угадать, какого цвета распустится к первому дню пасхи гиацинт из бледной ножки.

В страстную субботу в балаганы привезли в высшей степени таинственные зеленые ящики и сундуки с надписью: «Осторожно». Но в Одессе не было ни одного мальчика, который знал бы, чтó находится в этих сундуках.

Можно было только предполагать, что это восковые фигуры, волшебные столики фокусников или тяжелые плоские змеи с тусклыми глазами и раздвоенным жалом.

Было также известно, что в одном из этих сундуков находится женщина-русалка с дамским бюстом и чешуйчатым хвостом вместо ног. Но как она там живет без воды? Или, может быть, в сундуке заключена ванна? Или женщина-русалка упакована в мокрую тину? Обо всем этом можно было только догадываться.

Петя сходил с ума от нетерпения, дожидаясь начала ярмарки. Ему казалось, что еще ничего не готово, что все пропало, что вдруг ярмарка в этом году так и не откроется.

Но его опасения оказались напрасны. К первому дню праздника все было готово: картины развешаны, столбы для флагов выбелены, площадь обильно полита из длинных зеленых бочек, которые целый день накануне разъезжали между балаганами, черня сухую землю сверкающими граблями воды.

Одним словом, пасха пришла и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю.

Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков летело свежее солнце. Тетя в белом кружевном платье резала ветчину, отогнув кожу окорока, толстую и круглую, как револьверная кобура.

Сахарные барашки стояли на куличах. Розовый Христос летел, как балерина, на проволочке, подняв бумажную хоругвь. Вокруг зеленой кресс-салатной горки лежали разноцветные крашенки, до глянца натертые коровьим маслом, выпукло отражая вымытые окна.

Кудрявые гиацинты в вазонах, обернутых розовой гофрированной бумагой, исходили удушающе-сладким и вместе с тем смертным, погребальным своим ароматом, таким густым, что казалось: это он курился сиреневыми волокнами в солнечных лучах над пасхальным столом.

Но именно этот первый день пасхи и был для Пети особенно, невыносимо долог и скучен. Дело в том, что на первый день пасхи запрещались все без исключения зрелища и гуляния. Этот день полиция посвящала богу. Но зато в двенадцать часов следующего — с разрешения начальства — люди начинали веселиться.

Ровно в полдень раздался свисток дежурного околоточного, и посредине Куликова поля на высокой выбеленной мачте развернулся трехцветный флаг.

И тотчас началось нечто невообразимое. Ударили турецкие барабаны полковых оркестров. Грянули шарманки и органчики каруселей. Раздались обезьяньи картавые крики рыжих и фокусников, пронзительно зазывающих публику с выбеленных помостов балаганов. Завертелся стеклярус, понеслись коляски и лошадки.

В головокружительно голубое, облачное небо ударили утлые кораблики качелей. Всюду настойчиво, без передышки, колотили в небольшие медные колокола и треугольники. Разносчик пронес на голове сверкающий стеклянный кувшин с ледяной крашеной водой, где болталось несколько кружочков лимона, кусок льда и пыльное серебряное солнце.

И рябой солдат-портартурец в косматой черной папахе, проворно скинув сапоги, уже лез, окруженный толпой, по намыленному столбу, на верхушке которого лежали призовая бритва и помазок.

В продолжение семи дней с полудня до заката гремела головокружительная карусель Куликова поля, наполняя квартиру Бачей разноголосым гамом предместий, пришедших повеселиться.

Целый день, с утра до вечера, Петя проводил на Куликовом поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком. Очень часто, завидев в толпе лиловые бобриковые штаны и морскую фуражечку с якорными пуговицами — так был одет Гаврик в прошлую пасху,— Петя бросался, расталкивая людей, но всегда напрасно.

Что-то общее с Ближними Мельницами было в этом простонародном гулянье, где у многих мужчин оказывались тоненькие железные тросточки, как у Терентия, и у множества девочек — бирюзовые сережки, как у Моти.

Но ожидание обмануло Петю. Кончился последний день ярмарки. Оркестры сыграли последний раз марш «Тоска по родине». Флаг был спущен. Повсюду раздавались трели полицейских свистков. Площадь опустела. Все было кончено до следующей пасхи.

Печальный закат долго и угрюмо горел за нарядными, страшно тихими балаганами, за железными колесами неподвижных перекидок, за пустыми флагштоками.

Лишь изредка среди невыносимо густой тишины пролетевшего праздника раздавались потрясающий утробный рев льва и резкий хохот гиены.

Наутро приехали биндюжники, и через два дня от ярмарки не осталось и следа. Куликово поле опять превратилось в черную, скучную площадь, с которой по целым дням долетали поющие голоса ефрейторов, обучавших солдат:

— Напра-а-а-а... ва! Ать, два!

— Нале-е-е-е... оп! Ать, два!

— Кр-р-ру-у... хом! Ать, два!

А дни становились все длиннее, все незаполнимей. И вот однажды Петя отправился на море, в гости к Гаврику.

43

ПАРУС

Дедушка умирал.

И Гаврик, и Мотя, и Мотина мама, и Петя, проводивший теперь почти все время на море,— все знали, что дедушка скоро умрет.

Знал это и сам дедушка. С утра до вечера он лежал на провисшей железной кровати, вынесенной из хибарки на свежий воздух, на теплое апрельское солнце.

Когда Петя в первый раз подошел к нему поздороваться, мальчик был смущен чистотой и прозрачностью дедушкиного лица, светившегося на красной подушке тонкой подкожной лазурью.

Обросшее довольно длинной белой бородой, спокойное и ясное, лицо это поразило Петю своей красотой и важностью. Но самое удивительное и самое жуткое было

в нем то, что оно как бы не имело возраста, находилось уже вне времени.

— Здравствуйте, дедушка,— сказал Петя.

Старик повернул глаза с бескровными фиалковыми веками, долго смотрел на гимназистика, но, по-видимому, не узнал.

— Это ж я, Петя, с Канатной, угол Куликова.

Дедушка неподвижно смотрел вдаль.

— Вы ему, дедушка, прошлый год еще грузило из пломбы отливали,— напомнил Гаврик.— Не узнаете?

Тень воспоминания, далекого, как облако, прошла по лицу старика. Он ясно, сознательно улыбнулся, показав десны, и проговорил тихо, но без особого усилия:

— Грузило. Да. Делал. Свинцовое.

И ласково посмотрел на Петю, жуя губами.

— Ничего. Подрос. Иди себе, деточка, иди. Поиграйся на бережку в кремушки. Поиграйся. Только в воду, смотри, не упади.

Вероятно, Петя представлялся ему совсем еще маленьким ребенком, вроде правнучка Женечки, ползавшего тут же в желтых цветах одуванчика. Время от времени старик приподнимал голову, желая полюбоваться своим хозяйством.

После переезда семьи Терентия все здесь стало неузнаваемо.

Можно было подумать, что они привезли с собой сюда кусочек Ближних Мельниц.

Жена Терентия вымазала к пасхе глиняный пол, выбелила хибарку внутри и снаружи.

Помолодевшая хатка весело блестела на солнце вымытыми стеклами, обведенными синькой.

Вокруг нее зеленели готовые распуститься петушки, и в петушках были рассажены Мотины куклы, изображавшие знатных дам, выехавших на дачу.

На веревках сушилось разноцветное белье. Мотя с волосами, как у мальчика, поливала огород, обеими руками прижимая к животу большую лейку. На проволоке между двумя столбами бегала, кисло улыбаясь, собака Рудько. Возле огорода дымилась глиняная печь с вмазанным вместо трубы чугунком без дна. Вкусно пахло придымленным кулешом.

Мотина мама в сборчатой юбке стояла, наклонив-

шись над корытом. Вокруг нее в воздухе плавали мыльные пузыри.

И дедушке иногда казалось, что время повернуло вспять, что ему, дедушке, снова сорок лет. Покойница-бабка только что выбелила хибарку. По одуванчикам ползет внучек Терентий. На крыше лежит мачта, обернутая новеньким, только что купленным парусом.

Вот сейчас дедушка взвалит мачту на плечо, захватит под мышку весла, деревянный руль, зашпаклеванный суриком, и пойдет на бережок снаряжать шаланду.

Но память быстро возвращалась. Старика вдруг начинали одолевать хозяйские заботы. Он с трудом приподнимался на локте и подзывал Гаврика.

— Что вам, дедушка?

Старик долго жевал губами, собираясь с силами.

— Шаланду не унесло? — спрашивал он наконец, и брови его поднимались горестно, домиком.

— Не унесло, дедушка, не унесло. Вы лучше ляжьте.

— Ее смолить надо...

— Засмолю, дедушка, не бойтесь. Ляжьте.

Дедушка покорно ложился, но через минуту подзывал Мотю:

— Ты что там делаешь, деточка?

— Картошку поливаю.

— Умница. Поливай. Не жалей водички. А бурьян вырываешь?

— Вырываю, дедушка.

— А то он скрозь весь огород заглушит. Ну, иди, деточка, отдохни, поиграйся в свои куколки.

Дедушка снова тяжело отваливался на спину.

Но тут начинал лаять Рудько, и старик поворачивал сердитые глаза с нависшими бровями. Ему казалось, что он очень громко, по-хозяйски, кричит на разбаловавшуюся собаку: «А ну, Рудько, цыц! Вот скаженная! На место! Цыц!»

А на самом деле выходило чуть слышно:

— Тсц, ты, тсц...

Но бо́льшую часть времени дедушка неподвижно смотрел вдаль. Там, между двумя прибрежными горками, виднелся голубой треугольник моря со множеством рыбачьих парусов. Глядя на них, старик не торопясь разговаривал сам с собой:

— Да, это верно. Ветер любит парус. С парусом совсем не то, что без паруса. Под парусом иди себе куда хочешь. Хочешь, иди в Дофиновку, хочешь — в Люстдорф. Под парусом можно сходить и в Очаков, и в Херсон, и даже в Евпаторию. А без паруса, на одних веслах, это что ж: курям на смех! До Большого Фонтана за четыре часа не догребешь. Да назад четыре часа. Нет, если ты рыбак, то тебе надо парус. А без паруса лучше в море и не выходи. Один только срам. Шаланда без паруса все равно что человек без души. Да.

Все время, не переставая, дедушка думал о парусе.

Дело в том, что как-то ночью на минуточку заходил Терентий повидаться с семьей. Он принес детям гостинцев, оставил жене на базар три рубля и сказал, что на днях постарается справить новый парус.

С этого времени дедушка перестал скучать.

Мечты о новом парусе наполняли его. Он так ясно, так отчетливо видел этот новый парус, как будто бы тот уже стоял перед ним — тугой, суровый, круглый от свежего ветра.

Обессиленный навязчивой мыслью о парусе, дедушка впадал в забытье. Он переставал понимать, где он и что с ним, продолжая только чувствовать.

Сознание, отделявшее его от всего, что было не им, медленно таяло. Он как бы растворялся в окружавшем его мире, превращаясь в запахи, звуки, цвета...

Крутясь вверх и вниз, пролетала бабочка-капустница с лимонными жилками на кремовых крылышках. И он был одновременно и бабочкой и ее полетом.

Рассыпалась по гальке волна — он был ее свежим шумом. На губах стало солоно от капли, принесенной ветерком,— он был ветерком и солью.

В одуванчиках сидел ребенок — он был этим ребенком, а также этими блестящими цыплячье-желтыми цветами, к которым тянулись детские ручки.

Он был парусом, солнцем, морем... Он был всем.

Но он не дождался паруса.

Однажды утром Петя пришел на море и не нашел возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы, и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на черной шее стругал доску.

Длинная стружка, туго завиваясь, штопором лезла из рубанка.

Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном коленкоровом платье и в тесных ботинках.

— А у нас дедушка сегодня умер,— сказала она, близко подойдя к мальчику.— Хочешь посмотреть?

Девочка взяла Петю за руку холодной рукой и, стараясь не скрипеть ботинками, ввела в мазанку.

Дедушка с выпукло закрытыми глазами и подбородком, подвязанным платком, лежал на той же самой жидкой кровати. Из крупных рук, высоко выложенных на груди поверх иконы св. Николая, торчала желтая свечечка. Сквозь вымытое стекло падал столб такого яркого и горячего солнечного света, что пламени свечки совсем не было видно. Над расплавленной ямкой воска виднелся лишь черный крючок фитилька, окруженный зыбким воздухом, дававшим понять, что свеча горит.

На третий день дедушку похоронили.

Ночью накануне похорон явился Терентий, ничего не знавший о смерти деда. На плече Терентий держал громадный, тяжелый сверток. Это был обещанный парус.

Терентий свалил его в угол и некоторое время стоял перед дедушкой, уже положенным в сосновый некрашеный гроб.

Потом, не перекрестившись, крепко поцеловал старика в твердые, ледяные губы и молча вышел вон.

Гаврик проводил брата берегом до Малого Фонтана. Отдав кое-какие распоряжения относительно похорон, на которые он, конечно, не мог прийти, Терентий пожал младшему брату руку и скрылся.

...Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в легком открытом гробу.

Впереди, рядом с мортусом в изодранном мундире, несшим на плече грубый крест, шел чистенький, умытый, аккуратно причесанный Гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с колевом.

Гроб провожали Мотина мама с Женечкой на руках, Мотя, Петя и несколько соседей-рыбаков в праздничных костюмах, всего человек восемь. Но по мере приближения к кладбищу народу за гробом становилось все больше и больше.

Слух о похоронах старого рыбака, избитого в участке,

непонятным образом облетел весь берег от Ланжерона до Люстдорфа.

Из приморских переулков целыми семьями и курениями выходили рыбаки — малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега,— присоединяясь к процессии.

Теперь за нищим гробом дедушки в глубоком молчании шла уже толпа человек в триста.

Был последний день апреля. Собирался дождик. Воробьи, расставив крылья, купались в мягкой пыли переулков. Серое асфальтовое небо стояло над садами. На нем с особенной резкостью выделялась молодая однообразная зелень, вяло повисшая в ожидании дождя.

Во дворах сонно кукарекали петухи. Ни один луч солнца не проникал сквозь плетеные облака, обдававшие духотой.

Возле самого кладбища к рыбакам стали присоединяться мастеровые и железнодорожники Чумки, Сахалинчика, Одессы-Товарной, Молдаванки, Ближних и Дальних Мельниц. Кладбищенский городовой с тревожным удивлением смотрел на громадную толпу, валившую в ворота.

Кладбище, как и город, имело главную улицу, соборную площадь, центр, бульвар, предместья. Сама смерть казалась бессильной перед властью богатства. Даже умерев, человек продолжал оставаться богатым или бедным.

Толпа молча прошла по главной улице тенистого города мертвецов, мимо мраморных, гранитных, лабрадоровых фамильных склепов — этих маленьких роскошных вилл, за чугунными оградами которых в черной зелени кипарисов и мирт стояли, опустив крылья, каменные высокомерные ангелы.

Здесь каждым участком земли, купленным за баснословные деньги, по наследству владели династии богачей.

Толпа миновала центр и свернула на менее богатую улицу, где уже не было особняков и мавзолеев. За железными оградами лежали мраморные плиты, окруженные кустами сирени и желтой акации. Дожди смыли позолоту с выбитых имен, и маленькие кладбищенские улитки покрывали серые от времени мраморные доски.

Затем пошли деревянные ограды и дерновые холмики.

Потом — скучные роты голых солдатских могил с крестами, одинаковыми, как винтовки, взятые на караул.

Но даже и этот район кладбища оказался слишком богатым для дедушки. Дедушку зарыли на узкой лужайке, усеянной лиловыми скорлупками пасхальных крашенок, у самой стены, за которой уже двигались фуражки конной полиции. Люди тесным кольцом окружили могилу, куда медленно опускалась на полотенцах легкая лодка нищего гроба.

Всюду Петя видел потупленные лица и большие черные руки, мявшие картузы и фуражки.

Тишина была такой полной и угрюмой, а небо — таким душным, что мальчику казалось: раздайся хоть один только резкий звук, и в природе произойдет что-то страшное — смерч, ураган, землетрясение...

Но все вокруг было угнетающе тихо.

Мотя, так же как и Петя, подавленная этой тишиной, одной рукой держалась за гимназический пояс мальчика, а другой — за юбку матери, неподвижно глядя, как над могилой вырастает желтый глиняный холм.

Наконец в толпе произошло легкое, почти бесшумное движение. Один за другим, не торопясь и не толкаясь, люди подходили к свежей могиле, крестились, кланялись в пояс и подавали руку сначала Могиной маме, потом Гаврику.

Гаврик же, дав Пете держать миску, аккуратно и хозяйственно насупившись, выбирал новенькой деревянной ложкой колево — каждому понемногу, чтобы всем досталось, и клал его в протянутые ковшиком руки и в шапки. Люди с бережным уважением, стараясь не уронить ни зернышка, высыпали колево в рот и отходили, уступая место следующим.

Это было все, что могла предложить дедушкина семья друзьям и знакомым, разделявшим ее горе.

Некоторым из подходивших за колевом рыбакам Гаврик говорил с поклоном:

— Кланялся вам Терентий, просил не забывать: завтра часов в двенадцать маевка на своих шаландах против Аркадии.

— Приедем.

Наконец в опустошенной миске осталось всего четыре лиловых мармеладки.

Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал: «Извиняйте» — и распределил четыре лакомых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал:

— Ничего. Она хорошая. Братьев Крахмальниковых. Скушай за упокой души. Поедешь завтра с нами на маевку?

— Поеду,— сказал Петя и поклонился могиле в пояс, так же точно, как это делали все другие.

Толпа не спеша разошлась. Кладбище опустело. Где-то далеко, за стеной, послышался одинокий голос, затянувший песню. Ее подхватили хором:

Прощай же, товарищ, ты честно прошел
Свой доблестный путь благородный!

Но тотчас раздался полицейский свисток. Песня прекратилась. Петя услышал шум множества ног, бегущих за стеной. И все стихло.

Несколько капель дождя окропило могилу. Но дождик лишь подразнил — перестал, не успев начаться. Стало еще более душно, сумрачно.

Мотя с мамой, Гаврик и Петя в последний раз перекрестились и пошли домой. Петя простился с друзьями у Куликова поля.

— Так не забудь,— сказал Гаврик многозначительно.

— Говоришь! — Петя с достоинством кивнул головой.

Затем он, как бы невзначай, подошел к Моте. Унизительно краснея от того, что приходится обращаться с вопросом к девчонке, он быстро шепнул:

— Слышь, Мотька, что такое маевка?

Мотя сделала строгое, даже несколько постное лицо и ответила:

— Рабочая пасха.

44
МАЕВКА

Теплый дождик шел всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В девятом часу утра ветер унес последние капли.

Море курилось парным туманом, сливаясь с еще не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал. Купальни

как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые и глянцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла.

Гаврик и Петя гребли, с наслаждением опуская весла в воду, теплую даже на вид.

Сначала наваливались — кто кого перегребет. Но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка все время крутилась.

— А ну, хлопцы, не валяйте дурака! — покрикивал Терентий, сидевший на корме, играя своей железной палочкой.— Шаланду перекинете!

Мальчики перестали тягаться, но сейчас же придумали новую игру — кто меньше брызнет.

До сих пор брызгали довольно мало. Но едва только начали стараться, брызги, как нарочно, так и полетели из-под весел. Тогда мальчики стали толкать друг друга плечами и локтями.

— Уйди, босявка! — кричал Петя, заливаясь хохотом.

— От босявки слышу! — бормотал Гаврик, поджав губы, и вдруг нечаянно пустил из-под весла такой фонтан, что Терентий едва успел спастись, сев на дно.

Оба мальчика задохнулись от смеха, у Пети изо рта пошли даже пузыри.

— Что ж ты брызгаешься, чертяка?

— А ты не каркай под руку!

Терентий хотел было не на шутку рассердиться, но тут и его самого разобрало неудержимое, мальчишеское веселье. Он сделал зверское лицо, схватился руками за оба борта и стал изо всех сил качать шаланду.

Мальчики повалились друг на друга, стукнулись головами, заорали благим матом. Потом принялись бешено колотить веслами по воде, окатывая Терентия с двух сторон целыми снопами брызг.

Терентий не остался в долгу: он проворно сунулся к воде, отворотил зажмуренное лицо и, молниеносно работая ладонями, стал обливать мальчиков. Через минуту все трое оказались мокрыми с ног до головы. Тогда они, хохоча и отдуваясь, повалились на банки и в изнеможении застонали.

Ветерок уносил туман. Из воды в глаза ударило солнце, словно под лодку вдруг подставили зеркало.

Берег проявлялся из мути, как переводная картинка.

Яркий майский день заиграл всеми своими голубыми, сиреневыми и зелеными красками.

— Ну, побаловались, и будет,— строго сказал Терентий, вытирая рукавом мокрый лоб с белым атласным шрамом.— Пошли дальше.

Мальчики стали серьезны и налегли на весла.

Петя старательно сопел, высунув язык. Правду сказать, он немного уже устал. Но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком.

Кроме того, мальчика сильно беспокоил вопрос: маевка это уже или еще не маевка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках, как тогда с Ближними Мельницами.

Мотя сказала, что маевка — это рабочая пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь пасха-то не просто пасха, а рабочая.

Все же в конце концов мальчик не выдержал:

— Послушайте,— сказал он Терентию,— это уже самая маевка или еще нет?

— Еще не маевка.

— А когда она будет? Скоро?

Сказав это, Петя тотчас приготовил преувеличенно веселую, льстивую улыбку.

На основании долголетнего опыта разговоров со взрослыми он знал, что сейчас ему ответят: «Как начнется, так и будет».— «А когда начнется?» — «Как будет, так и начнется».

Но, к Петиному удивлению, Терентий ответил ему, совершенно как взрослому:

— Сначала подъедем до Малого Фонтана — заберем одного человека, а там и маевку будем начинать.

Действительно, на Малом Фонтане в шаланду прыгнул франтоватый господин с тросточкой и веревочной кошелкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал:

— Навались. Поехали.

Это был матрос.

Но боже мой, как он был наряден!

Мальчики смотрели на него с полуоткрытыми ртами,

восхищенные и подавленные его неожиданным великолепием. Они до сих пор даже не предполагали, что человек может быть так прекрасен.

Мало того, что на нем были кремовые брюки, зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли.

Мало того, что из кармана синего пиджака высовывался алый шелковый платок и в галстуке рисунка «павлиний глаз» сверкала сапфировая подковка.

Мало того, что на груди коробком стояла крахмальная манишка, а щеки подпирал высокий крахмальный воротник с углами, отогнутыми, как у визитной карточки.

Наконец, мало того, что твердая соломенная шляпа «канотье» с полосатой лентой франтовски сидела на затылке.

Всего этого было еще мало.

На животе у него болталась цепочка со множеством брелоков, а на изящно растопыренных руках красовались серые матерчатые перчатки. И это окончательно добивало.

Если до сих пор для мальчиков еще не вполне был выяснен вопрос, кто роскошнее всех на свете — писаря или квасники, то теперь об этом смешно было думать. Можно было смело — не глядя! — отдать всех квасников и всех писарей за одни только закрученные усики матроса.

Мальчики даже грести перестали, заглядевшись на франта.

— Ой, Петька! — воскликнул Гаврик.— Смотри, у него перчатки!

Матрос сплюнул сквозь зубы так далеко, как мальчики никогда даже и во сне не плевали, и, сердито посмотрев на Гаврика, сказал:

— А кому это надо, чтобы кажный-всякий клал глаза на мой якорь? Я на него чехол надел. Ну, братишечки, будет дурака валять.

Матрос вдруг приосанился, закрутил усы, чертом посмотрел на Терентия, подыхавшего со смеху, и гаркнул:

— Эй, на катере! Слушать мою команду! Весла-а-а... на́ воду! Ать! Ать! — запел он, представляя боцмана.— Правое табань, левое навались! Ать!.. Ать!..

Мальчики навалились. Лодка повернула в открытое море, горевшее впереди серебряным пламенем полудня.

Там, в полуверсте от берега, виднелось скопление рыбачьих шаланд.

Жгучее чувство радостного страха охватило Петю.

С таким же точно чувством он в первый раз шел за Гавриком осенью по оцепленным кварталам города.

Но тогда мальчики были одни. Теперь же с ними находились могущественные и таинственные взрослые, которые даже и виду не подавали, что когда-нибудь прежде видели Петю.

А между тем мальчик понимал, что они его прекрасно помнят и знают. Матрос даже один раз подмигнул Пете, как бы желая сказать: ничего, брат, живем!

Со своей стороны, Петя тоже делал вид, что в первый раз в жизни видит матроса.

И это было весело, хотя и жутковато. Вообще у всех в лодке настроение было приподнятое, взвинченное, какое-то чересчур радостное.

Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбачьих шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее.

Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую, облезшую посудину покойного дедушки.

Все рыбаки, шедшие вчера за гробом старика — малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега,— собрались сегодня здесь. Пришли некоторые дальние — люстдорфские и дофиновские. Затесался даже один очаковский.

Все были между собой хорошо знакомы — друзья и соседи.

Пользуясь случаем, рыбаки переговаривались, свесивши руки и чубы за борт. Гам стоял, как на привозе. Каждую новую шаланду встречали криками, брызгами, плеском весел.

Едва дедушкина шаланда, стукаясь о борты, въехала в круг, где уже плавало несколько пустых бутылок из-под пива «Санценбахера», как со всех сторон послышались восклицания:

— Здоро́во, Терентий!

— Осторожно! Не потопи наши калоши своим броненосцем!

— Эй, босяки, пропустите главного политического!

— Тереха! Дорогой друг! И где это ты споймал та-

кого молодого человека? Нет спасения — жилет пике, бламанже, парле франсе!..

Терентий надул толстые щеки и с застенчивой важностью раскланивался на все стороны, размахивая картузиком с пуговичкой.

— Все на одного! — кричал он тонким голосом.— Бейте хоть не сразу, а по очереди. Здоров, Федя! Здоров, Степан! Здоров, дедушка Василий! О! Митя! Живой-здоровый! А я думал — тебя тута уже давно малофонтанские бычки съели! Ну, сколько вас на фунт сушеных? Саша! Выходи на левую!

Отгрызаясь таким образом от наседавших на него старых друзей-товарищей, Терентий жмурился и улыбался, растянув рот до ушей. Он с удовольствием посматривал вокруг, читая вслух названия лодок, окружавших его.

— «Соня», еще одна «Соня», и еще «Соня», и опять «Соня», и «Соня» с Люстдорфа, и еще три «Сони» с Ланжерона! Вот это да! Восемь Соней, один я! «Надя», «Вера», «Люба», «Шура», «Мотя»... Ой, мамочка-мама! Куда мы заехали? Вертай назад! — кричал он, с притворным ужасом закрывая картузиком лицо.

Кроме этих шаланд, было еще штуки четыре «Оль», штук шесть «Наташ», не меньше двенадцати «Трех святителей» и еще одна большая очаковская шаланда с несколько странным, но завлекательным названием: «Ай, Пушкин молодец».

Когда водворилась тишина и порядок, Терентий ткнул матроса локтем:

— Начинай, Родя.

Матрос не спеша снял шляпу, положил ее на колени и крошечным гребешком расчесал усики. Затем он встал и, расставив для устойчивости ноги, произнес ясно и громко, так, чтобы его услышали все:

— Здравствуйте, товарищи одесские рыбаки! С Первым вас мая!

Лицо его сразу сделалось скуластым, курносым, решительным.

— Тут мне послышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал — интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке, парле франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции боль-

шевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединенного комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмале жилет-пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки и, наверное, знаете. Почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками, вроде муаровыми? Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить. Чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом Черном море и чтоб она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. Ясно?

На шаландах послышался смех. Матрос подмигнул, тряхнул головой и сказал:

— Так вот я есть тая же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтоб ее не сразу было заметно.

На шаландах засмеялись еще пуще:

— Добрая рыба!

— Целый дельфин!

— А не страшно тебе попасть один какой-нибудь раз на крючок?

Матрос подождал, когда кончатся возгласы, и заметил:

— А ну, споймай меня. Я скользкий.

Затем он продолжал:

— Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит. В море до черта всякой рыбы. На полях до черта пшеницы. В садах разная фрукта: яблуки, аберкосы, вишня, черешня, груша. Растет виноград. На степу кони, волы, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие-разные металлы. Живи — не хочу. Кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольные и счастливые. Так что же вы думаете? Нет! Всюду непременно есть богатые, которые совсем не работают, а забирают себе все, и всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятые, и не имеют с этого ни черта! Как же это так получается? Могу вам на это ответить: очень просто. Возьмем рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идет на привоз. И сколько ж ему, например, дают на привозе за сотню бычков? Тридцать — сорок копеек!

Матрос остановился и посмотрел вокруг.

— Еще спасибо, если дадут тридцать,— сказал похожий на дедушку старик, прилегший на носу неуклюжей шаланды «Дельфин».— Я позавчера принес четыре сотни, а она мне больше как по двадцать пять не хочет платить, хоть ты что! И тут же их сама продает по восемь гривен.

Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь. Кто кричал, что привоз держит за горло.

Пока взрослые шумели, мальчики тоже не зевали. Некоторые рыбаки взяли с собой на маевку детей. В шаландах сидели благонравные девочки в новеньких коленкоровых платьицах и босые, насупившиеся мальчики с солнечными лишаями на абрикосовых щечках. Они были в сатиновых косоворотках и рыбацких фуражечках с якорными пуговицами. Разумеется, все — друзья-товарищи Гаврика.

Конечно, дети не отставали от взрослых.

Они тотчас начали задираться, и не прошло двух минут, как разгорелся настоящий морской бой, причем Гаврику досталось по морде дохлым бычком, а Петя уронил в воду фуражку, и она чуть было не утонула.

Поднялась такая возня и полетели такие брызги, что Терентию пришлось крикнуть:

— А ну, хватит баловаться, а то всем ухи пообрываю!

А матрос, перекрывая шум, продолжал:

— Значит, выходит, что у нас буржуи отнимают три четверти нашего труда. А мы что? Как только мы подымем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу — трах! Бьют еще нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на «Потемкине» — не удержали в руках. Сделали восстание — то же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России — страшно подумать! Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках! Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчерась, кажется, хоронили вы одного своего хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Отошла его дорогая нам всем душа. Где она, тая душа?

Нет ее и никогда уже не будет... А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется на нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся еще и еще раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть...

Матрос замолчал и стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шелковым лоскутком, как маленьким знаменем.

Полная, глубокая тишина стояла над шаландами.

А с берега уже доносились тревожные свистки городовых. Матрос посмотрел туда и мигнул:

— Друзья наши забеспокоились. Ничего. Свисти, свисти! Может, что-нибудь и высвистишь, шкура!

Он злобно согнул руку и выставил локоть в сторону берега, усеянного нарядными зонтиками и панамами.

— На, укуси!

И сейчас же красавец Федя, развалившийся на корме своей великолепной шаланды «Надя и Вера», заиграл на гармонике марш «Тоска по родине».

Откуда ни возьмись, на всех шаландах появились крашенки, таранька, хлеб, бутылки.

Матрос полез в свою кошелку, достал закуску и разделил ее поровну между всеми в лодке. Пете достались превосходная сухая таранька, два монастырских бублика и лиловое яйцо.

Маевка и вправду оказалась веселой рабочей пасхой.

Городовые, свистя, бегали по берегу. Шаланды стали разъезжаться в разные стороны.

Гипсовые головы облаков поднимались из-за горизонта.

Федя повернул лицо к небу, уронил руку за борт и чистым и сильным тенором запел известную матросскую песню:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали,
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от грешной земли!

Сверкали весла. Песня уплывала.

— Товарищ, нет силы мне вахту держать,—
Сказал кочегар кочегару...

Песня уже еле слышалась.

Тогда матрос скомандовал мальчикам:

— Весла-а-а... на́ воду!.. Ать! Ат-ать! Ать!

И, хлопнув Терентия по спине, закричал:

Черное море,
Белый пароход.
Плавает мой милый
Уж четвертый год.

— Ну, босяки! Что же вы не помогаете?

И Терентий и оба мальчика весело подхватили:

Ты не плачь, Маруся,
Будешь ты моя.
Я к тебе вернуся,
Возьму за себя!

Белая чайка на неподвижно раскинутых крыльях бесшумно скользнула над самой шаландой. Казалось, она схватила на лету веселую песенку и унесла ее в коралловом клюве, как трепещущую серебряную рыбку.

Мальчики долго смотрели вслед птице, думая, что, может быть, это белоснежная дедушкина душа прилетела посмотреть на свою шаланду и на своих внуков.

Маевка кончилась.

Но к берегу пристали не скоро — часа два еще крутились в море, выжидая удобного момента.

Сначала высадили Терентия возле Золотого Берега, а потом отвезли матроса на Ланжерон.

Прежде чем сойти на берег, матрос долго осматривался по сторонам. Наконец он махнул рукой: «Ничего. Авось-небось, как-нибудь...», подхватил под мышку свою щегольскую тросточку с мельхиоровой ручкой в виде лошадиной головы и выпрыгнул из шаланды.

— Спасибо, хлопчики! — пробормотал он поспешно.— До приятного свидания.

И с этими словами исчез в толпе гуляющих.

Петя вернулся домой к обеду, с пузырями на ладонях и красным, за один день обгоревшим лицом.

45
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Прошла неделя.

За это время Петя ни разу не побывал на море. Он был занят приготовлениями к отъезду в экономию. Приходилось то с папой, то с тетей отправляться в город за покупками.

Все вокруг было уже летнее.

Одесский май ничем не отличается от июня. Город изнемогал от двадцатипятиградусной жары. Над балконами и магазинами были спущены косые полосатые маркизы с красными фестонами. На них лежала резкая тень начинающих цвести акаций.

Собаки бегали с высунутыми языками, разыскивая воду. Между домами вдруг открывалось пламенное море. В «центре» за зелеными столиками под большими полотняными зонтами сидели менялы и цветочницы.

Каблуки вязли в размягченном асфальте. В адских котлах повсюду варилась смола.

О, какое это было наслаждение — целый день ходить по магазинам, делая веселые дачные покупки: серсо, сандалии, марлевые сетки для ловли бабочек, удочки, мячи, фейерверк... и потом с легкими пакетами странной формы возвращаться домой на летней, открытой конке!

Петино тело еще томилось в знойном городе, но нетерпеливая душа, залетев далеко вперед, уже ехала на пароходе, насквозь прохваченная голубым ветром путешествия.

Но однажды рано утром во дворе раздался знакомый свист. Мальчик подбежал к окну и увидел посредине двора Гаврика.

Через минуту Петя очутился внизу. У Гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, решительно поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье.

Сердце у Пети сжалось.

— Ну,— против воли понижая голос до шепота, спросил он,— что?

Гаврик, насупившись, отвернулся:

— Ничего. Хочешь идти с нами на шаланде?

— Когда?

— А сейчас. Я, Мотька и ты. Под парусом.
— Брешешь?
— Собака брешет.
— Под парусом?
— Плюнешь мне в глаза.
— Кататься?
— Пускай кататься. Хочешь?
— Спрашиваешь!
— Тогда — быстро!

Идти на шаланде под парусом!

Нечего и говорить, что Петя даже не сбегал домой за фуражкой. Через десять минут мальчики были уже на берегу.

Шаланда со вставленной мачтой и свернутым парусом, до половины выдвинутая в море, покачивалась на легкой волне.

Босая Мотя возилась на дне лодки, укладывая в ящик под кормой дубовый бочоночек с водой и буханку житного хлеба.

— Петька, берись! — сказал Гаврик, упираясь плечом в корму.

Мальчики навалились и, без особого труда столкнув шаланду, вскочили в нее уже на ходу.

— Поехали!

Гаврик ловко развязал и поднял новый четырехугольный парус. Слабый ветерок медленно его наполнил. Шаланду потянуло боком. Став коленями на корму, Гаврик с усилием надел тяжелый руль и набил на него румпель.

Почувствовав руль, шаланда пошла прямее.

— Побережись!

Петя едва успел присесть на корточки и нагнуться.

Повернутый ветром гик грузно перешел над самой головой слева направо, открыв сияющее море и закрыв глинистый берег, где по колено в бурьяне и дикой петрушке стояла Мотина мама, приложив руку к глазам.

Гаврик нажал на румпель и навалился на него спиной. Мачта слегка наклонилась. Вода звучно зажурчала по борту. Подскакивая и хлопая плоским дном по волне, шаланда вышла в открытое море и пошла вдоль берега.

— Куда мы едем? — спросил Петя.
— Увидишь.
— А далеко?

— Узнаешь.

В глазах у Гаврика опять появился тот же недобрый, сосредоточенный блеск.

Петя посмотрел на Мотю. Девочка сидела на носу, свесив босые ноги за борт, и неподвижно смотрела вперед. Ее щеки были строго втянуты, и ветер трепал волосы, еще недостаточно отросшие, чтобы заплести их в косичку.

Некоторое время все молчали.

Вдруг Гаврик полез в карман и вытащил довольно большие часы черной вороненой стали. Он с важностью приложил их к уху, послушал, как они тикают, и затем не без труда отколупнул крышку мраморным ногтем со множеством белых пятнышек, как известно приносящих человеку счастье.

Если бы Гаврик вытащил из кармана живую гадюку или горсть драгоценных камней, то и тогда Петя был бы удивлен меньше.

Собственные карманные часы! Это было почти то же самое, что собственный велосипед или собственное монтекристо. Даже, может быть, больше. У Пети захватило дух. Он не верил своим глазам. Он был подавлен.

А Гаврик между тем принялся сосредоточенно отсчитывать указательным пальцем цифры, шепча себе под нос:

— Один час, два, три, чечире, пьять... Девьять и еще трошки. Ничего. Поспеем.

— Покажи! — закричал Петя вне себя от изумления.

— Не лапай, не купишь.

— Это твои?

— Не.— И, притянув Петю за рукав, Гаврик таинственно шепнул ему: — Казенные. С комитета. Понятно?

— Понятно,— прошептал Петя, хотя ему совершенно ничего не было понятно.

— Слухай здесь,— продолжал Гаврик, искоса поглядывая на Мотю.— Матроса нашего споймали. Чуешь? Он теперь сидит в тюрьме. Шестой день. Его после той самой маевки прямо на Ланжероне схватили. Только у него, понятно, документ на другую фамилию. Пока ничего. Ну только если те драконы его откроют, то молись богу, ставь черный крест — сейчас же и повесят. Чуешь? А они его могут открыть каждую минуту. Снимут с него усы.

Найдут какого-нибудь Иуду, сделают очную и откроют. Теперь чуешь, какое выходит некрасивое дело?

— Врешь! — испуганно воскликнул Петя.

— Раз я тебе говорю — значит, знаю. Теперь слухай здесь опять. Пока он сидит тама еще не открытый, ему на воле подстраивают убежать. Комитет подстраивает. Сегодня как раз в десять с половиной ровным счетом он будет бежать с тюрьмы прямо на Большой Фонтан, а оттеда на нашей шаланде под парусом обратно в Румынию. Теперь чуешь, куда мы идем? На Большой Фонтан. Шаланду переправляем. А часы мне Терентий из комитета принес, чтобы не было опоздания.

Гаврик снова достал часы и начал на них старательно смотреть:

— Без чуточки десять. Успеем в самый раз.

— Как же он убежит? — прошептал Петя.— Его же там сторожат тюремщики и часовые?

— Неважно. У него как раз в десять и с половиной прогулка. Выводят погулять на тюремный двор. Ему только надо перебежать через огороды, а на малофонтанской дороге его уже Терентий дожидается с извозчиком. И — ходу прямо к шаланде. Чуешь?

— Чую. А как же он перелезет через тюремную стену? Она же высокая. Во какая! До второго этажа. Пока он будет лезть, они его застрелят из винтовки.

Гаврик сморщился, как от оскомины:

— Та не! Ты слухай здесь. Зачем ему лезть через стенку? Стенку Терентий подорвет.

— Как это — подорвет?

— Чудак! Говорю — подорвет. Сделает в ней пролом. Ночью под нее один человек с комитета — товарищ Синичкин — подложил танамид, а сегодня в десять и с половиной утра, аккурат как начнется у нашего матроса прогулка, Терентий с той стороны подпалит фитиль и — ходу к извозчику. И будем ждать. Танамид ка-ак бабахнет...

Петя строго посмотрел на Гаврика:

— Что бабахнет?

— Танамид.

— Как?

— Танамид,— не совсем уверенно повторил Гаврик,— который взрывает. А что?

— Не танамид, а динамит! — наставительно сказал Петя.

— Нехай динамит. Неважно, лишь бы стенку проломало.

Петя сейчас только вдруг понял как следует значение Гавриковых слов. Он почувствовал, что его спина покрывается «гусиной кожей».

Темными большими глазами он посмотрел на друга:

— Дай честное благородное слово, что правда.

— Честное благородное.

— Перекрестись.

— Святой истинный крест на церкву.

Гаврик истово и быстро перекрестился на монастырские купола Большого Фонтана. Но Петя верил ему и без этого. Креститься заставил больше для порядка. Петя всей своей душой чувствовал, что это правда.

Гаврик опустил парус. Шаланда стукнулась о маленькие лодочные мостки. Берег был пуст и дик.

— У тебя платочка нема? — спросил Гаврик Петю.

— Есть.

— Покажь!

Петя достал из кармана носовой платок, при виде которого тетя, наверное, упала бы в обморок.

Но Гаврик остался вполне доволен. Он серьезно и важно кивнул головой:

— Годится. Сховай.

Затем он посмотрел на часы. Было «десять и еще самые трошки».

— Я останусь в шаланде,— сказал Гаврик,— а ты и Мотька бежите наверх и стойте в переулочке. Будете их встречать. Как только они подъедут, замахайте платочком, чтоб я подымал парус. Соображаешь, Петька?

— Соображаю... А если их часовой подстрелит?

— Промахнется,— с уверенностью сказал Гаврик и сурово усмехнулся.— Часовой как раз с Дофиновки, знакомый. Бежи, Петька. Как только их заметишь, так сразу начинай махать. Сможешь?

— Спрашиваешь!

Петя и Мотя вылезли из шаланды и побежали наверх.

Здесь, как и на всем побережье от Люстдорфа до Ланжерона, детям была знакома каждая дорожка. Продираясь сквозь цветущие кусты одичавшей сирени, мальчик

и девочка взобрались на высокий обрыв и остановились в переулочке между двумя дачами.

Отсюда было видно и шоссе и море.

Далеко внизу маленькая шаланда покачивалась возле совсем маленьких мостков. А самого Гаврика было еле видно.

— Мотька, слушай здесь,— сказал Петя, осмотревшись по сторонам.— Я влезу на шелковицу — оттуда дальше видно,— а ты ходи по переулку и тоже хорошенько смотри. Кто раньше заметит.

По правде сказать, на шелковицу можно было и не лазить, так как снизу тоже все было прекрасно видно. Но Петя уже почувствовал себя начальником. Ему хотелось совершать поступки и командовать.

Мальчик разбежался и, кряхтя, вскарабкался на дерево, сразу же разорвав на коленях штаны. Но это не только его не смутило, а наоборот, сделало еще более суровым и гордым.

Он уселся верхом на ветке и нахмурился.

— Ну? Чего ж ты стоишь? Ходи!

— Сейчас.

Девочка посмотрела на Петю снизу вверх испуганными, преданными глазами, обеими руками обдернула юбочку и чинно пошла по переулку к дороге.

— Стой! Подожди!

Мотя остановилась.

— Слушай здесь. Как только их увидишь, сейчас же кричи мне. А как только я увижу — буду кричать тебе. Хочешь?

— Хочу,— тоненьким голоском сказала девочка.

— Ну, ступай.

Мотя повернулась и пошла в густой тени зеленовато-молочных, вот-вот готовых распуститься акаций, оставляя в пыли маленькие следы босых пяток.

Она дошла до угла, постояла там и вернулась обратно.

— Еще не едут. А у вас?

— И у меня еще не едут. Ходи дальше.

Девочка снова отправилась до угла и снова вернулась, сообщив, что у нее еще не едут.

— И у меня не едут. Ходи еще.

Сначала мальчику очень нравилась эта игра.

Необыкновенно приятно было сидеть высоко на

дереве, с напряжением вглядываясь в конец переулка — не покажется ли мчащийся извозчик.

О, как ясно представлял он себе взмыленную лошадь и кучера, размахивающего над головой свистящим кнутом! Экипаж подлетает. Из него выскакивают с револьверами в руках Терентий и матрос. За ними бегут тюремщики. Терентий и матрос отстреливаются. Тюремщики один за другим падают убитые. Петя изо всех сил машет платком, кричит, ловко прыгает с дерева и мчится, обгоняя всех, к лодке — помогать ставить парус. А Мотька только сейчас догадалась, что это приехали они. Ничего не поделаешь: девчонка.

...Но время шло, а никого не было. Становилось скучновато.

Пете надоело смотреть на ослепительно белое шоссе — то катила карета с английским кучером, одетым, как Евгений Онегин, то с громом проезжала фура с искусственным льдом. Тогда становилось особенно жарко и особенно сильно хотелось пить.

Мальчик уже давно успел рассмотреть во всех подробностях соседнюю дачу: ярко-зеленые газоны, гравий на дорожках, туи, статую, испещренную лиловыми кляксами тени, вазу, из которой ниспадали длинные, острые листья алоэ, и художника, пишущего пейзаж.

Художник, с закрученными усиками и эспаньолкой, в бархатном берете, сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, ударял длинной кистью по холсту на мольберте.

Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется.

А на оттопыренный большой палец левой руки надета палитра — эта гораздо более красивая, чем сама картина, овальная дощечка, на которой в безумном, но волшебном беспорядке смешаны все краски, все оттенки моря, неба, глины, сирени, травы, облаков, шаланды...

...А между тем уже давно подъехал пыльный извозчик, и по переулку медленно шли два человека. Впереди них бежала Мотя, крича:

— У меня уже приехали! Махайте, махайте!

Петя чуть не свалился с дерева. Он вырвал из кармана платок и стал отчаянно крутить им над головой.

Шаланда закачалась сильнее, и Петя увидел, что Гаврик прыгает и машет руками.

Под шелковицей, на которой сидел Петя, прошли Терентий и матрос. По их пламенно-красным лицам струился пот. Мальчик слышал их тяжелое дыхание.

Матрос шел без шапки, сильно хромая. Его щегольские кремовые брюки — те самые, в которых Петя видел его в последний раз, на маевке,— были порваны и выпачканы кирпичным порошком. Грязная полуоторванная манишка обнажала выпуклую, блестящую от пота грудь. Сжатые кулаки были как бы опутаны голубыми веревками жил. Усики висели. На обросшем лице сильно выдавались скулы. Глаза сухо искрились. Горло двигалось.

— Здравствуйте, дядя! — крикнул Петя.

Терентий и матрос посмотрели на мальчика и усмехнулись.

Пете показалось даже, что матрос подмигнул ему. Но они уже бежали вниз, оставляя за собой облако пыли.

— А я первая увидела, ага! — сказала Мотя.

Петя слез с дерева, делая вид, что не слышит.

Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус.

Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся. Его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез.

Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал не торопясь подниматься по обрыву.

Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью.

— Поехал один,— сказал Петя.

— Ничего. Мы ему хлеба положили. Целую буханку. И восемь таранек.

Скоро к Пете и Моте присоединился и Гаврик.

— Слава богу, отправили,— сказал он перекрестившись.— А то прямо наказание.

— А как же шаланда? — спросил Петя.— Так теперь и пропала?

— Шаланда пропала,— сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку.

— Как же вы будете без шаланды?

— Не дрейфь. Не пропадем как-нибудь.

Торопиться было некуда. Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника. Теперь

почти уже весь пейзаж был готов. Затаив дыхание они засмотрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира, совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем как две капли воды похожего на настоящий.

— Море есть, а шаланды нету,— шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Петино плечо, и тихонько хихикнула.

Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую.

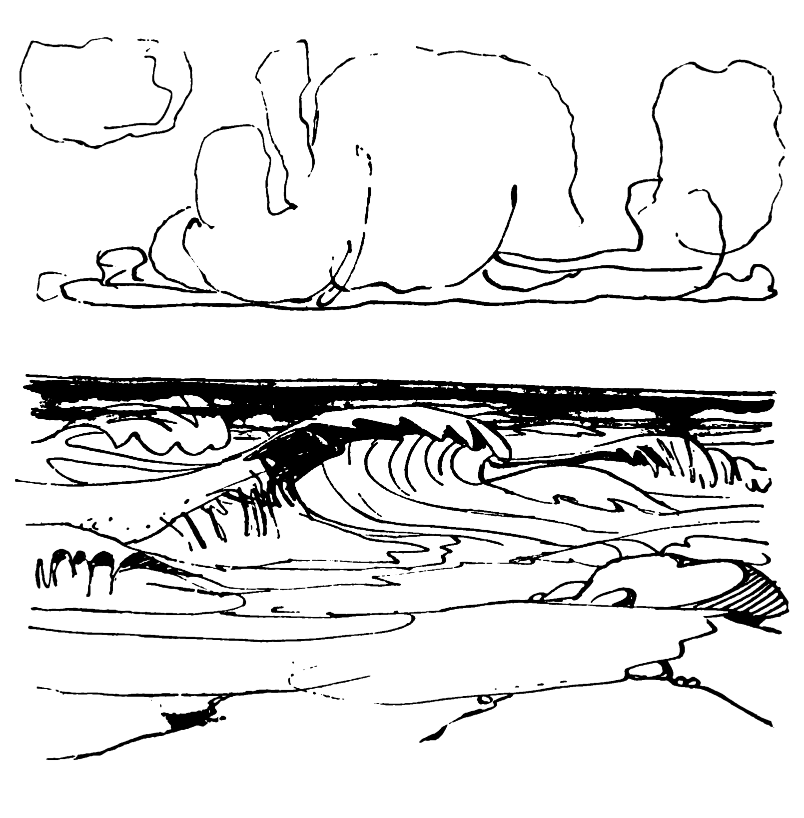
— Парус! — восхищенно вздохнула Мотя.

Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Все — как там. Даже парус.

И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушкиной шаланды, легкий и воздушный, как чайка.

...Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой.
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Хуторок в степи



1
СМЕРТЬ ТОЛСТОГО

Ветер с моря нес дождь, рвал из рук прохожих зонтики. В улицах было по-утреннему темно. Так же темно и тягостно было на душе у Пети.

Не доходя до знакомого поворота, еще издали он увидел небольшую толпу перед газетным киоском — только что принесли кипы опоздавших газет. Их жадно разбирали. Трепались разворачиваемые листы и тотчас темнели под дождем. Кое-кто в толпе снимал шапки, а одна дама громко всхлипывала, прижимая к глазам и носу скомканный платок.

«Значит, все-таки умер»,— подумал Петя. Теперь он ясно видел газетные страницы, окруженные жирной тра-

урной рамкой, и черный портрет Льва Толстого со знакомой белой бородой.

Пете было уже тринадцать лет. Как все подростки, он особенно мучительно боялся смерти. Каждый раз, когда умирал кто-нибудь из знакомых, Петину душу охватывал ужас, и мальчик долго потом поправлялся, как после тяжелой болезни. Но сейчас этот страх смерти имел совсем другой характер. Толстой не был знакомый. Едва ли Петя даже представлял себе его человеческое бытие. Лев Толстой был знаменитый писатель, такой же, как Пушкин, Гоголь, Тургенев. Он существовал в сознании не как человек, а как явление. Теперь он лежал, умирая, на станции Астапово, и весь мир со дня на день с ужасом ожидал его смерти. Петя был захвачен общим ожиданием события, казавшегося невероятным и неприменимым к бессмертному явлению, называвшемуся «Лев Толстой». Когда это событие совершилось, Петя почувствовал такую душевную тяжесть, что некоторое время неподвижно стоял, прислонившись к мокрому, слизистому стволу акации.

В гимназии было так же темно и траурно, как и на улице. Никто не шумел, не бегал по лестницам. Разговаривали вполголоса, как в церкви на панихиде. На перемене Петя и Жора Колесничук, который из маленького гимназистика уже вымахал в громадного, застенчивого юношу с прыщами на лбу и красными руками, сидели на подоконнике, и Колесничук испуганным шепотом рассказывал о том, что на оптовом складе мануфактурного магазина Братьев Пташниковых, где его отец служил приказчиком, забастовали рабочие и повесили на воротах портрет Льва Толстого. Ученики старших классов — семиклассники и восьмиклассники — собирались кучками на лестничных площадках и внизу, возле швейцарской. Они тайно шуршали газетами, которые вообще строго запрещалось приносить в гимназию. Уроки тянулись чинно, тихо, с однообразием, сводящим с ума. Часто в стеклянную дверь класса заглядывал инспектор или кто-нибудь из надзирателей. На их лицах было написано одно и то же выражение холодной бдительности. И Петя чувствовал, что весь этот привычный мир казенной гимназии, с форменными вицмундирами и сюртуками педагогов, с голубыми стоячими воротниками служителей, с тишиной коридоров, где так четко и звонко раздаются по

метлахским плиткам шаги инспектора в новых ботинках с твердыми каблуками, с чуть слышным запахом ладана на четвертом этаже, возле резных дубовых дверей гимназической церкви, с редкими звонками телефона внизу, в канцелярии, и тонким дребезжаньем пробирок в физическом кабинете,— весь этот мир находится в тяжелом противоречии с тем великим и страшным, что, по мнению Пети, должно было сейчас происходить за стенами гимназии, в городе, в России, на всей земле.

Что же там происходило?

Петя время от времени смотрел в окно, но ничего не видел, кроме хорошо знакомой, надоевшей картины привокзального района. Он видел мокрую крышу красивого здания судебных установлений с фигурой слепой Фемиды на фронтоне. Видел купола Пантелеймоновского подворья, каланчу Александровского участка. Еще дальше висела пасмурная, дождливая муть рабочих предместий. Там были фабричные трубы и дым, и пакгаузы, и та особая, свинцовая темнота горизонта, которая напоминала Пете что-то давнее, чего он никак не мог вспомнить. И лишь когда после уроков Петя вышел в город, он вдруг вспомнил.

Наступал ранний вечер. Уже кое-где в мелочных лавочках зажигали керосиновые лампы. Желтый свет жиденько блестел на мокрой мостовой. Мелькали призрачные тени прохожих, увеличенные туманом. И вдруг послышалось пение. Из-за угла медленно выходила ряд за рядом толпа людей, державших друг друга под руки. Впереди, прижимая к груди портрет Льва Толстого в черной раме, шел студент без шапки, и мокрый ветер трепал его русые волосы. «Вы жертвою пали в борьбе роковой»,— выводил студент вызывающим тенором, покрывая нестройные голоса толпы. И этот студент и эта поющая толпа вдруг с необыкновенной силой воскресили в Петиной памяти другое, забытое время, другую, забытую улицу. Так же как тогда, в тумане блестела мостовая и по ней, взявшись под руки, ряд за рядом шли курсистки в маленьких каракулевых шапочках, студенты, мастеровые в сапогах. Они пели «Вы жертвою пали». Над толпой мотался маленький красный лоскут, и это был пятый год... И как бы в довершение сходства Петя услышал щелканье подков, высекающих из мокрого гранита мосто-

вой искры. Казачий разъезд вырвался из переулка — бескозырки набекрень, короткие драгунские винтовки прыгают за спинами,— совсем близко от Пети свистнула нагайка и сильно запахло лошадиным потом. И тотчас все смешалось, закричало, побежало...

Схватившись обеими руками за фуражку, Петя бросился в сторону, наткнулся на что-то горячее. Оно опрокинулось. Это была жаровня возле фруктовой лавочки. Посыпались раскаленные уголья, дымящиеся каштаны. И улица опустела.

Несколько дней смерть Толстого составляла главное и единственное содержание жизни всего русского общества. Экстренные выпуски газет были заполнены подробностями ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны. Печатались сотни телеграмм со станции Астапово о последних часах и минутах великого писателя. В один миг маленькая, неизвестная станция Астапово прогремела на весь мир и стала так же знаменита, как Ясная Поляна, а фамилия начальника этой станции, некоего Озолина, уступившего умирающему Толстому свою квартиру, бесконечное число раз повторялось всеми грамотными людьми. Вместе с именами графини Софьи Андреевны и Черткова эти новые слова — «Астапово» и «Озолин»,— сопровождавшие Толстого в могилу, пугали Петю, как черные бумажные буквы на белых лентах погребальных венков.

Петя с удивлением замечал, что к этой смерти, которую все называли «трагедия», имело какое-то отношение правительство, святейший синод, полиция, жандармский корпус. В эти дни если Петя встречал на улице архиерейскую карету с монахом возле кучера на козлах или трескучие щегольские дрожки полицмейстера, то он был уверен, что и архиерей и полицмейстер едут куда-то по срочному делу, связанному со смертью Толстого.

Никогда еще Петя не видел своего отца в таком не то чтобы возбужденном, а в каком-то возвышенно-одухотворенном состоянии, как в эти дни. Его обычно доброе, простодушное лицо вдруг стало строгим, помолодевшим. Волосы над высоким лепным лбом были закинуты как-то по-студенчески. И только в старых, покрасневших глазах, полных слез, под стеклами пенсне отражалось такое глубокое горе, что у Пети невольно сжималось от жалости сердце. Василий Петрович вошел и положил на письмен-

ный стол две стопки ученических тетрадок, крепко перевязанных шпагатом. Прежде чем переодеться в домашний пиджачок, он вынул из заднего кармана сюртука с потертыми шелковыми лацканами носовой платок и долго обтирал мокрые от дождя лицо и бороду. Потом решительно тряхнул головой:

— Ну, мальчики, мыть руки и обедать!

Петя глубоко чувствовал душевное состояние отца, он понимал, что Василий Петрович как-то особенно мучительно переживает смерть Толстого, что для него Толстой не только обожаемый писатель, но нечто гораздо большее — чуть ли не нравственный центр жизни,— но только не мог объяснить это словами.

Настроение отца всегда легко передавалось мальчику, и теперь Петя был весь охвачен сильным душевным беспокойством. Он притих и не спускал с отца блестящих вопросительных глаз.

Павлик же, которому недавно исполнилось восемь лет и он уже был гимназистом, ничего этого не знал и не замечал, исключительно занятый первыми впечатлениями гимназии, интересами своего приготовительного класса.

— А у нас сегодня на уроке чистописания была обструкция! — сказал он, с видимым наслаждением выговаривая это слово.— «Шкелет» несправедливо удалил из класса одного мальчика — Кольку Шапошникова,— и мы все незаметно мычали с закрытыми ртами до тех пор, пока «Шкелет» так стукнул кулаком по кафедре, что чернильница подпрыгнула аж на два аршина вверх.

— Перестань, как не стыдно...— сказал отец, страдальчески морщась, и вдруг гневно вспыхнул:— Бессердечные мальчишки, драть вас надо! Как вы смеете издеваться над несчастным, больным педагогом, которому, может быть, и жить-то осталось... Откуда... откуда у вас у всех такое зверство?..— И, вероятно, продолжая отвечать на мысли, которые мучили его все эти дни, прибавил:— Поймите же, что мир не может держаться на ненависти! Это противоречит христианству.... наконец, здравому смыслу. И это в те дни, когда опускают в могилу, может быть, последнего настоящего христианина на земле...

Глаза отца покраснели еще больше, он вдруг улыбнулся слабой, просительной улыбкой и, взяв за плечи мальчиков, поочередно заглянул им в лицо:

— Обещайте мне, что вы никогда не будете мучить своих ближних!

— Я не мучил,— смущенно сказал Петя.

А у Павлика жалобно сморщилось лицо, и он прижался своей остриженной под нуль головой к отцовскому сюртуку, от которого пахло утюгом и немножко нафталином.

— Папочка, я больше никогда не буду... Мы не подумали,— сказал он, вытирая кулаками глаза, и всхлипнул.

2

«ШКЕЛЕТ»

— Нет, как хотите, а это ужасно! — сказала за обедом тетя. Она положила разливательную ложку и схватилась пальцами за виски.— Можно относиться к Толстому как угодно, лично я его признаю только как величайшего художника, а все эти его непротивления и вегетарианства — вздор, но то, что делает русское правительство,— стыд и срам. Позор перед всем миром! Такой же позор, как Порт-Артур, как Цусима, как девятое января...

— Я прошу вас...— испуганно сказал отец.

— Нет уж, пожалуйста, вы меня не просите... Бездарный царь, бездарные министры! Мне стыдно, что я русская!

— Я прошу вас! — закричал отец и выставил вперед дрожащую бороду.— Никто не смеет касаться священной особы государя императора... И я не позволю... особенно при детях...

— Извините, больше не буду,— быстро сказала тетя.

— И прекратим этот разговор.

— Мне только удивительно, как вы с вашим умом и сердцем и с вашей любовью к Толстому можете всерьез называть священной особой человека, который покрыл Россию виселицами и который...

— Умоляю Христом богом,— простонал отец,— не будем касаться политики! У вас поразительная способность с любой темы непременно съезжать на политику. Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь другом, без политики?

— Ах, Василий Петрович, как вы до сих пор не поняли, что в нашей жизни все — политика! Государство — политика! Церковь — политика! Школа — политика! Толстой — политика!

— Вы не смеете так говорить...

— Нет, смею!

— Это кощунство! Толстой — не политика.

— Именно политика!

И долго потом, приготовляя в своей комнате уроки, Петя и Павлик слышали за дверью возбужденные голоса отца и тети, перебивающих друг друга.

— «Хозяин и работник», «Исповедь», «Воскресение»...

— «Война и мир», Платон Каратаев...

— Платон Каратаев — тоже политика...

— «Анна Каренина», Кити, Левин...

— Левин спорил с братом о коммунизме...

— Андрей Болконский, Пьер...

— Декабристы...

— Хаджи-Мурат...

— Николай Палкин...

— Я вас прошу! Рядом дети...

Павлик и Петя тихо сидели за письменным столом отца возле бронзовой керосиновой лампы с зеленым стеклянным абажуром. Павлик уже кончил учить уроки и теперь приводил в порядок свои новенькие письменные принадлежности, которыми все еще продолжал гордиться. Он наклеивал на пенал переводную картинку, терпеливо скатывая пальцем слои мокрой бумаги, под которыми уже начинал мутно просвечивать разноцветный букет с голубыми лентами. Он слышал голоса в столовой, но не обращал на них внимания, так как все его душевные силы были сосредоточены на том событии, которое произошло сегодня в классе на уроке чистописания. Эта «обструкция», казавшаяся ему сначала такой лихой и веселой, теперь вдруг представилась совсем по-другому.

Перед глазами Павлика все время стояла ужасная картина. Вот к доске подходит учитель чистописания — «Шкелет». Это человек в последнем градусе чахотки. Он страшно, пугающе худ. На нем болтается слишком длинный синий форменный сюртук — старый, очень потертый, но с новыми золотыми пуговицами. Бумажная манишка неряшливо топорщится на его провалившейся груди, а из широкого пропотевшего воротничка высовывается тощая шея. «Шкелет» некоторое время неподвижно и вызывающе смотрит темными глазами на класс, затем быстро поворачивается к доске, берет прозрачными пальцами мел и начинает выводить прописи.

В зловещей тишине слышатся звуки мела по доске: воздушный взмах, когда «Шкелет» намечает виртуозно тонкий штрих, и жирное шипенье, когда он косо опускает толстую, удивительно ровную палочку. «Шкелет» то приседает на корточки, то всем своим телом вытягивается вверх, что делает его похожим на игрушечного паяца, которого тянут за ниточку. Самозабвенно склонив голову набок, он то выпевает тонюсеньким, скрипичным голоском: «Штри-и-их», то глухим басом с одышкой отрывисто произносит: «Палочка».

— Штрих, палочка. Штрих, палочка.

И вдруг с задней парты доносится, как эхо, еще более тонкий, совсем волосяной голос: «Штри-и-их». Спина «Шкелета» вздрагивает, как от укола, но он делает вид, что ничего не слышит. Он продолжает писать, но уже мел начинает крошиться в его бамбуковых пальцах, а на спине, под вытертым сукном сюртука, мучительно двигаются большие лопатки.

— Штрих, палочка; штрих, палочка,— поет он, и его шея и крупные уши густо краснеют.

«Штри-и-их! Штри-и-их! Штри-и-иххх!» — слышится на последней парте. Тогда вдруг «Шкелет» с молниеносной быстротой оборачивается лицом к классу, громадными, хищными шагами несется по проходу между партами и хватает за плечи первого попавшегося мальчика. Так же стремительно он волочит его, выбрасывает из класса в коридор и с такой силой захлопывает дверь, что звенят дверные стекла и на паркет падает сухая замазка.

Тяжело, со свистом дыша, «Шкелет» возвращается к доске, берет мел и собирается снова писать, но в это время до его слуха доносится чуть слышное равномерное мычанье. Он вздрагивает и делает стойку. Его ноги, расставленные и напряженно согнутые в коленях, мелко дрожат. Дрожат манжеты и дрожат синие панталоны на ослабевших штрипках. Черные, глубоко запавшие глаза с неподвижной, пронзительной ненавистью устремлены на учеников. Но кто мычит, неизвестно. Все сидят с закрытыми ртами, с равнодушным выражением лиц, и все незаметно, однообразно и непрерывно мычат. Мычит весь класс. Но уличить никого невозможно. Тогда из груди «Шкелета» вырывается страшный, ни на что не похожий крик боли и ярости. Дрыгаясь, как паяц, он изо всех сил

швыряет кусок мела в доску. Мел разбивается вдребезги. «Шкелет» топает ногами. Его глаза наливаются кровью. Жидкие волосы липнут к мокрому лбу. Шея судорожно подергивается. «Шкелет» рвет на себе воротничок, бросается к кафедре, швыряет стул, швыряет в стенку классный журнал и начинает изо всех сил колотить кулаками по кафедре, крича и уже не слыша собственного голоса: «Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы! Мерзавцы!..» Фаянсовая чернильница прыгает в своем гнезде, и лиловые чернила брызжут на оторвавшуюся манишку, на костлявые руки, на мокрый лоб. Кончается все это тем, что «Шкелет» вдруг теряет силы, садится на подоконник, прислоняется головой к раме и начинает, захлебываясь, кашлять, облизывая сизые губы. Его лицо с проваленными висками, темными глазными впадинами и оскалом желтых зубов действительно становится похожим на череп скелета. И, если бы не пот, который ручьями течет по его лбу, можно подумать, что он уже умер.

Это все время теперь стояло перед глазами Павлика, и мальчик испытывал пронзительную душевную боль, что, впрочем, не мешало ему с особенной осторожностью сводить картинку, стараясь не протереть пальцем дыру в мокрой бумаге и не испортить желатиновый отпечаток букета с голубыми лентами, так ярко и глянцевито блестевшего под лампой.

Петя же рассеянно перелистывал общую тетрадь с выскобленными на черном клеенчатом переплете эмблемами — якорем, пронзенным стрелою сердцем и несколькими загадочными инициалами. Он прислушивался к голосам папы и тети за дверью столовой. Теперь все чаще и чаще повторялись слова «свобода совести», «народное представительство», «конституция», и наконец было произнесено жгучее слово «революция».

— Вот попомните мое слово, все это кончится второй революцией,— сказала тетя.

— Вы анархистка! — закричал отец высоким голосом.

— Я русская патриотка!

— Русские патриоты верят своему государю и своему правительству!

— А вы верите?

— Верю!

И снова Петя услышал имя Толстого.

— А тогда почему же ваш царь и ваше правительство, которым вы так верите, отлучили Толстого от церкви и запрещают его произведения?

— Людям свойственно ошибаться. Они считают Толстого политиком, чуть ли не революционером, а Толстой — всего лишь величайший художник мира, гордость России и стоит над всеми вашими партиями и революциями. И я это докажу в своей речи!

— А вы думаете, начальство вам это позволит?

— Для того чтобы публично сказать, что Лев Толстой — великий писатель земли русской, никакого разрешения не требуется.

— Это вы так думаете.

— Не думаю, а уверен!

— Вы идеалист. Вы не понимаете, в какой стране живете. Умоляю, не делайте этого! Они вас уничтожат. Попомните мое слово!

3

«ЧТО ТАКОЕ КРАСНЫЙ?»

Среди ночи Петя проснулся и увидел, что Василий Петрович без сюртука сидит за письменным столом. Петя привык к тому, что отец по ночам исправляет тетрадки. Но теперь отец был занят совсем другим. Стопки тетрадок лежали на столе нетронутые, а он что-то быстро писал своим бисерным почерком. Вокруг него на столе были раскиданы маленькие толстые томики старого издания сочинений Толстого.

— Папочка, что ты пишешь?

— Спи, мальчик, спи,— сказал Василий Петрович и, подойдя к кровати, поцеловал и перекрестил Петю.

Мальчик перевернул подушку на прохладную сторону и опять заснул. Засыпая, он слышал быстрый скрип пера, дрожание образка, висящего на спинке кровати, и видел темную голову отца рядом с зеленым колпаком лампы и теплый огонек лампады в углу перед образом с сухой пальмовой веткой, тень от которой таинственно лежала на обоях, как всегда вызывая представление о ветке Палестины, о бедных сынах Солима и усыпляя чудной музыкой лермонтовских стихов: «Все полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой...»

Утром, пока Василий Петрович умывался, причесывал

мокрую голову и пристегивал к крахмальному воротничку черный галстук, Петя успел посмотреть, что писал отец ночью. На столе лежала старинная самодельная тетрадь, сшитая суровыми нитками. Петя сразу ее узнал. Обычно она хранилась в папином комоде вместе с разными семейными реликвиями: венчальными пожелтевшими свечами, веточкой флердоранжа, белыми лайковыми перчатками, бисерной сумочкой покойной мамы, ее крошечным перламутровым биноклем, сухими листьями дикой груши с могилы Лермонтова и множеством тех мелких обломков и вещиц, которые в глазах Пети не имели никакого смысла, а для Василия Петровича являлись драгоценными воспоминаниями.

Однажды Петя рассматривал эту тетрадь. Половину ее занимал написанный Василием Петровичем доклад по случаю столетия со дня рождения Пушкина; другая половина оставалась чистой. Теперь на этой пожелтевшей половине мальчик увидел написанный тем же бисерным почерком новый доклад — по случаю смерти Толстого. Он начинался следующими словами: «Умер великий писатель земли русской; закатилось солнце нашей литературы...»

Василий Петрович надел новые манжеты, вправил в них новые, парадные запонки из дутого золота и, аккуратно перегнув тетрадку, сунул ее в боковой карман сюртука. Когда он потом торопливо пил чай на углу стола, а потом надевал в передней свое драповое пальто с потертой бархаткой на воротнике, Петя увидел, как у него дрожат пальцы и прыгает на носу пенсне. Почему-то Пете вдруг стало ужасно жалко отца. Он подошел и, как в детстве, потерся о его рукав.

— Ничего, мы еще повоюем! — сказал отец и погладил сына по спине.

— Все-таки я вам очень не советую,— серьезно сказала тетя, заглядывая в переднюю.

— Вы ошибаетесь,— с мягким, глубоким волнением в голосе сказал Василий Петрович, надел свою черную широкополую шляпу и быстро вышел на улицу.

— Ох, дай бог, чтобы я ошиблась! — вздохнула тетя.— Мальчики, не копайтесь, а то опоздаете в гимназию,— прибавила она и стала помогать пристегивать ранец своему любимцу Павлику, до сих пор еще не вполне постигшему эту простую премудрость.

День прошел, как обычно,— короткий и вместе с тем тягостно длинный, темный ноябрьский день, полный какого-то неясного ожидания, глухих слухов и повторения все тех же мучительных слов: «Чертков», «Софья Андреевна», «Астапово», «Озолин».

В этот день хоронили Толстого.

Петя всю жизнь безвыездно провел на юге, у моря, среди новороссийских степей и никогда не видел леса. Но почему-то теперь он очень ясно представлял себе Ясную Поляну, лес над заросшим оврагом. Петя видел черные стволы старых оголенных лип, среди которых без священников и певчих опускали в могилу простой крестьянский гроб с высохшим, старым телом Льва Толстого. И над этим мальчик видел все те же тучи и стаи все тех же ворон, что в ранних дождливых сумерках летали над куполами подворья и над черным Куликовым полем.

Отец вернулся с уроков, как обычно, когда уже в столовой зажгли лампу. Он был возбужден и растроганно весел. На тревожный вопрос тети, прочитал ли он ученикам свой доклад и как это было принято, Василий Петрович не мог удержать наивной улыбки, лучисто блеснувшей под стеклами пенсне.

— Муху можно было услышать,— сказал он, вынимая из заднего кармана платок и вытирая сырую бороду.— Никак не ожидал, что мои сорванцы так горячо и серьезно отнесутся к этой теме. И девицы тоже. Я повторил свой доклад и на уроке в седьмом классе Мариинской гимназии.

— Неужели начальство вам разрешило?

— А я никого и не спрашивал. Зачем? Я считаю, что преподаватель словесности имеет полное право на своем уроке беседовать с учениками о личности любого великого русского писателя, а в особенности Толстого. Больше того: я считаю это своим священным долгом.

— Ах, как вы неосторожны!

Поздно вечером заходили какие-то незнакомые молодые люди: два студента в очень старых, полинявших фуражках и барышня — видимо, курсистка. Один из студентов был в кривом пенсне на черной ленте, в сапогах и курил папиросу, пуская дым через нос, а барышня была в короткой жакетке и все время прижимала к груди маленькие красные ручки. Войти в комнаты они почему-то

отказались, а долго стояли в передней, разговаривая с Василием Петровичем. Слышался густой неразборчивый бас — по-видимому, того самого студента, который носил пенсне на ленте, и умоляющий шепелявый голос курсистки, повторявшей через равные промежутки одну и ту же фразу:

— Мы уверены, что, будучи передовым, благородным человеком и деятелем, вы не откажете студенческой молодежи в ее покорнейшей просьбе...

А третий посетитель все время застенчиво вытирал о половичок мокрые штиблеты и сдержанно сморкался.

Оказалось, что слух о выступлении Василия Петровича уже каким-то образом дошел до Высших женских курсов и медицинского факультета императорского Новороссийского университета, и делегация студентов явилась выразить Василию Петровичу чувства солидарности, а также просить его повторить свой доклад в каком-то социал-демократическом студенческом кружке. Василий Петрович был польщен, но вместе с тем это его неприятно удивило. Поблагодарив молодых людей за лестное внимание, он от выступления в социал-демократическом кружке решительно отказался. Он заявил, что ни к какой партии никогда не принадлежал, не принадлежит и не будет принадлежать и считает, что превращать в политику смерть Толстого есть неуважение к памяти великого писателя, так как известно отрицательное отношение самого Толстого ко всем без исключения политическим партиям и что Толстой вообще никакой политики не признавал.

— В таком случае, извините,— сухо сказала курсистка.— Мы в вас глубоко разочарованы... Пойдемте, товарищи, из этого дома.

И молодые люди с достоинством удалились, оставив после себя запах асмоловского табака и мокрые следы на лестнице.

— Удивительное дело! — говорил Василий Петрович, расхаживая по столовой и протирая пенсне подкладкой домашнего пиджака.— Удив-вительное дело — всюду люди находят повод для политики!

— Я вас предупреждала,— сказала тетя.— Боюсь, что все это кончится крупными неприятностями.

Дурные предчувствия тети оправдались, хотя и не так быстро, как она ожидала. Прошел по крайней мере ме-

сяц, прежде чем начались неприятности. Собственно говоря, их приближение можно было заметить по разным признакам гораздо раньше. Но эти признаки казались так ничтожны, что в семье Бачей на них не обратили должного внимания.

— Папочка, что такое «красный»? — спросил однажды за обедом Павлик, как всегда неожиданно, и посмотрел на отца блестящими наивными глазами.

— Вот тебе и раз! — сказал Василий Петрович, находившийся в прекрасном настроении.— Довольно странный вопрос. Мне кажется, что красный — это значит не синий, не желтый, не коричневый... гм, ну и так далее.

— Это я знаю. А что такое «красный человек»? Разве бывают красные люди?

— Ах, ты вот о чем! Разумеется, бывают. Например, североамериканские индейцы. Так называемые краснокожие.

— Они этого еще в своем приготовительном классе не проходили,— презрительно заметил Петя.— Они еще мартыханы.

Но Павлик пропустил мимо ушей эту шпильку. Продолжая пытливо рассматривать отца, он спросил:

— А ты, папочка, разве индеец?

— В основном нет,— рассмеялся отец так звонко и весело, что с его носа соскользнуло пенсне и чуть не упало в тарелку с голубцами.

— А тогда почему же Федька Пшеничников говорит, что ты красный?

— Вот как! Это любопытно. Но кто же этот самый твой Федька Пшеничников?

— Один мальчик из нашего класса. У него отец — старший письмоводитель в канцелярии одесского градоначальника.

— Ах, вот как! Ну, значит, твоему Федьке и книги в руки! Впрочем, ты сам можешь убедиться, что я отнюдь не красный, а бываю красным лишь в сильные морозы.

— Однако это неприятно,— заметила тетя.

Вскоре после этого как-то вечером к Василию Петровичу по делам эмеритальной кассы [1] заглянул некто Крылевич, казначей мужской гимназии, где преподавал Васи-

[1] Эмеритальные кассы существовали до революции при некоторых учреждениях. Эти кассы выдавали своим участникам денежные пособия.

лий Петрович. Покончив с делами, Крылевич, который всегда был неприятен Василию Петровичу, остался пить чай, просидел часа полтора, ужасно надоел и все время заговаривал о Толстом, хвалил Василия Петровича за смелость и настойчиво просил дать ему на дом почитать доклад. Отец отказался. Крылевич, видимо, обиделся и, надевая в передней перед зеркалом свою плоскую, просалившуюся на дне фуражку с кокардой министерства народного просвещения, говорил отцу, сладко улыбаясь:

— Напрасно, Василий Петрович, вы не хотите доставить мне это наслаждение, совершенно напрасно! Ваша скромность паче гордости.

Его посещение оставило неприятный осадок.

Были и еще кое-какие мелочи этого же порядка, вроде того, что при встрече с Василием Петровичем на улице некоторые знакомые раскланивались с подчеркнутым уважением, в то время как другие, напротив, здоровались крайне сухо, всячески стараясь показать свое неодобрение.

Перед самым рождеством разразилась катастрофа.

4

КРУПНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Павлик, которого только что «распустили» на каникулы, расхаживал перед домом в своей слишком длинной зимней шинели, сшитой на рост, и в новых калошах, которые удивительно приятно хрустели по свежему декабрьскому снежку, оставляя превосходные зернистые отпечатки с овальным клеймом посередине. В ранце у Павлика находился табель с отличными отметками за вторую четверть, без неприятных замечаний и выговоров и даже с пятерками за внимание, прилежание и поведение, что, говоря по совести, было несколько преувеличено. Но Павлик благодаря своим невинным, шоколадно-зеркальным милым глазкам обладал счастливой способностью всегда выходить сухим из воды.

Настроение у мальчика было вполне предпраздничное, и только в самой глубине души шевелился неприятный червячок беспокойства. Дело в том, что сегодня перед выходом из гимназии приготовительный класс не удержался и опять устроил обструкцию. На этот раз обструкция заключалась в том, что, желая отомстить

грубому и нелойяльному швейцару, не хотевшему открыть двери до звонка, ученики приготовительного класса коллективно бросили калошу в чугунную печку рядом со швейцарской, вследствие чего повалил едкий дым от горящего каучука, и нелойяльному швейцару пришлось заливать печку водой. В это время прозвенел звонок, и приготовительный класс в полном составе успел разбежаться. Теперь Павлик опасался, как бы это происшествие не стало известно инспектору и не вызвало серьезных последствий. И это слегка омрачало чистую радость наступивших каникул.

И вдруг Павлик увидел именно то, чего он больше всего боялся. По улице прямо на него шел курьер в фуражке с синим околышем и в пальто с барашковым воротником, из-под которого виднелся синий стоячий воротник мундира. Под мышкой он держал большую разносную книгу в мраморном переплете. Курьер неторопливо подошел к воротам, посмотрел на треугольный фонарь с номером дома и остановился. У Павлика упало сердце.

— Где здесь квартира господина Бачей? — спросил курьер.

И Павлик понял, что он погиб. Это, конечно, был официальный письменный вызов родителям для объяснений по поводу поведения ученика приготовительного класса Бачей Павла, то есть самое страшное, что только могло произойти с гимназистом.

— А что? Вызывают родителей? — с жалкой улыбкой спросил Павлик, не узнавая своего голоса, и, весь залившись краской, добавил: — Вы, дяденька, можете дать повестку мне, а я уж передам, а то что́ вам подыматься по лестнице!

— Приказано под расписку! — строго сказал курьер, поправляя солдатские усы.

— Второй этаж, квартира номер четыре,— прошептал Павлик, чувствуя, что ему делается жарко, душно, тошно и ужасно.

Мальчик даже не сообразил, что курьер незнакомый. Впрочем, Павлик ведь учился всего лишь первый год и мог не знать гимназических служителей.

Едва курьер скрылся в парадном, как свет померк в глазах мальчика. Для него в один миг пропала вся красота мира, который между тем продолжал оставаться все

таким же свежим и прекрасным. Так же заходило за белоснежным, с синими тенями Куликовым полем, за вокзалом, красное, морозное солнце; так же за углом с музыкальным шорохом встряхивались крупные бубенцы на хомуте озябшей извозчичьей лошадки; так же дымились миски с горячим клюквенным киселем, выставленные кухарками на балконы; так же алели на балконных перилах толстые валики хрупко-голубого снега, а пар над мисками был такой же клюквенно-красный, как и сам остывающий кисель; так же празднично дышала улица бодрым движением езды и ходьбы.

Но ничего этого Павлик уже не замечал. Сначала он решил больше никогда не возвращаться домой, а все время ходить по улицам, до тех пор, пока не умрет от голода или не замерзнет. Потом, походив немного по переулкам, он давал себе самые страшные клятвы коренным образом исправиться и уже больше никогда в жизни не участвовать ни в каких обструкциях, а сделаться самым образцовым гимназистом не только в Одессе, но и во всей Российской империи и тем заслужить прощение папы и тети. Потом он жалел себя, свою погибшую жизнь и несколько раз начинал плакать, размазывая по лицу слезы, щипавшие на морозе нос. Но в конце концов голод загнал его домой, и он, обессиленный страданиями, появился на пороге, когда в квартире горели лампы. Павлик уже собирался приступить к самому бурному и самому искреннему раскаянию, как вдруг заметил, что вся семья находится в состоянии крайнего возбуждения. По-видимому, это возбуждение не имело никакого касательства к личности Павлика, так как на его появление никто даже не обратил внимания. Неубранный обед стоял на столе. Отец, скрипя ботинками, стремительно ходил из комнаты в комнату. По́лы его сюртука развевались. На лице виднелись белые и розовые пятна.

— Я говорила, я говорила...— повторяла тетя, поворачиваясь туда и назад на винтовом табурете перед пианино с белыми мельхиоровыми подсвечниками, закапанными стеарином.

А Петя дышал на оконное стекло и, скрипя пальцем, писал на нем слова: «Милостивый государь, милостивый государь...»

Оказалось, что приходивший курьер был вовсе не из

гимназии, а из канцелярии попечителя учебного округа. Он принес повестку с приглашением надворному советнику Бачей явиться завтра в приемные часы «для объяснения обстоятельств, связанных с произнесением перед учащимися не разрешенной начальством речи по случаю смерти писателя графа Толстого».

На другой день, вернувшись от попечителя, Василий Петрович, не снимая парадного сюртука, сел в качалку и заложил за голову руки. Как только Петя увидел гневную белизну его высокого лба и трясущуюся челюсть, он сразу понял, что произошло нечто ужасное. Откинувшись на плетеную спинку и вцепившись в ручки качалки пальцами с побелевшими от напряжения косточками, Василий Петрович нервно раскачивался, упираясь в пол носком поскрипывающего ботинка.

— Василий Петрович, бога ради, но что же все-таки случилось? — наконец спросила тетя, округлив добрые глаза, полные страха.

— Умоляю вас, оставьте меня в покое! — с усилием выговорил отец, и челюсть его запрыгала еще сильнее.

Пенсне съехало с носа, и Петя увидел на переносице отца две маленькие коралловые вдавлинки, отчего выражение его лица сделалось беспомощно-страдальческим. Мальчик вспомнил, что именно такое выражение было у папы, когда умерла мама и лежала покрытая гиацинтами в белом гробу, а отец так же безучастно качался в качалке, заложив за голову руки, и в его покрасневших глазах стояли слезы. Петя подошел к отцу, прижался и обнял за плечи, слегка осыпанные перхотью.

— Папочка, не надо! — с нежностью сказал он.

Но отец вырвался, вскочил и с такой силой взмахнул руками, что с треском выскочили крахмальные манжеты.

— Ради господа бога Иисуса Христа, оставьте меня в покое! — закричал он мучительным голосом и бросился в комнату, которая была одновременно и его кабинетом и спальней, где он спал вместе с мальчиками.

Там он снял сюртук и ботинки, лег поверх одеяла на кровать и повернулся лицом к обоям.

Когда Петя увидел его поджатые ноги в белых карпетках и синюю стальную пряжку жилета, сморщенного на спине, то он уже больше не мог сдерживаться и заплакал, вытирая глаза рукавом куртки.

Что же произошло с Василием Петровичем у попечителя? А произошло, как выяснилось потом, вот что. Сначала Василий Петрович очень долго и неудобно сидел один в холодной, по-казенному роскошной приемной на голубой бархатной банкетке с золотыми ножками, вроде тех, какие бывают в фойе театров или в музеях. Затем дежурный чиновник в щегольском мундире министерства народного просвещения вошел, с ног до головы отражаясь в паркете, и пригласил Василия Петровича в кабинет его высокопревосходительства.

Попечитель сидел за громадным письменным столом. Он был горбат и, как большинство горбунов, очень мал ростом, так что между двумя бронзовыми малахитовыми канделябрами, над громоздким малахитовым письменным прибором виднелась только его горделиво и злобно вздернутая черно-серебряная, стриженная бобриком головка, подпертая высоким крахмальным воротничком с белым галстуком. Он был в вицмундирном форменном фраке со звездой на печени.

— Почему вы позволили себе явиться ко мне в партикулярном платье? — не предлагая сесть и не вставая, сказал попечитель.

Василий Петрович испугался, но, представив свой старый вицмундир с дырами вместо пуговиц, которые некогда с мясом выдрал Петя, неожиданно для самого себя добродушно улыбнулся и даже несколько юмористически развел руками.

— Потрудитесь не паясничать и не размахивать руками: вы находитесь в присутственном месте, а не в фарсе!

— Милостивый государь! — вспыхнул Василий Петрович.

— Молчать! — крикнул попечитель отчетливым петербургским департаментским альтом и хлопнул ладонью по бумагам.— Я вам не милостивый государь, а тайный советник — его высокопревосходительство! И па-а-апрашу вас не выходить из рамок и держать руки па-а швам! Я пригласил вас, чтобы поставить альтернативу...— продолжал он, с видимым удовольствием безукоризненно отчетливо выговаривая слово «альтернатива»,— чтобы поставить альтернативу: либо вы в присутствии господина инспектора учебного округа на одном из ближайших уроков публично откажетесь перед учениками от

своих пагубных заблуждений и разъясните им разлагающее влияние учения графа Толстого на русское общество, либо подавайте прошение об отставке. А если не пожелаете это сделать, будете уволены по третьей статье без объяснения причин со всеми вытекающими из этого весьма роковыми для вас последствиями. Я не допущу во вверенном мне учебном округе антиправительственную пропаганду и каждую подобную попытку буду беспощадно пресекать в корне.

— Позвольте... ваше высокопревосходительство! — сказал Василий Петрович дрожащим голосом.— Но ведь Лев Толстой — великий наш художник, слава, гордость, так сказать, России... И я не понимаю... При чем здесь, ваше высокопревосходительство, политика?

— Прежде всего граф Толстой есть вероотступник, извергнутый святейшим синодом из лона православной церкви, а также человек, посягнувший на самые священные устои Российской империи и на ее коренные законы. Если вы этого не понимаете по своему недомыслию, то вам не место на государственной службе!

— Вы меня оскорбляете...— с трудом выговорил Василий Петрович, чувствуя, как у него начинают дрожать скулы.

— Ступайте вон! — сказал попечитель вставая.

И Василий Петрович вышел из кабинета с дрожью в коленях, которую он никак не мог преодолеть ни на мраморной лестнице, где в двух белых нишах стояли гипсовые бюсты царя и царицы в жемчужном кокошнике, ни в швейцарской, где крупный швейцар выбросил ему на перила пальто, ни потом, на извозчике, который обычно в семье Бачей нанимался лишь в самых исключительных случаях. И вот он теперь лежал поверх марсельского одеяла на кровати, поджав ноги, грубо оскорбленный до глубины души, бессильный, оплеванный, раздавленный несчастьем, которое свалилось не только на него лично, но и — как он ясно теперь понимал — на всю его семью. Увольнение по третьей статье без объяснения причин означало не только волчий билет, гражданскую смерть, но также и вероятность административной ссылки «в места, не столь отдаленные», то есть полное разорение, нищету и погибель семьи. Выход из положения мог быть только один: публично отказаться от своих убеждений.

По характеру Василий Петрович не был ни героем, ни тем более мучеником. Он был просто добрым интеллигентным человеком, мыслящим, порядочным — что называется, «светлая личность», «идеалист». Университетские традиции не позволяли ему отступить. В его представлении «сделка с совестью» являлась пределом морального падения. И все-таки он заколебался. Слишком страшной казалась пропасть, куда без малейшей жалости готовы были его бросить. Он понимал, что выхода нет, хотя и старался что-нибудь придумать.

Василий Петрович был до того обескуражен, что даже один раз решил писать на высочайшее имя и послал в мелочную лавочку купить на десять копеек несколько листов самой лучшей, «министерской» бумаги. Он еще продолжал верить в справедливость царя, помазанника божия.

Может быть, он действительно и написал бы государю, но тут в дело решительно вмешалась тетя. Она велела кухарке не сметь ходить в лавочку за «министерской» бумагой, а Василию Петровичу сказала:

— Ей-богу, вы святой человек! Неужели вы не понимаете, что все это одна шайка?

Василий Петрович только растерянно щурил глаза, на разные лады повторяя:

— Но что же делать, Татьяна Ивановна? Что же все-таки делать?

Однако тетя ничего не могла посоветовать. Она уходила в свою маленькую комнату возле кухни, садилась за туалетный столик и прижимала к покрасневшему носу скомканный кружевной платочек.

5

ПАНИХИДА

Наступил сочельник, двадцать четвертое декабря — число, имевшее для семьи Бачей особое значение. Это был день ангела покойной мамы. Каждый год в этот день всей семьей ездили на кладбище служить панихиду. Поехали и теперь. Погода была вьюжная. Яркая, струящаяся белизна ломила глаза. Кладбищенские сугробы сливались с белоснежным небом. Кресты и черные железные ограды дымились. В старых металлических венках

с фарфоровыми цветами посвистывал ветер. Петя стоял без фуражки, но в башлыке, по колено в свежем снегу. Он усердно молился, силясь представить покойную маму, но вспоминал только какие-то частности: шляпу с пером, вуаль, подол широкого муарового платья, обшитый «щеточкой». Сквозь вуаль с мушками, завязанную на подбородке, ему улыбались родные прищуренные глаза. Но больше ничего Петя уже не мог представить. Остался только след какого-то давнего, сглаженного временем горя, страх собственной смерти и золотые буквы маминого имени на белой мраморной плите, которую кладбищенский сторож перед их приходом довольно небрежно обмел от снега чистеньким просяным веником. Тут же была могила бабушки — папиной мамы — и еще одно, свободное место, куда, как любил иногда говорить Василий Петрович, когда-нибудь положат и его самого, между матерью и женой — двумя женщинами, которых он любил с такой верностью и таким постоянством всю жизнь.

Петя крестился, кланялся, думал о матери и в то же время наблюдал за священником, за псаломщиком, за папой, Павликом и тетей. Павлик все время вертелся, поправляя загнутый башлычок, который кусал его покрасневшие уши. Тетя потихоньку плакала в муфту. Отец, просительно сложив перед собой руки чашечкой и наклонив слегка поседевшую голову с треплющимися на ветру семинарскими волосами, неподвижно смотрел вниз, на могильную плиту. Петя знал, что отец думает сейчас о покойной маме. Но он не знал, какие трудные, противоречивые чувства испытывает при этом Василий Петрович. Ему сейчас особенно не хватало мамы, ее любви, нравственной поддержки. Отец вспоминал тот день, когда он, молодой и взволнованный, читал жене только что написанный реферат о Пушкине, и как они потом долго, горячо его обсуждали, и как в одно прекрасное утро он в новеньком вицмундире отправился читать этот реферат и она, подавая ему в передней только что выглаженный, еще горячий от утюга носовой платок, жарко его поцеловала и перекрестила тонкими пальчиками, и как потом, когда он с триумфом возвратился домой, они весело обедали, а крошечный Петя, которого они приучали к самостоятельности, размазывал по своим толстым щекам кашу «геркулес» и время от времени спрашивал отца,

сияя черными глазками: «Папа, а ти умеешь кушить?» Как давно и вместе с тем как недавно это было! Теперь Василий Петрович один должен был решать свою судьбу.

Первый раз в жизни он ясно понял то, чего раньше не мог или не хотел понять: нельзя в России быть честным и независимым человеком, находясь на государственной службе. Можно быть только тупым царским чиновником, не имеющим собственного мнения, и беспрекословно исполнять приказания других, высших чиновников, как бы эти приказания ни были несправедливы и даже преступны. Но самое ужасное для Василия Петровича заключалось в том, что все это исходило именно от той высшей власти помазанника божия, российского самодержца, в святость и непогрешимость которого Василий Петрович до сих пор так крепко и простодушно веровал.

Теперь, когда эта вера поколебалась, Василий Петрович всем своим сердцем обратился к религии. Он молился за свою покойницу-жену, просил у бога совета и помощи. Но молитва уже не давала ему прежнего успокоения. Он крестился, кланялся и вместе с тем с каким-то новым чувством смотрел на священника и псаломщика, в два голоса наскоро служивших панихиду. Все то, что они делали, теперь уже не создавало религиозного настроения, как бывало раньше, а казалось грубым, ненатуральным, как будто бы Василий Петрович не сам молился, а наблюдал со стороны, как совершают молитвенные действия какие-то языческие жрецы. То, что раньше всегда умиляло Василия Петровича, теперь было как бы лишено всякой поэзии.

Священник в траурной глазетовой ризе с серебряным вышитым крестом на спине, из-под округленных краев которой высовывались короткие ручки в темных рукавах подрясника, произносил красивые слова панихиды и ловко крутил на цепочках и бросал в разные стороны кадило с раскаленными угольями, рдеющими, как рубины. Лиловый дым вылетал клубами и быстро седел, таял на ветру, оставляя в воздухе тяжелый бальзамический запах росного ладана. Псаломщик с благоговейно выпуклыми веками прикрытых глаз и солдатскими усами, в точно таком же драповом пальто, как у Василия Петровича, даже с такой же потертой бархаткой на воротнике, быстро, то повышая, то понижая голос, подпевал

священнику. Оба — священник и псаломщик — делали вид, будто совсем не торопятся, хотя Василий Петрович видел, что они очень спешат, так как им предстоит отслужить еще несколько панихид на других могилах, где их уже ждут и даже делают издали нетерпеливые знаки. И было заметно, как они обрадовались, когда дошли до конца, и с особенным воодушевлением запели «Надгробное рыдание творяще песнь» и так далее, после чего семейство Бачей приложилось к холодному серебряному кресту, и, пока этот крест псаломщик поспешно завертывал в епитрахиль, Василий Петрович пожал руку священника, с чувством неловкости передавая в его ладонь два скользких серебряных рубля, на что священник сказал:

— Благодарствуйте! — и прибавил: — А я слышал, что у вас крупные служебные неприятности. Но уповайте на бога, авось как-нибудь обойдется. Имею честь кланяться! Какова погодка, а? Так и крутит...

Что-то оскорбительное послышалось Василию Петровичу в этих словах. Петя видел, как отец вспыхнул. Василий Петрович вдруг с особенной остротой вспомнил, как на него кричал попечитель, вспомнил свой унизительный страх, и в нем снова заговорило чувство гордости, которую он все время старался подавить с христианским смирением. В эту минуту он решил ни за что не сдаваться, а если придется, то до конца пострадать за свою правду.

Но, вернувшись с кладбища домой и немного успокоившись, он снова почувствовал прежние сомнения: имеет ли он право жертвовать благополучием семьи?

Между тем рождественские каникулы шли своим чередом, только не так весело, беззаботно, как в прежние годы.

Так же томительно-медленно приближался синий вечер сочельника с его постным кухонным чадом и первой звездой в окне, до появления которой нельзя было ни зажигать огня, ни садиться за стол есть кутью и узвар. Так же на первый день справляли елку и так же заходили на кухню с улицы славить Христа мальчики со звездой, увешанной елочными бумажными цепями и с круглой бумажной иконкой посередине. Так же по вечерам таинственно и празднично вспыхивали в замерзших окнах синие алмазики месячного света. Так же встречали Новый год яблочным слоеным пирогом с запеченным на счастье новеньким гривенником в бумажке. И так же в яркий,

трескучий морозный полдень с соборной площади доносились звуки полковых оркестров крещенского парада.

Приближался конец каникул. Нужно было принять какое-нибудь решение. Василий Петрович совсем пал духом. Чувствуя душевное состояние отца, мальчики тоже приуныли. Одна лишь тетя изо всех сил старалась поддерживать праздничное настроение. В новом шелковом платье, со всеми своими любимыми кольцами на тонких пальцах, пахнущая французскими духами «Кёр де Жанетт», она то и дело садилась за пианино и, раскрыв комплект «Нувелиста», играла вальсы, польки и цыганские романсы из репертуара Вяльцевой. В крещенский вечер она затеяла гадания. В полоскательницу со свежей водой лили, за неимением воска, парафин; жгли на кухне скомканную бумагу и потом рассматривали ее тень на празднично выбеленной стене. Но все это тоже выходило не вполне натурально.

6

ОТСТАВКА

Накануне первого учебного дня, поздно вечером, сквозь сон Петя снова услышал за дверью столовой голоса папы и тети.

— Вы этого не сделаете, не должны сделать! — говорила взволнованным голосом тетя.

— Но что же? — спрашивал отец, и было даже слышно, как он хрустит пальцами.— Как же быть? Каким образом мы станем существовать? Имею ли я на это право? Какое горе, что с нами нету покойной Женечки!

— Поверьте, покойница Женя ни за что не позволила бы вам унижаться перед всеми этими чиновниками!..

Скоро Петя заснул и уже больше ничего не слышал, но утром произошло необыкновенное событие: первый раз в жизни Василий Петрович не надел сюртука и не пошел на уроки. Вместо этого кухарка была послана в лавочку за «министерской» бумагой, и Василий Петрович своей четкой, бисерной скорописью, без росчерков и завитушек написал прошение об отставке.

Отставка была холодно принята. Однако никаких неприятных последствий не произошло: по-видимому, не в интересах попечителя было раздувать это дело. Таким образом, Василий Петрович остался без службы, то есть

с ним случилось самое страшное, что только могло случиться с семейным человеком, не имеющим никаких других средств существования, кроме жалованья.

У Василия Петровича были небольшие сбережения, которые он копил уже давно, мечтая съездить за границу сначала с женой, а потом, после ее смерти, с мальчиками. Теперь эти мечты, конечно, рушились. Вместе с деньгами, полученными Василием Петровичем при выходе в отставку из эмеритальной кассы и кассы взаимопомощи, образовалась сумма, на которую можно было очень скромно прожить около года. Но как существовать дальше — было решительно неизвестно, тем более что возникал вопрос о дальнейшем пребывании в гимназии Пети и Павлика: до сих пор мальчики, как сыновья преподавателя, учились даром, а теперь предстояло вносить непосильную плату за право ученья.

Но самое тягостное для Василия Петровича, всю свою жизнь привыкшего трудиться, было вынужденное ничегонеделанье. Он не знал, куда себя девать, целыми днями ходил по комнатам в старом домашнем пиджаке, забывал стричься, заметно постарел и часто ездил на конке на кладбище, где подолгу сидел у могилы жены.

Павлик, еще не вышедший из детского возраста, совсем не понимал, что на них свалилось большое несчастье, и продолжал жить в полное свое удовольствие. Но Петя понимал все. Мысли о том, что, вероятно, ему придется оставить гимназию, снять с фуражки герб и донашивать свою форму с крючками вместо блестящих металлических пуговиц, как обычно ходили выгнанные гимназисты или экстерны, вызывала в нем чувство болезненного стыда. Это усугублялось той зловещей переменой, которую Петя стал замечать по отношению к себе со стороны гимназического начальства и некоторых товарищей.

Словом, новый год начался как нельзя хуже. Настроение было подавленное. Что касается тети, то, к Петиному удивлению, она не только не выражала никакого уныния или беспокойства, а, наоборот, всем своим видом показывала, что все идет превосходно. На ее лице прочно установилось боевое выражение непреклонной решимости во что бы то ни стало спасти семью от гибели.

План спасения заключался в том, чтобы давать вкусные, питательные и дешевые домашние обеды для интел-

лигентных тружеников, что, по расчетам тети, должно было если не дать денежной прибыли, то, во всяком случае, избавить семью от расходов на собственное питание. Для того чтобы квартира тоже ничего не стоила, тетя решила сама переселиться в столовую, кухарку переселить в кухню, а освободившиеся таким образом две комнаты отдавать внаймы с полным пансионом все тем же воображаемым интеллигентным труженикам.

Отец болезненно поморщился при одной лишь мысли, что его дом собираются «превратить в кухмистерскую», но делать было нечего, и он махнул на все рукой:

— Поступайте как знаете.

И тетя развила бурную деятельность. На окнах отдающихся комнат были наклеены билетики, хорошо видные с улицы. У ворот прибили фанерную дощечку: «Домашние обеды», весьма художественно исполненную Петей масляными красками с изображением дымящегося супника и упоминанием одиноких интеллигентных тружеников. По мысли тети, все это должно было придать их коммерческому предприятию некий общественно-политический, даже оппозиционный оттенок. Начали закупать кухонную посуду, а также делать запасы самой лучшей и самой свежей провизии. Дуняше сшили новое ситцевое платье и белоснежный фартук.

Бóльшую часть времени тетя посвящала изучению поваренной книги Молоховец, этой библии каждого зажиточного семейного дома. Она выписывала в особую тетрадь наиболее необходимые рецепты и сочиняла разнообразные меню — вкусные и здоровые.

Никогда еще семейство Бачей не питалось так хорошо — даже, можно сказать, празднично. За месяц все заметно потолстели, в том числе и Василий Петрович, что находилось в странном противоречии с его положением человека, гонимого правительством.

Все бы шло хорошо, даже блестяще, если бы не отсутствие посетителей. Можно было подумать, что интеллигентные труженики нарочно сговорились не обедать. Правда, в первые дни наблюдалось некоторое оживление.

Пришли два прилично одетых бородатых господина с впалыми щеками и недоброжелательными глазами фанатиков, узнали, что вегетарианских блюд не имеется, и сердито ушли не попрощавшись.

Затем как-то с черного хода зашел разбитной денщик — солдат Модлинского полка в бескозырке — и попросил налить в судки две порции щей для своего офицера. Тетя объяснила, что щей нет, а есть суп-прентаньер. Денщик сказал, что это все равно, лишь бы при этом было вволю ситника, так как его благородие проигрались в стуколку и уже второй день сидят на квартире простудимши и не емши горячего. Тетя отпустила в долг две порции супа-прентаньер с большим количеством хлеба, и денщик, проворно перебирая толстыми, короткими ногами в сбитых сапогах, сбежал с лестницы, оставив в кухне густой запах пехотной казармы. Через два дня он явился снова и на этот раз унес в судках две порции бульона с пирожками, тоже в долг, обещав заплатить деньги, как только его благородие отыграется; но, по всей вероятности, его благородие так и не отыгралось, потому что посещения денщика навсегда прекратились.

Больше обедать не приходил никто.

Что касается сдачи внаем двух комнат, то и тут дело обстояло не лучше. В первый же день, как только наклеили на окна билетики, комнаты пришли нанимать молодожены: он — молодой военный врач, во всем совершенно новеньком и сияющем, она — пухлая блондиночка в ротонде на беличьем меху, в кокетливом капоре, с муфточкой на шнурке, ямочками на щеках и родинкой над ротиком, круглым, как черешня. Они оба до такой степени дышали счастьем, так нестерпимо блестели на их безымянных пальцах новенькие обручальные кольца девяносто шестой пробы, от них так благоухало цветочным мылом, кольдкремом, бриолином, вежеталем, духами Брокар и еще чем-то,— как показалось Пете, «новобрачным»,— что квартира Бачей, с ее старыми обоями и дурно натертыми полами, сразу же показалась маленькой, бедной и темной.

Пока молодожены осматривали комнаты, муж все время крепко держал жену под руку, как будто боялся, что она от него куда-нибудь убежит; а жена, прижимаясь к нему, с ужасом озиралась вокруг и громко восклицала, почти пела:

— Мивый, это же савай! Это же настоящий савай! Здесь воняет куфней! Нет, нет, это нам совсем не подходит!

И они поспешно ушли, причем военный врач нежно позванивал маленькими серебряными шпорами, а молодая жена брезгливо подбирала юбку и так осторожно ставила ножки, словно боялась запачкать свои маленькие новые ботинки. Лишь после того, как внизу хлопнула дверь, Петя сообразил, что загадочное иностранное слово «савай» было не что иное, как «сарай», и ему стало так обидно, что он чуть не заплакал. А у тети потом долго горели уши.

Больше нанимать комнаты никто не являлся. Таким образом, тетины планы рухнули. Перед семейством Бачей снова встал призрак нищеты. Надежды сменились отчаянием. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в один прекрасный день и, как это всегда случается, совершенно неожиданно, не пришло спасение.

7

СТАРЫЙ ДРУГ

Это был действительно прекрасный день, один из тех мартовских дней, когда снега уже нет, земля черна, над голыми прутьями приморских садов сквозь тучи просвечивает водянистая голубизна, тяжелый ветерок несет по сухим тротуарам первую пыль, и над городом, как басовая струна, непрерывно гудит и колеблется звук великопостного колокола. В булочных пекли жаворонки с подгоревшими изюмными глазками, а на соборной площади, над громадным угловым домом, над кафе Либмана и над двуглавым орлом аптеки Гаевского летали тучи грачей, своим весенним гомоном заглушая шум города.

Этот день надолго запомнился Пете. Именно в этот день он сделался репетитором и первый раз в жизни давал за деньги урок латинского языка другому мальчику. Этот другой мальчик был Гаврик.

Дело произошло так. Несколько дней назад Петя возвращался из гимназии. Он шел медленно, погруженный в свои невеселые мысли, и представлял, как его скоро исключат из гимназии за невзнос платы.

Вдруг кто-то налетел на него сзади и стукнул кулаком по ранцу так, что в ранце подпрыгнул и загремел пенал. Петя споткнулся, чуть не упал, обернулся, готовый вступить в бой с неизвестным врагом, и очутился нос к носу

с Гавриком, который стоял возле него, расставив ноги, и добродушно улыбался.

— Здорово, Петя! Давно не видались.

— Что ж ты, босяк, на своих кидаешься?

— Чудак человек! Я же не по тебе стукнул, а по ранцу.

— А если бы я зарылся носом?

— Так я б тебя подхватил, о чем речь?

— Ну, как живешь?

— Ничего себе. Зарабатываю на жизнь.

Гаврик жил на Ближних Мельницах, и Петя встречался с ним редко, большей частью случайно, на улице. Но давняя детская дружба не проходила. Когда они при встречах задавали друг другу обычный вопрос: «Как живешь?» — то Петя всегда отвечал, пожимая плечами: «Учусь». А Гаврик, озабоченно морща небольшой круглый лоб, говорил: «Зарабатываю на жизнь». И каждый раз, когда они встречались, Пете приходилось выслушивать новую историю, которая непременно кончалась тем, что очередной хозяин либо проторел, либо зажилил заработанные Гавриком деньги. Так было с владельцами купален между Средним Фонтаном и Аркадией, куда Гаврик нанялся на весь летний сезон ключником, то есть отпирать кабины, давать напрокат полосатые купальные костюмы и стеречь вещи. Осенью владелец купален скрылся, не заплатив ни копейки, и Гаврику остались одни лишь чаевые. Так было с греком — хозяином артели грузчиков в Практической гавани, который нагло обманул артель, не доплатив больше половины. То же произошло и в артели по расклейке афиш и во многих других предприятиях, куда нанимался Гаврик в надежде хоть немного поддержать семью брата Терентия и заработать на жизнь.

Веселее, хотя в конечном счете так же невыгодно, было работать в синематографе «Биоскоп Реалитэ» на Ришельевской, недалеко от Александровского участка. В то время знаменитое изобретение братьев Люмьер — кинематограф — уже не было новинкой, но все еще продолжало удивлять человечество волшебным явлением «движущейся фотографии». В городе расплодилось множество синематографов, получивших общее название «иллюзион».

С понятием «иллюзион» были связаны: вывеска, со-

ставленная из разноцветных, крашеных электрических лампочек, иногда с бегущими буквами, и бравурный гром пианолы — механического фортепьяно, клавиши которого сами собой нажимались и бегали взад-вперед, вызывая у посетителей дополнительное преклонение перед техникой XX века. Кроме пианолы, в фойе обычно стояли автоматы, откуда, если опустить в щелку медный пятак, таинственно выползала шоколадка с передвижной картинкой или из-под чугунной курицы выкатывалось несколько разноцветных сахарных яичек. Иногда в стеклянном ящике выставлялась восковая фигура из паноптикума. Специальных помещений для иллюзионов еще не строили, а просто нанималась квартира, и в самой большой комнате, превращенной в зрительный зал, давали сеансы.

Иллюзион «Биоскоп Реалитэ» содержала вдова греческого подданного мадам Валиадис, женщина предприимчивая и с большим воображением. Она решила сразу убить всех своих конкурентов. Для этого она, во-первых, наняла известного куплетиста Зингерталя, с тем чтобы он выступал перед каждым сеансом, а во-вторых, решила произвести смелый переворот в технике, превратив немой синематограф в звуковой. Публика повалила в «Биоскоп Реалитэ».

В бывшей столовой, оклеенной старыми обоями с букетами, узкой и длинной, как пенал, перед каждым сеансом возле маленького экрана стал появляться любимец публики Зингерталь. Это был высокий, тощий еврей в сюртуке до пят, в пожелтевшем пикейном жилете, штучных полосатых брюках, белых гетрах и траурном цилиндре, надвинутом на большие уши. С мефистофельской улыбкой на длинном бритом лице, с двумя глубокими морщинами во впалых щеках, он исполнял, аккомпанируя себе на крошечной скрипке, злободневные куплеты «Одесситка — вот она какая», «Солдаты, солдаты по улицам идут» и наконец свой коронный номер — «Зингерталь, мой цыпочка, сыграй ты мне на скрипочка». Затем мадам Валиадис в шляпке со страусовыми перьями, в длинных перчатках с отрезанными пальцами, чтобы люди могли видеть ее кольца, садилась за ободранное пианино, и под звуки «матчиша» и «Ой-ра, ой-ра!» начинался сеанс.

Шипела спиртово-калильная лампа проекционного аппарата, стрекотала лента, на экране появлялись крас-

ные или синие надписи, маленькие и убористые, как будто напечатанные на пишущей машинке. Потом одна за другой без перерыва шли коротенькие картины: видовая, где как бы с усилием, скачками двигалась панорама какого-то пасмурного швейцарского озера; за видовой — Патэ-журнал, с поездом, подходящим к станции, и военным парадом, где, суетливо выбрасывая ноги, очень быстро, почти бегом мелькали роты каких-то иностранных солдат в касках — и все это как бы сквозь мелькающую сетку крупного дождя или снега. Потом среди облаков на миг появлялся биплан авиатора Блерио, совершающего свой знаменитый перелет через Ламанш — из Кале в Дувр. Наконец начиналась комическая. Это был подлинный триумф мадам Валиадис. Все в той же мелькающей сетке крупного дождя неумело ехал на велосипеде маленький, обезьяноподобный человечек — Глупышкин, сбивая на своем пути разные предметы, причем публика не только все это видела, но и с л ы ш а л а. Со звоном сыпались стекла уличных фонарей. Громыхая ведрами, падали на тротуар вместе со своей лестницей какие-то маляры в блузах. Из витрины посудной лавки с неописуемыми звуками вываливались десятки обеденных сервизов. Отчаянным голосом мяукала кошка, попавшая под велосипед. Разгневанная толпа, потрясая кулаками, с топотом бежала за улепетывающим Глупышкиным. Раздавались свистки ажанов [1]. Лаяли собаки. Со звоном скакала пожарная команда. Взрывы хохота потрясали темную комнату иллюзиона. А в это время за экраном, не видимый никем, в поте лица трудился Гаврик, зарабатывая себе на жизнь пятьдесят копеек в день. Это он в нужный момент бил тарелки, дул в свисток, лаял, мяукал, звонил в колокол, кричал балаганным голосом: «Держи, лови, хватай!»—топал ногами, изображая толпу, и со всего размаха бросал на пол ящик с битым стеклом, заглушая лающие звуки «Ой-ра, ой-ра!», которую, не жалея клавишей, наяривала мадам Валиадис по сю сторону экрана.

Несколько раз помогать Гаврику приходил Петя. Тогда они вдвоем поднимали за экраном такой кавардак, что на улице собиралась толпа, еще больше увеличивая популярность электрического театра.

---

[1] А ж а н ы — французские полицейские.

Но жадной вдове этого показалось мало. Зная, что публика любит политику, она приказала Зингерталю подновить свой репертуар чем-нибудь политическим и подняла цены на билеты. Зингерталь сделал мефистофельскую улыбку, пожал одним плечом, сказал «хорошо» и на следующий день вместо устаревших куплетов «Солдаты, солдаты по улицам идут» исполнил совершенно новые, под названием «Галстуки, галстучки».

Прижав к плечу своим синим лошадиным подбородком крошечную, игрушечную скрипку, он взмахнул смычком, подмигнул почечным глазом публике и, намекая на Столыпина, вкрадчиво запел:

У нашего премьера
Ужасная манера
На шею людям галстуки цеплять,—

после чего сам Зингерталь в двадцать четыре часа вылетел из города, мадам Валиадис совершенно разорилась на взятки полиции и была принуждена ликвидировать свой иллюзион, а Гаврик получил лишь четвертую часть того, что он заработал.

8

МЕЧТА ГАВРИКА

Теперь Гаврик предстал перед Петей в синем засаленном сатиновом халате поверх старенького пальто с полысевшим каракулевым воротником и в такой же шапке из числа тех, что носили пожилые рабочие интеллигентных профессий: переплетчики, наборщики, официанты.

Петя сразу понял, что его друг опять переменил работу и теперь «зарабатывает на жизнь» в каком-то новом месте.

Гаврику шел уже пятнадцатый год. У него появился юношеский басок. Он не слишком заметно прибавил в росте, но плечи его расширились, окрепли. Веснушек на носу стало меньше. Черты лица определились, и глаза твердо обрезались. Но все же в нем еще сохранилось много детского: валкая черноморская походочка, манера озабоченно морщить круглый лоб и ловко стрелять слюной сквозь тесно сжатые зубы.

— Ну, и где же ты теперь зарабатываешь на

жизнь? — спросил Петя, с любопытством осматривая странную одежду Гаврика.

— В типографии «Одесского листка».

— Брешешь!

— Побей меня кицкины лапки!

— Что же ты там делаешь?

— Пока разношу по заказчикам оттиски объявлений.

— Оттиски? — неуверенно переспросил Петя.

— Оттиски. А что?

— Ничего.

— Может быть, ты не знаешь, что такое оттиски? Так я тебе могу показать. Видал?

С этими словами Гаврик вынул из нагрудного кармана своего халата свертки сырой бумаги, остро пахнущей керосином.

— А ну, покажи, покажи! — воскликнул Петя, хватая сверток.

— Не лапай, не купишь,— сказал Гаврик, но не зло, а добродушно, скорее по привычке, чем желая обидеть Петю.— Иди сюда, я тебе сейчас сам покажу.

Мальчики отошли в сторону, к чугунной тумбе возле ворот, и Гаврик развернул сырую бумагу, сплошь покрытую жирными, как вакса, глубокими оттисками газетных объявлений, преимущественно с рисунками, хорошо знакомыми Пете по «Одесскому листку», который выписывала семья Бачей. Здесь были изображения ботинок «Скороход» и калош «Проводник», непромокаемые макинтоши с треугольными капюшонами фирмы «Братья Лурье», бриллианты торгового дома Фаберже в открытых футлярах, окруженные сиянием в виде черных палочек, бутылки рябиновки Шустова, лиры театров, тигры меховщиков, рысаки шорников, черные кошки гадалок и хиромантов, коньки, экипажи, игрушки, костюмы, шубы, рояли и балалайки, кренделя булочников, пышные, как клумбы, торты кондитеров, пароходы трансатлантических ллойдов, паровозы железнодорожных компаний... Наконец, здесь были — солидные, без рисунков — балансы акционерных обществ и банков, представленные колонками цифр основных капиталов и баснословных дивидендов.

Небольшие, крепкие, запачканные типографской краской руки Гаврика держали сырой лист газетной бумаги, на котором как бы магически отпечатались в миниатюре

все богатства большого торгово-промышленного города, недоступные для Гаврика и для многих тысяч подобных ему простых рабочих людей.

— Вот, брат! — сказал Гаврик и, заметив в глазах Пети отражение той же мысли о природе человеческого богатства, которая не раз приходила и ему самому при виде газетных объявлений, вывесок и афиш, со вздохом прибавил: — Оттиски! — и посмотрел на свои заплатанные парусиновые, не по сезону и не по ноге, туфли.— Ну, а ты как живешь?

— Хорошо,— сказал Петя, опустив глаза.

— Брешешь! — сказал Гаврик.

— Честное благородное!

— А зачем же вы тогда стали давать домашние обеды?

Петя густо покраснел.

— Что? Скажешь, неправда? — настойчиво спросил Гаврик.

— Ну и что ж из этого? — пробормотал Петя.

— Значит, нуждаетесь.

— Мы не нуждаемся.

— Нет, нуждаетесь. У вас не хватает на жизнь.

— Еще чего!

— Брось, Петя! Не пой мне ласточку. Я же знаю, что твоего фатера поперли со службы и вы теперь не имеете на жизнь.

Первый раз Петя услышал правду о положении своей семьи, выраженную так просто и грубо.

— Откуда ты знаешь?—упавшим голосом спросил он.

— А кто этого не знает? Вся Одесса знает. Но ты, Петька, не пугайся. Его не заберут.

— Кого... не заберут?

— Батьку твоего.

— Как... не заберут?.. Что это такое — заберут?

Гаврик знал, что Петя наивен, но не до такой же степени! Гаврик засмеялся:

— Чудак человек, он не знает, что такое «заберут»! «Заберут» — значит посадят.

— Куда посадят?

— В тюрьму! — рассердился Гаврик.— Знаешь, как людей сажают в тюрьму?

Петя посмотрел в серьезные глаза Гаврика, и ему в первый раз стало по-настоящему страшно.

— Но ты не дрейфь,— сказал Гаврик поспешно,— твоего батьку не посадят. Сейчас за Льва Толстого редко кого сажают. Можешь мне поверить...— И, приблизив к Пете лицо, прибавил шепотом: — Сейчас почем зря хватают за нелегальщину. За «Рабочую газету» и за «Социал-демократа» хватают. А Лев Толстой — это их уже не интересует.

Петя смотрел на Гаврика, с трудом понимая, что он говорит.

— Э, брат, с тобой разговаривать...— с досадой сказал Гаврик.

Он только было собрался поделиться со своим другом разными интересными новостями — о том, например, что недавно, после многих лет, вернулся из ссылки брат Терентий и опять поступил на работу в железнодорожные мастерские, что вместе с ним возвратился кое-кто из комитетчиков, что «дела идут, контора пишет» и что в типографию Гаврик нанялся не сам по себе, а его туда «впихнули» по знакомству всё те же комитетчики для специальных целей. Гаврик даже чуть было не начал объяснять, в чем заключаются эти цели, но вдруг по лицу Пети увидел, что его друг мало во всем этом разбирается и лучше всего пока помолчать.

— Ну так как же ваши домашние обеды? — спросил он, чтобы переменить разговор.— Есть чудаки, которые ходят к вам обедать?

Петя грустно махнул рукой.

— Понятно,— заметил Гаврик.— Значит, горите?

— Горим,— сказал Петя.

— Что же вы думаете делать?

— Вот, может быть, кто-нибудь комнаты наймет...

— Как? Вы уже и комнаты отдаете?! Так это последнее дело! — И Гаврик сочувственно свистнул.

— Ничего, как-нибудь выкрутимся. Я буду уроки давать,— сказал Петя, делая мужественное лицо.

Он давно уже решил сделаться репетитором и давать уроки отстающим ученикам, но только не знал, как взяться за дело. Правда, репетиторами бывают, главным образом, студенты или, в крайнем случае, гимназисты старших классов. Но, в конце концов, возможны исключения. Важно только, чтобы повезло найти ученика.

— Как же ты будешь давать уроки, когда ты, навер-

но, сам ни черта не знаешь? — со свойственной ему грубой прямотой сказал Гаврик и добродушно ухмыльнулся.

Петя обиделся. Было время, когда он действительно лентяйничал, но теперь он изо всех сил старался учиться как можно лучше.

— Я шутю,— сказал Гаврик и вдруг, осененный счастливой мыслью, быстро спросил: — Слышь, а по латинскому языку можешь учить?

— Спрашиваешь!

— Вот это здорово! — воскликнул Гаврик.— Сколько возьмешь подготовить человека по латинскому за третий класс?

— Как это -- сколько?

— Ну, сколько гро́шей?

— Я не знаю...— смущенно пробормотал Петя.— Другие репетиторы берут по рублю за урок.

— Ну, это ты сильно перебрал. Хватит с тебя и полтинника.

— А что? — спросил Петя.

— Ничего.

Некоторое время Гаврик стоял с опущенной головой, шевеля пальцами, как бы что-то подсчитывая.

— А что? Что? — нетерпеливо повторял Петя.

— Ничего особенного,— сказал Гаврик. — Слушай сюда...— Он взял Петю под руку и, заглядывая сбоку в его лицо, повел по улице.

Гаврик не любил говорить о себе и распространяться относительно своих планов. Жизнь научила его быть скрытным. Поэтому сейчас, решив открыть Пете свою самую заветную мечту, он все-таки еще колебался и некоторое время шел молча.

— Понимаешь, какое дело...— произнес он.— Только дай честное благородное, что никому не скажешь.

— Святой истинный! — воскликнул Петя и по детской привычке быстро, с готовностью перекрестился на купола Пантелеймоновского подворья, синевшие за Куликовым полем.

Гаврик округлил глаза и сказал шепотом:

— Имею думку: сдать экстерном за три класса казенной гимназии. По другим предметам мне разные чудаки помогают, а по латинскому не знаю, что делать.

Это было так неожиданно, что Петя даже остановился:

— Что ты говоришь?!

— То, что ты слышишь.

— Зачем это тебе надо? — невольно вырвалось у Пети.

— А зачем тебе? — сказал Гаврик, с силой нажимая на слово «тебе», и глаза его зло и упрямо заблестели.— Тебе надо, а мне не надо? А может быть, мне это надо еще больше, чем тебе, откуда ты знаешь?

И он уже приготовился рассказать Пете, как вернувшийся из ссылки Терентий сокрушался о том, что мало среди рабочих образованных людей, говорил, что наступает время новых революционных боев, а потом — видимо посоветовавшись кое с кем из комитетчиков,— прямо заявил Гаврику, что хочешь не хочешь, а надо экстерном кончать гимназию: сначала сдать за три класса, потом за шесть, а там, смотришь, и на аттестат зрелости. Но ничего этого Гаврик Пете не рассказал.

— Ну как, берешься? — лишь коротко спросил он.— Даю полтинник за урок.

Хотя Петя в первую минуту и растерялся, но все же почувствовал себя весьма польщенным и нежно покраснел от удовольствия.

— Ну что ж... пожалуй, я возьмусь,— сказал он, покашляв.— Только, конечно, не за деньги, а даром.

— Почему это даром? Что я, нищий? Слава богу, зарабатываю. Полтинник за урок, четыре раза в месяц. Итого два дублона. Это для меня не составляет.

— Нет, только даром.

— С какой радости? Бери, чудак! Денежки на земле не валяются. Тем более что вы теперь нуждаетесь. По крайней мере, сможешь кое-что давать тете на базар.

Это подействовало на Петю. Он ясно представил себе, как в один прекрасный день он протягивает тете деньги и равнодушно говорит: «Да, я совсем забыл, тетечка... тут я заработал уроками немного денег, так, пожалуйста, возьмите их. Может быть, они вам пригодятся на базар».

— Ладно,— сказал Петя.— Буду с тобой заниматься. Только имей в виду: станешь лодырничать — тогда до свидания. Я даром денег брать не привык.

— А я их тоже не в дровах нашел,— сумрачно сказал Гаврик, и друзья расстались до воскресенья, когда был назначен первый урок.

9
БАНКА ВАРЕНЬЯ

Никогда еще Петя не готовился к своим собственным урокам в гимназии так тщательно, как к этому уроку с Гавриком, где ему впервые предстояло выступить в роли педагога. Полный гордости и сознания своей ответственности перед наукой, Петя сделал все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь. Он замучил отца бесконечными вопросами из области сравнительной лингвистики. Он сделал кое-какие весьма важные выписки из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. В гимназии он неоднократно обращался к латинисту за разъяснениями по поводу некоторых параграфов латинского синтаксиса, что весьма удивило латиниста, который был не слишком высокого мнения о Петином прилежании. Петя очинил несколько карандашей, приготовил перья и чернила, вытер тряпкой папин письменный стол и поставил на него Павликин глобус, а также свой двадцатипятикратный микроскоп и небрежно разложил несколько толстых книг, что должно было придать обстановке строго академический характер и внушить Гаврику уважение к науке.

Василий Петрович после обеда поехал на кладбище. Тетя с Павликом пошли на выставку. Дуняша отпросилась к родственникам. Все благоприятствовало Пете. Оставшись один, он стал расхаживать по комнатам, как заправский педагог, заложив руки за спину и повторяя про себя вступительную часть своего первого урока. Нельзя сказать, чтобы он волновался, но он испытывал острое чувство уверенного в себе конькобежца перед выходом на лед.

Гаврик не заставил себя ожидать. Он появился точно в назначенное время. Было знаменательно, что он пришел не с черного хода, через кухню, как обычно хаживал в детстве, предварительно посвистев со двора в четыре пальца. Гаврик позвонил с парадного хода, сдержанно поздоровался и, сняв свое старенькое пальто в передней, пригладил перед зеркалом волосы маленькой костяной расческой. У него были чистые руки, и, прежде чем войти в комнаты, он аккуратно заправил под узкий ремешок сатиновую косоворотку с перламутровыми пуговичками. В обеих руках он держал, как бы торжественно нес перед собой, новую пятикопеечную тетрадь с выглядываю-

щей розовой промокашкой и заложенным в нее новеньким карандашом. Петя молча провел приятеля в комнату и усадил за письменный стол как раз между микроскопом и глобусом, на которые Гаврик тревожно покосился.

— Значит, так,— сказал Петя очень строго, но вдруг сконфузился.

Он мужественно переждал припадок застенчивости и бодро начал снова:

— Значит, так. Латинский язык есть один из богатейших и могущественнейших в семье индо-европейских языков. Первоначально, подобно умбрскому и оскскому, он раньше принадлежал к группе главных наречий неэтрусского населения средней Италии, как диалект жителей равнины Лациума, из среды которых выделились римляне. Понятно?

— Не,— сказал Гаврик, отрицательно качнув головой.

— Что же тебе непонятно?

— Которые главные наречия неэтрусского населения,— тщательно выговорил Гаврик, жалобно глядя на Петю.

— Ага. Хорошо. Потом поймешь. Это потому, что ты еще не привык. А пока пойдем дальше. Значит, так. В то время как языки остальных народов Италии — ну, там этрусков, япигов, лигуров... понятное дело, кроме родственных с латинянами умбров и сабеллов,— остались, так сказать, замкнутыми в пределах более или менее тесных областей, народными диалектами,— Петя сделал руками по воздуху очень красивый профессорский жест, обозначавший, что языки остальных народов Италии остались замкнутыми,— латинский язык благодаря римлянам не только превратился из диалекта в господствующий язык Италии, но и развился до степени языка литературного.— Петя многозначительно поднял вверх указательный палец.— Понятно тебе?

— Не! — повторил удрученно Гаврик и снова отрицательно потряс головой.— Ты мне, Петя, лучше сразу покажи ихний алфавит.

— Я сам знаю, что лучше,— сухо заметил Петя.

— А может быть,— сказал Гаврик,— которые эти самые этруски и япиги, то мы их потом будем проходить, а пока что ударим по самым латинским буквам, как их писать. Нет?

— Кто репетитор: я или ты?
— Допустим, ты.
— Так и слушайся меня.
— Я же слушаюсь,— покорно сказал Гаврик.
— В таком случае, пойдем дальше,— сказал Петя, расхаживая по комнате, заложив за спину руки и наслаждаясь своим превосходством перед Гавриком и своей властью учителя.— Значит, так. Ну там, в общем, потом этот самый классический литературный латинский язык приблизительно через триста лет утратил свое господство и уступил, понимаешь ты, место народному латинскому языку, и так далее, и так далее, и тому подобное — одним словом, это все не так важно. (Гаврик одобрительно кивнул головой.) А важно, братец мой, то, что в конечном счете в этом самом латинском языке оказалось сначала двадцать букв, а потом прибавилось еще три буквы.
— Всего, стало быть, двадцать три! — быстро и радостно подсказал Гаврик.
— Совершенно верно. Всего двадцать три буквы.
— А какие?
— Не лезь поперед батьки в пекло! — сказал Петя традиционную поговорку гимназического учителя латинского языка, которому он все время незаметно для себя подражал.— Буквы латинского алфавита суть следующие. Записывай: A, B, C, D...
Гаврик встрепенулся и, послюнив карандаш, стал красиво выводить в тетрадке латинские буквы.
— Постой, чудак человек, что же ты пишешь? Надо писать не русское «Б», а латинское.
— А какое латинское?
— Такое самое, как русское «В». Понял?
— Чего ж тут не понять!
— Сотри и напиши, как надо.
Гаврик вынул из кармана своих широких бобриковых штанов кусочек аккуратно завернутой в бумажку полустертой резинки «слон» с оставшейся задней половинкой слона, стер русское «Б» и на его месте написал латинское «В».
— Впрочем,— сказал Петя, которому уже изрядно надоело преподавать,— ты пока тут переписывай латинский алфавит прямо из книжки, а я немножко разомнусь.
Гаврик стал покорно переписывать, а Петя стал раз-

минаться, то есть гулять, заложив руки за спину, по квартире, и гулял до тех пор, пока не остановился в столовой перед буфетом. Как известно, все буфеты имеют для мальчиков особую притягательную силу. Редкий мальчик в состоянии пройти мимо буфета, не посмотрев, что там находится. Петя не составлял исключения, тем более что, уходя, тетя имела неосторожность сказать:

— ...И, пожалуйста, не лазь в буфет.

Петя отлично понимал, что тетя имеет в виду ту большую банку клубничного варенья, которую прислала бабушка из Екатеринослава к рождеству. Варенье еще не начинали, хотя оно предназначалось к праздникам, а праздники уже прошли, и это слегка раздражало Петю. Вообще трудно было понять тетю. Обычно очень добрая и щедрая, она становилась безумно, а главное, совершенно непонятно, скупой, как только дело касалось варенья. При ней страшно было даже заикнуться о варенье. У нее сейчас же делались испуганные глаза, и она быстро говорила, дрожа от беспокойства:

— Нет, нет! Ни в коем случае! Даже не подходи близко. Когда будет надо, я сама дам.

Но, когда будет надо, этого решительно никто не знал, а она не говорила и только испуганно махала руками. В конце концов это было просто глупо: ведь варенье варилось и посылалось специально для того, чтобы его ели!

Петя, разминаясь, открыл буфет, подставил стул и заглянул на самую верхнюю полку, где стояла тяжелая, как снаряд, полная банка екатеринославского варенья. Полюбовавшись банкой, Петя закрыл буфет и пошел посмотреть, как идут дела у его ученика. Гаврик прилежно выводил латинские буквы и уже дошел до «N», не зная, как ее надо писать. Петя показал, как пишется латинское «N», похвалил Гаврика за аккуратность и вскользь заметил:

— Между прочим, нам бабушка прислала на рождество банку клубничного варенья. Шесть фунтов банка.

— Заливаешь.

— Святой истинный!

— Таких даже и банок не бывает.

— Не бывает? — едко улыбнулся Петя.

— Не бывает.

— Много ты понимаешь в банках! — пробормотал Петя, прошел в столовую и, вернувшись назад, бережно

поставил на стол между глобусом и микроскопом тяжелую банку.— Ну, скажешь, не шесть фунтов?

— Ладно. Твоя взяла.

Гаврик придвинул к себе тетрадь и написал еще три латинские буквы: «О», которая писалась так же точно, как и русское «О», «П», которая писалась, как русское «Р», и довольно-таки странную букву «Q», над хвостиком которой пришлось потрудиться.

— Молодец! — сказал Петя и, немного поколебавшись, прибавил: — Между прочим, давай попробуем варенья... хочешь?

— Можно,— согласился Гаврик.— А от тети не нагорит?

— Мы попробуем только по одной чайной ложечке, она даже не заметит.

Петя сходил за чайной ложечкой, а затем терпеливо развязал бантик туго затянутого шпагата. Он осторожно снял верхнюю бумажку, которая уже приобрела форму шляпки, а потом еще более осторожно снял пергаментный кружок. Под этим кружком, пропитанным ромом, для того чтобы варенье могло сохраняться возможно дольше, уже была непосредственно поверхность самого варенья, глянцевито и тяжело блестевшая в уровень с краями банки. С величайшей осторожностью Петя и Гаврик съели по полной ложке.

Екатеринославская бабушка вообще славилась как великая мастерица варить варенье, причем клубничное удавалось ей особенно хорошо. Но это варенье было поистине неслыханное. Никогда еще Петя, а тем более Гаврик не пробовали ничего подобного. Оно было душистое, тяжелое и вместе с тем какое-то воздушное, с цельными прозрачными ягодами, нежными, отборными, аппетитно усеянными желтенькими семечками, и елось на редкость легко.

Друзья по очереди начисто вылизали ложку и с радостью заметили, что варенья в банке, в сущности, совсем не убавилось: его поверхность была по-прежнему вровень с краями. Несомненно, здесь действовал какой-то закон больших и малых чисел — большого объема банки и малого объема чайной ложечки,— но так как Петя и Гаврик еще не имели понятия об этом законе, то им показалось почти чудом, что варенье не иссякает.

— Как было,— сказал Гаврик.

— Я же тебе говорил, что она не заметит.

С этими словами Петя положил на поверхность варенья пергаментный кружок, прикрыл банку шляпкой бумажки, крепко завязал шпагатом, сделал точно такой же бантик, как раньше, отнес банку в буфет и поставил на прежнее место.

За это время Гаврик успел написать еще две латинские буквы: «R», вызвавшую у него насмешливую улыбку, так как она представляла собой не что иное, как по-детски перевернутое русское «Я», и двуличное латинское «S».

— Хорошо! — похвалил Петя Гаврика.— Между прочим, я считаю, что мы можем совершенно свободно попробовать еще по одной ложечке.

— Кого?

— Варенья.

— А тетя?

— Чудак, ты же видел сам, что его осталось ровно столько, сколько было. Значит, если мы попробуем еще по одной ложечке, то его опять-таки останется столько, сколько было. Верно?

Гаврик подумал и согласился: нельзя же было идти против очевидности.

Петя принес банку, так же терпеливо развязал бантик тугого шпагата, осторожно снял верхнюю бумажку, затем еще более осторожно — пергаментный кружок, полюбовался литой поверхностью варенья, по-прежнему тяжело блестевшего вровень с краями, после чего друзья съели еще по ложечке, начисто ее вылизали, и Петя завязал банку шпагатом и сделал точно такой же бантик, как был раньше.

На этот раз варенье показалось еще вкуснее, а испытанное блаженство еще короче.

— Вот видишь, и опять все, как было! — самодовольно сказал Петя, поднимая по-прежнему тяжелую банку.

— Ну, нет,— сказал Гаврик.— Теперь, положим, самую чуточку, но не хватает. Я нарочно посмотрел.

Петя поднял банку и стал ее рассматривать.

— Где ты видишь? Ничего подобного. Варенье как было. Абсолютно как было.

— А вот и не абсолютно,— сказал Гаврик.— Это потому, что недостачу закрывают края бумажки. Ты отогни края, тогда сам увидишь.

Петя приподнял сборчатые края верхней бумажки и посмотрел банку на свет. Банка была почти так же полна, как и раньше. Но именно почти, а не совсем. Образовался просвет не толще волоса, но все же просвет. И это было крайне неприятно, хотя трудно было представить, чтобы тетя могла что-нибудь заметить. Петя понес банку в столовую и поставил в буфет на прежнее место.

— Ну, покажи, что ты там нацарапал? — сказал он с наигранной бодростью.

Вместо ответа Гаврик молчаливо почесал затылок и вздохнул.

— Что? Устал?

— Не. Не в этом. Я думаю, что хотя его и не хватает самую чуточку, а она все-таки заметит.

— Не заметит.

— Бьюсь на пари, что заметит. И тогда ты будешь иметь вид.

Петя вспыхнул:

— А хоть и заметит! Подумаешь! Ну и что из этого? В конце концов, бабушка прислала варенье для всех, и я имею полное право. Ко мне пришел человек заниматься, так что́, я не могу угостить человека клубничным вареньем? Вот еще новости! Давай я сейчас принесу, и мы его съедим по блюдечку. Я уверен, тетя ничего не скажет. Даже будет довольна, что мы поступили честно и открыто, а не исподтишка.

— Может быть, не стоит? — робко сказал Гаврик.

— Нет, именно стоит! — с жаром воскликнул Петя.

Он принес банку и, чувствуя, что совершает честный, благородный поступок, наложил два полных блюдечка варенья.

— И хватит! — решительно сказал он, завязал банку и отнес ее в буфет.

Но как раз и не хватило. Только теперь, съев по полному блюдечку, друзья по-настоящему распробовали дивное варенье и почувствовали такое страстное, такое неудержимое желание съесть хотя бы еще по одной ложке, что Петя с суровым лицом принес банку и, не глядя на Гаврика, наложил еще по одному полному блюдцу. Петя никак не предполагал, что блюдце такая вместительная вещь. Посмотрев банку на свет, он увидел, что варенье уменьшилось по крайней мере на треть.

Мальчики съели каждый свою порцию и облизали ложки.

— Знаменитое варенье! — сказал Гаврик и принялся за латинские буквы «T», «U», «V», «X», продолжая испытывать острейшее желание съесть хотя бы еще самую малость волшебного варенья.

— Ладно,— решительно сказал Петя,— съедим уж ровно до половины банки, и баста!

Когда в банке осталась ровно половина, Петя в последний раз завязал банку и отнес в буфет с твердым намерением больше к ней не прикасаться. О тете он старался не думать.

— Ну, ты сыт? — спросил он Гаврика с бледной улыбкой.

— Даже чересчур,— ответил Гаврик, чувствуя во рту густую сладость, которая уже стала переходить в кислоту.

Петю тоже стало слегка поташнивать. Блаженство начало незаметно превращаться в свою противоположность. О варенье уже не хотелось думать, но, как это ни странно, о нем невозможно было не думать. Оно как бы мстило за себя, вызывая вместе с легкой тошнотой безумное, противоестественное желание снова положить его в рот по полной ложке. С этим желанием невозможно было бороться. Петя, как лунатик, пошел в столовую, и друзья стали есть тошнотворное лакомство полными ложками, прямо из банки, потеряв уже всякое представление о том, что они делают. Это была ненависть, дошедшая до обожания, и обожание, дошедшее до ненависти. Челюсти сводило от сладостной кислоты. На лбу выступил пот. Варенье с трудом проходило в судорожно сжимавшееся горло. А они его всё ели и ели, словно кашу. Они его даже не ели, а боролись с вареньем, скорее уничтожая его, как врага. Они очнулись, когда глубоко на дне банки остался тонкий слой, который уже невозможно было достать ложками.

Только тогда Петя понял весь ужас того, что совершилось. Как преступники, желающие поскорее скрыть следы своего преступления, мальчики побежали на кухню и стали лихорадочно полоскать липкую банку под краном, не забывая, впрочем, по очереди из последних сил пить из банки мутную, сладкую воду.

Когда банка была начисто вымыта и вытерта, Петя для чего-то аккуратно поставил ее в буфет на прежнее место, как будто это могло поправить дело. Петя утешал себя глупой надеждой, что, может быть, тетя уже забыла о бабушкином варенье или, увидя чистую пустую банку, подумает, что варенье уже давно съели. Петя сам понимал, что это по меньшей мере глупо.

Стараясь не смотреть друг на друга, Петя и Гаврик вернулись к письменному столу и стали продолжать урок.

— Значит, так,— сказал Петя, с усилием двигая губами, которые сводило от тошноты.— Из двадцати трех мы записали двадцать букв латинского алфавита. Впоследствии — исторически — были введены еще две буквы...

— Итого двадцать пять,— сказал Гаврик, с отвращением глотая слюну.

— Совершенно верно. Пиши!

Но в это время вернулся Василий Петрович. В грустном, но умиротворенном настроении — это с ним бывало всегда после кладбища — он заглянул в комнату, где прилежно занимались мальчики, и, заметив на их лицах странное выражение плохо скрытой гадливости, сказал:

— Что, господа, трудитесь, несмотря на воскресный день? Нелегко достается? Ничего! Корень ученья горек, зато плоды его сладки.

С этими словами он на цыпочках, чтобы не мешать мальчикам заниматься, подошел к иконам, вынул из бокового кармана узкую бутылочку деревянного масла, купленного в церковном магазине Афонского подворья, и стал бережно заправлять лампадку, что привык делать аккуратно каждое воскресенье.

Вскоре пришла тетя, а за нею Дуня; только Павлик задержался на улице. В кухне загремела самоварная труба. Из столовой донесся нежный звон чайной посуды.

— Ну, я пошел,— сказал Гаврик, быстро складывая письменные принадлежности.— Остальные буквы я как-нибудь дома допишу. Будь здоров. До следующего воскресенья! — И он своей озабоченной, валкой походочкой пошел через столовую, мимо буфета, в переднюю.

— Куда же ты? — спросила тетя.— Оставайся с нами чай пить.

— Спасибо, Татьяна Ивановна, дома ждут. Мне еще надо там кое-что поделать по хозяйству.

— А может быть, выпьешь стаканчик? С клубничным вареньем? А?

— Ой, нет, что вы! — испуганно воскликнул Гаврик и, шепнув Пете в передней: — Полтинник за мной,— быстро сбежал по лестнице, от греха подальше.

— Чего это у тебя кислое лицо? — сказала тетя, посмотрев на Петю.— Такое впечатление, что ты поел несвежей колбасы. Может быть, ты болен? Покажи-ка язык.

Уныло повесив голову, мальчик показал великолепный розовый язык.

— Ах, понимаю! — сказала тетя.— Это на тебя, наверно, так подействовала латынь. Видишь, друг мой, как нелегко быть репетитором! Ну, ничего. Сейчас в честь твоего первого урока мы откроем бабушкино варенье, и все как рукой снимет.

С этими словами тетя подошла к буфету, а Петя лег на кровать и со стоном накрыл голову подушкой, чтобы уже больше ничего не видеть и не слышать.

Но как раз в тот самый миг, когда тетя с удивлением рассматривала чисто вымытую пустую банку, не понимая, почему она здесь стоит и как сюда попала, в переднюю с улицы ворвался Павлик, крича на всю квартиру:

— Файг! Файг! Слушайте, только что к нашему дому в собственной карете подъехал Файг!

10
ГОСПОДИН ФАЙГ

Все бросились к окнам, даже Петя, отшвырнувший подушку. Действительно, у ворот стояла карета Файга.

Господин Файг был одним из самых известных граждан города. Он был так же популярен, как градоначальник Толмачев, как сумасшедший Марьяшек, как городской голова Пеликан, прославившийся тем, что украл из городского театра люстру, как редактор-издатель Ратур-Рутер, которого часто били в общественных местах за клевету в печати, как владелец крупнейшего в городе мороженого заведения Кочубей, где каждый год летом происходили массовые отравления, наконец, как бравый старик генерал Радецкий, герой Плевны.

Файг был выкрест, богач, владелец и директор ком-

мерческого училища — частного учебного заведения с правами. Училище Файга было надежным пристанищем состоятельных молодых людей, изгнанных за неспособность и дурное поведение из остальных учебных заведений не только Одессы, но и всей Российской империи. За большие деньги в училище Файга всегда можно было получить аттестат зрелости. Файг был крупный благотворитель и меценат. Он любил жертвовать и делал это с большим шиком и непременно с опубликованием в газетах.

Он жертвовал в лотереи-аллегри гарнитуры мебели и коров, вносил крупные суммы на украшение храма и на покупку колокола, учредил приз своего имени на ежегодных гонках яхт, платил на благотворительных базарах по пятьдесят рублей за бокал шампанского. О нем ходили легенды. Одним словом, он был рогом изобилия, откуда на нищее человечество сыпались различные благодеяния.

Но главная причина его популярности заключалась в том, что он ездил по городу в собственной карете.

Это не была старомодная, зловещая карета из числа тех, которые обычно тащились за похоронной процессией первого и второго разрядов. Это не была свадебная карета, обитая внутри белым атласом, с хрустальными фонарями и откидной подножкой. Наконец, это не была архиерейская карета — скрипящий рыдван,— в которой, кроме архиерея, по совместительству также возили по домам икону касперовской богоматери, связанную с именем Кутузова и взятием Очакова. Карета Файга была щегольским «двухместным купе» на английских рессорах, с высокими козлами и кучером, одетым по английской моде, как Евгений Онегин. На дверцах кареты был изображен фантастический баронский герб, а на запятках стоял не более не менее как настоящий ливрейный лакей, что приводило уличных зевак в состояние почти религиозного восторга.

Карету везли отчетливой рысью бежавшие лошади с коротко обрезанными хвостами и в лакированных шорах. Внутри кареты на сафьяновых подушках сидел сам Файг, в цилиндре, пальмерстоне, с черными крашеными бакенбардами и с гаванской сигарой в зубах. Его ноги были закутаны в шотландский плед.

В то время как семейство Бачей рассматривало из окон карету Файга, уже окруженную зеваками, и делало раз-

личные предположения насчет того, к кому именно пожаловал с визитом господин Файг, в передней раздался звонок. Дуня открыла дверь и чуть не потеряла сознание. Перед ней стоял ливрейный лакей, прижимая к груди треугольную шляпу с галунами.

— Илья Францевич Файг просит господина Бачей его принять,— сказал ливрейный лакей.— Они в карете. Как прикажете доложить?

Все семейство Бачей, которое отхлынуло от окон в переднюю, некоторое время находилось в столбняке. Не растерялась одна лишь тетя. Значительно взглянув на Василия Петровича, она обратилась к ливрейному лакею и, не моргнув глазом, произнесла слово, которое Петя до сих пор слышал только в театре, и то лишь один раз.

— Просите,— сказала тетя со светской улыбкой, несколько в нос.

И, покорно уронив напомаженную голову, ливрейный лакей пошел вниз, подметая лестницу своей ливреей, длинной, как юбка.

Едва Василий Петрович успел пристегнуть воротничок и галстук и, беспорядочно тыкая руками в рукава, натянуть на себя парадный сюртук, как в квартиру уже вступил господин Файг. В одной руке он, несколько на отлете, нес цилиндр, в который были небрежно брошены перчатки, в другой, сверкавшей бриллиантовым перстнем, держал сигару. На его лице, между черными бакенбардами, сияла демократическая улыбка. От него во все стороны распространялся запах гаваны и английских духов Аткинсон. Гирлянда значков, жетонов и благотворительных медалей ниспадала вдоль выреза его фрака. Нежно светились маленькие жемчужины, вдетые в тугие петли безукоризненно накрахмаленного пластрона фрачной сорочки.

Он был само счастье и само богатство, внезапно вступившее в дом.

Файг поставил цилиндр на подзеркальник и широким жестом протянул отцу пухлую руку. Дальнейшего Петя не видел — тетя весьма ловко оттеснила его и Павлика в кухню и продержала их там до тех пор, пока визит господина Файга не кончился.

Судя по тому, что из столовой, которая в квартире Бачей также была и гостиной, иногда слышался звонкий,

раскатистый смех Файга и веселое покашливанье отца, визит носил характер весьма дружественный. Все терялись в догадках. Но когда наконец господин Файг при помощи ливрейного лакея сел в карету и закутал ноги шотландским пледом, помахал в окно белой рукой с сигарой и карета уехала,— выяснилось все. Файг приезжал для того, чтобы лично предложить Василию Петровичу место преподавателя в своем учебном заведении.

Это было так неожиданно и так напоминало чудо, что Василий Петрович даже повернулся лицом к иконе и перекрестился. Преподавать у Файга было гораздо выгоднее, чем в казенной гимназии: Файг платил своим педагогам почти вдвое больше, чем государство. Василий Петрович был очарован Файгом, его простотой, любезностью и демократическими манерами, которые находились в таком приятном и неожиданном противоречии с его внешностью и образом жизни.

В разговоре с Василием Петровичем Файг проявил тонкое понимание современной жизни, ядовито и вместе с тем корректно высмеял министерство народного просвещения, не умеющее ценить своих лучших педагогов, решительно осудил попытки правительства превратить школу в казарму, весьма откровенно заметил, что наступило время самому обществу взять в свои руки дело народного образования и вытеснить из него чиновников и самодуров вроде попечителя Одесского учебного округа, воскресившего самые мрачные традиции аракчеевщины. Он сказал, что с Василием Петровичем поступили не только несправедливо, но прямо-таки подло и что он надеется исправить эту подлость и восстановить справедливость — именно в этом состоит его священный долг перед русским обществом и наукой. Он надеется, что в его учебном заведении Василий Петрович сможет с полной силой проявить свой блестящий педагогический талант и свою любовь к великой русской литературе. Будучи сторонником свободного европейского воспитания, он уверен, что они с уважаемым Василием Петровичем найдут общий язык. Что же касается формальной стороны вопроса, то он не сомневается, что ему без труда удастся получить согласие министра просвещения на то, чтобы Василий Петрович был утвержден округом в должности преподавателя, так как казенная гимназия есть казен-

ная гимназия, а частное учебное заведение есть частное учебное заведение. Он даже не скрыл от Василия Петровича, что решил его пригласить отчасти из желания поднять реноме своего училища в глазах либеральных кругов одесского общества, а отчасти в пику правительству, ввиду того что после своего знаменитого, как выразился Файг, выступления по случаю смерти Толстого Василий Петрович приобрел весьма определенную политическую репутацию.

Для Василия Петровича это было ново и лестно, хотя при упоминании о политической репутации он поморщился. Когда, кроме того, Файг прибавил: «Вы будете нашим знаменем»,— Василий Петрович даже слегка испугался. Но, так или иначе, предложение Файга было принято, и жизнь семьи Бачей волшебно изменилась.

Файг заплатил Василию Петровичу за полгода вперед, а это составляло такую сумму, которая семейству Бачей и не снилась. Теперь, когда Василий Петрович выходил из дому, в окна на него смотрели жильцы, говоря с завистью:

— Смотрите, это идет тот самый Бачей, которого пригласил Файг.

Василий Петрович снова стал подумывать о поездке за границу и в конце концов, подсчитав свои средства и в последний раз посоветовавшись с тетей, окончательно решил: едем!

11

ФЛАНЕЛЬКА

Весна выдалась ранняя, жаркая, нарядная. Пасха прошла весело. Потом наступило время экзаменов, как всегда связанное в представлении Пети с короткими майскими грозами — огнестрельным блеском лиловых молний, персидской сиренью, роскошно цветущей в гимназическом саду, и сухим воздухом опустевших классов со сдвинутыми партами и клубами меловой пыли, пронизанной жаркими столбами послеполуденного солнца, оставшейся висеть в воздухе после окончания последнего экзамена.

Одновременно с экзаменами начались сборы за границу. Главной целью путешествия была Швейцария, которая всегда имела для Василия Петровича какую-то особую притягательную силу. Но ехать туда было решено сначала морем до Неаполя, а уже потом, через

всю Италию,— по железной дороге. Василий Петрович высчитал, что это обойдется ненамного дороже, зато они увидят Турцию, Грецию, острова Архипелага [1], Сицилию и, наконец, побывают во всех знаменитых музеях Неаполя, Рима, Флоренции и Венеции, а затем из Швейцарии, может быть, даже, если позволят финансы, махнут в Париж.

Маршрут путешествия был разработан Василием Петровичем уже давно, в то время, когда еще была жива покойная мама. Они вдвоем просиживали напролет вечера, перелистывая различные справочники и путеводители и аккуратно выписывая в особую тетрадку все предстоящие расходы: стоимость проездных билетов, пансионов, гостиниц; даже цены входных билетов в музеи и оплата носильщиков — все учитывалось самым тщательным образом. Несмотря на это, Василий Петрович, больше всего на свете боясь, боже упаси, выйти из бюджета, опять обложился железнодорожными и пароходными тарифами и заново проделал все расчеты.

Много горячих семейных споров вызвал вопрос о том, какие вещи нужно с собой взять и куда их поместить. Тетя считала, что надо купить два самых обыкновенных чемодана и положить в них самые обыкновенные вещи. Но, оказывается. Василий Петрович имел на этот счет совсем другое мнение. Он считал, что нужно специально заказать какой-то особый саквояж и особые альпийские мешки с особыми ремнями, чтобы их можно было надевать при восхождении на горы.

Тетя юмористически развела руками, но, так как Петя и Павлик подняли невероятный крик, требуя, чтобы заказали именно особые мешки для восхождения, тетя быстро сдалась, а Василий Петрович с собственноручным чертежом специального саквояжа и особых альпийских мешков отправился в город. И через несколько дней в квартире Бачей появились два альпийских мешка и довольно странное произведение шорно-чемоданного искусства, сделанное из клетчатой шотландской материи и несколько напоминающее громадную гармонику, обшитую множеством наружных карманов.

Эти новые. еще пустые дорожные вещи, волнующий запах свежей кожи и крашеной материи внесли в дом

---

[1] Архипелаг (Греческий архипелаг) — острова в Эгейском море.

атмосферу предстоящего путешествия. Затем выяснилось, что мальчикам нельзя ехать за границу в гимназической форме, а полагалось быть в «штатском».

Для Павлика это решалось просто. У него сохранились прошлогодние, «догимназические» вещи — короткие штанишки и матроска. Но как быть с Петей? Нелепо было бы нарядить четырнадцатилетнего мальчика во взрослый костюм — с пиджаком, жилетом и галстуком. Но и детский костюмчик, с короткими штанишками, конечно, тоже не годился. Нужно было найти что-то среднее. И Петя, уже весь охваченный лихорадкой нетерпения, придумал себе наряд, несомненно навеянный иллюстрациями к Жюлю Верну или Майн Риду. Это было, по мысли Пети, нечто вроде костюма гардемарина — длинные гимназические брюки и матроска, но не детская матроска, как у Павлика, а настоящая флотская — из темно-синей фланели.

Соорудить такую матроску оказалось весьма трудно. Ни одна портниха, привыкшая шить на детей, и ни один портной, привыкший работать на взрослых, никак не могли понять, что от них требуется. Петя, который уже так живо представлял себя в виде гардемарина, был в полном отчаянии. Выручил Гаврик. Он посоветовал сходить в швальню морского батальона, где у него были знакомства среди матросов хозяйственной команды. В каких только местах не было у него знакомых!

Швальня помещалась в так называемых Сабанских казармах — старинном здании с белыми колоннами. Внутренний двор, громадный, как площадь, испугал Петю своей зловещей крепостной пустотой, пирамидами старинных чугунных ядер, якорями, гимнастическими параллельными брусьями и мачтой с пестрыми сигнальными флагами. На скамеечке под колоколом сидел матрос в бескозырке — дневальный.

— Не дрейфь,— сказал Гаврик, заметив, что Петя в нерешительности остановился.— Здесь всё свои люди.

Они поднялись по старинной каменной лестнице с вытертыми ступенями на второй этаж и очутились в казарменном коридоре — темном и холодном, как склеп, что особенно сильно чувствовалось после майского полуденного зноя, ослепительно сиявшего снаружи.

Гаврик уверенно нашел в потемках какую-то дверь,

и мальчики вошли в сводчатую комнату с такими толстыми стенами, что два окошка в нишах трехаршинной толщины с трудом пропускали дневной свет, хотя и выходили прямо в сияющее море, как раз против Карантинной гавани и белого рейдового маяка, окруженного чайками, который отчетливо светился на фоне взволнованной сине-зеленой воды.

За большой швейной машиной сидел матрос с красными погонами береговой службы и, качая босыми ногами чугунную педаль, строчил край шерстяного сигнального флага. Множество других сигнальных флагов целой горой лежало в углу комнаты.

Увидев Гаврика, матрос перестал строчить. На его потном лице, сильно испорченном оспой, появилась улыбка, но, заметив за спиной Гаврика незнакомого гимназиста, матрос вопросительно поднял колосистые брови.

— Ничего, это тот самый чудак, который меня учит латинскому,— сказал Гаврик, из чего Петя мог заключить, что матросу хорошо известны все обстоятельства жизни Гаврика.

— Что скажешь новенького? — спросил матрос.

— Ничего особенного,— ответил Гаврик.— Я как раз сегодня заскочил до вас не по тому делу, а совсем по другому. Можете вы пошить человеку,— Гаврик показал головой на Петю,— флотскую фланельку казенного образца?

— Материала подходящего нет.

— У него есть... Петя, покажи ему материал.

Петя подал сверток. Матрос раскинул на руках плотную, но легкую и мягкую шерстяную ткань глубокого темно-синего цвета.

— Богатый материальчик! — сказал Гаврик не без гордости.

— Почем платили? — спросил матрос.

Петя сказал цену, и матрос со значением и, как показалось Пете, неодобрительно переглянулся с Гавриком.

— Не,— сказал Гаврик,— не думайте. Его батька — обыкновенный учитель. Они живут не слишком... Даже иногда нуждаются. Но у них как раз подошел такой случай, что непременно требуется пошить парнишке специальную фланельку.

И Гаврик, с удивившей Петю точностью и осведом-

ленностью, рассказал матросу, для чего понадобилась Пете фланелька и куда именно за границу собрался ехать учитель Бачей со своими сыновьями. При этом Пете показалось, что Гаврик и матрос несколько раз понимающе переглянулись.

Может быть, мальчик и не обратил бы на это внимания, если бы уже нечто подобное не случилось на Ближних Мельницах, куда Петя приходил давать Гаврику очередной урок латинского языка. Тогда, воодушевленный присутствием Моти, которая до сих пор продолжала смотреть на Петю, как на существо высшее — с робостью тайного обожания,— мальчик расхвастался. Он стал с жаром описывать предстоящее путешествие, не жалея самых ярких красок и географических названий. Когда он дошел до красот Швейцарии, Терентий сначала незаметно переглянулся с Гавриком, потом с гостем — Синичкиным, худым, чахоточным рабочим в сапогах и черной сатиновой косоворотке под засаленным пиджаком.

Перехватив взгляд Терентия, Синичкин отрицательно мотнул головой и пробормотал: «Нет, *он* сейчас уже не там»,— или что-то в этом роде. И вдруг спросил Петю, глядя на него в упор очень серьезно:

— А Францию вы посетить не собираетесь? В Париже не будете?

И когда Петя сказал, что, если хватит денег, наверно съездят и во Францию, то Синичкин опять многозначительно посмотрел на Терентия, но больше они уже ничего у Пети не спрашивали.

Вообще Петя заметил, что предстоящая поездка за границу вызвала у Гаврика и почти у всех людей его круга на Ближних Мельницах какой-то особый, скрытый интерес, смысла которого он не понимал...

Вот и теперь. Матрос и Гаврик тоже переглянулись. Впрочем, подумал Петя, может быть, всегда так ведут себя в присутствии человека, собирающегося ехать за границу. Петя еще не выехал из своего родного города, а уже стал испытывать чувство новизны, подстерегавшее его на каждом шагу. Он вдруг попадал в какой-нибудь переулок, где еще ни разу в жизни не был, и с изумлением путешественника видел кафельный дом или палисадник, на который раньше никогда бы не обратил внимания.

Сколько раз он, например, проходил мимо круглых ворот Сабанских казарм, совсем не подозревая, что за этими воротами есть какой-то новый, ни на что не похожий мир знойного, пустынного двора с ядрами и якорями и есть какая-то швальня, где матрос шьет на машине шерстяные сигнальные флаги, и есть старинные окна в глубоких сводчатых нишах, откуда совсем по-новому, дико и незнакомо, виднеется море, зовущее в еще более новую, незнакомую даль.

Осмотрев и похвалив материал, матрос согласился пошить Пете фланельку, но заломил пять рублей. Решительно отстранив Петю рукой, Гаврик серьезно посмотрел на матроса, укоризненно покачал головой и сказал, что один рубль — и то чересчур. Они торговались до тех пор, пока матрос наконец согласился на два рубля, и то лишь потому, что Петя «свой человек». Что он при этом имел в виду, Петя тоже не совсем понял.

Затем матрос вытер рукавом крышку большого флотского сундука, сказал мальчикам: «Седайте, хлопцы»,— и принес медный чайник с кипятком. Они напились чаю вприкуску из жестяных кружек и наелись очень хорошего житного хлеба, который матрос ловко и крупно нарезал, прижимая буханку к выпуклой груди.

Во время чаепития Гаврик и матрос вели между собой степенную беседу, из которой Петя заключил, что матрос (его Гаврик называл «дядя Федя») хорошо знаком с семьей Терентия и является дальним родственником со стороны его покойной матери. Беседа шла все больше вокруг семейных и материальных вопросов. Но по нескольким недомолвкам и случайным фразам Петя понял, что между дядей Федей и Терентием, кроме чисто семейных, существуют и еще какие-то другие связи. Смысл их Петя уловить не мог, а только смутно почувствовал, что на него пахну́ло чем-то забытым: грозным и тревожным воздухом «пятого года».

Наконец дядя Федя обмерил Петю ветхим клеенчатым сантиметром с облупившимися цифрами, пообещал сшить фланельку через три дня и обещание свое исполнил. Сверх того, из остатков материала он даром сшил мальчику еще матросскую шапку-бескозырку и надел на нее старую георгиевскую ленту с двумя длинными концами.

Петя посмотрел на себя в маленькое, неровное, как бы сделанное из жести зеркало, висевшее на стене швальни рядом с цветным портретом Шевченко, вырезанным из обложки «Кобзаря», и не мог скрыть счастливой, самодовольной улыбки, поползшей по его лицу до самых ушей.

12

ОТЪЕЗД

Неожиданные затруднения начались при получении заграничного паспорта из канцелярии градоначальника. Нужно было представить справку о политической благонадежности. Это оказалось не так просто. Василий Петрович написал прошение, и через четыре дня на квартиру Бачей явился субъект из Александровского участка с двумя понятыми, для того чтобы произвести дознание. Уже одно это слово — дознание — вызвало у Василия Петровича раздражение. Когда же субъект из участка расселся в столовой, разложил на обеденной скатерти свои грязные полотняные папки, казенную чернильницу-непроливайку и стал официальным тоном задавать Василию Петровичу глупейшие вопросы: какого он пола, возраста, вероисповедания, чина, звания и прочее,— Василий Петрович чуть было не вспылил, но взял себя в руки и выдержал это двухчасовое испытание. Он поставил под дознанием свою подпись рядом с корявой подписью понятого, дворника Акимова, и хлесткой подписью, с выкрутасами другого понятого, какого-то неизвестного прыщавого молодого человека в технической фуражке с молоточками и странной фамилией «Переконь».

Затем городовой принес Василию Петровичу повестку с приглашением явиться к господину приставу. И Василий Петрович явился и беседовал с господином приставом у него в комнате на разные темы, преимущественно политические, а также объяснял ему, по каким причинам оставил государственную службу по министерству народного просвещения. Расстались они вполне дружески.

Но это оказалось не все. Еще нужно было представить множество нотариально заверенных копий с разных документов: послужного списка, метрики, свидетельства о смерти жены и т. п. Это потребовало массу времени и хлопот и было похоже на издевательство. Следовало сначала

изготовить все эти копии без единой ошибки, а уже потом нести их к нотариусу. Петя всюду ходил с отцом.

О, как мучительны были все эти бюро переписок, где злые и высокомерные старые девы с развязными манерами вставали, скрипя корсетами, из-за своих «ундервудов» и «ремингтонов» с двойной кареткой, осматривали Василия Петровича с ног до головы презрительным взглядом и категорически заявляли, что раньше чем через неделю ничего не будет готово! Как страшно надоели знойные, по-летнему опустевшие улицы города, испещренные прозрачной тенью буйно цветущей белой акации, и вывески нотариусов — овальные щиты с черным двуглавым орлом!

Когда же все копии были изготовлены и надлежащим образом заверены, оказалось, что требуется еще одно дознание.

А время шло, и был момент, когда Василий Петрович, доведенный до белого каления, чуть было не плюнул на всю эту затею с заграничным путешествием. Но опять пришел на помощь Гаврик.

— Чудаки люди! — сказал он Пете, пожимая плечами.— Не умеете жить. Скажи своему батьке, чтобы он дал хабара.

— Взятку! Ни за что! — закричал Василий Петрович, когда Петя передал ему совет своего друга.— Никогда до этого не унижусь!

И все-таки, истерзанный волокитой, он в конце концов унизился. После этого все сразу изменилось: не только в один миг было получено свидетельство о благонадежности, но был получен и самый заграничный паспорт, который принесли из Александровского участка прямо на дом.

Теперь оставалось лишь купить билеты и отправляться с богом. Так как решили ехать на итальянском пароходе, то уже в самой покупке билетов было нечто в высшей степени заграничное. В конторе Ллойда на Николаевском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом, то есть в самой фешенебельной части города, наших будущих путешественников встретили с такой почтительной любезностью, с такими корректными поклонами, что Пете даже показалось, будто их принимают за кого-то другого.

Господин в серой визитке, с крупной жемчужиной в

галстуке оригинального рисунка «павлиний глаз», усадил их в очень глубокие кожаные кресла вокруг маленького стола красного дерева. На этом зеркально отполированном столе в художественном беспорядке были разложены узкие иллюстрированные проспекты Ллойда на разных языках, превосходно отпечатанные на меловой бумаге. Здесь были фотографии многоэтажных отелей, пальм, античных развалин и океанских пароходов. Петя увидел маленьких белых Ромула и Рема, прильнувших к зубчатым соскам белой волчицы, крылатого льва святого Марка, Везувий с зонтичной пинией на переднем плане, рыбью кость Миланского собора, косую Пизанскую башню — все эти разнообразные символы итальянских городов, которые сразу перенесли мальчика в мир заграничного путешествия.

К этому же миру, несомненно, принадлежала и самая контора пароходства вместе со всеми своими цветными плакатами, тарифами, респектабельными бюро и шкафами палисандрового дерева, корабельными хронометрами вместо обыкновенных часов, моделями пароходов в стеклянных ящиках, портретами итальянского короля и королевы и с самим господином в серой визитке, который с такой изысканной вежливостью тараторил на ломаном русском языке, продавая Василию Петровичу красивые билеты второго класса с продовольствием от Одессы до Неаполя и время от времени поглаживая Павлика по стриженой головке, называя его с нежной улыбкой «маленький синьор туристо».

С этого времени Петю не оставляло чувство, что они уже путешествуют. Когда, приобретя билеты и получив, сверх того, бесплатно целый ворох путеводителей и проспектов, взволнованные, они вышли из конторы Ллойда, то Николаевский бульвар представился Пете приморским бульваром какого-то заграничного города, а хорошо знакомый памятник дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе — одной из его главных достопримечательностей, на которую надо не просто смотреть, а которую уже надо «осматривать». Этому чувству соответствовал также вид порта, раскинувшегося внизу под бульваром, со множеством иностранных флагов, по которым струился широкий морской ветер.

Наступил день отъезда.

Пароход отходил в четыре часа пополудни. В половине второго Дуню послали к вокзалу за двумя извозчиками. На одном уселись провожавшая их тетя, в мантильке и шляпке с маргаритками, вместе с онемевшим от волнения Павликом, на другом — Василий Петрович с Петей, с альпийскими мешками и непомерно раздутым клетчатым саквояжем.

Уличные зеваки стояли вокруг извозчиков, громко обсуждая событие. Дуня, в новом коленкоровом платье, плакала, утирая глаза фартуком. Василий Петрович похлопал себя по карманам свежевыглаженного чесучового пиджака, проверяя, не забыл ли он чего-нибудь, снял соломенную шляпу с черной лентой, перекрестился и с наигранной бодростью сказал:

— Трогай!

Толпа расступилась, извозчики тронулись, а Дуня заплакала еще громче.

Ощущение уже начавшейся заграницы не оставляло Петю. Для того чтобы попасть в порт, нужно было проехать через весь город, пересечь его центр — самую богатую торговую часть. Только сейчас Петя обратил внимание на то, как сильно изменилась Одесса за последние несколько лет. Провинциальный характер южного новороссийского города — с небольшими ракушниковыми домами под черепицей «татаркой», с деревьями грецкого ореха и шелковицей во дворах, с ярко-зелеными будками квасников, греческими кофейнями, табачными лавочками, ренсковыми погребами с белым фонарем в виде виноградной кисти над входом — сохранился во всей своей неприкосновенности лишь на окраинах.

В центре же царил дух европейского капитализма. На фасадах банков и акционерных обществ сверкали черные стеклянные доски со строгими золотыми надписями на всех европейских языках. В зеркальных витринах английских и французских магазинов были выставлены дорогие, элегантные вещи. В полуподвалах газетных типографий выли ротационные машины и стрекотали линотипы.

Пересекая Греческую улицу, извозчики остановились, испуганно придерживая лошадей, и пропустили мимо себя новенький вагончик электрического трамвая, с ролика которого сыпались трескучие искры. Это была

первая линия, проведенная Бельгийским акционерным обществом между центром города и торгово-промышленной выставкой, недавно открытой на приморском пустыре за Александровским парком.

На углу Ланжероновской и Екатерининской, против громадного европейского кафе Фанкони, где на парижский манер, прямо на тротуаре, под тентом, среди кадок с лавровыми деревьями, за мраморными столиками сидели в панамах биржевики и хлебные маклеры, на извозчика с тетей и Павликом чуть не налетел красный фыркающий автомобиль «Дион-Бутон», которым управлял наследник прославленной фирмы «Братья Пташниковы», чудовищно толстый молодой человек в маленькой яхт-клубской фуражке, похожий на выставочную йоркширскую свинью.

Лишь когда стали спускаться в порт и поехали мимо обжорок, ночлежек, лавочек старьевщиков, мимо вонючих щелей, где в сумрачной тени спали прямо на земле или играли в карты те страшные люди с землисто-картофельными лицами и в таких же землистых лохмотьях, которые назывались «босяками»,— дух «европейского капитализма» кончился. Впрочем, он кончился ненадолго, так как почти сейчас же снова предстал в виде серых пакгаузов из рифленого железа, коммерческих агентств, высоких штабелей ящиков и мешков, представлявших целый город с улицами и переулками, и, наконец, пароходов разных национальностей и компаний.

Узнав у карантинного надзирателя, где грузится пароход «Палермо» Ллойда Итальяно, извозчики поехали по мостовой в конец мола Практической гавани и остановились возле очень большого, хотя и, к великому разочарованию мальчиков, однотрубного парохода с нарядным итальянским флагом за кормой.

Как и следовало ожидать, семья Бачей приехала слишком рано, чуть ли не за полтора часа до третьего гудка.

Еще полным ходом шла погрузка, и стрелы мощных паровых лебедок вертелись во все стороны, опуская в трюм на цепях стопудовые ящики и целые гроздья связанных вместе бочек. Пассажиров еще не пускали, да, впрочем, их и не было, кроме кучки палубников — каких-то не то турок, не то персов в чалмах, которые неподвижно и молчаливо сидели на своих пожитках, завернутых в ковры.

13
ПИСЬМО

Вдруг Петя увидел Гаврика, который шел к нему, размахивая цветущей веткой белой акации. Петя не поверил своим глазам. Неужели Гаврик пришел его проводить? Это было совсем не в его характере.

— Ты чего пришел? — спросил Петя сурово.

— А провожать,— ответил Гаврик и с великолепным пренебрежением подал Пете ветку акации.

— Ты что, сдурел? — смущенно спросил Петя.

— Не,— ответил Гаврик.

— А что же?

— Я — твой ученик. Ты — мой учитель. А Терентий говорит, что своих учителей надо уважать. Скажешь, нет? — И в глазах Гаврика мелькнула пытливая улыбочка.

— Кроме шуток,— сказал Петя.

— Кроме шуток,— согласился Гаврик и, крепко взяв Петю за локоть, серьезно сказал:— Есть дело. Пройдемся.

И они зашагали вдоль пристани, чуть не наступая на ленивых портовых голубей, которые стаями ходили по мостовой, поклевывая кукурузные зерна.

Дойдя до конца, мальчики сели на громадный трехлапый якорь. Гаврик огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, сказал, как бы продолжая прерванный разговор:

— Значит, так. Сейчас я тебе дам письмо, ты его спрячешь, а когда вы приедете куда-нибудь за границу, ты на него наклеишь заграничную марку и бросишь в почтовый ящик. Только, конечно, не в Турции, потому что это одна шайка. Лучше всего в Италии, Швейцарии или в самой Франции. Можешь ты это для нас сделать?

Петя с удивлением смотрел на Гаврика, стараясь понять, шутит он или говорит серьезно. Но у Гаврика было такое деловое выражение лица, что сомневаться не приходилось.

— Конечно, могу,—сказал Петя, пожав плечами.

— А где ты возьмешь деньги на марку? — пытливо спросил Гаврик.

— Ну, вот еще! Мы же будем посылать письма тете! Словом, это не вопрос.

— А то я тебе могу дать русский двугривенный на марку, ты его там поменяешь на ихние деньги.

Петя усмехнулся.

— Ты, брат, не строй из себя барина,— строго сказал Гаврик.— И помни, что это дело... как бы тебе объяснить...— Он хотел сказать: «партийное», но не сказал. Другого же подходящего слова подобрать не смог и лишь многозначительно покачал перед Петиным носом пальцем, запачканным типографской краской.

— Понимаю,— серьезно кивнул головой Петя.

— Это к тебе личная просьба Терентия,— после некоторого молчания сказал Гаврик, как бы желая объяснить всю важность поручения.— Понял?

— Понял,— сказал Петя.

Тогда, еще раз осмотревшись по сторонам, Гаврик вынул из кармана письмо, завернутое в газетную бумагу, чтобы не запачкалось.

— Куда же я его спрячу?

— А вот сюда.

Гаврик снял с Петиной головы матросскую шапку и бережно засунул письмо за подкладку, не застроченную с одной стороны.

Петя уже собирался ругнуть дядю Федю, так небрежно пошившего шапку, но в это время раздался очень густой и очень длинный пароходный гудок, почти на целую минуту заглушивший все разнообразные звуки порта. Когда же он вдруг, как отрезанный, прекратился и как бы улетел через весь город далеко в степь, а затем раздался снова, но уже на этот раз совсем короткий, как точка в конце длинного предложения, Петя увидел, что по трапу на пароход поднимаются пассажиры.

Гаврик быстро надел на голову Пети шапку, расправил георгиевские ленты, и мальчики побежали назад к пароходу.

— Имей в виду,— торопливо говорил Гаврик на бегу,— если засыпешься и тебя будут спрашивать, скажи, что ты его нашел, а лучше всего успей мелко порвать и выбросить, хотя в нем ничего особенного не написано. Так что ты не дрейфь.

— Понимаю, понимаю,— отвечал Петя прыгающим голосом.

— Петя!.. Петька!.. Петечка!..— в три голоса кри-

чали Василий Петрович, Павлик и тетя, выражая разные оттенки ужаса и бегая возле альпийских мешков и альпийского саквояжа.

— Отвратительный мальчишка! — кипятился отец.— Ты доведешь меня до белого каления!

— Где ты пропадал? Разве так можно? Уже первый гудок, а тебя нигде нет... А его, вообразите себе, нет, нигде нет! — взволнованно говорила тетя, обращаясь то к Пете, то к другим пассажирам, которых уже съехалось довольно много.

— Мы чуть без тебя не уехали! — вопил Павлик на всю пристань.

Итальянский матрос подхватил их вещи. Они пошли вверх по сходне, над таинственной щелью между бортом парохода и причалом, где глубоко внизу сумрачно светилась зеленая вода с прозрачным мешочком маленькой медузы.

Помощник капитана, итальянец, отобрал у Василия Петровича билеты, а русский пограничный офицер — паспорт, причем Петя совершенно ясно заметил, как он с нескрываемым подозрением осмотрел его матросскую шапку.

По очереди, споткнувшись о высокий медный порог, Василий Петрович, Павлик и Петя спустились по крутому трапу в недра парохода, где в дневных потемках коридоров слабо горели электрические лампочки, а под кокосовыми матами и пробковыми половиками явно чувствовался довольно сильный наклон корабля, одним бортом пришвартованного к пристани. Пожилая горничная-итальянка щелкнула ключом, и матрос втащил багаж в тесную каюту с круглым иллюминатором, над которым по слишком низкому бело-кремовому потолку маленьким зеркальным ручейком играло отражение моря.

Пока, толкаясь спинами, раскладывали по сеткам дорожные мешки и общими усилиями запихивали альпийский саквояж куда-то наверх, раздался второй гудок — один длинный и два отрывистых, коротких.

Когда, путаясь в коридорах и продолжая больно спотыкаться о высокие пороги, выбрались по трапу наверх, на какую-то палубу, паровые лебедки уже не грохотали, стрелы кранов не вертелись, лишь в солнечной тишине откуда-то слышалось напряженное сипенье пара.

Тетя и Гаврик стояли внизу на мостовой, в небольшой толпе провожающих. Увидев Петю, Гаврик исподтишка показал ему кулак и подмигнул. Петя очень хорошо понял своего друга. Как бы случайно он поправил на голове матросскую шапку и крикнул:

— Не забудь повторить, что я тебе задал!

— Я помню! — закричал в ответ Гаврик, прикладывая ладони ко рту.— Хик, хэк, хок! Эйюс! Эйюс! Эи! Скажешь, нет?

— Правильно!

— А ты думал!

— Имей в виду: приеду — буду гонять по всему курсу!

Наступила мучительно длинная пауза перед третьим гудком, когда ни пассажиры на палубах, ни провожающие на пристани не знают, что им делать. Тетя рылась в сумочке, доставая платок, чтобы в любую минуту начать им махать. Гаврик не сводил глаз с Петиной шапки.

— Идите домой, что вы будете здесь стоять,— говорил Василий Петрович тете, наклоняясь над поручнями.

— Что? Что? — спрашивала тетя, прикладывая ладони к ушам.

— Я говорю — идите уже домой! — кричал Василий Петрович.

Но тетя так энергично мотала шляпкой, как будто самый главный и самый священный долг ее жизни состоял именно в том, чтобы, несмотря ни на что, лично присутствовать до конца при отплытии парохода.

— Курочка моя,— сквозь слезы кричала она своему любимцу Павлику,— тебе не будет холодно в открытом море? Может быть, ты наденешь пальто?

Но Павлик только с досадой морщился и независимо отходил в сторону, чтобы пассажиры не подумали, будто именно он и есть «курочка моя».

— Надень шерстяные чулочки! — не унималась тетя.

И Павлику опять приходилось делать вид, что это не имеет к нему никакого отношения, хотя втайне его сердце ныло от горечи разлуки с дорогой тетечкой.

Но вот, как бы разорвав в клочья воздух над пароходом, раздался третий гудок. Уезжающие и провожающие с облегчением замахали платками, шляпами и зонтиками. Но они поторопились: пароход все еще не трогался с места.

На палубе снова появились помощник капитана и офицер пограничной стражи с солдатами в зеленых погонах. Офицер стал раздавать пассажирам паспорта, и тут только Петя заметил за его спиной господина, показавшегося ему странно знакомым. Он был весь какой-то потертый, в соломенном картузе, с грустными, собачьими глазами. Но вот он, неторопливо разглядывая пассажиров, вдруг приложил к мясистому носу темное пенсне, и в тот же миг мальчик узнал того самого усатого,— усы его, правда, теперь заметно поседели и висели вниз,— который когда-то, пять лет назад, бегал по палубе «Тургенева» за матросом Жуковым.

В это время сыщик как раз посмотрел на Петю, и глаза их встретились. Нельзя было понять, узнал ли он мальчика, но сейчас же повернулся к офицеру и сказал несколько слов на ухо.

Петя похолодел. Офицер, с пачкой паспортов в руке, подошел к Василию Петровичу и, показав подбородком на Петю, спросил:

— Ваш сын?

— Мой.

— Так потрудитесь снять с его головного убора георгиевскую ленту; в противном случае принужден буду вернуть вас на берег и привлечь к ответственности за незаконное ношение вашим сыном военной формы. Это и у нас запрещается, а тем более неуместно за границей.

— Петя, сию же минуту сними ленту!

— Извольте ваш паспорт... А ленточку позвольте мне. По возвращении из-за границы вы можете ее получить обратно в канцелярии военного коменданта порта.

Гаврик увидел с пристани, как Петя, окруженный солдатами с офицером, снимает свою матросскую шапку.

— Тикай, Петька, тикай! — закричал он и очертя голову бросился к сходням, но в ту же минуту понял свою ошибку, так как увидел, что Петя снимает с шапки георгиевскую ленту и отдает ее офицеру, а шапку снова как ни в чем не бывало надевает на голову.

Гаврик тревожно оглянулся по сторонам; но никто не обратил внимания на его крик. Все были заняты церемонией махания платками.

Раздав пассажирам паспорта, офицер отдал честь и в сопровождении своих солдат и усатого сошел по сход-

ням на пристань. после чего раздалась веселая итальянская команда и сходни убрали.

Вдоль борта побежали итальянские матросы в синих фуфайках, ловко убирая концы; послышался прерывистый, канительный звон машинного телеграфа; в воде под кормой, с золотой надписью «Palermo», в прорези руля повернулись красные лопасти пароходного винта, забила буграми пена, палуба выровнялась под ногами, пароход задрожал, и Петя увидел, как пристань со всеми ее постройками, штабелями грузов и толпой провожающих сначала поехала вперед, потом назад, потом каким-то образом переехала за другой борт, потом вернулась на прежнее место, но уже значительно уменьшившись и все время продолжая уменьшаться, как будто ее уносила вдаль широкая полоса малахитовой пены, бегущая из-под кормы назад.

Петя уже с трудом различал в толпе Гаврика и тетю, махавшую зонтиком. Из-за портовых сооружений стала медленно подниматься панорама города с Николаевским бульваром, белой колоннадой Воронцовского дворца, повисшей над обрывом, с городской думой и маленьким дюком де Ришелье, простершим руку вдаль.

14
НА ПАРОХОДЕ

Вышли за волнорез и увидели его обратную сторону, обращенную в открытое море, где в брызгах и пене разбивающихся волн сновало множество рыболовов с длинными бамбуковыми удочками.

Теперь уже были видны Ланжерон, Александровский парк, остатки его знаменитой старинной стены с арками и рядом — торгово-промышленная выставка: целый город затейливых павильонов, среди которых возвышались высотой с трехэтажный дом деревянный самовар чайной фирмы «Караван» и черная бутылка шампанского «Редерер» с золотым горлышком.

На выставке играл симфонический оркестр, и вечерний бриз, трепавший на белых флагштоках сотни цветных флагов и вымпелов, доносил иногда до парохода его торжественную скрипичную бурю, нежно смягченную расстоянием.

Петя не уходил с палубы, весь охваченный восторгом выхода в открытое море. Единственное, что немного омрачало его радость, это были георгиевские ленты, оставшиеся в кармане пограничного офицера. А как бы они сейчас пригодились!

Ветер крепчал, красиво надувая и полоща за кормой итальянский флаг, и мальчик с горечью представил себе, как прекрасно могли бы струиться и щелкать длинные концы его георгиевской ленты.

Впрочем, и без этого свежему морскому ветру было много возни с Петиным костюмом. Ветер трепал воротник Петиной матроски, надувал ее на спине и раздувал просторные рукава, тесно застегнутые на запястьях. А то, что шапка теперь была без ленты, может быть, даже и к лучшему: она с некоторой натяжкой могла сойти за берет пятнадцатилетнего капитана из романа того же названия, но имела перед ним то преимущество, что под ее подкладкой лежало письмо.

Словно желая доставить Пете как можно больше радости, судьба подарила ему в этот изумительный день еще одно незабываемое впечатление.

— Смотрите, смотрите: летит! — закричал вдруг Павлик.

— Где летит? Кто?

— Да Уточкин же!

Петя совсем забыл, что именно на сегодня был назначен так долго ожидаемый перелет Уточкина из Одессы в Дофиновку. При благоприятных метеорологических условиях смелый авиатор должен был подняться на своем «Фармане» с территории выставки, пролететь одиннадцать верст по прямой над заливом и опуститься в Дофиновке. Не каждому мальчику посчастливилось бы увидеть такое зрелище не с берега, а именно с моря.

Петя и все пассажиры, выбежавшие из своих кают на палубу, увидели невысоко над водой аппарат Уточкина, который только что оторвался от земли и теперь, стрекоча мотором, медленно приближался к пароходу. Он пролетел совсем недалеко за кормой, так что в лучах заходящего солнца были отчетливо видны велосипедные колеса аэроплана, медный бак и между двумя желтыми полупрозрачными плоскостями согнутая фигурка самого Уточкина с ногами, повисшими над морем.

Поравнявшись с пароходом, отчаянный Уточкин сорвал с головы кожаный шлем и помахал им в воздухе.

— Ура! — закричал Петя и тоже было сорвал с головы шапку, но, вспомнив про письмо, нахлобучил ее еще крепче.

— Ура! — закричали пассажиры, размахивая кто чем мог, и летательный аппарат стал уменьшаться по направлению к Дофиновке, оставляя над заливом синюю струйку отработанного газа.

До этого времени Петя если и уезжал куда-нибудь из Одессы, то не дальше Екатеринослава, где раза два гостил у бабушки, или Аккермана, возле которого они каждый год проводили лето,— в Будаках, на берегу моря. В Екатеринослав ездили на поезде, а в Аккерман на пароходе «Тургенев», который казался чудом техники.

Теперь он плыл из Одессы в Неаполь на океанском пароходе. «Палермо», строго говоря, не был океанским пароходом. Но так как было известно, что ему случалось совершать рейсы и по океану, то Петя, сделав маленькую натяжку, уверил себя и с жаром уверял других, что «Палермо» настоящий океанский пароход.

Путешествие должно было продолжаться около двух недель — довольно долго для быстроходного лайнера, каким он изображался во всех проспектах и объявлениях.

Дело в том, что, продавая Василию Петровичу билеты, синьор в серой визитке весьма ловко умолчал о том, что «Палермо» пароход не вполне пассажирский, а скорее полугрузовой и должен делать продолжительные остановки в портах следования. Но это выяснилось только в Константинополе, где началась первая длительная погрузка, а до Константинополя плыли быстро и со всевозможным комфортом.

Петя сразу с головой окунулся в упоительную жизнь океанского парохода. Здесь все, каждая мелочь, волновало его своей особой ультрасовременной технической целесообразностью, соединенной со старинными романтическими формами парусного флота.

Ровный, непрерывный, напряженно-дрожащий звук паровых и электрических машин в тысячи индикаторных сил сливался со свежим, живым шумом волны, также непрерывно льющейся, волнисто бегущей по железным бортам. Крепкий ветер, насыщенный всеми запахами откры-

того моря, вольно посвистывал в вантах, и тот же самый ветер, раздувая брезентовые рукава вентиляционных кожухов, врывался в их разинутые жерла и потом дул то горячими, то холодными сквозняками машинного отделения и грузовых трюмов.

Здесь смешивались самые различные запахи: теплый, уютный запах полированного красного дерева кают-компаний и запах риполина, которым были выкрашены переборки коридоров; ароматы ресторана и дух горячей стали, машинного масла и сухого пара; смолисто-пеньковый запах матов и свежий запах соснового экстракта, которым опрыскивали из пульверизатора кафельные отдаленные комнаты с горячей и холодной водой. Здесь были тяжелые, качающиеся медные бра, со свечами под стеклянными колпаками, и элегантные матовые плафоны электрического освещения; стальные трапы и решетки машинного отделения и дубовая лестница с натертыми воском фигурными перилами и точеными балясинами, двумя широкими маршами ведущая в салон.

В первый же день Петя облазил весь пароход, все его таинственные закоулки и глубины угольных ям, где круглые сутки слабым накалом светились электрические лампочки, дрожа в проволочных сетках, как в мышеловках.

Чем глубже под палубу уводили мальчика почти отвесные трапы с очень скользкими, добела вытертыми стальными ступеньками, тем становилось неуютнее и грязнее. Под ногами сочилась черная, масляная вода, и тошнило от оглушительного стука машин, шороха гребного вала, безостановочно вращающегося в своем масляном ложе, и тяжелого трюмного воздуха.

В подводной части парохода жили и все время трудились механики, смазчики, кочегары. Иногда открывалась железная дверь кочегарки, и тогда Петю обдавало нестерпимым зноем топок. В адском пламени спекшегося раскаленного угля проворно двигались фигуры кочегаров с длинными ломами в руках. Петя видел их черные, потные лица, облитые багровым светом, и чувствовал ужас от одной только мысли остаться здесь хотя бы на пять минут.

Он поскорее шел дальше, скользя по стальным половикам, держась за маслянистые стальные поручни, спускался и поднимался по трапам, стараясь выбраться из этого страшного мира. Но не так-то легко это было сде-

лать. Оглушенный грохотом и тонким звоном тысячи индикаторных сил пароходной машины, разбушевавшейся где-то совсем рядом и лихорадочно сотрясающей тонкие переборки, Петя попадал в помещения, существование которых трудно было себе представить.

Петя знал, что, кроме пассажиров классных, есть еще палубные, но оказалось — существует еще одна категория пассажиров, так называемых трюмных. Они не имели права выходить даже на самую нижнюю палубу, где обычно везли скот. Они ехали на дощатых нарах в самой глубине одного из недогруженных трюмов.

Петя увидел груды какого-то грязного восточного тряпья, на котором сидели и лежали измученные качкой, дурным воздухом, полутьмой, шумом машин несколько турецких семейств, куда-то переезжающих вместе с детьми, медными кофейниками и цыплятами в больших деревянных клетках.

С трудом выбрался Петя на верхнюю палубу, на свежий морской воздух, и долго еще не мог прийти в себя.

Для пассажиров первого и второго классов жизнь на пароходе шла по твердо заведенному порядку: в восемь часов утра пожилая горничная в крахмальной наколке входила в каюту и, сказав баритоном: «Буон джорно», ставила на столик поднос с кофе и булочками; в полдень и в шесть часов вечера по коридору бесшумной рысью проносился официант с салфеткой под мышкой и, по очереди стуча в двери кают, кричал скороговоркой итальянской commedia dell'arte, раскатываясь на букве «р»:

— Пр-рего синьор-р-ри, манджар-р-ре! — что значило: «Пожалуйте кушать».

Для пассажиров первого класса полагался еще пятичасовой чай и поздний ужин. Но семейство Бачей, принадлежавшее к той золотой середине человеческого общества, которая обычно ездит во втором классе, было лишено этого преимущества.

Это оставило в душе неприятный осадок, в особенности у Пети и Павлика: за обедом пассажирам первого класса, кроме десерта, подавалось очень вкусное сладкое, даже иногда мороженое, а пассажиры второго класса довольствовались лишь одним десертом, состоящим из сыра и фруктов.

Первый и второй классы столовались в разных сало-

нах. Во втором классе за табльдотом председательствовал старший помощник, а в первом — сам капитан, личность, недоступная для простых смертных, поэтому несколько таинственная: его даже проныра Павлик видел за весь рейс всего несколько раз.

Зато старший помощник — весельчак и, судя по его глянцевитому лилово-розовому носу с древнеримской горбинкой, пьяница — был в полном смысле душа общества. Он так мило щипал Павлика под столом и называл его «маленьким руски», так предупредительно передавал дамам сыр и подливал мужчинам вина, так скрипел белоснежным, туго накрахмаленным кителем, поворачиваясь направо и налево и оделяя всех обедающих своими простодушными улыбками!

За обедом подавались настоящие итальянские макароны под томатным соусом, жаркое с гарниром «фаджоли», то есть фасолью, затем десерт — круглые мессинские апельсины с веточками и листиками, сморщенные лилово-зеленые фиги и свежий миндаль, который не кололся щипцами, а свободно разрезался столовым ножом вместе с его толстой зеленой шкуркой и еще мягкой скорлупкой.

Несколько смущало то обстоятельство, что кушанья подавал официант. Он просовывал мельхиоровое блюдо с левой руки, держа его на весу, и надо было самому себе брать, и от застенчивости брали гораздо меньше, чем хотелось.

Но решительно не понравилось и даже испугало Василия Петровича то, что к обеду полагалось вино — по бутылке на троих. Правда, это было слабенькое, довольно кислое итальянское винцо, и пассажиры пили его пополам с водой, но все равно Василию Петровичу показалось это ужасным. Увидев в первый раз перед своим кувертом толстую бутылку без этикетки, он затряс бородой и чуть было не крикнул лакею: «Уберите эту гадость!» — но вовремя сдержался и ограничился тем, что демонстративно отодвинул от себя вино.

Но впоследствии, попробовав его и убедившись, что пароходное общество вовсе не имело в виду спаивать своих пассажиров второго класса крепкими, дорогими винами, разрешил детям, чтобы не пропадало добро, за которое было заплачено, подкрашивать воду несколькими каплями вина.

Это ежедневное подкрашивание и составляло для Пети и Павлика одну из главных радостей обеда.

Из тяжелого запотевшего графина, насквозь промерзшего в пароходном рефрижераторе, в большой бокал наливалась ледяная вода, а потом туда прибавлялась тонкая струйка вина.

Вино смешивалось с водой не сразу. Оно сначала кружилось гарусными нитями, а уже потом распускалось, и тогда вода окрашивалась в яркий рубиновый цвет, а на крахмальной скатерти вспыхивала розовая качающаяся звезда.

15

СТАМБУЛ

Самым сильным впечатлением в первые дни путешествия — да, впрочем, и потом — был вид открытого моря. День и две ночи — между Одессой и Босфором — не было видно берегов. Пароход шел полным ходом, в то же время как бы неподвижно оставаясь в центре синего круга.

И, когда в полдень солнце стояло над головой, Пете трудно было понять, в каком направлении движется пароход. Было что-то упоительное в этой мнимой неподвижности, в отсутствии на горизонте земли, в этом торжестве двух синих стихий — воздуха и воды,— в которых как бы купалось все Петино существо, освобожденное от грубой власти земли.

На рассвете второго дня Петя проснулся от беготни над головой. Звонил пароходный колокол, машина не работала, и в непривычной тишине слышалось свежее, булькающее движение воды вдоль борта. Петя посмотрел в иллюминатор и в легком утреннем тумане близко увидел высокий зеленый берег с маленьким маяком и казармой под черепичной крышей.

Петя быстро оделся и побежал наверх. На спардеке рядом с капитаном стоял турецкий лоцман в красной феске, а пароход самым малым ходом втягивался в зеленое ущелье Босфора. Оно то расширялось, то сужалось, как извилистая река. Иногда берег так близко придвигался к пароходу, что Пете казалось — можно дотянуться до него рукой и потрогать надмогильные столбики мусульманского кладбища, беспорядочно и косо белеющие между черными кипарисами, маково-красный

флаг с полумесяцем над таможней или дерновые кронверки береговых батарей.

Это уже была Турция — заграница, чужбина, и вместе с острым любопытством Петя вдруг почувствовал мгновенный прилив никогда не испытанной им раньше острой тоски по родине, и это чувство уже не проходило до тех пор, пока Петя не вернулся в Россию.

Солнце уже поднялось довольно высоко, и жаркое отражение воды бегало по всему пароходу, от ватерлинии до кончиков мачт, когда вошли в Золотой Рог и остановились на константинопольском рейде.

С этой минуты семейством Бачей овладел род безумия, свойственный всем неопытным путешественникам. Им захотелось немедленно, не теряя ни одной минуты драгоценного времени, осмотреть все без исключения достопримечательности этого единственного в мире города, длинная панорама которого, полная знойного мерцания муравьиного движения толпы, так близко стояла перед глазами, со своими куполами приземистых, но тем не менее высоких мечетей, окруженных пиками минаретов.

Плюнув на завтрак и с нетерпением дождавшись, когда жуликоватый турецкий чиновник, получив несколько серебряных пиастров, поставил в паспорте какую-то закорючку, оказавшуюся, впрочем, знаком Османа, семейство Бачей спустилось по внешнему трапу и, раздираемое на части разбойниками-лодочниками, наконец кое-как упало на бархатные подушки ялика и было за две лиры привезено на набережную.

Все дальнейшее слилось для Пети в ощущение одного бесконечного, мучительно знойного трудового и в то же время праздничного дня, состоящего из чередования оглушительного, поистине восточного базарного шума и поистине восточной, скучной религиозной тишины огромных, как площади, пустынных дворов вокруг мечетей и каменного, музейного холода внутри них. Но и там и здесь надо было все время платить лиры, пиастры, пары и меджидиэ — монеты, восхищавшие мальчиков турецкими надписями и странным знаком Османа.

В Турции семейство Бачей впервые столкнулось со страшным явлением гидов, то есть проводников, показывающих туристам достопримечательности города. Гиды преследовали их в продолжение всего путешествия. Были

гиды греческие, итальянские, швейцарские. При всех своих национальных особенностях они имели одну общую черту — назойливость. Но у константинопольских гидов эта назойливость достигала высшего предела.

Едва ступив на мостовую константинопольской пристани, семейство Бачей сразу же подверглось нападению гидов. Так же как и лодочники, гиды рвали их на части, оспаривая, кому достанется добыча. Это была настоящая уличная свалка, почти побоище, на которое, впрочем, никто не обращал внимания, как на зрелище вполне обычное.

Со страшными проклятиями на всех языках и диалектах восточной части Средиземного моря гиды вырывали друг у друга бумажные манишки, со зверскими лицами замахивались тросточками, пихались локтями, становились задом и лягались.

В конце концов семейство Бачей досталось одному, наиболее влиятельному гиду, оттеснившему своих соперников при содействии знакомого полицейского. Он был в визитке, сильно полинявшей под мышками, в штучных полосатых брюках и красной феске. Его воинственно раздутые ноздри и жгучие усы янычара выражали решимость умереть, но победить, в то время как во всем остальном лице и в особенности испуганные глаза с абрикосовыми мешочками улыбались в страстном желании немедленно показать туристам решительно все достопримечательности Константинополя: Перу, Галату, Илдыз-киоск, фонтан змей, семибашенный замок, древний водопровод, катакомбы, бродячих собак, знаменитую мечеть Айя-София, мечеть султана Ахмеда, мечеть Сулеймана, мечеть Османа, Селима, Баязета и все двести двадцать семь больших и шестьсот шестьдесят четыре малых мечети — одним словом, все, что только пожелают осмотреть туристы.

Он втолкнул их в пароконный фаэтон, сверкающий раскаленной медью, а сам стал на подножку и, дико озираясь по сторонам, велел кучеру гнать во всю мочь...

Вечером до такой степени измучились и устали, что, пока наконец добрались до парохода, Павлик заснул уже в лодке, и матросу пришлось нести его по трапу до самой каюты.

Василий Петрович был не на шутку встревожен,

даже удручен безумными издержками этого дня, не говоря уже о том, что даром пропали оплаченные завтрак и обед. Было решено повести себя завтра умнее: обойтись без гида, своими средствами. Этому должно было способствовать то, что ночью «Палермо» перевели с рейда к пристани, где он пришвартовался для погрузки в числе десятка других пароходов.

Трудно было себе представить, чтобы гид отыскал их в этой однообразной пароходной тесноте. Они заснули мертвым сном в тесной, нагретой за день каюте, под грохот лебедок и при движущемся свете разноцветных рейдовых огней, проникавшем сквозь иллюминатор.

Разбуженные зеркальным блеском утреннего солнца и снова увидев перед собой волшебную панораму Стамбула, Василий Петрович и мальчики поторопились сойти на пристань. Это был последний день их стоянки, и надо было воспользоваться им как можно лучше.

Первый, кого они увидели на пристани, был гид, радостно приветствующий их взмахами бамбуковой трости над головой, а немного в стороне стоял фаэтон с покорной фигурой меднолицего македонца на козлах.

И повторился вчерашний день, с тем лишь добавлением, что под видом достопримечательностей гид стал таскать их по базарам и знакомым лавочкам, уговаривая покупать сувениры. Покупка сувениров оказалась столь же опасной и разорительной, как и осмотр достопримечательностей. Но семейство Бачей, оглушенное впечатлениями, уже вступило в ту стадию туристской горячки, когда люди теряют всякую волю и с лунатическим бездумьем подчиняются всем прихотям своего гида.

Они покупали пачки грубо раскрашенных открыток с видами тех же самых достопримечательностей, от которых изнемогали в действительности. Они платили пиастры и лиры за кипарисовые четки, за какие-то литые стеклянные шары с разноцветными спиралями в середине, за тропические раковины, за ножи для разрезания и алюминиевые перья, точно такие же, какие можно было купить в Одессе на выставке.

В ограде греческого монастыря афонские монахи всучили им за шесть пиастров желтый деревянный ящик с громадным увеличительным стеклом, через которое надо было рассматривать виды Афона.

Они очнулись лишь перед европейским кварталом Константинополя — среди роскошных магазинов, ресторанов, банков и посольств, утопающих в темной зелени южных садов. Гид тащил их в знакомый магазин фотографических принадлежностей покупать кодаки, а после покупки аппаратов предлагал семейству Бачей пообедать с ним в шикарном французском ресторане.

Но тут Василий Петрович снова очнулся, взбунтовался, и они, спасаясь от роскоши и разорения, ударились в другую крайность — в константинопольские трущобы, где увидели человеческую нищету, доведенную до крайности.

Впечатление от этих трущоб так тягостно подействовало на Петину душу, что мальчик не скоро пришел в себя. Даже поездка на азиатский берег, в Скутари, не сразу вернула Пете душевное спокойствие.

Маленький пароходик бежал через Босфор, разваливая носом зеленую воду и оставляя за собой две расходящиеся зеркальные морщины. Сотни яликов отражались в проливе, неподвижном, как озеро. Под их легкими тентами на бархатных подушках полулежали турецкие купцы, чиновники с портфелями и офицеры, едущие по делам в Скутари или обратно.

По всему заливу вспыхивали на солнце мокрые весла. С азиатского берега доносились степные запахи чебреца и тмина. А Пете все еще казалось, что он дышит смрадом трущоб и видит тучи зеленых мух над гноящимися глазами нищих стариков.

Едва причалили к пристани Скутари, как отдохнувший на пароходике гид с новой энергией бросился вперед, стараясь напоследок показать как можно больше местных достопримечательностей. Но силы наших путешественников уже окончательно иссякли.

Рядом был базар. Они набросились на прохладительные напитки. Несладкий лимонад со странным привкусом анисовых капель показался им райским напитком. Потом пили розовую ледяную воду, подкрашенную фуксином, и ели костяными ложечками из толстых стаканчиков разноцветное мороженое, какое обычно продавалось на пасху на Куликовом поле. Затем их внимание привлекли горы самых разнообразных восточных сладостей.

Василий Петрович всегда был противником того, чтобы детям давали много сладостей, которые портят

зубы и отбивают аппетит. Но здесь даже и он не мог устоять против искушения попробовать баклаву, плавающую в медовом сиропе на железных противнях, или соленые фисташки с костяной скорлупкой, лопнувшей на конце, как палец лайковой перчатки, откуда выглядывала темно-зеленая мякоть.

Восточные сладости вызывали жажду, а выпитые потом прохладительные напитки, в свою очередь, снова вызывали непреодолимое желание есть восточные сладости. Петя, хорошо помнивший случай с бабушкиным вареньем, вел себя в отношении восточных сладостей аккуратно. Зато Павлик не стеснялся. Он так разъелся, что его невозможно было остановить. Когда же отец решительно отказался больше покупать сласти, Павлик нырнул в базарную толпу и через некоторое время вынырнул, держа в руках довольно большую коробку самого лучшего рахат-лукума, оклеенную яркими лаковыми картинками.

— Где ты взял рахат-лукум? — грозно спросил отец.

— Купил,— ответил Павлик с независимой улыбкой.

— А деньги?

— У меня было полтора пиастра.

— Откуда ты их взял?

— Выиграл! — не без гордости сказал Павлик.

— Как — выиграл? Где? Когда? У кого?

И тут выяснилось, что во время переезда из Одессы в Константинополь, пока отец изучал путеводитель и уточнял бюджет путешествия, а Петя целые часы проводил на палубе, мечтательно подставив грудь в своей фланельке и полосатой тельняшке под широкий черноморский ветер, Павлик успел подружиться с итальянским официантом, был введен в общество ресторанной прислуги второго класса и помаленьку поигрывал с ними в лото, пустив в дело завалявшиеся русские три копейки, обмененные ему итальянским официантом на турецкую валюту. Павлику повезло, и он выиграл несколько пиастров.

Василий Петрович схватил Павлика за плечи и, не обращая внимания на то, что они находятся в центре большого азиатского базара, стал его трясти, крича:

— Как ты смел играть в азартные игры, негодный мальчишка! Сколько раз я тебе говорил, что порядочный

человек никогда не должен играть на деньги... тем более с... с иностранцами!

Павлик, которого уже начало слегка подташнивать от восточных сладостей, притворно захныкал, так как совершенно не разделял взглядов отца на игру в лото, к тому же еще такую удачную. Отец вспылил еще больше. И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы гид вдруг не посмотрел на свои шикарные часы накладного американского золота с четырьмя крышками. Оказалось, что до отхода «Палермо» остается не более двух часов.

Не хватало еще опоздать!

Семейство Бачей бросилось на пристань, не торгуясь нашло ялик и скоро очутилось на палубе парохода, который за это время уже погрузился и, готовый к отплытию, стоял на рейде и давал первый гудок.

Прощание же с гидом превратилось в настоящую драматическую сцену. Получив следуемые ему две лиры и стоя в качающейся лодке на своих выносливых ногах старого волка, в то время как Василий Петрович с семейством уже находился на штормтрапе, он начал просить бакшиш. Он и вообще отличался красноречием, свойственным его беспокойной профессии, но теперь он превзошел самого себя. Обычно он говорил одновременно на трех европейских языках, весьма ловко и своевременно вставляя самые необходимые русские слова. Теперь же он говорил главным образом по-русски, вставляя французские фразы, что придавало его речи экспрессию ложноклассических трагедий Расина и Корнеля.

Язык его монолога был темен, но смысл ясен. Протягивая руку, сверкающую медными перстнями с большими искусственными бриллиантами, с такой же страстью, с какой он описывал достопримечательности, он теперь описывал бедственное положение своей несчастной семьи, обремененной парализованной бабушкой и четырьмя малютками, лишенными молока и одежды. Он жаловался на старость, на плохие отношения с константинопольской полицией, которая отнимает у него почти все заработки, на хронический катар желудка, на чудовищные налоги и на конкуренцию, буквально убивающую его. Он умолял пожалеть дряхлого, необеспеченного турка, всю свою жизнь отдавшего служению туристам. Он горестно поднимал густые брови с проседью. По его щекам текли слезы.

Все это могло бы показаться обыкновенным шарлатанством, если бы не настоящее человеческое горе, светившееся в его испуганных каштановых глазах. Василий Петрович не выдержал, и в протянутую руку гида посыпалась последняя турецкая мелочь, которая нашлась в карманах Василия Петровича.

16
КУРИНЫЙ БУЛЬОН

Приближался вечер, а вместе с ним в неподвижном, отяжелевшем от зноя воздухе чувствовалось томительное созревание грозы. Она ниоткуда не шла, она как бы сама собой зарождалась над амфитеатром города, среди мечетей и минаретов. Когда со скрежетом поползла вверх стопудовая якорная цепь, а затем перегруженный пароход, осевший ниже ватерлинии, стал медленно поворачиваться на рейде, солнце уже потонуло в грозовых тучах. Сделалось так темно, что в каюте и салонах зажгли электричество. Из люков дохнуло горячими запахами кухни и машин. Панорама города, лишенного красок, еще больше усиливала грозовую зелень Золотого Рога.

Пароходные машины дышали тяжело, с натугой. Хотя поверхность воды казалась неподвижной, как литое стекло, пароход начало очень медленно покачивать.

Павлик, только что через силу съевший последний кубик рахат-лукума, густо посыпанного сахарной пудрой, который показался ему слишком мучнистым на вкус и как-то неприятно, слишком податливо-вязким, вдруг почувствовал во рту противную металлическую кислоту. Начало неудержимо сводить челюсти. Резко зеленая, прозрачная вода, чем-то напоминающая рахат-лукум, так тягостно поразила его зрение, что он зажмурился и тут же испытал ощущение полета на качелях. Он сделал усилие, чтобы выговорить «папа, я, кажется, отравился», но не успел, так как у него начался приступ морской болезни.

В это время как раз над самым полумесяцем Айя-Софии в угольно-черных тучах, среди минаретов, вспыхнула ломаная молния, и вслед за этим все вокруг потряс такой удар, как будто бы небо раскололось пополам и его обломки посыпались на город и на рейд. Пронесся вихрь, гоня по холмам смерчи пыли. Вода закипела. А когда,

обогнув Серай Бурну и зарываясь в пенистые волны, вошли в Мраморное море, то оно, все исписанное зигзагами шквалов, и впрямь показалось мраморным.

Но Мраморного моря Петя уже не увидел, так как его постигла участь Павлика. Они оба, белые как мел, пластом лежали в душной каюте. Отец метался между ними, не зная, что предпринять. А горничная-итальянка с привычной сноровкой бегала по коридору, меняя тазы.

Дело, конечно, было не только в качке и восточных сладостях. Мальчики переутомились от впечатлений, от жары, беготни, уличного шума. Морская болезнь скоро прошла, но поднялась температура — они горели, бредили. Пароходный доктор-итальянец осмотрел их со всеми традиционными приемами старого европейского врача-педанта: он сильно прижимал их языки серебряной ложкой, взятой в буфете первого класса; мял их голые животы опытными твердыми пальцами; выстукивал молоточком, выслушивал в трубку, а также без трубки, приложив к телу большое, мясистое ухо; крепко держал за пульс, следя за стрелкой больших золотых часов, в крышке которых с внутренней стороны отражался круглый иллюминатор и вода, быстро бегущая мимо него; грубовато шутил по-латыни с испуганным отцом, чтобы вдохнуть в него бодрость; ничего особенно опасного не нашел, но велел три дня оставаться в постели, дал слабительные порошки и милостиво удалился, прописав куриный бульон с сухарями и легкий омлет.

Последнее крайне взволновало Василия Петровича, так как еще в Одессе все знающие в один голос заклинали его ни в коем случае ничего не требовать из пароходного буфета сверх того, что входило в стоимость билета, потому что: «Вы не знаете этих мошенников: они вас обдерут как липку; они на этом только и отыгрываются; они вам насчитают бог знает что — и за сервировку, и за хлеб, и за подачу, и десять процентов пур буар, так что и не заметите, как останетесь без штанов».

Как ни ужасала Василия Петровича подобная перспектива, но все же он, порывшись в словаре, на ломаном итальянском языке заказал официанту две порции куриного бульона с сухарями и два омлета из ресторана, за отдельную плату.

Таким образом, мальчики пропустили не только Мра-

морное море и Дарданеллы, но также и Салоники, портовый шум которых и крики на разных языках — греческом, турецком, итальянском — слышали через иллюминатор, полуотвинченный ввиду сильной жары.

17
АКРОПОЛЬ

Пароход шел на юг вдоль Салоникского залива. Слева было открытое море, справа тянулись пустынные берега, на первом плане низкие, а дальше холмистые, переходящие в горную цепь с одной высокой вершиной, над которой плоско висела гряда кудрявых неподвижных облаков, как бы отлитых из гипса. Было в этой одинокой горе и в этих облаках, бросавших на нее голубые тени, что-то притягательное. Пассажиры рассматривали ее в бинокли с таким вниманием, как будто на ней должно было сию минуту произойти чудо.

Отец, прижимая одной рукой к груди красный томик путеводителя, а в другой держа бинокль, тоже смотрел на волшебную вершину. Когда Петя подошел, он с живостью повернул к сыну лицо с блестящими от восторга глазами, вложил в его руку маленький перламутровый бинокль покойной мамы и сказал:

— Смотри, дружок, это Олимп!

Петя не понял:

— Что?

— Олимп! — торжественно повторил Василий Петрович.

Петя подумал, что отец шутит, и засмеялся:

— Нет, серьезно?

— Тебе говорят — Олимп!

— Какой Олимп? Тот самый?

— А какой же еще?

И вдруг Петя с поразительной ясностью понял, что именно эта самая земля, которую он видит так близко от парохода, и есть древняя Пиэрия, а гора Олимп и есть тот самый Олимп Гомера, где некогда обитали греческие боги, довольно хорошо известные мальчику по сказкам древней истории.

А может быть, они и сейчас там обитают? Петя посмотрел в мамин бинокль, но, к сожалению, он был слиш-

ком слаб, для того чтобы сколько-нибудь заметно увеличить божественный Олимп. Петя только сумел рассмотреть отару овец, ползущую по ближнему склону как тень облака, и прямую фигуру пастуха, окруженного собаками. Но все же ему показалось, что он очень хорошо видит богов, так как одно облако напоминало полулежащую фигуру Зевса, а другое летело в развевающемся плаще, как Афина-Паллада, по всей вероятности спешащая к осажденной Трое на помощь Ахиллу...

Однажды летом Василий Петрович, чтобы расширить умственный кругозор своих мальчиков, прочитал им от доски до доски всю «Илиаду», так что теперь Пете было легко увидеть летящую Афину-Палладу. Но, значит, где-то здесь поблизости должна быть и самая Троя...

— Папочка, а где же Троя? Мы увидим Трою? — с волнением спросил Петя.

— Увы, мой друг,— сказал отец,— Троя осталась уже далеко позади, возле Дарданелл, и вы с Павликом ее уже больше никогда не увидите. — И назидательно добавил, намекая на печальный случай с восточными сладостями: — Так судьба наказывает жадность и обжорство.

Это, конечно, было справедливо, но все же Пете показалось, что судьба поступила слишком жестоко, лишив их из-за какого-то паршивого рахат-лукума счастья собственными глазами увидеть Трою. Впрочем, для того чтобы не слишком восстанавливать Петю против судьбы, Василий Петрович поспешил заметить, что все равно с парохода Трою не было видно, и мир между Петей и судьбой был восстановлен. Но зато, увидев через два дня Афины, Петя был с избытком вознагражден за потерю Трои.

Мучительно долго тянулись гористые пустынные берега длиннейшего греческого острова Эвбеи — сухого и каменистого. Но вот наконец он кончился. Ночью прошли какой-то пролив, видели в иллюминатор береговые маяки. Пароход несколько раз менял скорость, поворачивался. Заснули поздно, а когда утром проснулись, то пароход уже стоял на рейде Пирея, в виду Афин.

На этот раз Василий Петрович твердо решил обойтись без гидов.

Греческие гиды отличались от турецких тем, что были помельче и вместо алых фесок с черной кистью носили черные фесочки без кисти, а в руках держали янтарные

четки. Они не нападали на туристов, как воинственные магометане, в открытую, с воплями и проклятиями, а, как смиренные христиане, окружали молчаливой толпой и брали измором. Оказавшись в кольце греческих гидов, которые, перебирая свои янтарные четки, нежно, но молчаливо смотрели в лицо глазами, черными, как маслины, Василий Петрович не растерялся.

— Нет! — сказал он решительно по-русски и для большей убедительности прибавил еще по-французски и по-немецки: — Нон! Найн! — причем сделал ладонью такой энергичный жест, что Пете даже показалось, будто свистнул воздух.

Хотя это не произвело на греческих гидов никакого впечатления и они продолжали стоять вокруг со своими уныло висячими большими носами и перебирали четки, Василий Петрович крепко взял мальчиков за руки и решительно двинулся вперед. Гиды пошли тоже, не выпуская семейство Бачей из своего кольца. Не обращая на них внимания, Василий Петрович шагал по улицам Пирея с такой уверенностью, как будто это был его родной город. Недаром же он последние дни, вместо того чтобы наслаждаться морскими видами, все время сидел в каюте над планом Пирея и Афин. Удивленные гиды сделали робкую попытку втолкнуть семейство Бачей в один из больших дряхлых экипажей, следующих за ними по пятам, но Павлик так пронзительно закричал на всех гидов: «Пошли вон!» — что гиды немного отступили, хотя и не выпустили путешественников из заколдованного круга.

Ни разу не сбившись с дороги, они дошли до вокзала, купили билеты и на глазах у потрясенных гидов, столпившихся на перроне, уехали в Афины, которые оказались совсем рядом. В Афинах так же решительно и молчаливо они отыскали другой вокзал, откуда незамедлительно и отправились в древний город на дачном поезде с открытыми, летними вагончиками.

Взволнованное войной с гидами, одержанной победой и ожиданием нового нападения, семейство Бачей первое время почти не обращало внимания на окружающее. Но когда по ступенчатым улицам Василий Петрович и мальчики взобрались на гору, усеянную мраморными обломками, и вдруг увидели Акрополь, Парфенон, Пропилеи, маленький храм Бескрылой победы, Эрехтейон — все

эти постройки, как бы в беспорядке расставленные на холме и вместе с тем представляющие одно божественное целое,— они ахнули от изумления, от той ни с чем не сравнимой первоначальной красоты, которая потом уже породила тысячи подражаний и пошла гулять по свету, все более и более мельчая и приедаясь.

Как все грандиозные архитектурные сооружения, они сначала показались совсем небольшими и изящными на фоне дикого, пустынного неба такой яркости и синевы, что закружилась голова, как от полета в пропасть.

Это было царство мраморных, желтоватых от времени колонн и ступеней, рядом с которыми фигуры многочисленных туристов казались совсем маленькими.

О, как долго ждал Василий Петрович минуты, когда он собственными глазами увидит афинский Акрополь и прикоснется к его древнему мрамору! Это была мечта его жизни. Сколько раз он втайне предвкушал, как подведет своих детей к Парфенону и расскажет им о золотом веке Перикла и его гении — великом Фидии! Но действительность оказалась настолько грубее, проще и поэтому величественнее, что Василий Петрович ничего не был в состоянии сказать, а долго стоял молча, немного сгорбившись под тяжестью красоты, потрясшей его до слез.

Петя же и Павлик, не теряя времени, побежали по скользкой известняковой щебенке к Парфенону, удивляясь, что он стоит так близко, а бежать до него так далеко. Подсаживая друг друга и пугая ящериц, они взобрались на выветрившиеся ступени и очутились среди дорических колонн, сложенных как бы из колоссальных мраморных жерновов. Все вокруг слепило глаза полуденным блеском. Но зноя не чувствовалось, так как с Архипелага дул крепкий ветер. Далеко внизу мерцали черепичные крыши Афин, почти сливающиеся с Пиреем, виднелся порт, множество пароходов, лес корабельных мачт над крышами пакгаузов и на ярком рейде, осыпанном серебряным дождем полуденного солнца,— английский броненосец в шапке зловещего дыма.

С другой стороны, еще дальше внизу, за холмами, синел Петалийский залив, а с третьей, совсем далеко, виднелась полоска еще одного залива — Коринфского, густого, как синька, по-южному пламенного и еще более древнего, чем сама Эллада.

Здесь можно было неподвижно простоять до вечера, не испытывая ни усталости, ни скуки, ничего земного, кроме чувства невероятной красоты, созданной человеком.

18
НОВАЯ ШЛЯПА

Однако надо было торопиться. Пароход отходил в пять часов, а Василий Петрович еще рассчитывал показать мальчикам афинские музеи. И он их показал. Но, конечно, ни мраморные изваяния богов и героев, ни глиняные черепки за стеклами музейных витрин, ни танагрские статуэтки, ни дивной красоты амфоры и плоские чаши, расписанные по черному фону красными и белыми фигурами, уже ничего не могли прибавить к восторгу, вызванному видом Акрополя.

Очутившись опять в Пирее, в узких портовых улицах, по-восточному живописных, но тоже уже ничего не прибавлявших нового к тому, что на первых порах так поражало в Константинополе, семейство Бачей рискнуло зайти в кофейню выпить по чашке греческого кофе.

Здесь было не так жарко, как на улице, пахло кипящим кофе, анисом, жареной бараниной и еще чем-то пряным, овощным и до такой степени вкусным, что у проголодавшихся мальчиков потекли слюнки. Мысленно прикинув, во сколько драхм все это может обойтись, Василий Петрович решил заказать две порции на троих чего-нибудь по-гречески. Маленькая усатая гречанка, вся в черном, толстенькая и добрая, вытерла кухонным полотенцем мраморный столик и поставила рагу из баранины с греческим соусом.

Только теперь семейство Бачей поняло, что̀ можно сделать из небольшого количества синих баклажан, красных помидоров, зеленого перца, петрушки и настоящего оливкового масла.

Пока они, нацепив на железные вилки кусочки хлеба, начисто вытирали с тарелок остатки янтарного соуса, добрая гречанка с грустной материнской нежностью гладила Павлика по голове смуглой, как бы закопченной рукой с печатным афонским колечком и все время говорила по-русски:

— Ку́сай, мальцик, ку́сай!

Когда же они насытились, она убрала со стола, снова вытерла мраморную доску и скромно удалилась за прилавок под икону с горящей лампадкой и пальмовой веткой, а ее место возле столика занял ее супруг, хозяин кофейни, который принес на подносе три маленькие дымящиеся чашечки, три стакана свежей воды, три блюдечка с греческим печеньем «Курабье» и три блюдечка зеленоватого померанцевого варенья с орехами. Кроме того, он на ломаном русском языке предложил Василию Петровичу кальян, от которого Василий Петрович в смятении отказался. В этой маленькой пирейской кофейне было очень хорошо и как-то по-семейному покойно. На окнах — кружевные домашние занавески, на стенах — бумажные обои, в бамбуковой клетке брызгала водой и заливалась своими однообразными трелями канарейка.

В кофейне были и другие посетители, но они сидели за своими столиками так чинно и незаметно, что нисколько не нарушали семейного характера заведения. Перед каждым из них стояли чашечка кофе и стакан воды, но они редко к ним притрагивались, а молчаливо играли в домино, перебирали четки или читали греческие газеты, так что были похожи скорее на родственников, чем на посетителей. Даже портреты греческого короля и королевы над дверью в кухню не имели официального характера, а их легко можно было принять за увеличенные фотографии дедушки и бабушки в молодости. И было трудно себе представить, что мраморный ковчег Парфенона, сияющий на вершине горы совсем недалеко отсюда, создан руками предков этих самых мирных греков, передвигающих по мрамору столиков черные плитки домино и посасывающих змеевидную трубку булькающего кальяна.

Пока семейство Бачей пило густой кофе с каймаком, хозяин стоял возле столика и занимал их, как иностранцев, приятным разговором на русском языке. Оказалось, что его родная сестра замужем за старшим сыном владельца греческой пекарни в Одессе Фемистокла Криади и что сам он тоже три года жил в Одессе, когда был маленьким мальчиком, и что его дедушка был членом греческого тайного общества Гетерия и тоже некогда проживал в Одессе, а потом сражался за свободу Греции и был расстрелян турками.

Вероятно, он принимал Василия Петровича за русского революционера, убежавшего за границу, и поэтому все время весьма неодобрительно отзывался о русском правительстве, поносил Николая Кровавого и уверял, что в России скоро будет опять революция, и тогда для всех наступит свобода, а царских сатрапов повесят.

Василий Петрович чувствовал себя крайне неловко и несколько раз испуганно озирался по сторонам, но хозяин каждый раз его успокаивал, уверяя, что все честные греки сочувствуют русской революции и скоро у себя в Греции тоже сделают революцию и тогда уже окончательно разделаются с турками. Говорил он по-русски совершенно так, как грек Дымба из чеховской «Свадьбы» — «которая Россия и которая Греция»,— так что мальчики с трудом сдерживали смех, а Павлик даже зажал себе нос, чтобы не фыркнуть. Но отец грозно постучал обручальным кольцом по мраморному столику, и они успокоились.

Пока пили кофе, несколько раз в кофейню заходили уличные торговцы и предлагали иностранцам свои товары. Один, весь увешанный длинными нитками с нанизанными на них сухими губками, держал в руках банку, где среди водорослей плавали померанцево-красные рыбки, такие яркие, что вся кофейня вдруг странно осветилась и стала похожа на подводное царство. Другой был увешан твердыми туфельками с загнутыми вверх носками, а в руках держал розовые и голубые газовые шарфы, превратившие на миг бедную греческую кофейню в лавку «Тысячи и одной ночи».

Сириец с коврами еще больше подтвердил это сходство, а когда появился продавец халатов и медной посуды, то уже невозможно было сомневаться, что семейство Бачей находится не в Пирее, а в Багдаде, а хозяин-грек есть не кто иной, как переодетый Гарун аль Рашид.

Однако появление продавца восточных сладостей, разложившего на полу свои пестрые лакированные коробки с халвой, рахат-лукумом и финиками, так испугало мальчиков — в особенности Павлика, почувствовавшего во рту опасную кислоту,— что видения мигом рассеялись.

Как ни твердо решил Василий Петрович ничего не покупать, все же без покупок дело не обошлось. Правда, покупка была совсем не дорогая, но зато крайне нужная. У продавца головных уборов купили для Пети широкопо-

лую шляпу из греческой соломы. Хотя она не вполне подходила к матросскому костюму, но больше невозможно было носить теплую матросскую шапку. Голова мальчика все время потела, горячие капли постоянно ползли из-под шапки по вискам, по бровям, по шее. Шапка так пропотела, что едва успевала высыхать за ночь. Василий Петрович боялся, что в конце концов мальчика хватит тепловой удар.

Пете жаль было расставаться с шапкой, делавшей его похожим на пятнадцатилетнего капитана. Но, посмотрев на себя в засиженное мухами зеркало, он увидел, что стал теперь похож на бура. Во всяком случае, такие же большие шляпы — впрочем, кажется, не соломенные, а войлочные — носили бурские генералы, портреты которых Петя часто рассматривал в старой «Ниве» времен англо-бурской войны. Не хватало только карабина и патронташа.

— Вот теперь ты настоящий молодой бур,— сказал отец, и это решило дело.

Почувствовав себя молодым буром, Петя стал принимать перед зеркалом воинственные позы, и ему захотелось поскорее пройтись по Пирею в новом виде. Как раз в это время из порта донесся длинный пароходный гудок, и наши путешественники сразу узнали густой итальянский баритон «Палермо», к которому уже настолько привыкли, что могли бы его узнать из тысячи других. И, оставив на мраморном столике несколько греческих драхм, они поспешили на пристань.

«Палермо» уже стоял на рейде.

Вдруг Петя вспомнил, что забыл в кофейне старую шапку с письмом за подкладкой, и похолодел. Не говоря ни слова, он бросился назад. Ни отец, ни Павлик сначала этого не заметили. Отсутствие Пети обнаружилось при посадке в баркас. Случилось то, чего больше всего опасался Василий Петрович: потерялся ребенок!

Между тем Петя сломя голову бегал по узким портовым переулкам Пирея, разыскивая кофейню. Но переулки были так похожи один на другой и всюду было так много кофеен, что через десять минут Петя понял, что заблудился. Потеряв всякое представление о расположении кварталов и проклиная себя за то, что, увлекшись новой шляпой, он забыл о старой, мальчик вбегал без разбору

во все кофейни подряд и всюду видел одно и то же: мраморные столики, портреты греческих короля и королевы, домино, дымящиеся чашечки, булькающие кальяны, бумажные обои, кружевные занавески, маленьких усатых гречанок-хозяек за прилавком, под иконой с пальмовой веткой и зажженной лампадкой, и греков-хозяев, углубленных в чтение греческой газеты.

Петя с жаром объяснял по-русски и почему-то по-французски, что забыл шапку, но его никто не понимал, так как греки плохо понимали по-русски, а Петя еще хуже говорил по-французски. Петя вспомнил Ближние Мельницы, Терентия, Синичкина. Он так ясно увидел Гаврика, вкладывающего письмо за подкладку матросской шапки, сшитой дядей Федей... Теперь он отлично понимал, что дядя Федя умышленно оставил в подкладке прореху для письма. Петя понял, что ему было поручено очень важное дело. На него так рассчитывали, а он поступил, как легкомысленный, тщеславный мальчишка, вообразивший, что в этой глупой греческой шляпе он похож на бура.

Ему стало так досадно на себя и так стыдно, что он чуть не заплакал. Чувствуя, как новая соломенная шляпа, ставшая ему уже ненавистной, колотится на резинке за спиной, Петя бегал по переулкам среди разносчиков, осликов, навьюченных корзинами с фруктами, мороженщиков, уличных цирюльников, но никак не мог найти знакомую кофейню. Он забыл обо всем на свете, и неизвестно, чем бы это кончилось, если бы вдруг он не услышал третий гудок «Палермо». Он побежал по направлению этого гудка и очутился на пристани, где отец что-то объяснял по самоучителю греческого языка портовому надзирателю в мундире и твердом кепи с галунами.

— Вот он! Наконец! — закричал Василий Петрович, с такой силой потрясая над головой самоучителем, что с его носа свалилось пенсне и закачалось на шнурке.— Негодный мальчишка! Как ты смел? Где ты шлялся?

— Я забыл свою шапку,— задыхаясь, бормотал Петя,— я ее всюду искал... И ее нигде нет... Я не мог найти нашу кофейню...

— Как! — еще громче закричал отец.— Из-за какой-то отвратительной, мерзкой шапки!..

— Папочка, она не мерзкая! — жалобно бормотал Петя.

— Мерзкая! — загремел отец.

— Ах, папочка, ты ничего не понимаешь! — простонал Петя.

— Я не понимаю? — сказал отец и, выставив нижнюю челюсть с трясущейся бородой, схватил мальчика за плечи.

Он уже начал его трясти, приговаривая: «Я не понимаю? Я не понимаю?» — как в это самое время на пристани появилась усатая гречанка со свертком в руке.

— Мальцик,— сказала она с ласковой грустью,—ти забил у нас свою сапоцку. Ай-яй-яй! У нас в Афинах зарко, а ноцью на вапоре в Архипелаге тебе будет холодно, твоя головка замерзнет. Нá твою сапоцку.

Петя схватил шапку, завернутую в старый номер афинской газеты на французском языке — «Ле мессажер д'Атен», но даже не успел поблагодарить добрую гречанку, так как отец швырнул его в лодку, которая домчала семейство Бачей к борту парохода в тот самый момент, когда уже начинали убирать штормтрап. А через час «вапора», как называла на итало-греческий лад русское слово «пароход» добрая гречанка, уже поравнялся с островом Эгина, и Афины потонули за кормой в смешении чудных красок средиземноморского заката.

Но Петя этого не видел. Он сидел в каюте, перекладывая немного помявшееся и пропотевшее письмо из матросской шапки во внутренний карман своего альпийского мешка. На конверте было написано по-французски: W. Oulianoff. 4. Rue Marie Rose. Paris XIV».

19

ПУСТЫННЫЙ КРУГ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

Долго огибали и наконец обогнули Грецию — мыс Малею, самую южную точку Европы [1]. Последний остров, похожий на краюху сухого хлеба, потонул в лиловой зыби Архипелага. Двое суток не было видно берегов. Солнце всходило и заходило, а пустынный круг Средиземного моря казался одинаково неподвижным, только все время менял тона — от темно-голубого на рассвете, до ярко-синего днем и лилового с медным отливом на закате, но без малейшей примеси зеленого, как в Черном море.

[1] Теперь самой южной точкой Европы считается южная оконечность Испании — мыс Марроки.

Здесь уже чувствовалась близость Африки, громадного раскаленного материка, и если бы не ветер — правда, тоже горячий, но все же смягченный морем,— то было бы нелегко переносить эту серьезную, почти тропическую жару.

Ветер гнал длинные гладкие волны Ионического моря. Палуба медленно и плавно переваливалась, но не слишком, так что это было даже приятно. Машины работали ровно. Время от времени на баке появлялись закончившие вахту кочегары и обливали друг друга из брандспойта морской водой. Петя уже привык узнавать время по кочегарам. Но, в сущности, было все равно, который теперь час. Время казалось так же неподвижно, как и сам пароход посередине синего круга.

Петя ходил по всему пароходу. Особенно странно было пробираться по грузовой палубе, где везли стадо коров. Петя шел, как по скотному двору, в узком проходе между коровьими хвостами. Коровы лениво переставляли свои раздвоенные копыта, в щели которых продавливалась навозная жижа. Под ногами Петя с удовольствием чувствовал не твердые доски палубы, а упругий слой соломенной подстилки.

Часть палубы была занята штабелями прессованного сена, закрывавшими вид на море. Нагретое африканским солнцем, сено густо источало все свои степные запахи. Петя вытаскивал из плотной кипы сухой, слежавшийся стебель шалфея или репейника, растирал между ладонями, нюхал, и тогда ему казалось, что он не на пароходе в Средиземном море, а где-то в Бессарабии, в Будаках. И это было очень странно и необыкновенно приятно.

Приятно также было пробраться мимо сигнального колокола на самый нос парохода, лечь на горячие доски палубы, осторожно высунуть голову за борт и посмотреть глубоко вниз. Там из клюза выглядывала чудовищная лапа якоря, а еще ниже было видно, как с неуклонным постоянством форштевень парохода одну за другой разбивает волны. Оттуда в лицо летела соленая водяная пыль, обдавало железистым запахом глубоко взрытых волн, а ниже ватерлинии сквозь льющийся сапфир грубо просвечивал сурик пароходного киля. Только здесь полностью ощущалось движение парохода, вся его скорость,

вызывавшая приятное головокружение, как на карусели. Петя готов был часами смотреть вниз на стремительно мелькающую воду и в то же время слушать звуки мандолины, на которой играл, сидя верхом на якорной цепи, сменившийся с вахты молоденький итальянский кочегар Пьерипо, с ярко-белыми зубами и курчавой шевелюрой, синей, как ежевика. В нежной, глуховатой трели мандолины было уже предчувствие Италии.

И наконец Петя ее увидел. Рано утром на горизонте показался мутный конус. Это была вершина Этны. Скоро она выросла, расширилась, из моря выплыла полоса гористой земли — Сицилия.

По мере приближения к берегу обнаруживался ее мрачный, вулканический характер, так не похожий на ту Италию, которую представлял себе Петя.

Уже был виден простым глазом расположенный на горном склоне город Катания и порт, со всех сторон окруженный наплывами черной окаменевшей лавы, которая опускалась в воду, мрачную от ее отражений.

Неприветливо встретила Италия наших путешественников: дул сирокко, или, как произносят итальянцы, «широкко», очень горячий, сухой африканский ветер. Термометр показывал около сорока пяти градусов жары. По улицам, точно так же, как в Одессе, выложенным плитками лавы или просто вырубленным в ее окаменевших потоках, неслись клубы пыли. Небо было тусклое, желтоватое, со свинцовым отливом. Мулы и лошади с красными чехольчиками на ушах, запряженные в нарядные экипажи, понуро стояли на площади, и ветер загибал в одну сторону струю фонтана и их пыльные хвосты.

Редкие прохожие медленно двигались по улицам, охваченные апатией. Даже гиды, сидящие на краю фонтана, не в силах были подойти к путешественникам и только делали издали вялые знаки и показывали пачки открыток.

В городском саду слышался жестяной шелест пальм со сбитыми на сторону верхушками. Тускло мерцала почти черная листва магнолий; в аллеях валялись ее сломанные ветки с громадными восковыми цветами, уже мертвыми и покрытыми коричневыми пятнами гниения; в пиниях и лаврах билась разорванная вуаль серой паутины, и над всем этим чувствовалось давящее присутствие Этны.

Лучше всего было бы вернуться на пароход. Но, вы-

читав в путеводителе, что Катания расположена на месте древнего города Катана, совершенно покрытого лавой, от которого, впрочем, сохранились остатки Форума, театра и других архитектурных сооружений древних римлян, Василий Петрович во что бы то ни стало пожелал показать их детям.

Они долго поднимались против ветра, изнемогая от зноя и обливаясь потом, по улицам, все время трудно идущим в гору, пока наконец не увидели эти достопримечательности. Но мальчики так измучились, что уже не могли ничего ни понять, ни оценить.

В музей не пошли. Им казалось, что они целую вечность бродят по этому зловещему городу и что за это время пароход, наверно, уже разгрузился и погрузился и можно будет плыть дальше.

Но под влиянием сирокко портовые работы шли втрое медленнее, чем обычно. Лишь недавно окончили выгружать скот, и, для того чтобы попасть на пароход, пришлось пробираться через стадо измученных коров, которые уже не в состоянии были даже мычать, а только смотрели на Петину соломенную шляпу слезящимися глазами, в то время как сирокко круто загибал их хвосты и свистел в рогах.

20

МЕССИНА

Но зато как все чудесно изменилось, когда на следующий день вошли в Мессинский пролив и бросили якорь на рейде против города Мессины!

Здесь уже была живописная Италия общеизвестных акварелей и олеографий. Синее небо, еще более синее море, косые паруса, скалы и берега в апельсиновых и маслиновых рощах.

С рейда город Мессина также выглядел по-сицилийски красиво, заманчиво, однако Пете на миг почудилось что-то тревожное в расположении и количестве домов. Их показалось гораздо меньше, чем могло быть. Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в беспорядочных зарослях. Даже в самом названии «Мессина» как будто заключалось что-то ужасное. И лишь когда высадились на пристань, Петя увидел, что больше половины города представляет собой развалины.

Тогда он вдруг вспомнил слова, которые три года назад с ужасом повторял весь мир: мессинское землетрясение. Он сам не раз говорил это, но плохо понимал, что это значит. Он уже видел развалины Византии, древней Греции, владений древних римлян, но то были живописные камни, исторические памятники — не больше; они разрушались медленно, в течение тысячелетий. Они поражали воображение, но оставляли душу холодной. Теперь же Петя увидел кучи нового строительного мусора, который еще совсем недавно был кварталами жилых домов.

Разрушение города и гибель десятков тысяч людей произошли в течение нескольких минут и не оставили после себя ни крепостных башен, ни мраморных колоннад, ничего, кроме жалких обломков квартирных перегородок с клочьями мещанских обоев, дранки, битого стекла и скрученных железных кроватей, поросших теперь дерезой и пасленом. Это был первый разрушенный город, который видел Петя. Не какой-нибудь великий, древний, из учебника истории, а самый обыкновенный, даже не очень большой современный итальянский город, населенный самыми обыкновенными итальянцами.

И через очень много лет, когда Петя, будучи уже взрослым, даже пожилым человеком, с ужасом увидел разрушенные города Европы, он все же не мог забыть развалины Мессины.

Всюду виднелась ужасающая итальянская нищета, полускрытая южной растительностью и смягченная яркими красками сицилийского лета. Большинство мессинских жителей до сих пор ютились во временных бараках, палатках, хижинах, сколоченных из остатков домов. Всюду висело на веревках разноцветное тряпье. Козы ходили по заросшим, мусорным холмам. Почти голые дети с блестящими, как антрацит, калабрийскими глазами бегали по разрушенным улицам и копались в развалинах, все еще надеясь найти там что-нибудь ценное.

На месте разрушенных магазинов стояли сарайчики, в которых торговали открытками, лимонадом, углем, маслинами...

Семейство Бачей шло по раскаленным улицам этого полумертвого города, окруженное толпой рыбаков, лодочников и детей. Они хватали путешественников за руки, улыбались и, заглядывая в лицо, сыпали трескучим

итальянским речитативом. Это не были ни гиды, ни нищие, и невозможно было понять, чего они добиваются. Они с особенным оживлением трогали Петину фланельку и гладили его матросский воротник, на все лады повторяя: «Маринайо руссо, маринайо руссо!»

Василий Петрович вспомнил: во время землетрясения на мессинском рейде стояла русская эскадра, и русские моряки проявили много самоотверженного героизма, спасая жителей гибнущего города.

Теперь, увидев Петину фланельку флотского образца и узнав по многим признакам в семействе Бачей русских, жители города выражали русским людям и в особенности маленькому русскому матросу чувства восхищения и признательности.

Они описывали непонятными словами, но понятными жестами страшную картину землетрясения и подвиги русских моряков, бросавшихся в горящие дома и выкапывающих из-под развалин гибнувших итальянцев.

В толпу ворвалась старая, седая итальянка, в лохмотьях, с большим глиняным кувшином за спиной, и подала семейству Бачей на подносе три стакана свежей воды — аква-фреска! — единственное, чем она могла выразить свою благодарность русским. Петино сердце наполнилось чувством гордости, и он пожалел, что не надел матросскую шапку, сшитую дядей Федей, а еще больше пожалел, что на этой шапке не было георгиевской ленты.

— Грацие, руссо! — повторяли итальянцы, пожимая руки Василию Петровичу, Пете и Павлику, и это было вполне понятно.

Но еще слышалось и нечто другое:

— Эввива ла революционе, эввива ла репубблика русса!

Вероятно, растрепанная бородка Василия Петровича, его пенсне в стальной оправе, демократическая косоворотка под чесучовым пиджаком создали в глазах мессинских лодочников и рыбаков фигуру русского революционера, освещенного отдаленным заревом тысяча девятьсот пятого года — немеркнущей славой Пресни и броненосца «Потемкин».

Вечером «Палермо» поднял якорь и, пройдя Мессинский пролив, вышел в Тирренское море, прямым курсом на Неаполь — конечный пункт своего рейса.

21
ПЛИНИЙ-МЛАДШИЙ

Душная ночь была так черна, что даже огромное звездное небо не могло хоть сколько-нибудь рассеять тьму, среди которой как бы висел пароход. Только светящаяся, снежно-белая пена за кормой, чуть заметное, плавное перемещение палубы под ногами да шорох бегущих по бортам волн давали представление о том, что пароход плывет по воде, а не летит.

Может быть, потому, что это была последняя ночь на пароходе, Петя долго не мог заснуть, а все прохаживался по своему любимому месту, на спардеке, возле рулевого отделения. Неподвижный, как статуя, матрос стоял, положив руки на рога рулевого колеса. Петя любил следить за его действиями, подстерегая тот непонятный, таинственный миг, когда вдруг без всякой явной причины матрос, перебирая руками, немного поворачивал рулевое колесо.

Оно поворачивалось легко, бесшумно, но тотчас же где-то недалеко внизу, под ногами, начинал работать двигатель, слышались короткие отсечки пара, гремела цепь и вдоль бортов в своих масляных гнездах ползли стальные прутья, немного поворачивая руль. Это означало, что пароход сошел с румба и рулевой выправляет курс.

Было нечто весьма странное в том, что пароход все шел, шел верно по курсу и вдруг начал отклоняться. Какие таинственные силы природы влияли на его прямое механическое движение? Ветер? Подводные течения? Вращение Земли? Петя не знал этого, но одно лишь сознание, что где-то вокруг все время существуют и действуют эти незримые силы и что с ними можно бороться, внушало Пете уважение к рулевому, а еще большее уважение к компасу, на который время от времени поглядывал рулевой.

Только теперь мальчик вполне понял великое значение компаса, этого волшебно простого прибора, созданного человеческим гением для борьбы с темными силами природы. Возле рулевого колеса на чугунной подставке стоял медный котел, в котором под стеклом, ярко освещенный скрытыми электрическими лампочками, виднелся как бы свободно висящий бумажный круг, надетый на

спицу — картушка,— с делениями румбов, градусов и десятых долей градуса. Медная линейка, поставленная штурманом, определяла курс, и стоило пароходу хоть немного от него отклониться, как смещались деления и рулевой тотчас его выправлял.

В данное время медная линейка была поставлена прямо на Неаполь. И, хотя вокруг было непроглядно темно, как в угольной яме, пароход уверенно шел вперед самым полным ходом, желая наверстать время, потерянное на стоянках.

Вдруг Петя увидел далеко впереди странный огонь, не похожий ни на маяк, ни на топовый огонь встречного корабля. Он был почти красный и какой-то неправильный. Некоторое время он подержался и погас, но минуты через две снова зажегся, подержался и снова погас, и так все время через равные промежутки времени медленно гас и медленно зажигался, становясь все крупнее. Это было похоже на то, как берут в рот тлеющую спичку, дышат, и уголек жарко рдеет сквозь зубы.

Теперь уже слегка освещались волны и нижние края темного ночного облака, и казалось, что оттуда пышет жаром.

— Ой, что это? — испуганно воскликнул Петя.

— Стромболи,— сказал знакомый голос старшего помощника, появившегося на спардеке.— Иль фа́мозо вулкано Стромболи! — повторил он патетически и протянул Пете большой морской бинокль, в черных стеклах которого бегло отразился красный огонь Стромболи.

Петя посмотрел в бинокль на вулкан, уже поравнявшийся с пароходом. Как раз в это время из него, как из самоварной трубы, летел огонь, отчетливо освещая кромку кратера, и Пете даже показалось, что он слышит подводный гул и чувствует вулканический жар, но это было всего лишь плодом его воображения.

Вскоре Стромболи незаметно отошел назад, но долго еще среди кромешной тьмы виднелось его огненное дыхание, угрюмо озаряя волны и облака.

Буйная радость бушевала в Петином сердце: он собственными глазами видел огнедышащую гору, самый настоящий вулкан! Далеко не каждый гимназист мог этим похвастаться. Да что там гимназист! Наверное, ни один учитель никогда в жизни так близко не видел настоя-

щего вулкана. Даже учитель географии, даже сам директор. Попечитель учебного округа, может быть, и видел, но инспектор казенных гимназий — вряд ли. Боже мой, что скажет тетя, когда узнает, что Петя видел вулкан! Что запоют знакомые! Тут уж даже Гаврик не посмеет презрительно сморщить нос и сказать, пустив через зубы длинную струю: «Брешешь». Жалко, что нет свидетелей, кроме рулевого и старшего помощника. Впрочем, это даже лучше, что папа и Павлик проспали вулкан. Теперь из всего семейства Бачей на стороне Пети будет полное преимущество.

Петя подождал, пока вулкан окончательно скрылся, и лишь тогда бросился со спардека вниз, предвкушая унижение Павлика и свой триумф, когда он ворвется в каюту и скажет: «Ага, я только что видел вулкан, а ты проспал!»

Но, увы, триумф не состоялся: все пассажиры уже давно были на палубах, а Павлик, разбуженный своим другом-официантом, стоял на корме, положив подбородок на поручни, и с притворным вниманием выслушивал популярную лекцию Василия Петровича о только что увиденном вулкане.

Тогда Петя отправился в каюту, для того чтобы первым известить тетю о виденном зрелище. Он достал из мешка самую лучшую константинопольскую открытку с изображением галатской башни и написал: «Дорогая тетечка! Вы себе даже не можете вообразить, что со мной произошло! Вы, конечно, не поверите, но только что я собственными глазами видел настоящий действующий вулкан...»

Петя остановился, немного поторговался со своей совестью и решительно прибавил: «Он извергался!..»

Впрочем, Петя уже и сам верил, что вулкан извергался. Когда Петя брался за карандаш, его так распирало от впечатлений, что мальчик готов был заполнить всю открытку вдоль и поперек роскошнейшим описанием извержения вулкана в открытом море. Но едва он написал эти торжественные слова, как тут же его вдохновение иссякло.

В сущности, об извержении вулкана все уже было написано в учебнике географии Плинием-младшим, и Петя не решился соперничать с этим выдающимся римским писателем своего времени, тем более что Плиний-младший

описал действительное извержение вулкана, а Петя должен был описать извержение воображаемое.

Поэтому после слов «он извергался» Петя поставил: «Любящий Вас племянник Петя», и спрятал открытку в мешок, рассчитывая при первом удобном случае бросить ее в почтовый ящик.

Таким образом, Петино описание извержения вулкана хотя и сильно уступало Плинию-младшему в достоверности, но зато безусловно превзошло его поистине классическим лаконизмом.

22

НЕАПОЛЬ И НЕАПОЛИТАНЦЫ

Днем впереди появилось несколько высоких скалистых островков. В серебряном сиянии полуденного солнца, ослепляющем глаза, они казались воздушными силуэтами разных оттенков голубого цвета: ближние — темнее, дальние — светлее.

Пароход шел самым полным ходом. Освободившись по дороге от всех своих трюмных пассажиров, с начисто вымытыми морской водой и песком грузовыми палубами, жарко сверкающий медью порогов и трапов, свежей краской спасательных кругов и шлюпок, покрытых крепко зашнурованным брезентом, с весело развевающимся итальянским флагом за кормой, «Палермо» снова приобрел щегольской вид океанского пассажирского парохода.

— Капри, Искья, Прочида,— называл Василий Петрович острова, мимо которых пароход входил в Неаполитанский залив.

— Везувий! — во все горло закричал Павлик.

Действительно, это был Везувий. Его серо-голубой силуэт с двумя пологими вершинами и сернистым дымом над одной из них явственно проступал из солнечного марева. Оно редело на глазах, уничтожалось, открывая город Неаполь и сотни пароходов в порту и на рейде.

А уже на «Палермо» налетела стая чаек, и красивые белые птицы скользили на раскинутых крыльях, хватая на лету остатки зелени, выброшенной из кухонного иллюминатора. По правде сказать, Пете уже порядком надоел пароход. Заключавший в себе сначала столько нового и даже таинственного, теперь, в конце длинного рейса, он уже потерял в глазах Пети почти всякий интерес. Но,

сойдя на мощеный двор неаполитанской таможни, Петя, как шильонский узник, вдруг пожалел о своей тюрьме.

Мальчик почувствовал, что ему трудно расстаться с надоевшим пароходом, со всеми его прелестными закоулками, с его особыми запахами и даже с очень длинными и очень узкими некрашеными буковыми досками палубы, всегда добела вымытыми с песком, щели между которыми были залиты смолой.

Во время таможенного досмотра Петя все время боялся, что итальянский чиновник найдет в его мешке письмо и тогда произойдет что-то ужасное. Но более чем скромный багаж семейства Бачей не привлек никакого внимания со стороны таможенного начальства. Напрасно Василий Петрович, открыв маленьким ключиком раздутый саквояж, демонстративно отстранился от него, как бы всем своим видом говоря: «Если вы подозреваете, что мы хотим провезти контрабанду, то можете убедиться, господа, что это ложь».

Но итальянский чиновник даже не посмотрел на затейливое произведение одесского шорно-чемоданного искусства, а лишь, проходя, ткнул в него большим пальцем, а шедший за ним агент нарисовал мелом на каждой вещи кружок, после чего семейству Бачей предоставлялось полное право идти со своим багажом на все четыре стороны.

В этом было что-то обидно-пренебрежительное, так как у многих других путешественников — преимущественно у пассажиров первого класса — открывали роскошные чемоданы и дорожные сундуки, оклеенные ярлыками отелей, рылись в дорогих вещах, извлекали какие-то сирийские шали, хрустальные банки турецкого табаку, круглые коробки русской паюсной икры и почтительно требовали пошлину.

Навьюченное альпийскими мешками, семейство Бачей не без труда общими усилиями выволокло на знойную площадь свой непомерно раздутый саквояж и сразу же очутилось в нервно-крикливой толпе комиссионеров.

На них были обшитые галунами фуражки с названиями отелей, которые они представляли. Нечто подобное Петя уже видел на одесском вокзале, когда однажды встречал бабушку. Тогда его крайне рассмешило, как галдящие комиссионеры тащили в разные стороны за

руки какого-то господина, прижимающего подбородком свернутый зонтик.

Но одесские комиссионеры, в общем довольно робкие, хотя и суетливые, не шли ни в какое сравнение с неаполитанскими. Неаполитанских комиссионеров было втрое больше, и они были вчетверо беспощадней. Воинственно выкрикивая: «Гранд-отель! Континенталь! Ливорно! Везувио! Отель ди Рома! Отель ди Фиренце! Отель ди Венеция!» — они набросились на Василия Петровича, потрясая над головой пачками богато иллюстрированных проспектов и обещая на всех европейских языках баснословную дешевизну, неслыханный комфорт, апартаменты с видом на Везувий, семейный табльдот, бесплатные завтраки, экскурсию в Помпею...

Василий Петрович делал отчаянные знаки носильщикам, которые сидели на каменных плитах под стеной в своих синих блузах с бляхами на груди и совершенно безучастно смотрели на расправу комиссионеров с беззащитными иностранцами. Василий Петрович сделал попытку прорваться к извозчикам, даже прорвался, но извозчики так же безучастно, как и носильщики, сидели на козлах своих экипажей со счетчиками, курили длинные вонючие сигары, и ни один из них не пожелал протянуть Василию Петровичу руку помощи.

Напротив, когда Василий Петрович занес уже было ногу на подножку одного из экипажей, извозчик сделал зверское лицо, сорвал со своей головы старую фетровую шляпу и так энергично замахал ею перед носом Василия Петровича, крича «Но, синьор, но!», что Василию Петровичу пришлось отступить.

В этом непонятном равнодушии извозчиков и носильщиков чувствовалось что-то зловещее. Василий Петрович не знал, что и подумать. Впоследствии выяснилось, что семейство Бачей прибыло в Неаполь как раз в тот день, когда началась забастовка извозчиков, носильщиков и трамвайных служащих в знак протеста против подготовки итальянским правительством войны с Турцией.

Но от этого семейству Бачей не стало легче, так как, по-видимому, комиссионеры были согласны на завоевание Италией Триполитании и в этот день не бастовали. Несмотря на все свое неуважение к полиции, Василий Петрович уже готов был обратиться за помощью к двум

карабинерам в треугольных шляпах и черных брюках с красными лампасами, похожим друг на друга, как двойники, своими усиками и большими носами полишинелей, но в это время все уладилось само собой.

Маленький, хитрый толстячок комиссионер, сообразивший, что путь к сердцу отца лежит через любовь к сыну, кряхтя посадил брыкающегося Павлика на одно плечо, на другое взвалил клетчатый саквояж и рысью побежал в переулок. Василий Петрович и Петя бросились следом за ним и минут через сорок утомительной погони очутились в «Эспланад-отеле». Это название блестело на фуражке предприимчивого толстяка комиссионера.

Дотащив наконец Павлика и саквояж, толстяк тотчас повесил фуражку на гвоздь над конторкой, превратившись, таким образом, из комиссионера в самого хозяина предприятия. Впрочем, вскоре оказалось, что он в себе совмещает еще четыре лица: официанта, повара, номерного и портье, то есть весь персонал отеля, кроме горничной и кассирши, чьи обязанности исполняла его супруга.

«Эспланад-отель» помещался между лавочкой старьевщика и харчевней — «тратторией» — в таком узком переулке, что в нем ни в коем случае не могли бы разъехаться два экипажа. Впрочем, это имело чисто теоретическое значение, потому что весь переулок представлял собой не что иное, как лестницу с вытертыми плитами широких каменных ступеней. Между высокими, но очень узкими домами на веревках сушилось разноцветное белье, и, несмотря на то что вокруг бушевали самые яркие краски неаполитанского июня, в переулке было темно, сыро, а в окне траттории даже светился зеленый газовый рожок.

В «Эспланад-отеле» имелось всего четыре номера, выходящие дверями и окнами в стеклянную галерею внутреннего двора, очень похожего на дворы старой Одессы, с той лишь разницей, что цветущие олеандры и азалии росли здесь прямо из земли, а не стояли в зеленых кадках, а помойка была переполнена не только обрезками цветной зелени, рыбьими внутренностями, но также большим количеством устричных раковин, красной шелухи лангуст и половинками громадных выжатых лимонов.

Увидя обои со следами клопов, две страшные кровати под балдахинами и облупленный железный рукомойник, расписанный видами Неаполитанского залива, Василий

Петрович схватил саквояж и уже готов был немедленно бежать из этого вертепа, но силы оставили его. Он сел на пошатнувшийся плетеный стул и, раскрыв самоучитель, стал торговаться. Хозяин требовал десять лир в сутки, Василий Петрович давал одну. В конце концов сошлись на трех, что было всего лишь на одну лиру дороже, чем следовало. Теперь, не теряя драгоценного времени, можно было отправляться осматривать достопримечательности. Но вдруг Василий Петрович почувствовал, что ему трудно встать со стула. Только теперь он понял, как утомило его длительное морское путешествие, показавшееся сначала таким легким и удобным. Он с усилием перебрался со стула на кровать и некоторое время сидел под распятием с красными, сонными глазами, протирая платком стекла пенсне. Видимо, он еще надеялся побороть усталость, но из этого ничего не вышло.

— Знаете что, братцы,— сказал он с виноватой улыбкой: — я с полчасика сосну. Да и вам советую. Снимайте сандалии, заваливайтесь...

Павлик, у которого после насильственного путешествия на плече комиссионера тоже слипались глаза, стал покорно снимать сандалии. Но Пете не терпелось выйти в город. Он хотел поскорее отправить корреспонденцию: письмо, взятое у Гаврика, и открытку тете с описанием «извержения» вулкана Стромболи.

Сначала отец испугался, но Петя с таким достоинством заметил, что он уже не маленький, с таким глубоко религиозным выражением на лице поклялся и перекрестился на распятие, обещая лишь купить в лавочке марку и сейчас же возвратиться обратно, что отец в конце концов согласился и вручил Пете красивую итальянскую серебряную лиру на почтовые расходы. При виде этого у Павлика пожелтели глаза.

— А я? — быстро сказал он, надевая сандалии.

— А ты будешь спать,— холодно ответил Петя.

— Я не тебя спрашиваю, а я папу спрашиваю.

— Боже упаси! — испуганно воскликнул отец.

— Чего? — скривив на всякий случай рот, спросил Павлик, готовый в любую минуту заплакать.

— Что — чего? — строго сказал отец.

— Чего Петьке можно, а мне нельзя?

— Во-первых, не «чего», а «отчего»; пора бы уже на-

учиться правильно говорить по-русски; а во-вторых, не «Петьке», а «Пете».

— Пожалуйста,— с готовностью согласился Павлик.— Отчего Пете можно, а мне нельзя?

— Оттого, что Петр большой, а ты маленький.

Этот аргумент всегда раздражал Павлика. Сколько он ни рос, как ни старался, но по сравнению с Петей всегда был маленьким.

— Я не виноват, что Петя старше, а я младше,— захныкал Павлик.— Ему все можно, а мне ничего нельзя!

— Да, но ведь я иду в город по делу, мне нужно отправить корреспонденцию, а ты для баловства,— назидательно сказал Петя.

— А может быть, мне тоже надо корреспонденцию?.. Папочка, пусти меня!

— Ни под каким видом! — решительно заявил отец, и это вселило в Павлика некоторую надежду.

Обыкновенно после слов «ни под каким видом» отец, немного подумав, прибавлял: «Впрочем, если ты дашь мне слово, что будешь вести себя прилично...» или что-нибудь в этом роде. Для того чтобы ускорить дело, Павлик с грубым притворством заплакал, украдкой посматривая на отца. Он хорошо изучил характер своего папы.

— Впрочем...— сказал Василий Петрович, не переносивший детских слез,— если ты дашь мне слово...

— Честное благородное слово! — быстро сказал Павлик — и промахнулся.

Отец нахмурился:

— Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты никогда не клялся! Клятва унижает человека, который клянется. Давая слово, никогда не следует прибавлять: «честное благородное». Само собой понятно, что у каждого порядочного человека слово может быть только честное и только благородное. Совершенно достаточно, чтобы человек дал просто слово.

— Даю просто слово! — торжественно воскликнул Павлик, нетерпеливо застегивая сандалии, и опять промахнулся, потому что поторопился.

— В чем ты даешь слово?

— В том, что буду себя вести прилично.

— Это главное, и чтобы ты ни на шаг не отходил от Пети.

— Не буду.
— Как это — не будешь?
— Не буду отходить ни на шаг от Пети,— поправился Павлик.
— Ну, вот это другое дело.
— И пусть он меня будет слушаться,— вставил Петя,— а то я с ним не пойду, потому что он обязательно потеряется и я же буду за него отвечать.
— Я не потеряюсь,— сказал Павлик.
— Нет, ты потеряешься! Ты всегда теряешься.
— А кто потерялся в последний раз, в Одессе, когда мы чуть не остались из-за тебя на пристани и тетя чуть с ума не сошла?
— Не бреши!
— Я не брешу.
— Дети, перестаньте ссориться!
— Я не ссорюсь, это Петька ссорится.
— В таком случае, вы оба никуда не пойдете.
— Нет, нет, папочка! — торопливо пробормотал Павлик.— Просто даю слово, что буду его слушаться.
— Во всем? — спросил Петя, любивший командовать.
— Во всем,— ответил Павлик.
— Абсолютно во всем?
— Абсолютно во всем,— с легким раздражением сказал Павлик.
— Имей в виду!—торжественно и сурово сказал Петя.
— Ну, уж идите, идите, бога ради,— сонным голосом пробормотал отец, укладываясь на кровать под глупым балдахином.— И только, ради бога, не потеряйтесь,— прибавил он уже совсем еле слышно.
А когда Петя и Павлик спускались по лестнице, то услышали храп отца.
Разумеется, они потерялись...
Выйдя на улицу, Петя на правах взрослого взял Павлика за руку, чего тот, кстати сказать, терпеть не мог, но принужден был подчиниться, так как твердо усвоил себе любимую поговорку отца: «Давши слово, держись, а не давши — крепись».
Сначала пошли покупать марку. Это оказалось совсем не так просто, как в России, где марки продавались в любой мелочной лавочке. Здесь же хотя мелочных лавочек было и больше, но почтовые марки в них, по-види-

мому, не продавались. Никто из продавцов даже не мог понять, чего Пете надобно, хотя Петя весьма бойко объяснялся по-итальянски, изучив этот язык за табльдотом на пароходе.

— Прего, синьоре...— говорил Петя развязно, но с испуганным выражением глаз,— прего, синьоре, дайте мне уна... уна...— А что именно «уна», не мог объяснить: он не знал, как называется по-итальянски марка.

Тогда он вынимал из кармана письмо, слюнил палец и очень художественно изображал, как на него наклеивается воображаемая марка. Он даже стукал по углу письма кулаком, давая понять, что на марку кладется почтовый штемпель. «Понимаете, уна марка... Уна марка...» На что продавец с чисто неаполитанской экспрессией театрально разводил руками и разражался великолепной трескучей скороговоркой, чего Петя, несмотря на свое знание итальянского языка, уже совершенно не мог понять. Так повторилось раз десять, пока, наконец, где-то на третьей или четвертой улице хозяин винной лавочки, увешанной снаружи и внутри гроздьями больших и маленьких фиасок — мандолинообразных бутылок в соломенных плетенках,— не довел их до угла и не показал рукой куда-то вдаль, сказав при этом длиннейшую театральную фразу с одним-единственным более или менее понятным словом «поста чентрале» — то есть главный почтамт.

Мальчики отправились по указанному направлению. Время от времени Петя останавливал прохожих и, сурово поглядывая на Павлика, спрашивал по-итальянски:

— Прего, синьоре, дов'э ла поста чентрале?

Некоторые прохожие понимали, а некоторые не понимали, но и те и другие старались оказать всяческое содействие двум молодым иностранцам, желающим купить почтовую марку.

Вообще неаполитанцы оказались чу́дным народом — горячим, отзывчивым, хотя и несколько суетливым. Правда, они не были похожи на тех неаполитанцев, которых мальчики представляли себе по картинкам: красавцы в коротких штанишках, широких кумачовых кушаках, с красными повязками на курчавых шевелюрах и жгучие красавицы в кружевных мантильях.

Это были люди весьма прозаического вида: мужчины

в черных пиджаках и выгоревших шляпах, а женщины в коротких черных жакетках и преимущественно без шляпок. У мужчин была одна общая черта — отсутствие воротничков: спереди из расстегнутой зефировой рубашки торчала лишь запонка; а женщины были украшены кораллами разных видов.

Проявляя к Пете и Павлику самое горячее участие, они бросали свои дела, шумной толпой окружали мальчиков и вели их к главному почтамту. На каждом углу толпа останавливалась, и начиналось бурное обсуждение вопроса, по какой улице следует идти дальше.

Осыпая друг друга скороговоркой, неаполитанцы тащили мальчиков в разные стороны, и, если бы они не держались изо всех сил за руки, их бы, конечно, растащили. К толпе присоединялись всё новые и новые люди. Впереди, как перед полковым оркестром, бежали задом, приплясывая и время от времени падая, уличные дети в лохмотьях, смуглые, как чертенята. Сзади плелся старик шарманщик с длинной вонючей сигарой в желто-белых усах.

Уже шли не по тротуару, а посередине мостовой. Из окон высовывались любопытные и, узнав, в чем дело, оживленно жестикулировали, показывая кратчайший путь к главному почтамту. Уже какая-то добрая синьорина вытирала вспотевшую шею Павлика носовым платочком и нежно называла его «бамбино».

Появились собаки без ошейников, почти такие же страшные, как в Константинополе. И вообще все это уже начинало приобретать характер уличного скандала.

Петя даже немного струхнул. Единственное, что поддерживало в нем мужество, было сознание того, что он старший брат и как таковой несет перед отцом ответственность за судьбу Павлика. Вертясь в толпе, он продолжал разговаривать по-итальянски, для большей убедительности вставляя французские слова из учебника Марго, а также русские восклицания.

— Си, синьорино, си, синьорино,— успокаивали его неаполитанцы, видя, как он волнуется.

В то же время Петя продолжал с жадным любопытством рассматривать знаменитый город, характер которого менялся каждую минуту. То шли по страшно узким, сумрачным переулкам, где прямо из стен домов торчали

железные газовые фонари. То вдруг попадали на ослепительно сияющую белую площадь с каменным фонтаном и старой церковью, из открытых дверей которой слышались медлительные звуки органа.

Один раз на короткое время вдалеке показались невероятно синее море, набережная и ряд очень больших волосатых финиковых пальм. Пересекли шумную торговую улицу, полную движения и блеска. Потом шли мимо глухой монастырской стены, мимо громадной статуи святого, стоящего в каменной нише. Поднимались и опускались по крутым уличным лестницам — мимо узких, высоких домов, где на фасадах некоторые окна с зелеными жалюзи были настоящие, а некоторые для симметрии нарисованы красками, но так живо и ярко, что казались настоящими.

23

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

Вышли на какую-то улицу, забитую длинным рядом пустых, неподвижных вагонов электрического трамвая. Бастующие кондукторы и вожатые сурово прохаживались вдоль вагонов со своими лаковыми сумками и медными ключами, переговариваясь с прохожими.

Увидев эту картину, толпа, сопровождавшая Петю и Павлика, в тот же миг потеряла всякий интерес к юным иностранцам. Зрелище трамвайной забастовки целиком захватило неаполитанцев, тем более что как раз в эту минуту в глубине улицы показались первые ряды демонстрации с черными и красными флагами, портретами, лозунгами.

Все бросились к ним навстречу. Мальчики остались одни. Крепко вцепившись в Петину руку, Павлик смотрел на первые ряды надвигающейся демонстрации.

Страшные, бородатые дядьки в широкополых шляпах несли черный флаг с белой итальянской надписью и портреты каких-то столь же бородатых дядек, среди которых, к немалому своему удивлению, Павлик узнал «нашего русского» — Льва Толстого.

За бородатыми шли другие дядьки, уже не бородатые, в каскетках; они несли красный флаг и держали на груди портреты еще двух совершенно неизвестных Павлику пожилых людей с большими, окладистыми боро-

дами — Маркса и Энгельса. Шли рабочие, носильщики, кочегары, матросы, приказчики — в пиджаках, куртках, блузах, полосатых тельняшках, фуфайках... Они старались идти медленно, но у них ничего не выходило, и они все время сбивались на быстрый итальянский шаг.

Размахивая шляпами, каскетками и тросточками, они выкрикивали на разные голоса:

— Эввива сочиализмо! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой военные приготовления! К черту правительство войны! Итальянцы хотят мира!

К демонстрации присоединялись прохожие. Многие вели с собой велосипеды. Уличные продавцы катили свои тележки. Сбоку уже плелся знакомый старик с шарманкой — быть может, последний шарманщик Неаполя. И, хотя все это, облитое розовым предвечерним светом, имело оживленно-театральный вид, Петя почувствовал сильную тревогу. Он стиснул руку брата. Петина тревога передалась Павлику.

— Петька,— закричал он,— революция идет!

— Не революция, а демонстрация,— сказал Петя.

— Все равно тикаем!

Но вокруг уже шумела толпа, и неизвестно было, как из нее выбраться и куда тикать.

В это время сзади послышались громкие голоса. Говорили по-русски. Несколько человек — и среди них мальчик Петиного возраста в куртке — быстро пробирались сквозь толпу поближе к демонстрантам. Мальчик в курточке, лобастый, с капельками пота на утином носу, изо всех сил работал локтями, а худощавый человек в летнем кремовом пиджаке и такой же легкой фуражке, сбитой набок — по-видимому, его отец,— с желтыми усами над бритым солдатским подбородком, крепко держал мальчика за плечо оранжевой от загара рукой и глуховатым басом сердито повторял:

— Макс, умерь свою прыть! Макс, умерь свою прыть!

Он вытягивал жилистую, длинную шею, с острым вниманием всматривался поверх голов вперед и хотя сам требовал, чтобы Макс умерил прыть, но свою собственную прыть, по-видимому, тоже никак не мог умерить. Иногда он оборачивался назад и кричал кому-то, делая по-нижегородски ударение на «о»:

— Пробирайтесь-ка, господа, поближе! Весьма ре-

комендую поближе. Обратите внимание: в прошлом году эти синьоры анархисты-синдикалисты ограничивались тем, что ложились перед вагонами на рельсы, а теперь видите, что делается! Совсем другая опера!

— Да, да! — кричал через толпу господин в пенсне и панаме, мягко грассируя, проглатывая и сливая некоторые буквы.— Это подтверждает мою мысль, что хотя центр революции после девятьсот пятого года переместился в Россию, но консолидация сил европейского пролетариата развивается еще более интенсивно... Пардон,— мимоходом прибавил он, обращаясь к Пете, которого задел рукавом просторного пиджака с выпущенным поверху открытым воротником рубашки апаш.

За ним пробирался еще один русский. На нем была дешевая, дурно сшитая тройка, на круглой, крепкой голове — новая фетровая шляпа, в руке на весу — бамбуковая трость. Он двигался прямо, напирая сильной выпуклой грудью на толпу, ничего не видя вокруг, кроме демонстрантов, которые как бы неудержимо притягивали к себе все его существо. Сжатые брови, скулы, вздрагивающие напряженно, полуоткрытый рот и маленькие злые глаза — все это показалось Пете странно знакомым.

Рука с бамбуковой тростью на весу отстранила Петю, и мальчик совсем близко увидел короткие пальцы с квадратно обрезанными толстыми ногтями, напряженные косточки и между большим и указательным пальцами, на вздутом мускуле — вытатуированный якорь.

Но не успел Петя отдать себе отчет, почему этот маленький мутно-голубой якорь кажется ему таким знакомым, не успел он подумать, что это за русские, почему они здесь, кто они такие, как толпа качнулась, шарахнулась в одну сторону, потом в другую, и в противоположном конце улицы перед демонстрантами Петя увидел треуголки и узкие красные лампасы карабинеров. Вдалеке мелькнули черные перья на шляпах берсальеров, бегущих с ружьями наперевес своим форсированным шагом.

Раздался грубый, зловещий звук военной трубы. На один миг стало совсем тихо. Затем где-то послышался звон разбитого стекла, и все вокруг закричало, завыло, засвистело, побежало...

Хлопнуло несколько револьверных выстрелов.

Увлекаемые бегущей толпой, Петя и Павлик держались за руки, делая невероятные усилия, чтобы их не оторвали друг от друга. Пете, забывшему в эти минуты, что он находится не в России, а за границей, все время казалось, что сейчас откуда-то из-за угла выскочат на своих лошадях казаки и начнут направо и налево стегать нагайками. Ему казалось, что они бегут по Малой Арнаутской, и это представление еще более усиливалось оттого, что под ногами лопались рассыпающиеся каштаны.

Павлика сбили с ног. Он упал, ободрал себе голое колено. Но Петя поднял его и потащил дальше. Павлик был так испуган, что даже не плакал, а только все время сопел и повторял:

— Тикаем же, тикаем скорей!

Вместе с частью толпы они очутились в узком дворе с мусорными ящиками и красивыми коваными железными решетками на окнах первого этажа. Двор был замощен каменными плитами, громадными и потертыми. Пробежав под аркой грязных мраморных ворот, где каждый шаг гулко шлепал и гремел, как пистолетный выстрел, мальчики очутились на улице против крутого откоса какого-то холма, на террасах которого был разбит маленький скверик.

По этому откосу, выложенному темным от времени плитняком, быстро карабкалось несколько человек — все, что осталось от той части толпы, которая втащила Петю и Павлика в проходной двор. Мальчики тоже стали карабкаться. Но откос был гораздо круче и выше, чем показалось издали. Мраморная львиная морда была вделана в плитняковую стену. Из львиной пасти через железную трубку текла вода в мраморную раковину. Петя поставил Павлика на край раковины и стал его подталкивать снизу. Но Павлику не за что было ухватиться.

— Лезь! Лезь! — кричал Петя.— Вот корова!

В это время из ворот выбежало еще несколько человек. Это были те самые русские — мальчик в курточке и трое взрослых,— которых Петя недавно заметил в толпе.

Мальчик в курточке тащил за рукав своего отца, а тот все время норовил остановиться и броситься назад. Его руки были сжаты в кулаки, фуражка совсем съехала на затылок; из-под задранного козырька виднелся ежик

желтых волос; усы раздувались, и синие глаза гневно сверкали.

— Ты что, непременно хочешь, чтоб тебя там покалечили? — говорил мальчик в курточке, не давая ему вырваться.— Уйми свою прыть!

— Алексей Максимович, вы ведете себя неосмотрительно, это совершенно невозможно! Вы не имеете права рисковать! — повторял господин в пенсне, потирая свое ушибленное плечо.

— Черт бы меня подрал, если я сейчас не вернусь назад и не дам в морду этому носатому идиоту в красных лампасах! — бормотал глухим басом Алексей Максимович.— Я его научу уважению к женщине! — И он глухо закашлялся.

Но мальчик в курточке крепко держал отца за рукав и не пускал. А человек с якорем на руке, по-видимому, тоже готов был броситься назад, в драку, но изо всех сил сдерживался.

— Лезь, Павлик, лезь! — кричал Петя с отчаянием.

Его крик обратил на себя внимание русских.

— Пешков, смотри, русские ребята! — сказал мальчик в курточке.

— Вы тут каким образом? — строго сказал господин в пенсне.

Человек с якорем на руке быстро, как кошка, взобрался на стену и, протягивая вниз свою бамбуковую трость, по очереди вытащил наверх всех русских, в том числе Петю и заплаканного Павлика.

Здесь царила тишина, спокойствие, и было трудно себе представить, что где-то рядом только что солдаты и карабинеры разгоняли толпу, сыпались разбитые стекла, падали люди, стреляли из револьверов...

— Пошумели и перестали,— со злой улыбкой сказал Алексей Максимович, прислушиваясь, и немного погодя прибавил: — Вулканический народ. Вроде своего Везувия. Дымят, а не действуют.

Он с любопытством посмотрел на Петю и Павлика:

— Ну-с, молодые люди, жители империи Российской, а вы по какому случаю здесь?

Почувствовав себя среди своих, русских, в безопасности, Петя и Павлик воспрянули духом. Перебивая друг друга, они рассказали свои приключения, причем Петю

все время не оставляло чувство, будто бы он уже где-то раньше видел двух из этих русских: Алексея Максимовича и другого — с якорем на руке. Петя, как ни напрягал свою память, все же так и не мог вспомнить, где он раньше видел Алексея Максимовича, зато другого вдруг вспомнил и узнал, хотя в первую минуту не мог этому поверить.

— Ну что ж, юные путешественники, дела ваши еще не столь плачевны,— сказал Алексей Максимович.— Вы оба отделались всего одной легкой контузией. Могло быть и хуже.

С этими словами он сгреб Павлика под мышку и понес к фонтану. Там очень тщательно промыл ссадину, туго и ловко перевязал колено носовым платком, поставил мальчика перед собой на дорожку и велел пройтись.

— Превосходно! Теперь можешь смело возвращаться в строй. Но предварительно омой в бассейне лицо и лапы, чтобы не слишком испугать своего папу. Тебя как звать-то?

— Павлик.

— А брата твоего?

— Петя.

— Отлично... Макс, поди-ка сюда. Покорнейшая к тебе просьба. Проводи этих двух апостолов — Петра и Павла — на почту, помоги им приобрести марку и опусти в ящик корреспонденцию, объясни им, как добраться до отеля, а сам возвращайся сюда поскорее, чтобы мы не опоздали на пароход... Арриведерчи, синьоры апостолы, приятного путешествия! — сказал он, подавая Пете и Павлику большую изящную руку, шафранную от загара.

— Мерси,— сказал благовоспитанный Павлик, неловко шаркнув перевязанной ногой.

— Пойдем, ребята! — засуетился мальчик в курточке.— Почта тут совсем недалеко. Пять минут.

«Вы меня, наверно, не помните, а я вас узнал»,— хотел сказать Петя, подходя к человеку с якорем на руке, но что-то его остановило. Он ничего не сказал, а только значительно посмотрел в его лицо. «Может быть, он меня сам узнает»,— подумал мальчик с волнением. Но тот его не узнал. Он только обратил внимание на Петину флотскую фланельку, пощупал ее и спросил:

— Где пошил?

— В швальне морского батальона,— ответил Петя.

— И видно. Настоящая флотская!

И Пете показалось, что он невесело усмехнулся.

— Пойдем, ребята, пойдем! — говорил мальчик в курточке.— А то нам еще надо на Капри возвращаться.

Почта оказалась действительно недалеко, но мальчики успели поговорить по дороге.

— Тебя как звать? — спросил Петя.

— Макс.

— «А Макс и Мориц, видя то, на крышу лезут, сняв пальто»,— процитировал Петя стишок из весьма известной в то время книги с картинками Вильгельма Буша.

— Остришь? — зловеще нахмурился Макс, которому, видимо, уже осточертело постоянно слышать насмешки над своим именем, и легонько ткнул Петю в бок кулаком.

Конечно, при других обстоятельствах Петя не оставил бы этого дела без внимания, но сейчас он предпочел не «заводиться».

— А твой папа кто? — спросил он, чтобы переменить разговор, принявший дурное направление.

— Ты что, разве не знаешь моего папу? — удивился Макс.

Тут, в свою очередь, удивился и Петя:

— А почему я должен знать твоего папу?

— Ну как же, его почти все знают,— смущенно пробормотал Макс. Он вообще имел обыкновение бормотать и говорить крайне неразборчиво, как будто все время сосал леденец.

— Все-таки кто же он?

— Маляр,— сказал Макс.

— Врешь! — сказал Петя.

— Нет, ей-богу маляр,— сказал Макс, сося несуществующий леденец.— Цеховой малярного цеха. Не веришь? Спроси кого хочешь. Цеховой малярного цеха Пешков.

— Будет врать! Маляры вовсе не такие.

— Маляры разные.

— Если маляр, то что же он тут делает, в Италии?

— Живет.

— А почему не в России?

— Потому что потому — оканчивается на «у».

В интонации, с которой была сказана эта общеизвестная фраза, Пете почему-то послышалось нечто напоминавшее Гаврика, Ближние Мельницы, Терентия, Синичкина — словом, все то, что было для него навсегда связано с понятием «революция» и что вдруг снова неожиданно возникло перед ним здесь, в Неаполе, сегодня, в виде этих остановившихся вагонов трамвая, бушующей толпы, звона стекол, револьверных выстрелов, зловещих, иссиня-черных перьев на шляпах берсальеров, флагов, портретов и, наконец, в виде человека с якорем на руке, в котором он узнал потемкинского матроса. Петя хотел расспросить Макса о том, как попал сюда Родион Жуков, узнать, кто такой господин в пенсне, и вообще что они здесь все делают, но в это время подошли к почте.

— Давай свою корреспонденцию,— сказал Макс.

— Это еще зачем? — подозрительно спросил Петя.

— Давай, давай! Некогда мне с тобой возиться. Куда посылать?

— Открытку — тете в Одессу, а письмо — в Париж.

— В Париж?

— Ага!

— Тогда мы его отправим экспрессом.

— Как это — экспрессом? Я не понимаю...

— Деревня! — делая сосущие звуки языком, сказал Макс.— Экспрессом — это значит экспрессом. Ну, в общем, курьерским поездом. Прямым сообщением. Папа всегда отправляет в Париж экспрессом. Давай письмо.

Немного поколебавшись, Петя вынул из кармана довольно уже помятый конверт. Макс его схватил, побежал к окошечку и быстро, хотя и шепеляво, залопотал по-итальянски.

— А деньги? — крикнул Петя, но Макс в ответ только несколько раз лягнул ногой: дескать, не мешай.

Через две минуты он вернулся к Пете и протянул квитанцию.

— А деньги? — повторил Петя.

— Чудило, я этих писем каждый день штук пятнадцать отправляю, и у меня — во! — видал, сколько марок? — Он вынул из кармана горсть почтовых марок.— Когда я гощу у папы, я у него всегда отправляю письма. А ты откуда знаешь Владимира Ильича?

— Какого Владимира Ильича? — удивился Петя.

— Ленина.

— Какого Ленина?

— Который живет в Париже, улица Мари Роз. Ульянова. Я прочитал на конверте адрес. Ты ведь ему письмо посылаешь?

— Ну да! — сказал Петя.— Ульянову. Но это не от меня письмо.

— Так тебе папа поручил?

— И не папа. А мне его дал в Одессе один человек... В общем, поручили одни люди...— Петя невольно покраснел.

Макс понимающе закивал лобастой головой:

— Понятно, очень понятно. Да ты на меня не смотри так подозрительно. Мы сами часто посылаем Ульянову... То есть отец мой пишет, а уж посылаю я. И тоже всегда экспрессом. А теперь говори, где живешь?

— В гостинице «Эспланад-отель».

Макс наморщил лоб, отчего стал еще больше похож на отца.

— Ну, это, кажется, не так далеко отсюда. Пойдете прямо, дойдете до фонтана, свернете налево, и там через два переулка будет ваш отель. А пока арриведерчи, мне надо бежать.

И, наскоро пожав руку Пете и Павлику, Макс перешел улицу, повернул и скрылся за углом, где в нише стояла раскрашенная статуя мадонны, убранная цветами и лимонными ветками с маленькими недозревшими плодами.

24

ВЕЗУВИЙ

— Ну, а теперь давай,— сказал Павлик, кряхтя и потирая колено.

— Что?

— Давай! — повторил Павлик и даже протянул руку.— Давай половину лиры.

— Не понимаю, какой?

— Итальянской. Которую папа дал на марку, а ты сэкономил и теперь хочешь зажилить.

— Ах, вот что! Ну, это, брат...— И Петя поднес к лицу Павлика кулак с пальцами, сложенными особым, весьма обычным образом.

— Тогда ты мошенник,— сказал Павлик и вдруг довольно жалко захныкал, поглядывая вокруг сухими каштановыми глазами.

— Замолчи! — зашипел Петя.— На нас уже обращают внимание итальянцы.

— И пусть обращают! Пусть все видят, какой ты мошенник! — И Павлик заплакал еще жальче.

Петя испугался.

— Ладно,— сухо сказал он.— Если ты такая свинья, то пожалуйста. Только надо сначала разменять.

— Не надо менять. Давай сюда лиру, я тебе дам сдачи пятьдесят чентезимов.— И Павлик, порывшись за пазухой, нашел на ощупь и вынул небольшую серебряную монетку.

— Павел, откуда у тебя деньги? — строго спросил Петя голосом Василия Петровича.

— Я их выиграл в Ионическом море у повара! — с оттенком гордости ответил Павлик.

— Сколько раз я тебе повторял, чтобы ты никогда не смел играть в азартные игры, скверный мальчишка!

— А сам? А кто у папы с вицмундира содрал все пуговицы?

— Так я же тогда был маленький.

— А я теперь маленький,— рассудительно заметил Павлик.

— Но довольно подлый,— ядовито закончил Петя.— Смотри, я все про тебя расскажу отцу!

— И навсегда будешь ябеда! — захлебываясь от восторга, проговорил Павлик.

— Джелато! Джелато! Джелато! — раздался в это время божественный тенор итальянского мороженщика, и мальчики увидели сундук, такой же зеленый, как у мороженщиков в Одессе, но только гораздо длиннее, расписанный видами Неаполя, и не на двух колесах, а на четырех.

Братья переглянулись, и в тот же миг между ними восстановились прочный мир и самая нежная дружба, основанные на страстном желании нарушить категорическое требование отца никогда ничего не покупать на улице и тем более не брать в рот без разрешения старших.

В одно и то же время они прочитали в глазах друг друга жгучий вопрос: но что же делать, если нет под ру-

ками взрослых? И вполне резонный ответ на этот вопрос: если нет взрослых, обойдемся без взрослых.

Петя как знаток итальянского языка выступил вперед и уже приготовился произнести фразу, начинающуюся словами: «Прего, синьор, дайте нам...»

Но мороженщик, красавец с красным чулком на кудрявой голове, оказался человеком весьма сообразительным. Он поспешно открыл длинный сундук, и, к своему крайнему изумлению, мальчики увидели в нем вместо двух медных банок с лужеными крышками брус льда. Мороженщик взял маленький стальной рубанок и начал стругать ледяное бревно. Затем он набил два стакана ледяными стружками и полил их из бутылки пронзительно яркой жидкостью вроде купороса.

Мальчики с любопытством съели красивое, но почему-то совсем не сладкое неаполитанское мороженое и почувствовали во рту такой вкус, как будто бы наелись акварельных красок.

Не теряя времени, мороженщик настругал еще два стакана льда и на этот раз полил его чем-то до такой степени розовым, что Павлик сразу вспомнил константинопольский рахат-лукум и уже начал бледнеть. А Петя решительным жестом Василия Петровича отстранил мороженое, сказал на чисто итальянском языке «Баста!», заплатил десять чентезимов и, крепко взяв Павлика за руку, потащил его прочь.

Но дурное впечатление, произведенное странным мороженым, сразу рассеялось, едва мальчики очутились перед будочкой, прижатой к старой каменной стене, из которой текла тонкая струйка родниковой воды.

На прилавке находилась корзина, наполненная огромными неаполитанскими лимонами, а также стояли банки с сахарной пудрой и высокие стаканы.

Петя еще и рта не успел открыть, как продавец уже одним махом резал пополам два лимона и особой машинкой выжал их в два стакана. Положив в стаканы сахарной пудры, он ловко подставил их под струйку воды, и они наполнились до краев чем-то восхитительно перламутровым, с легкой сероватой пеной, а стекло запотело, и мальчики почувствовали настоящее блаженство, когда прикоснулись пересохшими губами к этому удивительному напитку.

Уже наступал вечер. Над белой площадью с фонтаном висело круглое темно-розовое вечернее облако, такое громадное, что люди, дома и даже церковные башни под ним казались совсем маленькими.

В этом было что-то пугающе прекрасное. Мальчики побежали домой по направлению, указанному Максом. Но город, фантастически освещенный облаком, сделался каким-то еще более чужим и непонятным. Нельзя было узнать ни одной улицы.

Быстро смеркалось, хотя облако все еще продолжало светиться на полиловевшем небе. Куда бы мальчики ни поворачивали, оно всюду следовало за ними, выглядывая из-за высоких крыш своими круглыми малиновыми краями. Узкие улицы быстро наполнялись толпами людей, вышедших погулять, как это всегда бывает по вечерам в южных городах. Слышалось жаркое шарканье башмаков по каменным тротуарам. Дневная жара сменилась другой жарой — вечерней, не такой сухой, но зато еще более душной.

Из открытых дверей кофеен и баров уже ложились на улицу полосы знойного света. С балконов слышались звуки мандолин. Усилились запахи кипящего кофе, газа, анисовой водки, устриц, жареной рыбы, лимонов... В руках у женщин трещали веера. Еще громче и музыкальнее пели голоса мороженщиков и газетчиков.

В подворотнях таинственно появились продавцы кораллов. Что-то в высшей степени опасное, порочное показалось Пете в их котелках, надвинутых на мрачные глаза, в их сладостных улыбках под нафабренными усами, в их бархатных жилетах, визитках, в их смуглых пальцах, унизанных перстнями, и в плоских, широких ящиках на широком ремне, которые они держали перед собой, издали и молчаливо показывая проходящим дамам свои сокровища: кровавые кораллы, как вырванные с корнем зубы; и другие кораллы — мелкие, нанизанные на нитку; и бледно-розовые, почти белые, крупные и гладкие, как бобы; и вставленные в золото помпейские камеи; и каменные цветки полупрозрачных гемм. Разложенные на черном бархате и подробно освещенные гробовым светом газового фонаря, все эти вещицы производили на Петю странное впечатление маленьких мертвых животных с какой-то другой планеты.

Павлика же больше всего пугали недобрые глаза продавцов, и он, положив руку за пазуху, крепко сжимал в плотном кулаке мелкие итальянские деньги.

Один переулок показался знакомым. Мальчики свернули в него и побежали в гору по каменным плитам. Внезапно дома кончились, и они увидели Везувий. Очевидно, они подошли к нему с какой-то другой стороны, так как он был совсем не такой, как всегда, а одноглавый, громадный. Он был страшно близок. Освещенный последними красками умирающего заката, покрытый чудовищной шапкой сернистого дыма, насквозь пронизанного жаром раскаленного железа, Везувий, казалось, сию минуту начнет извергаться, и мальчикам даже послышался подземный гул.

Им стало так страшно, что они сломя голову бросились назад и сейчас же наткнулись на отца, который вот уже почти три часа, без шляпы и в расстегнутом пиджаке, бегал по Неаполю, разыскивая потерявшихся детей.

Он так обрадовался, увидев Петю и Павлика, что на этот раз дело обошлось даже без упреков. И дети и отец настолько устали от переживаний, что лишь только добрались до своего номера, как тотчас, даже не умывшись, завалились спать и, надо признаться, выспались на славу, несмотря на страшную духоту, писк москитов и доносившиеся с улицы почти всю ночь шум толпы и музыку.

25
УГОЛЕК В ГЛАЗУ

А на другой день с утра для них началась та ни с чем не сравнимая суетливая, утомительная и в то же время восхитительная жизнь, которая подхватила их, потащила по городам, гостиницам и кончилась лишь полтора месяца спустя, когда они, окончательно измученные, наконец переехали границу и снова очутились в России.

Хотя они путешествовали по строго продуманному плану, но все же потом, когда Петя вспоминал об этом путешествии, оно представлялось ему скоплением не связанных между собой дорожных впечатлений, мельканием красивых видов, дворцов, фонтанов, площадей и, конечно, музеев.

У семейства Бачей было слишком мало денег, для того чтобы они могли позволить себе роскошь где-нибудь по

дороге задержаться хотя бы на лишний день, отдохнуть, осмотреться, привести в порядок свои мысли и чувства.

Например, в Неаполе они пробыли всего трое суток и за это время умудрились съездить на маленьком пароходике на остров Капри, побывать там в знаменитом голубом гроте, на обратном пути прогуляться по Сорренто и Кастелламаре, на другой день посетить раскопки Помпеи, подняться почти к самому кратеру Везувия; затем осмотреть почти все неаполитанские музеи, картинные галереи, церкви и, наконец, знаменитый аквариум, где за стеклянными витринами в средиземноморской воде, освещенной сверху, как на сцене странного театра, мальчики видели волшебные картины из жизни подводного царства: среди белых коралловых деревьев и полипов, похожих на голубые и красные хризантемы, по крупным красивым раковинам ходили громадные лангусты и вверх и вниз плавали рыбы, как межпланетные дирижабли, прилетевшие с Земли на Марс.

Когда уезжали из Неаполя в Рим и уже сидели в душном вагоне, ожидая третьего звонка, Василий Петрович посмотрел в окно и вдруг неуверенно сказал:

— Как хотите, а это Максим Горький...— Он поправил пенсне, высунулся в окно и стал всматриваться.— Максим Горький! — уже уверенно воскликнул он.

Петя торопливо просунул голову под руку отца. По перрону мимо поезда шла с портпледами и баулами довольно большая группа людей, громко разговаривающих по-русски. Среди них Пете сразу бросилась в глаза высокая, немного сутулая фигура того самого человека, который недавно перевязывал Павлика во время уличных беспорядков.

Теперь Петя вдруг понял, почему этот человек тогда показался ему страшно знакомым: он неоднократно видел его портреты в журналах и на открытках. Это и был знаменитый Максим Горький. Петя также увидел матроса с маленьким дешевым чемоданчиком на широком плече.

Прошла дама в трауре с девочкой лет тринадцати — по-видимому, дочерью. Мелькнуло личико с серьезными глазами и горестно сжатым ртом, темно-каштановая коса, переброшенная через худенькое плечо, черный бант...

В это время поезд тронулся. Люди на перроне покати-

лись назад. Петя снова увидел Максима Горького, матроса, даму с девочкой. Они все стояли напротив, возле другого поезда с открытыми дверцами. По-видимому, одна часть из них уезжала, другая — были провожающие.

— Максим Горький! Максим Горький! — закричал Петя, размахивая шляпой.

Девочка обернулась и посмотрела на Петю. Их глаза встретились. В ту же минуту сверху махнула волна вонючего паровозного дыма. Петя зажмурился, но крошечный кусочек каменного угля успел влететь ему в глаз, под верхнее веко. И для мальчика началось мученье, отравившее всю радость дороги от Неаполя до Рима.

Гвоздь в сапоге или уголек в глазу! Кто хотя бы раз в жизни не испытал этой маленькой неприятности — сначала такой невинной, но постепенно доводящей до исступления! Это была настоящая пытка. Сначала Петя чувствовал лишь досадное неудобство от присутствия в глазу инородного тела. Глаз слезился, и Пете казалось, что вот-вот слеза вымоет из-под века уголек и тогда наступит блаженное успокоение. Но слезы текли, а уголек не вымывался. Он глубоко засел и при малейшем движении века перекатывался, натирая глазное яблоко.

Полуослепший от слез, испытывая жгучую боль, Петя метался по раскаленному вагону и не знал, что делать Сослепу он натыкался на скамьи, на чьи-то ноги. Он ушиб колено, но даже эта новая боль не могла заглушить старую.

Отец требовал, чтобы он сидел смирно и ни в коем случае не тер глаз — тогда уголек выйдет сам собой. Но уголек не выходил. Петя снова начинал изо всех сил тереть глаз кулаком. Боль делалась невыносимой. Петя стонал, вскрикивал, бил в отчаянии каблуками об пол. Отец дрожащими руками пытался вывернуть Петино веко и кончиком платка достать уголек. Петя вырывался из рук отца. Он то и дело бегал в уборную и, налив в пригоршню теплой воды из умывальника, опускал в нее воспаленный глаз. Ничто не помогало. Это было еще хуже, чем зубная боль.

В те редкие минуты, когда боль немного ослабевала, Петя видел в режущем блеске итальянского полудня плывущие в окнах вагона сухие холмы, белую пыль над шоссе, шлагбаумы и маленькие домики путевых сторожей с заборчиками из старых шпал, с подсолнечниками, маль-

вами и грязными гоголевскими свиньями. Если бы не рощицы красивых итальянских сосен с развилистыми оранжево-розовыми ветвями и почти черной хвоей, то можно было подумать, что поезд приближается не к Риму, а к Миргороду.

Это все текло в глазах и мелькало, и лишь одно впечатление, одна картина все время оставалась неподвижной: перрон неаполитанского вокзала, толпа провожающих, дама в трауре и девочка с черным бантом в каштановой косе. Она все время вопросительно и строго смотрела на Петю и была неподвижна и неустранима, как уголек, влетевший в Петин глаз.

Но все на свете кончается. Кончились и Петины мучения. В углу вагона сидела старая итальянка с коралловым крестиком на сморщенной шее. Она везла корзину, из которой выглядывали головы уток, и всю дорогу усердно читала молитвенник. Но она отлично видела все, что делается в вагоне. В то время, когда Петя в десятый раз, топая ногами, пробегал мимо нее в уборную, для того чтобы прополоскать глаз, она вдруг поймала его сильными, жилистыми руками, посадила рядом с собой на скамью, схватила за голову и приблизила к нему вплотную свое черное усатое лицо, страшное, как у ведьмы.

Не говоря ни слова, она ловкими пальцами вывернула мальчику веко, разинула жаркую пасть, высунула длинный мокрый язык и слизнула уголек, въевшийся в слизистую оболочку. В тот же миг Петя почувствовал сладостное облегчение. Старуха сняла двумя пальцами с языка уголек, торжественно показала его пассажирам и произнесла длинную итальянскую фразу, в ответ на что весь вагон разразился аплодисментами, а утки оживленно закрякали. Затем старуха поцеловала Петю в голову, перекрестила слева направо и снова углубилась в молитвенник.

26
ВЕЧНЫЙ ГОРОД

Поезд уже подходил к Риму. Бродячие музыканты — мандолина, гитара и скрипка,— остановившись среди вагона, ударили в последний раз по струнам. И под звуки «Санта Лючия» и скрип тормозов поезд остановился.

Сопровождаемые шумной толпой комиссионеров и ги-

дов, наши путешественники взгромоздились на старый фаэтон. Веттурино — извозчик — ударил длинным бичом по своим клячам, повернул рукоятку большого счетчика сбоку козел, и они поехали по раскаленным пустыням римских площадей, где били высокие шипучие фонтаны, оставляя на камнях мостовой позеленевшие полосы, которые наподобие стрелки компаса показывали постоянное направление южного ветра.

После пережитых мучений Пете доставляло особенное наслаждение смотреть. Казалось, сила его зрения утроилась. Он вертелся во все стороны, стараясь не пропустить ни одной подробности знаменитого города.

Поджарый веттурино в черной фетровой шляпе горшком нещадно дымил длинной зловонной сигарой с соломинкой. Вместо того чтобы кратчайшим путем ехать в гостиницу, он колесил по всему городу. В окошечке счетчика довольно быстро выскакивали чентезимы, с незаметной легкостью превращаясь в лиры, и, для того чтобы отвлечь от них внимание путешественников, веттурино то и дело театрально простирал руку с бичом, называя термы Каракаллы, замок святого Ангела, Тибр, Форум, собор святого Петра, Колизей.

Отец развернул на коленях план Рима. Можно было подумать, что он, как бы не доверяя своим глазам, ищет теоретического подтверждения очевидного факта существования Рима со всеми его достопримечательностями, так хорошо известными по картинам и фотографиям.

Подлинный Рим был не так великолепен, как его изображения и описания. Однообразно освещенный высоким сухим солнцем, он лежал на своих древних холмах под выгоревшим от зноя бледно-голубым небом и казался гораздо более скромным и прекрасным, чем можно было себе вообразить.

Он был по-летнему безлюден. У входа в Ватикан стояли на страже папские гвардейцы в своих средневековых костюмах, с алебардами, и Павлик, который уже успел зимой побывать с тетей в опере, вдруг закричал на всю площадь звонким голосом:

— Смотрите, смотрите, гугеноты стоят!

Не успел Петя закрыть ему рот ладонью, как Павлик завопил еще громче, захлебываясь от восторга и удивления:

— Донбазильи идут! Донбазильи идут!

И точно, под колоннадами собора святого Петра, со свернутыми зонтиками под мышкой, пробирались в своих черных сутанах и длинных шляпах с закрученными в трубочку полями два католических священника, вылитые дон Базилио из «Севильского цирюльника».

Несколько монахов пересекали по разным направлениям площадь. Шел по раскаленным булыжникам босой, как пророк, францисканец в своей грубой власянице, подпоясанной простой веревкой. Шли, перебирая четки, толстенькие веселые бенедиктинцы, похожие сзади на навозных жуков, и солнце блестело в их тонзурах.

Низко склонив головы, шли черные монахини в своих странно громадных, легких, как бисквит, белоснежных батистовых, твердо накрахмаленных головных уборах.

Серенький ослик тащил арбу-двуколку с высокими, в полтора человеческих роста, цельными колесами, которые катились и первобытно-грубо скрипели, вызывая в Петином воображении обозы Ганнибала, кочующие в пыли у золотых ворот Рима.

В это время из-за угла вылетела рессорная коляска, запряженная четверкой вороных лошадей цугом. Спицы вертелись, сверкая на солнце, как молния. В муаровой шапочке, откинувшись на кожаные подушки, сидел кардинал. Петя успел рассмотреть синие щеки, толстые брови и черные высокомерно-злые глаза, подведенные, как у актера.

Кардинал посмотрел на семейство Бачей, на старика веттурино, успевшего сорвать с плешивой головы шляпу и набожно сложить ладони. Неизвестно, что подумал князь церкви, но он светски улыбнулся, выпростал тонкую руку, перевитую четками, из кружевных манжет и, не складывая пальцев, одним неуловимым движением ладони перекрестил путешественников слева направо. Нарядно мелькнула пурпурная мантия, и коляска исчезла, как видение, оставив в воздухе тонкий запах костела.

А через две недели, исколесив всю Италию, наши путешественники, пунктуально выполняя план Василия Петровича, уже очутились в Швейцарии.

Здесь, прежде чем начать ездить, было решено немного передохнуть и собраться с силами.

Откровенно говоря, все время ездить, пересаживаться

с поезда на поезд ужасно надоело, но остановиться было уже нельзя: еще в Милане, соблазнившись дешевизной, приобрели в бюро путешествий специальные билеты, дающие право проезда по всем без исключения железным дорогам Швейцарии в течение шестидесяти дней.

Шестьдесят дней для семейства Бачей было даже слишком много: через полтора месяца кончались каникулы. Но на меньший срок билеты не продавались. Зато выгадали на Павлике. Выдали его за семилетнего и на троих приобрели всего два «взрослых» билета третьего класса.

Конечно, это было хотя и небольшое, но все же мошенничество, и Василий Петрович, прежде чем на него решиться, долго подергивал шеей и смущенно протирал платком пенсне. Но, так или иначе, билеты были куплены; они вступили в законную силу, и теперь началось странное, тревожное время, когда казалось, что каждый день, проведенный не в поезде, приносит семейству Бачей громадные убытки.

Все же необходимо было хоть немного передохнуть.

27
НА БЕРЕГУ ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА

И вот они сидели в плетеных креслах на открытой террасе маленького, недорогого пансиона в Уши, на берегу Женевского озера, которое по-французски называлось Лак Леман.

Позади, ярусами, один над другим поднимались и полого уходили в чистое небо отели, парки и колокольни Лозанны. Впереди, сквозь скромную зелень садов и виноградников, просвечивала полоса небесно-голубого озера с крылатыми парусами и чайками. А на том берегу в легчайшем солнечном тумане открывалась панорама Савойи — ее бархатные луга, ущелья, долины с маленькими живописными деревушками — и, наконец, дикая горная цепь, охватившая весь горизонт. Где-то здесь полагалось быть Монблану, но напрасно Василий Петрович старался его увидеть в маленький театральный бинокль: горная цепь была завалена хмурыми тучами и перламутровыми облаками. И это было тем более досадно, что комната сдавалась «с видом на Монблан».

Пожелав нашим путешественникам «бон матэн», пожилая горничная поставила на стол поднос с «комплэ дю тэ», состоящим из чайного прибора, соломенной корзиночки с крошечными хрустящими хлебцами — «розе», тарелки сливочного масла, приготовленного в виде легких желтых стружек, и двух розеток с медом и малиновым джемом; стояла также и сахарница с крошечными кубиками прессованного сахара, такого хрупкого, что его приходилось брать щипчиками крайне осторожно, так как он имел свойство от малейшего нажима рассыпаться в порошок.

Надев пенсне, Василий Петрович долго рассматривал странный желтоватый сахар, затем взял кусочек, понюхал его и попробовал на вкус, после чего объявил, что это не простой сахар, а тростниковый.

Тростниковый сахар! Это открытие привело мальчиков в восхищение. Особенно взволновался Петя, живо себе представивший, как изумится тетя и как будут завидовать все знакомые, когда узнают, что Петя собственными глазами видел тростниковый сахар и пил с ним чай на террасе «с видом на Монблан». Мальчик даже сделал попытку немедленно начать писать письмо тете. Он уже вынул из сумки письменные принадлежности, но швейцарское утро было так чудно спокойно, такая тишина стояла вокруг, так неподвижно висели осы над розетками с медом, что Петя, вместо того чтобы писать, вдруг всем своим существом погрузился в оцепенение.

Только теперь он почувствовал, как страшно устал от впечатлений и как ему необходим отдых.

Перед ним все еще продолжали в беспорядке носиться картины Италии. То он видел в пронзительно синем небе капитель колонны святого Марка со львом, положившим лапу на каменное евангелие, и это была Венеция. Голубые двухэтажные трамваи обходили красивую площадь вокруг беломраморного кружевного собора со всеми его двумя тысячами готических статуй — и это был Милан. Проезжали в облаках сухой, белой пыли мимо мраморных разработок Каррары, мимо косых штабелей громадных мраморных досок, кубов, плит, глыб, только что выпиленных из карьера и приготовленных к отправке. Неподвижно падала изящная многоярусная Пизанская башня.

Долго стояли на каком-то глухом разъезде среди зной-

ной живописной равнины и видели на горизонте мутно-сиреневую горную цепь, откуда чуть заметно потягивало альпийским холодком. А затем знаменитый Симплонский туннель — двадцать два километра железнодорожного пути, проложенного в толще горного массива,— внезапная пороховая тьма, тухлый запах каменного угля, оглушающий железный гул и черные зеркала плотно запертых вагонных окон, в которых так зловеще-похоронно вдруг отразились зажженные в поезде дрожащие электрические лампочки слабого накала.

И после бесконечного получаса этого тягостного, неподвижно-стремительного движения, когда, казалось, уже не хватает воздуха и никогда не будет конца могильной тьме, со всех сторон сжавшей поезд с двумя выбивающимися из сил локомотивами,— вдруг ослепляющий блеск дневного света, стук падающих оконных рам, радостный свежий ветер, ворвавшийся из долины Роны и будто пролетевший по вагонам, выдувая вон тухлый запах туннеля. Горы. Ледники. Долины. Деревянные домики — шале — с жерновами сыра на крышах. Стада красных и черных швейцарских коров и мелодичный не звон, а деревянный перестук их плоских колокольчиков в солнечной тишине станции с белым крестиком на красном швейцарском флаге и сенбернарская собака огромного плаката «Шоколад Сюшар».

И вот Петя уже в новой стране — хорошенькой, игрушечной...

С нижней террасы доносились голоса спорящих людей. Говорили по-русски. Звуки родной речи сразу привлекли внимание мальчика, он стал прислушиваться.

— Вы не должны игнорировать принципиальное положение, единогласно утвержденное январским пленумом ЦК,— громко говорил, почти кричал женский голос, отчеканивая слова «игнорировать» и «пленум».

— Я не игнорирую, но...— мягко отвечал мужской голос со скрыто ироническими, баритональными интонациями.

— Нет, сударь, вы именно игнорируете или, во всяком случае, делаете вид, что не игнорируете.

— Это бездоказательно!

— Январский пленум совершенно ясно определил характер действительно социал-демократической работы,—

быстро вмешался другой мужской голос, глухой, сердитый, прерываемый короткими покашливаньями и сплевываньями застарелого курильщика.

— Нуте-ка, нуте-ка,— произнес иронический баритон, и Петя ясно представил себе, как это «нуте-ка» выталкивается из красивого, мясистого носа.

— Отрицание нелегальной социал-демократической партии,— еще громче закричал женский голос,— принижение ее роли и значения, попытки укротить программные и тактические задачи и лозунги революционной социал-демократии представляют собой проявление буржуазного влияния на пролетариат...

Услышав слова «революционная социал-демократия» и «пролетариат», которые так громко раздавались внизу на весь сад, Василий Петрович даже вздрогнул и с опаской посмотрел на детей.

— А те, кто этого не признает, обманывают рабочих, распространяя либерально-буржуазные идеи о якобы конституционном характере назревающего кризиса,— сказал кашляющий голос застарелого курильщика, и Петя увидел, как внизу сквозь плющ стремительно вылетел окурок папиросы, упал на гравий возле клумбы белых лилий и стал сердито дымиться.

— Ого! Не слишком ли сильно сказано?

— Подобные господа,— не унимался женский голос,— выбрасывают вон такие исконные лозунги революционного марксизма, как признание гегемонии рабочего класса в борьбе за социализм и за демократическую революцию!

— Это я-то?

— Именно вы-то и господа, вам подобные...

— Бог знает что! — испуганно пробормотал Василий Петрович, и нос его побелел от волнения.— Дети, сию же минуту уходите с террасы!

Но Петя, охваченный любопытством, уже лез животом на перила, свесил вниз голову и старался рассмотреть, что делается на нижней террасе.

Сквозь косую зеленую решетку, увитую плющом, мальчику удалось увидеть стол с кувшином молока и нескольких человек, сидящих в плетеных креслах: сердитую даму в черной жакетке, похожую на учительницу, чахоточного юношу в сатиновой косоворотке под старым

пиджаком и красивого господина в чесучовой тужурке и с блестящим стальным пенсне на мясистом римском носу, из которого как раз в эту самую минуту выталкивалось ироническое «нуте-с, нуте-с...»

— Проповедуя так называемую легальную, или открытую, рабочую партию, вы и вам подобные суть не кто иные, как строители столыпинской «рабочей» партии и проводники буржуазного влияния на пролетариат! — кричала дама в жакетке, стуча костяшками кулака по столу с такой силой, что кувшин с молоком подпрыгивал и каждую минуту готов был упасть.

— Вот именно, самого настоящего буржуазного влияния...— задыхаясь от приступов кашля и отплевываясь, быстро и глухо говорил чахоточный юноша, зажигая дрожащими руками спичку.— А ваша «открытая» рабочая партия при Столыпине означает не что другое, как открытое ренегатство людей, отрекающихся от задачи революционной борьбы масс с царским самодержавием, Третьей думой и всей столыпинщиной!

Этого Василий Петрович выдержать уже никак не мог. Он схватил Петю за плечи и потащил в комнату:

— Ты не смеешь слушать подобные вещи! Сиди в комнате... Павлик, сию же минуту марш с балкона! Ах, господи, что за наказанье! Всюду политика...

Водворив мальчиков в комнату, Василий Петрович вышел на террасу и крикнул вниз дрожащим голосом:

— Попрошу вас выбирать выражения! И, во всяком случае, говорить не громко. Не забудьте, что наверху дети.

Внизу наступила тишина, а затем носовой голос сказал:

— Товарищи, нас подслушивают,— после чего со скрипом задвигалась плетеная мебель и женский голос произнес:

— А вы говорите — открытая партия, когда даже в свободной Швейцарии нас преследуют шпионы царского правительства!

— Послушайте! — грозно крикнул Василий Петрович побагровев.

Но внизу демонстративно захлопнулась стеклянная дверь, и, смущенно пробормотав «черт знает что такое», Василий Петрович покинул террасу, так же демонстративно хлопнув стеклянной дверью.

— Папа, это тоже русские? — шепотом спросил Павлик.— Они анархисты, да?

— Дурак, они социал-демократы! — сказал Петя.

— Тебя не спрашивают!.. Папа, а как они сюда попали?

— Перестань задавать глупейшие вопросы! — раздраженно заметил отец.— И вообще не суйся не в свое дело,— прибавил он, строго взглянув на Петю.

— Да, но все-таки,— не унимался Павлик,— они такие же самые русские, как и мы, или как?

— Да, они такие же русские, как и мы, но только эмигранты. И кончим об этом,— сухо сказал отец.

— А что такое эмигранты? Это люди, которые против царя?

— Хватит! — рявкнул отец решительно.

На этом политический разговор и закончился. Больше русских эмигрантов, живших под ними, семейство Бачей не видело. Вероятно, они уехали из пансиона в какое-нибудь другое место.

28

ЭМИГРАНТЫ И ТУРИСТЫ

Это небольшое происшествие произвело на Петю сильное впечатление. Он снова, незаметно для себя, стал размышлять о том не совсем понятном ему явлении, которое называлось «русская революция». Он думал о России и о русских людях.

До сих пор все они, независимо от того, были ли они богатые или бедные, были ли они мужики или рабочие, чиновники или купцы, офицеры или солдаты, представлялись ему вообще русскими, верноподданными государя императора. И это представление было для него так же естественно и так же не требовало доказательств, как то, что, например, Черное море состоит из большого количества соленой воды, а небо — из массы синего воздуха.

Но за границей, где, к Петиному удивлению, встречалось много русских, его привычное представление поколебалось.

Он заметил, что все русские за границей делились на две категории. Одну составляли туристы, другую — эмигранты. Туристы были богатые люди, и семейство Бачей с ними нигде не соприкасалось, потому что на пароходах и

поездах туристы ездили в первом классе, останавливались в безумно дорогих отелях, обедали на террасах самых изысканных ресторанов, пользовались для своих прогулок экипажами, великолепнейшими верховыми лошадьми и даже автомобилями, еще более прекрасными, чем автомобиль братьев Пташниковых, который до сих пор казался Пете чудом, верхом богатства и роскоши.

Где бы ни появились русские туристы, их всюду, в глазах Пети, окружала атмосфера богатства и роскоши. Они появлялись целыми семействами, с нарядными детьми — мальчиками и девочками — в сопровождении гувернанток, компаньонок, комиссионеров и гидов самого первого сорта, солидных и внушительных, как министры.

Это были выхоленные мужчины и брезгливые дамы, молоденькие барышни и кавалеры, надменные старухи и элегантные старики, от которых пахло странными мужскими духами и сигарами.

Иногда — в прохладной полутьме картинной галереи или среди раскаленных развалин какого-нибудь античного театра — семейство Бачей оказывалось в непосредственной близости к этим людям, но даже и здесь их окружала невидимая стена, исключавшая всякую возможность сближения. В их присутствии Петя испытывал унизительное чувство неловкости за свою если не бедность, то, во всяком случае, какую-то «недостаточность».

Втайне ему становилось стыдно за костюм отца, за его штиблеты с загнутыми вверх носами, за его дешевую соломенную шляпу, за его воротничок и манжеты из «композиции», которые отец каждый вечер старательно чистил резинкой и купал в мыльной пене. Петя презирал себя за это чувство стыда, но ничего не мог с собой поделать. Это было тем более унизительно, что он ясно понимал: отцу втайне тоже стыдно. В присутствии туристов у отца делалось напряженно-независимое лицо, подергивалась бородка, и вместе с тем кисти рук непроизвольно поджимались, задвигая в рукава вылезающие наружу манжеты.

Но самое оскорбительное было то, что богатые русские как бы вовсе не замечали присутствующего рядом семейства Бачей. Они только переставали говорить по-русски и как-то легко, свободно и незаметно переходили на какой-нибудь другой язык — французский, английский,

итальянский,— на котором продолжали разговаривать так же естественно, как и на русском.

Те картины великих художников, перед которыми Василий Петрович стоял с опущенной головой и слезами на глазах, они рассматривали с разных точек в кулаки и лорнеты, с достоинством восхищаясь и делая тонкие замечания. Они смотрели на развалины античного театра с таким видом, как будто бы ожидали, что сейчас выйдет греческий хор и древние артисты на котурнах и в масках специально для них сыграют забавную трагедию.

Казалось, что всё находящееся вокруг принадлежит им по какому-то древнему праву, не подлежащему никакому сомнению. И Петя чувствовал, что они действительно являются полновластными хозяевами всего. Мир принадлежал им или, во всяком случае, им подобным, а уж Россия — наверное.

Тем более странной казалась Пете другая часть русских за границей — эмигранты. Они были полной противоположностью туристам.

Это были бедные, дурно одетые интеллигентные люди. Они ездили в третьем классе, ходили пешком, жили в маленьких, самых дешевых пансионах. Поэтому семейство Бачей с ними часто сталкивалось, и Петя скоро составил о них довольно точное представление.

Это были мужчины и женщины вроде тех, с которыми столкнулось семейство Бачей в пансионе в Уши. Эмигранты занимались политикой. Много раз Петя слышал, как они громко произносили разные «политические слова», которые всегда приводили Василия Петровича в смятение.

Они вечно спорили между собой, совершенно не обращая внимания на окружающее, и в самых неподходящих местах: на вокзале перед отходом поезда; в горах возле водопада, осыпавшего водяной пылью дрожащие ветки папоротника; за табльдотом; в музее, рассматривая распиленные пополам полые булыжники, внутри которых сверкали липовые кристаллы аметиста.

Эмигранты, по мнению Пети, были одержимы каким-то одним общим делом. Петя понимал, что дело это политическое, но в чем оно заключается, мог только смутно догадываться. Петя знал, что они «борются с самодержавием». И если они переезжают с места на место, то не по-

тому, что путешествуют, а потому, что их постоянно куда-то гонит «общее дело».

Однажды в Женеве семейство Бачей столкнулось с довольно большой группой эмигрантов. Это было на островке возле памятника Руссо. Вокруг плавали черные лебеди, и бронзовый Руссо, старик с истощенным, страстным лицом, сидя в кресле, безучастно наблюдал, как эти горделивые птицы вдруг опускали в воду свои извилисто изогнутые, змеиные шеи и хищно хватали кусочки белого хлеба, брошенного им с хорошеньких, разноцветных лодочек. Пока Василий Петрович, сняв шляпу, стоял возле памятника великому Жан-Жаку, философу и писателю, перед которым привык преклоняться еще со студенческих лет, Петя услышал голоса эмигрантов. Они сидели на скамейках в тени плакучих ив и, по обыкновению, спорили. Вдруг Петя услышал знакомую фамилию — Ульянов.

— Разве Ульянов-Ленин сейчас не в Париже?

— Под Парижем. В местечке Лонжюмо.

— Стало быть, это верно, что партийная школа Лонжюмо существует?

— Не только существует, но Ленин вызывает туда партийных работников и читает им курс лекций по политической экономии, по аграрному вопросу, по теории и практике социализма.

— Какую же позицию он занимает по отношению к Каприйской школе?

— Разумеется, непримиримую.

— После его резолюции о положении дел в партии на собрании второй парижской группы содействия РСДРП можно не сомневаться, что ни на какие компромиссы он никогда не пойдет.

— Я не читал резолюции.

— На днях она будет опубликована отдельным листком.

— А Георгий Валентинович?

— Что ж Георгий Валентинович... Плеханов есть Плеханов.

— Стало быть, вы считаете...

— Я считал и считаю, что в русской революции есть единственно верная линия — это линия Ленина. И чем скорее мы все это поймем, тем скорее совершится русская революция.

Впервые с полной ясностью Петя почувствовал, что эмигранты, которые ему до сих пор казались все-таки не более, чем какими-то бедными чудаками, невольными скитальцами по чужим странам после неудачной революции, представляют собой далеко не шуточную силу. Оказывается, у них есть партийные школы, центральные комитеты, группы содействия, пленумы. Они выпускают отдельными листками свои резолюции. Оказывается, несмотря на поражение революции тысяча девятьсот пятого года, многие из них не только не сложили оружие, но, напротив, готовятся к новой революции. Оказывается, у них есть руководитель — Ленин-Ульянов, по-видимому тот самый, которому было адресовано письмо, переданное Пете Гавриком. Несколько раз уже слышал Петя это имя — Ульянов. Он старался представить себе этого человека, сидящего где-то под Парижем, в Лонжюмо, готовящего новую революцию в России.

Теперь всякий раз, когда Петя встречал эмигрантов в поезде или на вокзале, он был уверен, что они едут именно в Париж, в Лонжюмо, в партийную школу Ульянова. Конечно, туда же ехали и те эмигранты, которых провожал Максим Горький в Неаполе на вокзале, и среди них — дама в трауре с девочкой, посмотревшей на Петю так требовательно и так строго в ту минуту, когда поезд тронулся и в глаз влетел уголек.

29

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Петя все никак не мог забыть эту девочку. Как ни странно, он думал о ней часто, с горьким чувством разлуки, и мысленно упрекал ее за то, что она внезапно появилась и так же внезапно исчезла, как будто она была в этом виновата. Петя придавал преувеличенное значение взгляду, которым они обменялись.

Петя уже прочитал романы Тургенева, «Героя нашего времени», «Войну и мир», разумеется «Евгения Онегина», почти всего Гончарова. И, хотя Василий Петрович, руководивший чтением своих мальчиков, особенно напирал на общественное значение всех этих классических произведений, Петю захватывало в них совсем другое: любовь.

Он с жадностью проглатывал страницы, где говорилось

о любви, рассеянно пропуская те, в которых было «общественное значение», или, как строго говорил отец, «главное содержание произведения». Для Пети главное содержание произведения заключалось в любовных сценах.

Будучи от природы мальчиком влюбчивым и мечтательным, он быстро усвоил всю науку возвышенной любви русских романов. Изучив теорию, он при каждом подходящем случае старался применять ее на практике. Но это оказалось не так-то легко. «Любовь с первого взгляда» или «холодное равнодушие», примененные к какой-нибудь знакомой гимназистке четвертого класса в черном переднике, касторовой шляпе с форменным зеленым бантом и клеенчатой книгоноской в маленьких руках, отнимали массу времени, но не имели никакого смысла, потому что девочка на все эти ухищрения только жеманно улыбалась, решительно не понимая, что же, в конце концов, от нее требуется.

Тем не менее Петя довольно часто погружался в мир воображаемых страстей и тогда представлял себя то Печориным, то Онегиным, то Марком Волоховым, хотя, в сущности говоря, был гораздо ближе к Грушницкому, Ленскому и Райскому.

Разумеется, в это время все знакомые девочки в его глазах превращались в Мери, Татьян и Вер — прелестных и страдающих, что весьма льстило его самолюбию. К Ольгам, Марфинькам Петя относился пренебрежительно. Впрочем, сами девочки редко об этом догадывались и считали Петю странным чудаком и задавакой.

Сначала путевые впечатления были так сильны, что Петя забыл и думать о любви.

Но вот в его глаз влетел крошечный уголек, и начался новый роман.

Разумеется, это была «любовь с первого взгляда». В этом Петя не сомневался. Но кем была она и кем он, следовало еще разобраться. Так как дело происходило за границей, то больше всего подходил Тургенев. Она могла быть Асей или даже, с небольшой натяжкой, Джеммой из повести «Вешние воды». Это было тем более удобно и приятно, что в обоих случаях Петя, в качестве главного героя, оказывался сразу же горячо и преданно любимым.

Однако чутье подсказало Пете, что на самом деле она была не Джемма и не Ася. Пожалуй, она подходила для

онегинской Татьяны. Но Татьяну Петя тоже отверг. В подобном случае ему следовало стать Онегиным, что никак не совпадало с его потребностью взаимной любви.

Княжна Мери и Бэла тоже не подходили, хотя бы потому, что Пете порядочно-таки надоело быть Печориным, чем он в последнее время сильно злоупотреблял.

Больше всего годилась Вера из «Обрыва». В ней тоже было что-то непокорное и таинственное. В таком случае Пете оставалась роль Марка Волохова, так как на неудачника Райского он был решительно не согласен. Что ж, Марк Волохов — это совсем не плохо. Он еще никогда не был Марком Волоховым. Петя не успел окончательно остановиться на Вере и Марке Волохове, как ему вдруг показалось, что Клара Милич с ее таинственным загробным поцелуем есть именно то, что надо. Она — Клара Милич. Что может быть лучше? Но в ту же минуту внутренний голос сказал Пете, что это тоже неправда.

Между тем любовь не ждала, она не терпела ни малейшего промедления. И вот, наскоро смешав Татьяну, Веру, Асю, Джемму, оставив загробный поцелуй Клары Милич и прибавив черный бант в каштановой косе, Петя в конце концов получил «ее» — ту единственную, нежную, на всю жизнь любимую и любящую, с которой его так мимолетно свела судьба и так безжалостно разлучила.

Горькое чувство разлуки овладело Петиной душой. Все время он испытывал странное одиночество. Он втайне упивался этим одиночеством, хотя оно не только не мешало счастью путешествия по Швейцарии, но даже как бы усиливало его.

Больше он не был ни Печориным, ни Онегиным, ни Марком Волоховым. Он был самим собой, но только каким-то новым, вдруг возмужавшим.

Василий Петрович не без тайной тревоги наблюдал, как меняется Петя, на глазах превращаясь из мальчика в юношу. Он чувствовал, что с его сыном происходит что-то непонятное, и приписывал это обилию новых впечатлений. Возможно, так и было. Но он даже приблизительно не мог себе представить всей той чепухи, вызванной слишком пылким воображением, в которую была погружена Петина душа. Он иногда брал Петю за плечи, заглядывал ему в глаза и своей большой рукой с узловатыми жилами ерошил его волосы.

— Что, Петушок, что, маленький? — ласково спрашивал он сына.

И тогда Петя, готовый заплакать от жалости к себе, мрачно отстранялся и глухо произносил:

— Я не маленький.

При каждом удобном случае он стал пристально смотреться в зеркало, стараясь придать своему лицу мрачное и мужественное выражение. Он стал особенным образом причесывать волосы отцовской щеткой, которую усиленно мочил водой, прилагая все усилия, чтобы волосы не торчали на макушке.

30

ВЬЮГА В ГОРАХ

В Интерлакене по настоянию Пети были куплены шерстяные плащи и альпенштоки — длинные палки с железными наконечниками для подъема в горы. Петя стал поговаривать о зеленой тирольской шляпе с фазаньим пером и о башмаках со стальными шипами. Но отец, боявшийся потратить лишний сантим, решительно отказался и не на шутку рассердился.

Даже в самые жаркие дни Петя старался не снимать плаща и носил его не просто, а на испанский манер, закидывая угол через плечо. Если на Павлике плащ выглядел, как скромная пелерина, то на Пете он превращался в «альмавиву».

Павлик простодушно волочил за собой длинную палку, покрытую вишневой корой; Петя опирался на нее, как на посох.

Иногда он мрачно улыбался, отходил в сторону и некоторое время одиноко стоял на скале, рассматривая с высоты птичьего полета какую-нибудь деревушку, с маленькой, хорошенькой кирхой, на дне долины.

Однажды он уговорил отца подняться в горы в дурную погоду, когда самопишущий барометр на площади Флюэлена чертил на бумажной ленте незаметно вращающегося барабана зловещую ломаную линию.

— Но ведь там сейчас туман, вьюга, и мы ничего не увидим, только зря потратим деньги на фуникулер,— говорил отец, который недавно с ужасом выяснил, что круговые билеты не распространяются на линии фуникулеров.

Но Петя с жаром стал доказывать, что в хорошую погоду в горы поднимаются решительно все, и тогда там нет ничего интересного, кроме надоевших снеговых вершин и глетчеров, в то время как в дурную погоду, когда все другие путешественники трусливо сидят внизу, в отелях, именно и надо подниматься в горы, для того чтобы своими глазами увидеть снежную бурю в июле.

— Ты пойми, что этого же никто, никто не увидит, кроме нас! — настойчиво повторял Петя.

В конце концов он убедил отца, и они сели в косой, ступенчатый вагон электрического фуникулера, который медленно повез их почти вертикально вверх по зубчатым рельсам.

Как и следовало ожидать, кроме них, в вагоне не было других пассажиров. Долго ползли по очень крутому склону, поросшему сначала сосновым лесом, а потом еловым. Деревья плавно сползали вниз по диагонали, так что сначала Петя видел над собой их корни, а потом под собой острые верхушки, увешанные шишками, которые, уменьшаясь, скрывались внизу, в солнечном тумане жаркого июльского дня. Иногда среди папоротников кипели белые лестницы водопадов.

Становилось свежей. Кончился лес. Сверху сползла последняя станция — чистенький домик с мокрой крышей. Семейство Бачей вышло из вагона. Василий Петрович порылся в Бедекере, и они отправились дальше пешком в гору, среди черных валунов, покрытых серебристыми лишаями.

Здесь уже замечались первые признаки тумана. Было трудно идти в скороходовских сандалиях вверх по скользкой кварцевой щебенке. Каменистая почва была покрыта стелющейся растительностью — цикламенами, альпийской розой. И наконец среди сырого мха Петя нашел первый эдельвейс, странный мертвый цветок в виде звездочки, как бы вырезанной из белого сукна. Петя сорвал его и прицепил к груди, засунув в вырез своей матроски.

Линия горизонта стала очень высоко и близко, и оттуда, переваливаясь, полз серый туман. Все вокруг потемнело. Они вошли в облако. Стало очень холодно. В одну минуту шерстяные плащи поседели от водяной пыли. Их охватили густые сумерки. Подул пронзительный ветер, неся прямо в лицо потоки мелкого ледяного дождя.

Василий Петрович сердито велел возвращаться назад. Но Петя решительно продолжал шагать в гору, декоративно кутаясь в плащ и стуча железным наконечником альпенштока по мокрым камням.

Стало еще холодней. Среди капель дождя замелькали сначала мокрые, а потом и сухие снежинки. Мгновенно дождь превратился в снежную метель.

— Назад! Сию же минуту вернись! — кричал отец.

Но Петя уже ничего не слышал, упиваясь мрачной красотой этой июльской вьюги. Он добежал до края обрыва, откуда в хорошую погоду обыкновенно открывался вид на всю горную цепь, на снежные вершины Монте-Розы, Юнгфрау, Маттергорна.

Теперь же ничего не было видно. Вверху, внизу и вокруг кружилась метель, покрывая цветы и камни белоснежной пеленой.

— Зря только сгубили деньги,— бормотал отец, стараясь разглядеть хоть малейший намек на знаменитую горную цепь.

— Ах, папа, ты ровно ничего не понимаешь! — с тоской воскликнул Петя.— Даже досадно! Внизу лето, жара, а мы... а мы видим снег. Одни только мы!.. Неужели ради этого не стоило подниматься?

— Ну, внизу лето, а вверху зима. Вполне естественно. Не знаю, что ты в этом находишь особенного. В гористой местности это в порядке вещей. А ты просто фантазер, и ничего больше.

Весь облепленный снегом, со снежинками на бровях и ресницах, Петя стоял, скрестив на груди руки, в развевающемся плаще и с мрачным упоением думал о маленькой девочке, которую так безжалостно с ним разлучили и увезли в Париж, в Лонжюмо. Он упивался своей несчастной любовью и одиночеством, хотя втайне и ликовал, представляя себя со стороны — страдающего, всеми забытого, с эдельвейсом на груди, в грубом альпийском плаще, который не в состоянии спасти его от холода.

— Довольно! Хватит! Полюбовались красивым видом, и будет! —сварливо сказал отец.— А то еще, чего доброго, схватите воспаление легких.

— И пусть, и пусть! — сказал Петя, но тем не менее с большим удовольствием повернулся спиной к неприятному ветру и побежал следом за Павликом назад, вниз.

По дороге на станцию фуникулера они наткнулись на хижину пастуха, настоящее швейцарское шале с камнями на плоской крыше. Там обогрелись и высушились перед камельком, а старая швейцарка за маленькую никелевую монету дала им в узких белых стаканах холодное козье молоко.

Василий Петрович пил козье молоко и думал: «Как хорошо, как тихо! Как спокойно! Может быть, в этом и заключается настоящее человеческое счастье: жить на маленьком тихом клочке земли, в маленькой хижине, пасти коров, варить сыр, дышать целебным горным воздухом и не чувствовать себя рабом государства, религии, общества. Нет, наверно, был все-таки прав великий отшельник и мудрец Жан-Жак Руссо!» Эти идеи, которые уже и раньше смутно возникали в его утомленном мозгу, теперь приобрели удивительную, предметную ясность. Они были так же вещественны и зримы, как белые капли козьего молока, блестевшие у него в мокрой бороде.

Откровенно говоря, Петя испытал большое удовольствие, когда фуникулер медленно погрузил их в теплую, сияющую солнцем долину и странная экскурсия кончилась. В общем, несмотря на зря погубленные деньги, все были довольны.

— Н-да, все-таки, знаете, это было любопытное зрелище,— сказал Василий Петрович, потирая руки.— Наконец-то мне довелось увидеть настоящие эдельвейсы в природных условиях!

Был весьма доволен также Павлик, хотя по свойству своего характера скрывал это. Он долго и таинственно возился в углу номера, что-то старательно пряча и со стуком перекладывая в своем дорожном мешке. Как выяснилось впоследствии, он не терял даром времени в Швейцарии. Насмотревшись в витринах магазинов на множество драгоценных камней и кристаллов, добытых в местных горах, мальчик смекнул, что здесь можно легко разбогатеть, если только не зевать во время экскурсий и внимательно смотреть под ноги, где сокровища валяются буквально на земле. Поэтому он тайно натаскал в свой мешок множество камней, казавшихся ему весьма ценными. Сегодня же, пока Петя был занят своими любовными переживаниями и пока отец изучал альпийскую флору, Павлик нашел два довольно больших круглых

булыжника. Он был уверен, что эти булыжники набиты кристаллами аметиста. Стоит их только распилить пополам — и можно наковырять целую кучу драгоценных камней. Осторожный Павлик решил отложить эту операцию до возвращения домой. Там он тайно продаст свои драгоценности, и тогда осуществится его заветная мечта — он приобретет подержанный велосипед.

С этого дня Петя стал особенно страстно мечтать о Париже. Тайное предчувствие говорило ему, что там он непременно снова встретится с «ней» и тогда начнется какое-то новое, невероятное счастье.

Побывать в Париже входило в план путешествия, но сперва надо было по возможности полнее использовать круговые билеты, дающие право ездить по всем железным дорогам Швейцарии.

По правде сказать, Швейцария уже порядком-таки надоела семейству Бачей вместе с ее сыром, молоком и шоколадом, с ее пансионами, фуникулерами, коллекциями минералов, деревянными игрушками и красивыми видами, удивительно похожими один на другой. Но делать было нечего: не зря же заплатили деньги за билеты! И семейство Бачей продолжало ездить, пересаживаясь с поезда на поезд, туда и назад, лишь бы оправдать расходы.

В Берне они постояли возле глубокой ямы, на дне которой на задних лапах ходили знаменитые бернские медведи, выпрашивая у посетителей подачки.

Подъезжая к Люцерну, видели на зеленом лугу большой желтый дирижабль «Вилла Люцерн».

Где-то на Фирвальдштетском озере их настигла страшная гроза, и они видели зловещие отражения молний в воде, ставшей в одну минуту почти черной.

В Лугано их поразил совсем итальянский характер города — с трескучей скороговоркой толпы, с макаронами, мандолинами, фиасками кьянти и ледяным аранжадом.

В Шильонском замке, который своими островерхими башнями как бы вырастал из озера на фоне зубчатой вершины Дандемиди, они видели знаменитое подземелье с железным кольцом, с каменными колоннами и фальшивой надписью Байрона, выцарапанной на одной из них.

В каком-то городке немецкой Швейцарии покупали для тети легкое одеяло из чесаного шелка-сырца. На какой-то станции в их вагон шумно ввалилась толпа тол-

стых тирольских стрелков в коротких штанишках и широких зеленых подтяжках, которые, надев на дула ружей шапочки с фазаньими перьями, потрясали ими над головой и горловыми, переливчатыми голосами, подражая флейте, пели свои тирольские «иодели».

Было еще множество других впечатлений, но они слились с одним постоянным чувством необходимости все время ехать дальше.

Но вот настало время отправляться в Париж, и вдруг Василий Петрович заколебался. Сидя в маленьком номере дешевой женевской гостиницы, он долго подсчитывал ресурсы, покрывая колонками бисерных цифр клочок почтовой бумаги.

— Когда же мы наконец поедем в Париж? — сказал Петя с нетерпением.

— Никогда! — отрезал отец.

— Но ведь мы же решили. Ведь ты же обещал.

— Решили, а теперь я отменяю это решение.

— Но почему же?

— Потому что у нас мало денег. Какой может быть Париж, когда уже август на носу, и вот Татьяна Ивановна пишет, что у Файга с первого числа начинаются какие-то осенние приемные испытания, да и вам с Павликом довольно уже бить баклуши и пора перед новым учебным годом освежить в памяти целый ряд предметов. Одним словом, будет! Погуляли — хорошенького понемножку!

— Папочка, ты, наверно, шутишь! — взмолился Петя.

— Я сказал! — пробормотал отец.

Видя, что отец перешел на свой обычный тон, Петя сделал еще одну попытку поколебать его решение.

— Но ты же дал слово, и нечестно с твоей стороны теперь отказываться! — развязно и довольно дерзко сказал Петя.

— Как ты смеешь в таком тоне говорить с отцом! Молчать! Мальчишка! — крикнул Василий Петрович и схватил мальчика за плечи, чтобы хорошенько его потрясти, но, вероятно, вспомнив, что они находятся за границей, ограничился лишь одним коротким рывком, после чего все семейство вдруг почувствовало глубокое облегчение: слава тебе господи, вопрос окончательно решен, и не нужно уже больше путешествовать, а прямо ехать через Вену в милую Одессу.

Только сейчас все поняли, как они безумно устали и как им, в сущности, уже давно надоело без передышки трястись в поездах, ночевать в гостиницах, покупать открытки, бегать по картинным галереям, говорить по-французски, вместо борща и вареников питаться жеманными швейцарскими супчиками и тонкими ломтиками твердого жаркого с прокисшим гарниром.

Им хотелось выкупаться в море, съесть добрую «скибку» сахарного монастырского кавуна, напиться из кипящего самовара чайку с клубничным вареньем и горячими бубликами, на которых так аппетитно тает ледяное сливочное масло.

Словом, их страстно потянуло домой, и на другой же день они уехали.

Они так торопились, что даже Вена, где они все-таки задержались на два дня, не произвела на них никакого впечатления. Они уже пресытились. В памяти осталась лишь картина, которую они увидели в окно вагона, уезжая из Вены: багровая полоса заката и бесконечно длинный силуэт города с башнями, шпилями, флюгерами и колоссальным крутящимся колесом аттракциона увеселительного сада Волькпратер, которое возвышалось над всем городом и казалось странным символом Вены.

От Вены до русской границы плелись мучительно долго, чуть ли не двое суток, так как верный своему принципу экономить на проездных билетах Василий Петрович решил не тратиться на скорый поезд «шнельцуг», а взял билеты на «персоненцуг» — то есть пассажирский. Этот самый «персоненцуг», несмотря на вполне приличное, даже красивое название, на поверку оказался не пассажирским поездом, а товаро-пассажирским.

31

ТАК ВСТРЕТИЛА ИХ РОССИЯ

За время путешествия по Швейцарии Петя и Павлик сделались опытными железнодорожными пассажирами. Они научились безошибочно определять скорость поезда по телеграфным столбам. Например, если от одного до другого столба можно было неторопливо отсчитать: раз, два, три, четыре, пять, шесть,— то, значит, поезд шел со скоростью примерно тридцать верст в час. В Швейцарии

поезда ходили сравнительно быстро. Между столбами было пять. Попадались поезда, когда между столбами было четыре и даже три. Очутившись же в австрийском «персоненцуге» и посчитав столбы, мальчики убедились, что поезд плетется, как черепаха: между столбами оказалось десять. Столбы не мелькали в окне один за другим, а каждый столб долго проплывал мимо, лениво таща за собой жиденькие провода, на которых сиротливо сидели ласточки, а следующий столб так долго не показывался, что иногда казалось, что его и вовсе никогда не будет. Поезд подолгу стоял на всех станциях и полустанках. Плацкартных мест не было. Днем и ночью ехали, сидя на твердой деревянной лавке вагона третьего класса, переполненного пассажирами.

Это уже не были хорошо одетые, вежливые и доброжелательные пассажиры швейцарских поездов — туристы и фермеры. Это была австрийская беднота: странствующие ремесленники со своим инструментом, резервисты, солдаты, торговки, ветхозаветные евреи в люстриновых лапсердаках, белых чулках, с такими длинными закрученными пейсами, что, казалось, они нарочно приклеены.

Было много славян — чехов, поляков, сербов; иные в национальных костюмах. Они курили вонючие сигары и фарфоровые трубки с длинными висячими чубуками и зелеными кисточками. Закусывали сухой австрийской колбасой с чесноком и перцем, отчего весь вагон провонял тяжелым, местечковым запахом, как его назвал Василий Петрович, покрутив носом,— «амбрэ».

Разговаривали на смеси различных славянских языков и диалектов, среди которых еле слышалась немецкая речь.

Большинство пассажиров ехали на короткие расстояния. На каждой станции одни выходили, другие входили. Один раз на какой-то остановке в вагон вошел старик шарманщик в зеленой охотничьей куртке с пуговицами из необделанного оленьего рога, похожий на австрийского императора Франца-Иосифа. Он сел в углу, стал крутить ручку шарманки и сыграл подряд десять венских вальсов и маршей, после чего снял с плешивой головы свою ветхую тирольскую шапочку и, по-королевски милостиво кланяясь, обошел пассажиров, но ему никто ничего не дал, кроме какой-то заплаканной женщины, которая

вынула из портмоне несколько медных геллеров, завернула их в бумажку и положила в шляпу шарманщика, после чего он, кряхтя, взвалил на спину свой разукрашенный оборванным стеклярусом органчик и вылез из вагона на ближайшей станции.

Поезд поехал дальше, а в Петиных ушах долго еще не умолкали щемящие звуки старой шарманки. Они как нельзя больше соответствовали душевному состоянию мальчика, бедности и какой-то грустной неустроенности окружающих его чужих людей, вечерним сумеркам и стрекотанью вагонного фонаря, куда австрийский кондуктор в мягком кепи вставил зажженный огарок, багрово озаривший часть деревянного простенка с красной запломбированной ручкой тормоза Вестингауза.

На другой день, измученные дорогой, они стали приближаться к русской границе. Шел мелкий дождик. Пассажиры по-прежнему выходили на каждой станции, но в вагон уже больше не входил никто. На лавке, где сидело семейство Бачей, освободились места, но едва Василий Петрович постелил плащ и приготовил вместо подушки дорожный мешок, для того чтобы уложить изнемогающего Павлика, как вдруг, откуда ни возьмись, появился австрийский солдат, который отпихнул Павлика, во весь рост рухнул на лавку, вытянул ноги в больших подкованных сапогах, положил голову на дорожный мешок и в тот же миг заснул, храпя на весь вагон.

— Как вы смеете... милостивый государь! — закричал высоким голосом Василий Петрович, побледнев от негодования.— Вы — невежа!

Но солдат лежал, как чугунный, ничего не слыша и ничего не понимая, и вдруг стало ясно, что он тяжело пьян. Это окончательно взорвало Василия Петровича.

— Вы наглец! Слышите? Сию же минуту освободите не принадлежащее вам место!

Солдат открыл водянисто-голубые глаза, подмигнул, издал громкий, неприличный звук и снова захрапел.

Тогда Павлик стал изо всех сил колотить кулаками по голенищам грубых солдатских сапог с двойным швом, крича:

— Окаянный! Окаянный!

Солдат медленно приподнялся, некоторое время с изумлением смотрел на Павлика, видимо не зная, как посту-

шить — засмеяться или рассердиться,— но в конце концов рассердился, закипел, взял Павлика за лицо растопыренной пятерней с черными ногтями и, брызгая слюной и топорща рыжие усы, стал грозно кричать по-немецки:

— Поди прочь, русская свинья, молокосос! Ты здесь не хозяин, здесь, слава богу, не Россия, и я тебе оторву уши за оскорбление австрийского мундира!

На шум неторопливо пришел кондуктор.

— Уберите отсюда этого пьяного нахала! — кипятился отец.

Но кондуктор стал на сторону солдата и, выпятив грудь, строго заявил отцу, что здесь нет плацкарт и каждый пассажир может занимать себе любое свободное место; а если русский господин будет оскорблять австрийский мундир, то он вышвырнет его вон из поезда со всеми его детьми и бебехами. Он так и сказал: «мит аллес киндер унд бебехен хинаус!»

Услышав об оскорблении мундира, Василий Петрович не на шутку струхнул.

— Ты, знаешь, рукам воли не давай! — пробормотал он Павлику и стал вытаскивать из-под солдата плащ и дорожный мешок.

Солдат же, гремя своим тесаком, повернулся на другой бок и снова с присвистом захрапел на весь вагон.

Впрочем, на следующей станции он вскочил как встрепанный и, ворча про себя разные австрийские проклятия по адресу русских свиней, покинул вагон.

Семейство Бачей сидело как оплеванное. Василий Петрович побледнел, и бородка его тряслась. Однако ничего нельзя было поделать.

Перед самой границей в вагоне, кроме семейства Бачей, оставался лишь один пассажир, который сидел в углу, обхватив с одной стороны дорожную корзинку, а с другой — портплед с подушкой и старым стеганым одеялом. По-видимому, это был тоже русский и по внешности принадлежал к типу эмигрантов.

Было заметно, что он очень волнуется, хотя и старается казаться спокойным. Он даже делал вид, что дремлет. Скоро через вагон прошел австрийский жандармский офицер, отобрал паспорта, и Петя видел, как у пассажира дрожали руки, когда он отдавал свой паспорт.

Поезд, визжа тормозами, остановился. Семейство Ба-

чей вытащило свои вещи на грязный пустынный перрон, прошло через вокзал и очутилось в холодном зале для таможенного досмотра. Здесь находился длинный решетчатый прилавок, составленный из ряда добела потертых рельсов, и за этим прилавком стояли несколько русских таможенных чиновников и русский жандармский ротмистр в голубом мундире с серебряными аксельбантами.

Когда багаж был разложен на прилавке, начался досмотр. Как всегда при соприкосновении с представителями власти, Василий Петрович почему-то ужасно раздражался и нервничал, хотя для этого, собственно, не было никаких оснований. Он испытывал острое чувство унижения своего человеческого достоинства.

Петя видел, как отец долго не попадал ключиком в замок, когда отпирал чемодан.

— Кофе, табак, духи, шелковые изделия везете? — спросил таможенный чиновник, равнодушно проводя рукой с обручальным кольцом по разложенным на прилавке вещам.

— Потрудитесь лично удостовериться,—вспыхнув, проговорил отец, сдерживая дрожание нижней челюсти.— А я не обязан... отдавать вам отчет... Можете поступать по закону...

Таможенный чиновник вяло порылся в чемодане; пожав плечами, вынул несколько булыжников из Павликиного мешка, повертел их в руках, засунул обратно и проследовал дальше.

— Откуда изволите следовать? — строго спросил жандармский ротмистр, слегка звякнув шпорами.

— Как видите, из Австро-Венгрии.

— Изволили также посетить Швейцарию? — спросил жандармский ротмистр, учтиво показывая рукой в серой замшевой перчатке на плащи и альпенштоки.

— Как видите,— сказал Василий Петрович со скрытой иронией.

— Литературу везете?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду женевские или цюрихские социал-демократические издания. Должен предупредить, что провоз через границу подобной антиправительственной нелегальщины может повлечь для вас самые серьезные последствия.

Но не успел Василий Петрович раскрыть рот, чтобы ответить на это что-нибудь язвительное, как вдруг жандармский ротмистр повернулся спиной и проворно пошел, почти побежал к тому самому пассажиру, который ехал в одном вагоне с семейством Бачей.

Пассажир этот теперь стоял у железного прилавка, окруженный несколькими таможенными чиновниками, которые быстро вынимали из его корзины разные вещи — студенческие диагоналевые брюки, косоворотки, штиблеты, кальсоны,— а также мяли и щупали его стеганое одеяло.

— Никифоров! — негромко крикнул жандармский ротмистр, и в тот же миг возле него появился небольшой человечек в штатском с большими ножницами в руке.— Давай одеяло!

Человечек в штатском подошел к прилавку и опытным движением стал вдоль и поперек пороть одеяло.

— Вы не имеете права портить мои вещи,— сказал пассажир тихо и побелел, как полотно.

— Не извольте беспокоиться, не испортим,— сказал жандармский ротмистр и, запустив руку в прореху, стал двумя пальцами брезгливо вытаскивать из одеяла одну за другой пачки тонкой, папиросной бумаги, густо покрытой убористой печатью.

Прибежали еще два человека в котелках и взяли пассажира за руки. А он, густо покраснев, вдруг рванулся всем телом и, озираясь по сторонам, стал кричать слабым голосом:

— Передайте товарищам, что меня взяли на границе, моя фамилия Осипов! Передайте, что я Осипов!

Его поспешно увели в какую-то боковую дверь с вырезанным вензелем железной дороги: «Ю.-З. ж. д.».

— А остальных прошу пройти на перрон для дальнейшего следования по назначению,— сказал жандармский ротмистр и стал раздавать остальным пассажирам паспорта.

Семейство Бачей прошло сквозь вокзал на противоположную сторону, где стоял русский поезд с табличками «Волочиск — Одесса», и русский дежурный по станции в красной фуражке подошел к медному колоколу и дал второй звонок.

Так встретила их Россия.

32
ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

А на другой день они уже ехали с вокзала вместе с тетей на двух русских извозчиках домой мимо Куликова поля и Афонского подворья, которые показались Пете очень маленькими и какими-то провинциальными.

Провинциальной также показалась и тетя в незнакомой, по-видимому совсем недавно купленной, преувеличенно большой модной шляпе и юбке «шантеклэр», так узко стянутой внизу, что в ней можно было ходить лишь крошечными шажками.

Петя заметил, что тетя хотя и обрадовалась их приезду, но выражала свою радость гораздо сдержаннее, чем обычно, когда они возвращались осенью из Будак. Было похоже, что она втайне чем-то недовольна. К своему удивлению, Петя вдруг понял причину ее недовольства: в глубине души тетя была просто обижена, что ее не взяли с собой за границу.

В ее обращении с Василием Петровичем и мальчиками сквозило нечто слегка ироническое. Несколько раз она назвала их «наши знатные путешественники», а когда Петя стал описывать снежную бурю в горах, то тетя произнесла в нос: «Воображаю».

Большой дом, в котором они жили, показался маленьким, а квартира — тесной и темноватой. Шелковое швейцарское одеяло, привезенное в подарок, тоже не произвело впечатления. Вообще первое время в доме чувствовалась некоторая неловкость.

Впрочем, очень скоро она исчезла, и все пошло по-старому, без всяких происшествий, если не считать таинственного исчезновения Павлика на другой день после приезда и его появления поздно вечером, голодного, измученного, со следами высохших слез на осунувшемся лице.

— Боже мой! Что случилось? — воскликнула тетя и всплеснула руками, увидев своего любимчика в таком плачевном виде.— Где ты пропадал?

— Лучше не спрашивайте, — мрачно ответил Павлик.

— Но все-таки?

— Ходил в город.

— Зачем?

— Ох, лучше не спрашивайте!

— Ты меня пугаешь!

— Я ходил продавать драгоценные камни.

— Какие камни? — переспросила тетя, с тревогой всматриваясь в Павликино лицо.

— Драгоценные,— повторил Павлик просто,— которые я привез из Швейцарии. Я их хотел продать, для того чтобы купить подержанный велосипед.

Тетин подбородок задрожал:

— Ну, ну? И что же дальше?

— Дальше я заходил к братьям Пуриц на Ришельевской, к Фаберже на Дерибасовской, потом в два ювелирных магазина на Преображенской... ну, и еще во много разных ювелирных магазинов. И потом заходил в археологический музей, и в Новороссийский университет, и в городской ломбард...

— Боже мой! — простонала тетя, хватаясь кончиками пальцев за виски.

— Я думал — может быть, они тоже купят...— Павлик устало опустился на стул и положил голову на стол.— А они все сказали...

— Что же они все сказали?

— Они сказали, что это обыкновенные камни.

— Ах ты, моя курочка! Ах ты, моя рыбка ненаглядная! — заливаясь стонущим смехом, лепетала тетя.— Ах ты, мой бедненький путешественник, золотоискатель! Нет, я не выдержу, я умру от смеха! Ты меня погубишь!

На этом, собственно, и закончилась краткая история путешествия семейства Бачей за границу.

Но Петю все еще продолжало распирать от заграничных впечатлений. Он уже несколько раз подробно и красноречиво описывал тете и кухарке Дуне Константинополь, Средиземное море, извержение вулкана, беспорядки в Неаполе, Симплонский туннель, снежную бурю в горах, подземелье Шильонского замка и дирижабль «Вилла Люцерн».

Он уже показал все открытки, сувениры и множество разноцветных проспектов и бесплатных путеводителей, которыми был набит чемодан. Каждый день он выходил во двор и слонялся по Куликову полю и по переулкам вокруг дома, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых мальчиков, чтобы рассказать им о путешествии. Но до начала учебного года оставалось недели две, все еще

жили на дачах, на лиманах, в деревне. Город был по-летнему пуст.

Петя изнывал от одиночества. Он с тоской смотрел на пустынное небо, уже по-августовски синевшее над пыльными садами и крышами переулков. Он слушал утомительное пение разносчиков, сонно долетавшее со всех сторон, и сходил с ума от скуки.

— А к тебе тут несколько раз заходил твой друг Гаврик Черноиваненко,— сказала однажды тетя.— Интересовался, скоро ли ты вернешься из дальних странствий.

— Что вы говорите! — закричал Петя.— Гаврик! — И тут же смутился, поймав себя на том, что, оказывается, за последнее время ни разу о нем даже не вспомнил. Гаврик Черноиваненко! Как он мог о нем забыть! Это именно тот человек, которого Пете так не хватало.

Несмотря на то что погода стояла жаркая, даже знойная, Петя схватил свой швейцарский плащ, альпеншток и, не теряя времени, отправился прямо на Ближние Мельницы.

33

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Теперь, когда у Пети появилась цель, город уже не казался таким пустынным и скучным. Было воскресенье. Красиво звонили колокола. Весело посвистывал маленький паровичок дачного поезда, везя мимо Куликова поля на Большой Фонтан открытые вагоны, битком набитые по-воскресному нарядными горожанами, среди которых особенно празднично белели накрахмаленные кители офицеров — с золотыми пуговицами и узкими портупеями шашек, продетых под погон.

Шли с базара кухарки, неся в корзинках, поверх обычной провизии, букеты темных георгин и оранжевых чернобривцев, похожих на овощи. По мостовой гремели платформы с арбузами, сливами и ранним виноградом. Все это возбуждало в Пете прилив какой-то особенной, праздничной бодрости, и мальчик стучал наконечником альпенштока по плиткам тротуаров и по чугунным уличным тумбам.

Он шел так быстро, что порядочное расстояние до Ближних Мельниц отмахал чуть ли не в полчаса. Петя обливался пóтом и умерил свои шаги лишь тогда, когда

очутился возле знакомого заборчика, сделанного из старых шпал. Здесь Петя немного отдышался и надел на себя плащ, который до сих пор нес на руке. Едва он забросил его край на плечо и не успел еще придать своему лицу достаточно мрачное выражение, как вдруг совсем рядом кто-то воскликнул:

— Ой, кто это?

И Петя увидел хорошенькую девочку-подростка в новом ситцевом платье, почти с ужасом смотревшую на него из-за калитки.

Сначала он не узнал ее — так она выросла и похорошела за летние месяцы. Это была Мотя. Но еще прежде, чем он узнал ее, она узнала его, густо покраснела и стала маленькими шажками пятиться к дому, не отводя от мальчика восхищенно-испуганного взгляда.

Наконец она наткнулась спиной на шелковицу, под которой куры клевали кроваво-черные ягоды, пачкавшие своим соком гладкую глину дворика. Тогда она слабым голосом крикнула:

— Гаврик, иди сюда, до нас пришел Петечка!

— А, приехал! — сказал Гаврик, появляясь на пороге мазанки.

Он был по-домашнему босиком, в расстегнутой косоворотке без пояса и одной рукой поддерживал штаны, а в другой держал учебник латинского языка.

— Долго же вы ездили! А я тут без тебя уже второй раз прохожу латинскую грамматику, чтоб она сгорела! Ну, дай пять, очень рад тебя бачить.

Петя пожал сильную, совсем мужскую руку Гаврика, а потом маленькую ручку Моти, нежную, но с твердой, шершавой ладошкой.

— Большое тебе спасибо за письмо,— сказал Гаврик, когда они сели на лавочку перед столом, вбитым в землю под шелковицей.

— Я его отправил из Неаполя,— сказал Петя и прибавил небрежно: — Экспрессом.

— Знаю,— серьезно сказал Гаврик.

— Откуда ж ты знаешь?

— Мы уже получили ответ. Еще раз большое тебе спасибо! Молодец! Ты нас сильно выручил.

Петя был весьма польщен, хотя втайне его немного и задевало, что Гаврик не обращает внимания на его плащ

и альпеншток. Зато Мотя не сводила глаз с этих странных предметов и наконец робко спросила:

— Скажите, Петя, это там все так ходят?

На что Петя, снисходительно улыбаясь, ответил:

— Конечно, не все, а лишь некоторые. Преимущественно те, которые совершают восхождения на горные вершины. Потому что там может налететь снежная буря. А без альпенштока и вовсе не подымешься — ужасно скользко.

— А вы подымались?

— Сколько раз! — вздохнул Петя.

— Какой вы счастливый! — сказала Мотя, с обожанием рассматривая плащ и палку с наконечником.

Все-таки Гаврик не удержался, чтобы не заметить:

— Слышь, Петя, сними лучше эту халамиду, а то смотри, как ты жутко вспотел.

Петя презрительно промолчал.

Затем он стал с жаром рассказывать о путешествии, не жалея красок и стараясь не пропустить ни одной подробности. Гаврик слушал довольно равнодушно, зато Мотя, присевшая рядом с Петей на угол скамьи, время от времени шептала:

— Какой вы счастливый!

Впрочем, нельзя сказать, чтобы Гаврика совсем не занимал Петин рассказ. Только его занимало совсем не то, что Мотю. Например, к извержению вулкана и метели в горах он отнесся без особого интереса. Но, когда Петя стал рассказывать о забастовке трамвайщиков в Неаполе, и о встрече с Максимом Горьким, и об эмигрантах, глаза Гаврика заблестели, челюсти сжались, и, стуча кулаком по Петиному колену, он приговаривал:

— Так, так! Вот это здорово! Вот это ловко!

Когда же Петя, понизив голос и боясь, что Гаврик ему не поверит, сообщил, что, кажется, он видел в Неаполе Родиона Жукова, то Гаврик не только поверил, но даже утвердительно закивал головой и весьма определенно сказал:

— Верно. Правильно. Он самый. Это нам известно. Он, наверно, как раз тогда переезжал из Каприйской школы в Лонжюмо к Ульянову-Ленину.

Петя с изумлением посмотрел на своего друга. Как он изменился за последнее время! Он не то чтобы вырос,

возмужал — в нем появилась какая-то твердость, уверенность в себе и даже,— что больше всего поразило Петю,— интеллигентность. Как свободно, естественно произнес он французское слово «Лонжюмо» и как просто, привычно прозвучала у него фамилия Ульянов-Ленин!

— А, так ты тоже знаешь Лонжюмо? — простодушно сказал Петя.

— Конечно,— улыбаясь одними глазами, сказал Гаврик.

— Там у них... партийная школа,— не совсем уверенно и немного поколебавшись перед словами «партийная школа», сказал Петя.

Гаврик некоторое время смотрел на Петю оценивающим взглядом, а потом весело засмеялся:

— А ты, брат, оказывается, за границей тоже время зря не терял! Кое в чем уже разбираешься. Молодец!

Петя скромно опустил глаза, но вдруг подскочил на месте, словно его ущипнули: он вспомнил происшествие на границе и почти бессознательно почувствовал, что оно имеет какую-то связь с последними словами Гаврика, точнее сказать — с их тайным смыслом.

— Слушай сюда...— сказал Петя возбужденно, но, посмотрев на Мотю, нерешительно остановился.

— А ну-ка, Мотя, пойди немножко пройдись,— строго сказал Гаврик, похлопав Мотю по плечу, на котором красиво лежала русая коса с ситцевой ленточкой.

Девочка поджала губы, но сейчас же послушно встала и ушла, из чего Петя заключил, что подобные вещи случаются в семье Черноиваненко довольно часто.

— Слушаю,— сказал Гаврик.

— Осипов просил передать товарищам, что его взяли на границе,— сказал Петя, понизив голос, и рассказал все, что случилось в таможенном зале станции Волочиск в тот день, когда они переезжали границу.

Гаврик очень серьезно, но молчаливо это выслушал и сказал:

— Сейчас.

Он пошел в хату, откуда через минуту вернулся с Терентием.

— А, вот и наш заграничник! — сказал Терентий, протягивая Пете руку.— С приездом! Большое вам спасибо за письмо. Выручили нас.

Петя заметил, что Терентий тоже как-то изменился за лето. Хотя его широкое, тронутое оспой лицо мастерового человека было по-прежнему простодушно грубовато, но Петя почувствовал в нем гораздо больше твердости и внутренней независимости, чем раньше. Ново было также и то, что Терентий обратился к Пете на «вы». Так же как и Гаврик, он был по-домашнему босиком, но на нем были хорошие новые брюки, накинутый на жирные плечи летний коломянковый пиджак и свежая сорочка с металлической запонкой в верхней петельке, из чего можно было заключить, что Терентий носит крахмальные воротнички.

Терентий сел рядом с Петей на то место, где раньше сидела Мотя, и обнял мальчика тяжелой, сильной рукой за плечи:

— Рассказывайте!

Петя очень подробно повторил Терентию свой рассказ.

— Плохо дело,— сказал Терентий, почесывая босые ноги одна о другую.— Уже второй транспорт проваливается. Прямо несчастье с этими студентами! Я говорил, что надо налаживать доставку через...— Терентий и Гаврик обменялись понимающими взглядами.— Ну и само собой,— обратился Терентий к Пете,— пусть это больше никого не интересует.

— Он уже кое-что соображает,— сказал Гаврик.

— Тем лучше,— как бы вскользь заметил Терентий и круто переменил разговор.— За границу больше не собираетесь? Ну и ладно. Дома тоже не плохо. А за письмо еще раз спасибо. Вы для нас сделали очень большое дело. Ну, стало быть, гуляйте у нас, гостите, а я пойду в хату — у меня там полно гостей. Еще побачимся. Я вам советую: пойдите на выгон, там Женька пускает новый змей, я ему купил в магазине Колпакчи. Самой последней конструкции, летает в любой ветер.

Видимо, он торопился поскорее вернуться к гостям.

— Мотя, что же ты бросила своего кавалера! — закричал он.— Забирай его и отправляйтесь на выгон! А я побегу. Извините...

Терентий быстрыми шагами пошел в хату, и Петя увидел в ее маленьких окошках множество народу. Петя почувствовал, что его спроваживают, но не успел обидеться, так как в это время появилась Мотя, Гаврик дружески

взял его под руку, и они втроем отправились на выгон, где восьмилетний Женька, брат Моти, очень похожий на Гаврика в детстве, но только получше одетый и более упитанный, окруженный всеми мальчишками Ближних Мельниц, запускал свой диковинный змей, совсем не похожий на те самодельные змеи, которые с помощью рамки из шести легких камышинок, листа газетной бумаги, клейстера, ниток и мочального хвоста сооружали мальчики Петиного детства.

34
ПОКУПНОЙ ЗМЕЙ

Это был покупной, магазинный змей, имеющий форму геометрической фигуры — параллелепипеда, обтянутого по краям канареечно-желтым коленкором, с тугими растяжками, что делало его отдаленно похожим на биплан братьев Райт.

Два мальчика стояли на цыпочках, подобострастно подняв над головой воздушное сооружение, а Женька с тонким конопляным шпагатом в руке выжидал подходящего мига, чтобы побежать через выгон, увлекая за собой летательный аппарат. Наконец он зажмурился и очертя голову бросился вперед против ветра. Змей круто взмыл вверх, заметался, закрутился и упал на траву.

— Не летит, проклятый! — сказал Женька сквозь зубы, вытирая концом рубашки потное, злое лицо, пестрое от веснушек. По-видимому, змей падал уже не первый раз.

Все мальчишки Ближних Мельниц, галдя, бросились к змею, но Женька сердито их растолкал и, бормоча себе под нос: «Не лапай, не купишь», сопя и пыхтя, стал распутывать шпагат.

— Жорка, Колька, а ну становитесь опять! Держите выше, только не отпускайте, пока я не крикну: «Отпускайте». Поняли?

Видно, он привык командовать, и его слушались, хотя он был здесь самый маленький. «Черноиваненская порода»,— не без тщеславия подумал Гаврик, следя, как опять становились мальчики — Жорка и Колька,— подняв над головой змей, и как Женька, деловито послюнив указательный палец и подняв его вверх, определял направление ветра.

— Врешь, теперь полетишь! — пробормотал он про себя, как заклинание, и взялся за шпагат.— А ну, слушай сюда! Раз, два, три! Отпускайте!

Змей подскочил и упал. В толпе послышался оскорбительный смешок.

— Все равно не полетит,— сказал чей-то голос.

— Дурак!—сказал Женька.—Знаешь, это какой змей? Мой батька дал за него в магазине Колпакчи на Екатерининской рубль сорок пять.

— Много твой батька понимает в змеях!

— Ну, ты моего батьку не затрагивай, а то дам по сопатке, аж юшка потечет.

— Все равно не полетит, потому что у него нет хвоста.

— Чудак человек, так он же не простой, а магазинный, и я тебе сейчас докажу.

Но, сколько Женька ни старался, магазинный змей подниматься не хотел.

— Даром только твой батька выкинул рубль сорок пять.

Положение становилось довольно глупым. Разочарованные зрители стали понемножку расходиться.

— Подождите, куда же вы уходите, чудаки! — говорил с кривой улыбкой Женька, сидя на корточках перед змеем.— Идите сюда, сейчас он полетит.

Но он уже окончательно потерял авторитет, и ему больше не желали подчиняться, как генералу, проигравшему сражение. Сначала Петя и Гаврик иронически переглядывались и отпускали презрительные замечания по поводу новомодной магазинной игрушки, которая и в подметки не годилась доброму, старому самодельному змею. Но скоро Гаврик почувствовал, что задета честь его семьи.

Он нахмурился и вразвалку подошел к змею.

— Не лапай, не купишь! — плаксиво сказал Женька, отпихивая локтем своего дядю.

— Ну? — с удивлением произнес Гаврик и, подняв Женьку за плечи, дал ему слегка коленкой под зад.

Он не торопясь обошел вокруг змея и, не притрагиваясь к нему, долго рассматривал все его крепления и стропы.

— Так. Теперь понятно,— сказал он наконец и строго посмотрел на Женьку.— Ты видишь, где у него центр тяжести, чудак?

— А где? — спросил Женька.

— Тоже мне авиатор Уточкин! — не унижаясь до объяснений, сказал Гаврик.

Он еще раз прицелился острым глазом, наклонился над змеем, перевязал какую-то бечевочку, передвинул какое-то алюминиевое колечко и сказал:

— Вот теперь другое дело. Давай им покажем! — мигнул он Пете.

Петя и Мотя взяли змей за края и подняли его высоко над головой. Гаврик подобрал уто́к шпагата, валявшийся среди сухих иммортелей, крикнул: «Пускаю!» — и побежал против ветра.

Змей выскользнул из рук Пети и Моти, круто взмыл, но на этот раз не закружился и не упал, а легко повис в воздухе и красиво поплыл вслед за бегущим Гавриком. Петя и Мотя стояли с одинаково поднятыми руками, протянутыми к змею, как бы умоляя его не улетать. Но он улетал, натягивая шпагат и плавно забираясь вверх.

Гаврик остановился, и змей тоже остановился почти над самой его головой.

— Ага! Ну то-то! — сказал Гаврик и погрозил змею.

Он стал осторожно подергивать указательным пальцем натянутый струной шпагат, и змей тоже стал подергиваться, как рыба, попавшая на крючок.

Тогда Гаврик, ловко вертя уто́к вперед и назад, начал понемножку отпускать соскальзывающий с камышинки и толчками уходящий вверх шпагат.

Змей послушно поднимался все выше и выше, ловя ветер и повторяя челночные движения утка́ в руках Гаврика, но только более широко и плавно. Теперь, для того чтобы смотреть на змей, надо было сильно задирать голову. А он, заметно уменьшаясь, желтый, стройный, насквозь пронизанный лучами солнца, плыл в густо-синем августовском небе, каждой своей плоскостью ловя свежий морской ветер.

Напрасно Женька бегал вокруг дяди Гаврика и канючил, чтобы он дал ему подержать шпагат.

— Отстань, малявка! — говорил Гаврик, следя прищуренными глазами за подъемом змея.

И лишь когда весь шпагат, плотно уложенный на палочке длинными восьмерками, размотался, Гаврик в последний раз подергал змей, как бы желая убедиться, крепко ли он привязан, и отдал палочку Женьке:

— Держи крепко, а то отпустишь — тогда не поймаешь.

Потом Мотя сбегала домой за бумагой, и стали «посылать письма». Было что-то волшебное в том, как клочок газетной бумаги с дырочкой посередине, нанизанный на палочку, вдруг начинал нерешительно ползти вверх по провисшему шпагату, иногда останавливаясь, как бы за что-то зацепившись. Чем ближе к змею, тем быстрее карабкалось «письмо» и наконец стремительно неслось, прилипая к нему, как намагниченное, а снизу его уж догоняло другое, третье, и Пете представлялось, что это какие-то его письма, полные любви и жалоб, одно за другим бегут вверх, в сияющую пустоту, в... Лонжюмо.

Но вдруг камышинка выскользнула из Женькиных пальцев. Змей почувствовал себя на свободе и прыгнул, увлекаемый ветром, вверх, унося с собой длинную гирлянду писем. Все долго бежали, перепрыгивая через канавы и перелезая через заборы, за улетевшим змеем и наконец нашли его за городом, в степи, среди густых зарослей серебристой полыни.

А когда вернулись домой, на Ближние Мельницы, то был уже вечер, большая луна еще светилась слабо, но от заборов и деревьев уже тянулись легкие пепельные тени, пахло «ночной красавицей», и в густой темноте разросшихся за лето палисадников таинственно кружили и трепетали серые ночные бабочки.

Возле дома Петя увидел несколько человек, выходящих из калитки. Среди них он узнал дядю Федю, того самого матроса из швальни Сабанских казарм, который шил ему фланельку. Но матрос, видимо, его не узнал в потемках.

Петя заметил также девушку в городской кофточке и шляпке и пожилого человека в тужурке и сапогах, с железнодорожным фонарем в руке — по-видимому, кондуктора или машиниста. Петя услышал обрывки разговора.

— Левицкий пишет в «Нашей заре», что неудача революции пятого года была обусловлена отсутствием оформленной буржуазной власти,— сказал молодой женский голос.

— Ваш Левицкий самый обыкновенный либерал, только прикидывается марксистом. Почитайте-ка в «Звезде» статью Ильича — вам это будет полезно,— проворчал мужской голос.

— Предлагаю воздерживаться от дискуссии на улице. Будете доругиваться в следующее воскресенье,— сказал третий голос.

Послышался сдержанный смех, и фигуры скрылись в тени.

— Что это у вас за гости? — спросил Петя и сейчас же почувствовал, что спрашивать об этом не следует.

— Да так,— ответил Гаврик неохотно.— Вроде воскресной школы.— И, желая переменить разговор, сказал: — А я, брат, четырнадцатого августа буду сдавать экстерном за три класса. Уже все прошел. Только ты меня еще малость погоняй по латинскому.

— Это можно,— сказал Петя.

Черноиваненки ни за что не соглашались отпустить Петю без ужина. Терентий поставил на стол под шелковицей свечу в стеклянном колпаке, на которую тотчас налетела туча мотыльков. Жена Терентия, мывшая чайную посуду после гостей, вытерла руки фартуком и подошла к Пете. Она из семейства Черноиваненко изменилась меньше всего и, здороваясь с мальчиком, неловко подала ему руку по-крестьянски, дощечкой.

Мотя вынесла из погреба большое блюдо, накрытое суровым полотенцем, и застенчиво сказала:

— Может быть, вы, Петя, покушаете наших вареников со сливами?

После ужина Петя отправился домой, и Гаврик проводил его почти до самого вокзала. Ночь была еще по-летнему тепла, из-за темных деревьев выглядывала желтая луна с подтаявшим краем, повсюду хрустальным хором звенели сверчки, на окраинах по-деревенски лаяли собаки, кое-где играли граммофоны, и Петя чувствовал приятное утомление от этого длинного праздничного дня, который незаметно открыл для него много такого, о чем он до сих пор только догадывался.

За этот один день Петя как бы душевно возмужал и вырос на несколько лет. Может быть, именно в этот день он из мальчика окончательно превратился в юношу.

Теперь он уже не сомневался, что именно на Ближних Мельницах, в мазанке Терентия, отчасти и происходит то, что называется «революционное движение».

35
ЕДИНИЦА

Пятнадцатого августа начался учебный год, а за несколько дней до этого Василий Петрович отправился в училище Файга на переэкзаменовки. Он вернулся домой к обеду в превосходном настроении, так как господин Файг принял его более чем любезно, лично водил по своему учебному заведению, показывал гимнастический зал и физический кабинет, оборудованные самыми лучшими, новейшими заграничными приборами и аппаратами, и наконец подвез Василия Петровича до дому в собственной карете, так что вся улица видела, как Василий Петрович, в своем сюртучке, с тетрадками под мышкой, не совсем ловко выпрыгнул из кареты и раскланялся с господином Файгом, который лишь показал в окошко крашеные бакенбарды и дружески помахал рукой в шведской перчатке.

За обедом Василий Петрович был в ударе и не без юмора рассказал несколько анекдотов, характеризующих быт и нравы училища Файга, где некоторые ученики, сынки богатых родителей, засиживаются в каждом классе по два, по три года, успевают за время пребывания в этом богоспасаемом учебном заведении отрастить усы, жениться, завести детей; даже бывали случаи, когда файгист отправлялся в училище с собственным сыном, только папаша — в шестой класс, а сынок — в первый.

— «Сэ нон э веро э бен тровато!» — заразительно смеясь, восклицал Василий Петрович, что значило по-русски: хоть и неправда, но хорошо придумано.

Но тетя, видимо, не разделяла настроения Василия Петровича; она все время сомнительно покачивала головой, приговаривая:

— Ну, ну... не представляю себе, как вы там уживетесь.

Вечером, исправляя письменные работы, Василий Петрович раздраженно фыркал, и мальчики слышали, как он один раз даже сказал вполголоса: «Нет, это черт знает что! Подобное безобразие надо решительно прекратить»,— и бросил карандаш.

Из десяти файгистов, имевших переэкзаменовки по русскому, Василий Петрович зарезал семь, и хотя господин Файг на педагогическом совете не возражал, но сде-

лал оскорбленно-огорченное лицо, и на этот раз Василий Петрович вернулся домой уже не в карете, а на конке и настроение у него было уже не такое веселое.

В конце первой четверти стало известно, что в училище Файга скоро будет поступать некто Ближенский, сын суконщика-миллионера, молодой человек, безуспешно учившийся ранее во многих гимназиях Санкт-Петербурга, затем в некоторых московских, харьковских и, наконец, в «коллегии Павла Галагана» в Киеве, знаменитой тем, что туда принимают самых плохих учеников Российской империи, даже иногда с волчьим билетом.

Как это ни странно, но из «коллегии Павла Галагана» молодого человека тоже выгнали. Теперь ему предстояло держать в пятый класс училища Файга. Хотя вступительные экзамены среди года были категорически запрещены, но для сына миллионера Ближенского каким-то образом добились исключения.

Накануне экзамена, встретившись с Василием Петровичем в актовом зале перед утренней молитвой, господин Файг взял его под руку и немножко погулял с ним по коридору, развивая некоторые свои мысли относительно новейших западноевропейских течений в области педагогики, и закончил так:

— Я уважаю вашу строгость. Если хотите, она мне даже нравится. Я сам строг, но справедлив. И я умею быть принципиальным. Вы мне недавно зарезали на переэкзаменовке семь человек, а я разве сказал вам хотя бы одно слово упрека? Но, уважаемый Василий Петрович, будем говорить откровенно...— Он вынул из жилетного кармана очень плоские золотые часы без крышки и посмотрел на них одним глазом.— Иногда педагогическая строгость может привести к обратным результатам. Будучи уволен из стен учебного заведения, молодой человек, вместо того чтобы получить образование и сделаться полезным членом нашего молодого конституционного общества, может вдруг поступить на службу куда-нибудь в полицию, сделаться — антр ну суа ди — каким-нибудь сыщиком, агентом охранки, наконец попасть под влияние черносотенцев. Я думаю, вам, как толстовцу и.. гм... если хотите, революционеру, это будет крайне неприятно.

— Я не толстовец и тем более не революционер,— с мягким раздражением сказал Василий Петрович.

— Я же об этом не кричу громко. Положитесь на мою скромность. Но ведь в городе все знают, что вы разошлись с правительством и даже, так сказать, немного пострадали. Василий Петрович, вы — красный, и больше об этом ни слова. Молчание! Но мне будет очень обидно и, не скрою от вас, даже больно, если молодой человек срежется на вступительном экзамене. Это единственный наследник миллионного состояния, и... и он уже пережил так много горя. Одним словом, я вас очень прошу,— со всевозможной мягкостью в голосе сказал господин Файг: — не причиняйте мне больше неприятностей. Будьте строги, но снисходительны. Этого требуют интересы нашего учебного заведения, которые, я надеюсь, вам так же дороги, как и мне. Словом, вы меня понимаете.

И на этот раз после уроков Василий Петрович снова вернулся домой в карете господина Файга.

Несколько дней у Василия Петровича было такое чувство, как будто бы он поел несвежей рыбы.

«Черт с ним! — наконец решил он.— Поставлю этому подлецу тройку. Видно, плетью обуха не перешибешь».

Но когда через несколько дней состоялся экзамен и Василий Петрович увидел «этого подлеца» сидящим за отдельным столиком посреди актового зала перед целым ареопагом преподавателей — экзамен должен был происходить сразу по всем предметам и самым сокращенным образом,— то кровь ударила ему в голову.

Молодой человек, лет двадцати, был в парадном мундире «коллегии Павла Галагана», и твердый, высокий воротник так сильно подпирал его напудренные щеки и так сжимал горло, что он был похож на удавленника. У него был высоко подбрит затылок с лиловыми прыщами, а красно-каштановые волосы, через всю голову туго причесанные на прямой пробор, были так сильно смазаны бриолином, что вся его плоская, змеиная головка казалась зеркальной. Василий Петрович не переносил людей, которые помадятся, а запах бриолина или фиксатуара вызывал у него тошноту. Но больше всего его возмутило новомодное золотое пенсне с пружинкой, которое как-то ни к селу ни к городу сидело на вульгарном носу молодого человека, придавая его маленьким свиным глазкам откровенно наглое выражение.

«Вот болван!» — раздраженно подумал Василий Пет-

ровичь, вздернул бороду и застегнул сюртук на все пуговицы.

Отвечая стоя на вопросы экзаменаторов, молодой человек учтиво отставлял свой дамский зад, туго обтянутый мундирчиком.

Когда очередь дошла до Василия Петровича, он равнодушным голосом задал несколько довольно простых вопросов и, получив на них ответы, вызвавшие у господина Файга грустную улыбку, дрожащими пальцами потянул к себе экзаменационный лист, поставил единицу цифрой, а в скобках прописью и нервно расчеркнулся. Экзамен кончился при гробовом молчании. Вернувшись домой на конке, Василий Петрович снял воротничок, который его давил, сюртук, ботинки, отказался от обеда и лег на кровать лицом к обоям. Ни тетя, ни мальчики ни о чем его не спрашивали, но все понимали, что произошло нечто весьма неприятное. Вечером раздался звонок, и Петя, открывший дверь, увидел старика в длинной распахнутой бобровой шубе, а рядом с ним молодого человека в золотом пенсне и щегольской форменной фуражке «коллегии Павла Галагана».

— Василий Петрович дома? — сказал старик и, не дожидаясь ответа, прямо в шубе и шапке быстро пошел в столовую, показал тростью с пожелтевшим костяным набалдашником на полуоткрытую дверь и спросил: — Туда, что ли?

Василий Петрович едва успел надеть сюртук и ботинки.

— Я Близенский. Здравствуйте! — сказал старик с одышкой.— Вы сегодня поставили моему идиоту кол, и я с вами вполне согласен. Я бы ему еще на вашем месте хорошенько надавал по морде!.. Иди сюда, подлец! — сказал старик, оборачиваясь назад.

Из-за его спины выступил молодой человек, двумя руками снял фуражку и опустил зеркальную голову.

— На колени! — загремел старик, стуча тростью.— Целуй Василию Петровичу руку!

На колени молодой человек не встал и руку не поцеловал, но всхлипнул и довольно громко заплакал, вытирая платком покрасневший нос.

— Он раскаивается, он больше не будет,— сказал старик.— Теперь вы ему будете давать два раза в неделю частные уроки на дому, и он подтянется. А что ка-

сается приемных испытаний, то мы сделаем таким образом...— Старик порылся в сюртуке, на лацкане которого Василий Петрович заметил серебряный значок союза Михаила Архангела с трехцветной ленточкой, вынул бланк нового экзаменационного листа и протянул его Василию Петровичу: — Здесь вы поставьте этому ослу тройку, а старый экзаменационный лист мы, с божьей помощью, похерим. Файг и его педагогический совет согласны.

Затем старик вынул бумажник и положил на стол два «Петра», то есть две пятисотрублевые бумажки с водяным изображением преобразователя России.

— Что вы! Что вы! — растерянно заговорил Василий Петрович и слабо махнул руками, искоса поглядывая через пенсне на деньги.

Но вдруг до его сознания дошло все унизительное безобразие того, что происходит. Он так побледнел, что даже его уши стали белыми. Он затрясся весь с ног до головы, и Пете показалось, что он тут же, на месте, сию минуту умрет от разрыва сердца.

Затем он весь побагровел, затрясся, замычал, как немой.

— Милостивый государь, вы хам! — закричал он во все горло, топая штиблетами и плача.— Чтоб духу вашего здесь не было!.. Как вы смеете... В моем доме... Вон! Сию же секунду вон!

Старик сначала так испугался, что даже несколько раз мелко перекрестился, а потом рысью побежал через столовую в переднюю, опрокинув по дороге непрочную этажерку с нотами. А Василий Петрович бежал за ним, неумело толкая его в спину и стараясь во что бы то ни стало попасть дрожащим кулаком в шею, в то время как Петя хватал отца за сюртук, приговаривая:

— Папочка, умоляю тебя! Папочка, умоляю тебя всеми святыми!..

В общем, это была безобразная сцена, которая кончилась тем, что старик и молодой человек стремительно неслись вниз по лестнице, а Василий Петрович с верхней площадки вдогонку им бросал пятисотрублевые бумажки, не хотевшие падать и носившиеся в лестничной клетке от стенки к стенке.

Потом оба Ближенских — отец и сын,— подобрав

деньги, стояли внизу и смотрели вверх, причем старик совершенно бессмысленно кричал:

— Жиды пархатые! — и грозил Василию Петровичу тростью с костяным набалдашником.

На другой день рассыльный принес Василию Петровичу письмо от господина Файга. Это был длинный элегантный конверт из бристольского картона с вытисненным на нем фантастическим гербом. В учтивых выражениях Василию Петровичу сообщалось, что, ввиду расхождения с ним во взглядах на воспитание, его дальнейшее пребывание в училище является бесполезным. Письмо почему-то было написано по-французски, и стояла подпись: «Барон Файг».

Хотя для семейства Бачей это был страшный удар, но в первый момент Василий Петрович отнесся к нему совершенно спокойно. Он не мог ожидать ничего другого.

— Ну что ж, Татьяна Ивановна,— сказал он, хрустя пальцами,— по-видимому, моя педагогическая деятельность...— он иронически усмехнулся,— по-видимому, моя педагогическая деятельность кончена и придется искать другую профессию.

— Почему же? — сказала тетя.— Вы можете давать частные уроки.

— Этим скотам? — закричал Василий Петрович и даже взвизгнул.— Никогда! Я лучше пойду в порт таскать мешки!

Несмотря на всю серьезность минуты, тетя не могла удержаться от слабой, грустной улыбки. Василий Петрович вскочил как ужаленный и забегал по комнате.

— Да, да! — возбужденно говорил он.— Не вижу в этом ничего позорного и смешного. Подавляющее большинство населения Российской империи занимается физическим трудом. Почему я должен быть исключением?

— Но ведь вы интеллигентный человек!

— Интеллигентный? — с горечью сказал Василий Петрович.— Интеллигентный — да. Не спорю. Но только не человек, а раб.

— Что вы говорите! — всплеснула руками тетя.

— То, что вы слышите. Раб. Это самое настоящее слово. Я был сначала рабом министерства народного просвещения в лице попечителя учебного округа Смольянинова, и он меня выгнал, как собаку, потому что я разре-

шил себе иметь личное мнение о Толстом. Потом я стал рабом Файга, выкреста и пошляка, и он меня тоже выгнал, как собаку, так как мне не позволила совесть поставить тройку стоеросовой дубине и болвану Ближенскому только потому, что он, изволите видеть, сын миллионера. Плевать я хотел и на Смольянинова и на Файга, а вместе с ними и вообще на все русское правительство! — вдруг, неожиданно для самого себя, крикнул Василий Петрович и сам испугался того, что сказал. Но он уже не мог остановиться.— И уж если в России нельзя не быть чьим-нибудь рабом,— продолжал он,— так лучше я буду рабом самым обыкновенным, а не интеллигентным. По крайней мере я сохраню свою живую душу... Господи боже мой,— вдруг сказал он со слезами на глазах и посмотрел на икону,— какое счастье, что милосердный бог взял к себе покойную Женю и она не должна испытывать вместе со мною всех этих унижений! Я не знаю, как бы она перенесла, что ее мужу осталось в жизни одно — таскать в порту мешки.

— Дались вам эти мешки! — вытирая слезы, сказала тетя.

— Да, да, именно мешки! — вызывающе повторил Василий Петрович.

Была уже ночь. Павлик спал, тяжело вздыхая во сне. Петя не спал и прислушивался к голосам из столовой. Он живо представил себе, как отец, почему-то без пальто и шапки, в одном сюртуке и старых ботинках, идет по знаменитой лестнице в порт и там начинает таскать тяжелые джутовые мешки с копрой. Картина получалась фальшивая, неправдоподобная. Петя сам не верил в ее возможность, но все же ему было так в эту минуту жаль отца, что он готов был заплакать, броситься к нему, прижаться и сказать: «Ничего, папочка, мужайся! Я тоже буду с тобой таскать мешки, мы не пропадем!»

36

НОВАЯ ИДЕЯ ТЕТИ

Разумеется, грузить мешки Василий Петрович не пошел, и, хотя положение продолжало оставаться ужасным, даже трагическим, время текло своим чередом и жизнь семейства Бачей с внешней стороны ни в чем не изменилась, кроме того, что Василий Петрович теперь бо́льшую

часть времени сидел дома и старался никуда не выходить.

Нищета подкрадывалась так незаметно, что в семействе Бачей даже наступило некоторое успокоение. Что же касается общества, то есть друзей, знакомых и соседей, то на этот раз история с Файгом прошла как-то незаметно — вернее, молчаливо составилось общее мнение: если Василий Петрович дважды в течение года поссорился с разным начальством, значит, он человек вообще неуживчивый, вздорный и пускай пеняет сам на себя.

Равнодушие общества к судьбе Василия Петровича было тем более понятно, что как раз в это время в Киеве произошло убийство Столыпина, всколыхнувшее всю Российскую империю. В одних оно вселило ужас, в других возбудило какие-то смутные, весьма неопределенные надежды. В течение месяца все только и говорили, что о «выстреле Багрова», и были уверены, что в воздухе снова запахло «революцией», хотя и знали, что Столыпина застрелил свой же охранник и вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к революции.

— Все-таки, Василий Петрович, что-то надо предпринимать,— сказала однажды тетя решительно.— Дальше так продолжаться не может.

— Что же вы предлагаете? — устало сказал Василий Петрович.

— У меня есть один план, только не знаю, как вы на него посмотрите. Дело в том, что возле дачи Ковалевского есть небольшой прелестный хуторок...— вкрадчиво начала тетя.

— Ни за что! — решительно крикнул Василий Петрович.

— Подождите,— мягко продолжала тетя.— Вы мне даже не даете договорить.

— Ни за что! — еще более решительно отрезал отец.

— Но позвольте...

— Ах, боже мой,— раздраженно поморщился Василий Петрович,— я знаю все, что вы мне скажете!

— Нет, вы не знаете.

— Знаю. Но это все чепуха на постном масле. А вы просто фантазерка. И не будем больше об этом говорить. Наконец, где мы возьмем деньги? — прибавил Василий Петрович уже не так решительно.

— Денег почти не надо. Может быть, самую малость.

— Ни за что! — отрезал Василий Петрович.

— Но почему же?

— Потому что я принципиально не признаю собственности на землю, и вы меня никогда не заставите быть собственником. Земля принадлежит богу. Да, богу и народу, который ее обрабатывает. И я не желаю. Вот вам весь мой сказ! И вообще все это одни беспочвенные фантазии.

Тетя терпеливо подождала, пока Василий Петрович выговорится, а потом кротко сказала:

— Я вас выслушала, а теперь выслушайте меня. В конце концов, это неучтиво — перебивать человека на полуслове.

— Сделайте одолжение, говорите все, что вам угодно, а собственником я никогда не буду и не желаю. И вот весь мой сказ!

— Во-первых, собственником быть необязательно. Мадам Васютинская согласна отдать хуторок в аренду. Во-вторых, мы ей можем сначала заплатить не более того, что мы вообще платим в городе за квартиру, а остальные деньги будем вносить по мере реализации урожая.

Услышав эти столь дикие в устах тети слова — «по мере реализации урожая», Василий Петрович снова вскипел:

— Ах, вот как! Что ж это, позвольте вас спросить, за реализация и что это за урожай такой?

— Вишни, черешни, груши, яблоки, виноград,— сказала тетя.

— Так это что же... значит, вы предлагаете мне торговать фруктами?

— Почему бы и нет?

— Ну, знаете...— не находя слов, сказал Василий Петрович и развел руками.

— Мы можем получить большую выгоду, и дела наши сразу поправятся,— не обращая внимания на нетерпеливые жесты Василия Петровича, сказала тетя.

— Так почему же, в таком случае, черт возьми, эта ваша мадам Васютинская не желает пользоваться сама всеми этими выгодами?

— Потому что она старая, одинокая дама, и она уезжает за границу.

Василий Петрович фыркнул:

— Старая, одинокая дама-бездельница уезжает за

границу и хочет повесить нам на шею все свои заботы, не так ли?

— Как вам угодно,— сухо сказала тетя, не отвечая на последний вопрос.— Я думала, что вам понравится моя идея нанять прелестный хуторок недалеко от города, в степи, рядом с морем, обрабатывать землю и, так сказать, кормиться своими руками и быть по крайней мере независимыми. Это вполне в вашем духе. Но если вы не хотите...

— Не хочу! — упрямо сказал Василий Петрович, и тетя прекратила дальнейший разговор.

Она достаточно хорошо изучила характер своего бофрера, для того чтобы не понять, что на сегодня хватит. Пусть он придет в себя и немножко подумает один.

— Все-таки вы большая фантазерка,— сказал через несколько дней Василий Петрович.— Я заметил, что вас всегда увлекают ложные идеи: сдавать внаем комнаты, отпускать дешевые домашние обеды и... и так далее. И всегда из этого ничего не получается.

— А теперь получится,— спокойно сказала тетя.

— Все это фантазии,— сказал Василий Петрович.

Тетя не отвечала, и разговор сам собой прекратился.

Прошло еще несколько дней, и Василий Петрович сказал:

— Наивно думать, что у нас хватит физических сил, чтобы поднять такое хозяйство.

— Хозяйство совсем не большое,— сказала тетя,— всего пять десятин.— И прибавила с тонкой улыбкой:— Во всяком случае, я думаю, это нисколько не труднее, чем таскать в порту мешки.

— Не остроумно,— сказал Василий Петрович, слегка краснея.

Разговор опять прекратился, но теперь тетя наверное уже знала, что Василий Петрович скоро сдастся. Она не ошиблась.

Тетина идея постепенно и незаметно овладела воображением Василия Петровича. В конце концов, идея была вовсе не так наивна, в ней было много здравого смысла. Больше того: она втайне очень нравилась Василию Петровичу, так как отвечала его взглядам на жизнь, постепенно сложившимся за последнее время, особенно после Швейцарии. Эти взгляды были весьма неопределенные,

туманные: странная смесь Жан-Жака Руссо и народничества, хождения в народ и натурального воспитания. Он представлял себе какую-то чистую, патриархальную жизнь на лоне природы, независимую от государства. Маленький, цветущий клочок земли, возделанный собственными руками семьи, без применения наемного труда. Нечто швейцарское, кантональное...

Сейчас его мечта, казалось, близка к осуществлению. Было все: и маленький клочок земли, и фруктовый сад, и даже виноградник, что особенно усиливало сходство с южной Швейцарией. Правда, не было гор, но зато было море, купанье, рыбная ловля. А главное — личная свобода и независимость от государства. Какое прекрасное воспитание детей!

В конце концов Василий Петрович окончательно загорелся и попросил у тети, чтобы она рассказала ему все подробно. Она принесла из своей комнаты план усадьбы. Оказывается, она уже довольно сильно подвинулась в переговорах с мадам Васютинской. На усадьбе были пятикомнатный господский дом с отдельной кухней, конюшня, людская, цистерна для дождевой воды и сарай, где, как сообщила тетя, стоял виноградный пресс.

— О, да это не хуторок, а целая усадьба! — весело сказал отец.

Потом они начали считать фруктовые деревья и виноградные кусты, обозначенные кружочками. Выходило, что за год не только окупится вся арендная плата, но еще останется достаточно денег на жизнь. Но, может быть, это только на плане? Тогда тетя предложила съездить и посмотреть своими глазами в натуре.

Они сели на маленький дачный поезд, который проходил мимо их дома, и доехали до шестнадцатой станции, откуда, пересев на конку, добрались до дачи Ковалевского. Затем они, предводительствуемые тетей, пошли пешком по степному поселку и через полторы версты очутились на хуторке.

Оказалось, что тетя уже здесь не первый раз. Она приласкала загремевшую цепью собаку и постучала в окно сторожки. Заспанный парень, единственный оставшийся работник мадам Васютинской, он же сторож, конюх и виноградарь, которого тетя назвала Гаврилой, повел семейство Бачей по усадьбе.

Все было на месте — и виноградник и фруктовый сад. Деревьев оказалось даже больше, чем предполагалось, так как целая десятина, засаженная черешнями сравнительно недавно, не успела попасть в план.

Все было в очень хорошем состоянии: виноградные лозы согнуты и присыпаны землей, а стволы яблонь закутаны соломой, чтобы их не объели полевые мыши и зайцы.

Зима стояла мягкая и не очень снежная. Бугорки земли на винограднике были чуть присыпаны снежком, который уже начинал подтаивать с солнечной стороны. Но возле господского дома, где росло несколько очень густых черно-зеленых и голубых елок, по цветникам и клумбам намело большие сугробы, залитые червонным золотом зимнего предвечернего солнца. Яркие синие тени решетчатых садовых скамеек и кустов длинно, волнисто тянулись через эти сугробы. Стекла в доме тоже блестели золотой фольгой. А все вместе это было похоже на те зимние пейзажи, которые Петя каждый год видел на весенних выставках южнорусских художников, куда тетя водила мальчиков, желая им привить вкус к прекрасному.

Гаврила со звоном отворил стеклянную дверь дома, и семейство Бачей походило по пустым, нетопленным комнатам, искоса освещенным низким морозным солнцем.

А вокруг лежала мертвая белоснежная степь с заячьими следами, и в одном месте, за степью, виднелась башня Ковалевского и полоса тихого зимнего моря.

Потом, осмотрев дом и службы, еще раз обошли фруктовый сад. Заметив, что одну яблоню, плохо укрытую соломой, обглодали зайцы, Василий Петрович вдруг остановился и, строго посмотрев на Гаврилу, сказал:

— Э, милый, этак не годится! Этак зайцы нам съедят весь урожай.

37

СТАРУХА

На другой же день начались окончательные переговоры с мадам Васютинской, а также поиски денег на первый взнос и на первое обзаведение.

Петя впервые узнал, что деньги можно не только зарабатывать, а еще и как-то «доставать». Доставать деньги оказалось крайне сложно, хлопотливо, а главное, унизи-

тельно. Отец стал часто отлучаться из дома, но теперь это уже не называлось, что Василий Петрович поехал на уроки или пошел на заседание педагогического совета, а говорилось, что он «побежал в город».

В разговорах между папой и тетей появились новые слова, которых раньше Петя не слышал: общество взаимного кредита, краткосрочная ссуда, ломбард, векселя, шесть процентов годовых, вторая закладная.

Часто, несколько раз сбегав в город, Василий Петрович, взволнованный, возвращался домой и, отказавшись от обеда, снимал сюртук и ложился на кровать лицом к стене. Из комода появился на свет божий тот самый таинственный выигрышный билет второго займа — приданое покойной мамы,— о котором Петя до сих пор только слышал, и то не чаще одного раза в год, когда Василий Петрович, перекрестившись, разворачивал «Одесский листок», для того чтобы посмотреть, не выиграл ли этот билет двести тысяч.

Наконец однажды, возвратившись из гимназии, Петя и Павлик не увидели в столовой пианино — тоже приданого покойной мамы.

На том месте, где оно стояло, краска на полу была совсем свежая, и комната показалась Пете такой оголенной, осиротевшей, что он едва не заплакал.

Затем с пальцев тети исчезли кольца.

И вот наконец наступил день — воскресенье,— когда тетя дрожащими руками положила в ридикюль довольно толстую пачку кредитных билетов, векселей и каких-то нотариально заверенных расписок, надела шляпку, перчатки и парадную ротонду на беличьем меху, доставшуюся ей от покойной сестры, и сказала бодрым голосом:

— Василий Петрович, я иду!

— Идите! — глухо ответил из-за двери Василий Петрович.

— Пойдем, Петя,— решительно сказала тетя.

Мальчик должен был сопровождать тетю, чтобы не ограбили по дороге.

Тетя крепко прижимала к груди ридикюль со всем их состоянием, а Петя сурово шагал сзади, оглядываясь по сторонам. Но вокруг ничего подозрительного не замечалось. Был великий пост, с похоронным унынием над городом звонили колокола, и навстречу им попадались

главным образом старушки в темных платках, возвращавшиеся от обедни с вязками копеечных монастырских бубликов, хотя и пухлых, но даже на вид кислых.

Мадам Васютинская жила недалеко, в глухом приморском переулке, в нештукатуренном особнячке из почерневшего от времени ракушечника.

Петя увидел большую старуху в трауре, глубоко сидевшую в старинном кресле. Хотя и было известно, что «мадам Васютинская разбита параличом и сидит дома без ног», это оказалось неправдой. Петя увидел ноги в меховых туфлях, поставленных на мягкую скамеечку. Комната была маленькая, очень жарко натопленная, с кафельной печью с медным отдушником, вся заставленная старинной мебелью красного дерева. В углу сияла синими и алыми огоньками лампад громадная божница с иконами, увешанными множеством больших и маленьких — хрустальных, фарфоровых, золотых — пасхальных писанок на старых шелковых лентах. За окном виднелись кусты сирени и стаи воробьев, которые шумели и ссорились среди серых, голых веток с уже заметно набухшими почками.

Перед старухой находился лаковый столик с кофейным прибором, круглой лубяной коробкой шоколадной халвы фабрики Дуварджоглу и серебряной сухарницей с монастырскими бубликами. Пахло горячим кофе и папиросами, которые курила мадам Васютинская. Кивнув Пете массивной головой в черной вязаной наколке и немножко поговорив с тетей о погоде и политике, мадам Васютинская позвонила в серебряный колокольчик, и тотчас из соседней комнаты, откуда все время слышались утомительно сухие трели нескольких канареек, явился пожилой лакей во фраке и домашних туфлях на разбитых ногах и поставил на столик перед своей госпожой старинную шкатулку палисандрового дерева с инкрустациями.

Немного волнуясь и почему-то краснея, тетя вынула из ридикю́ля деньги и векселя и подала старухе. Старуха, не считая, положила их в шкатулку и подала тете сложенную вчетверо бумагу со множеством разноцветных гербовых марок — контракт на аренду хуторка, причем Петя заметил, что внутренность шкатулки была обита розовым стеганым атласом, как свадебная карета.

Когда старуха запирала шкатулку маленьким ключиком, висевшим у нее на шее, то замок звонко, мелодично щелкнул, и Петя почувствовал мгновенный ужас.

После того как тетя тщательно спрятала контракт в ридикюль, а пожилой лакей, неслышно шаркая разбитыми ногами, унес шкатулку, мадам Васютинская с одышкой налила из медного кофейника три чашки кофе.

— Какая прелесть! — сказала тетя, беря в руку синюю чашку, смугло блестевшую внутри потертым золотом.— Это Гарднер?

— Старый Попов,— баритоном сказала старуха, выпуская из волосатых ноздрей голубой дым асмоловского табака.

— Ах, мне показалось, что это Гарднер,— сказала тетя и, подняв на нос вуалетку, стала прихлебывать кофе маленькими, жеманными глотками.

Потом старуха положила на блюдечко шоколадной халвы и протянула Пете.

— Нет, это старый Попов,— сказала она, поворачивая отечное лицо к тете.— Свадебный подарок моего покойного мужа. Это был человек с большим вкусом. У нас было имение в Черниговской губернии, полторы тысячи десятин, но после того, как в пятом году мужики сожгли наш дом и убили мужа, я продала землю и переехала сюда. Впрочем, вы это, кажется, знаете. До убийства Столыпина,— продолжала она все тем же монотонным баритоном с одышкой,— у меня еще оставались иллюзии. Но сейчас их у меня уже больше нет. России нужна сильная власть, и покойный Петр Аркадьевич Столыпин, царство ему небесное, был последним настоящим столбовым дворянином и администратором, который еще мог спасти империю от революции. Вот именно поэтому они его и кокнули. А наш государь — прости меня бог! — никуда не годится. Тряпка... Ты меня не слушай,— строго обратилась она к Пете,— это тебе еще знать не полагается. Ешь халву... Я вам скажу,— посмотрела она на тетю воловьими глазами и понизила голос: — он не помазанник божий, а просто трус. Вместо того чтобы вешать и расстреливать этих субъектов, он струсил. Разве человек в здравом уме и твердой памяти мог дать России конституцию и позволить устроить эту позорную всероссийскую говорильню в Таврическом дворце, где всякие еврейчики

обливают помоями правительство и открыто призывают к революции!

Тут она неожиданно так сильно взвизгнула, что на некоторое время в соседней комнате замолчали канарейки.

— И они добьются! Вот попомните мое слово — революция будет, и даже очень скоро, и тогда всех порядочных людей эти мерзавцы повесят на первых попавшихся фонарях. А я не такая дура, чтобы этого дожидаться. Хватит с меня черниговского имения. Как вам всем угодно, а я уезжаю за границу. Уезжаю и проклинаю любезное отечество со всеми его социал-демократиями, фракциями, резолюциями, стачками, маевками и пролетариями всех стран соединяйтесь! Забирайте мою землю и хозяйничайте на ней как хотите, если, конечно, грядущий хам вам это позволит!

Теперь она уже не говорила, а кричала во весь голос, и Петя с тяжелым чувством страха и отвращения смотрел на ее глаза, бегающие, как у сумасшедшей.

— Извините,— вдруг сказала она своим обыкновенным голосом.— Второй взнос по векселю потрудитесь сделать моему нотариусу, он перешлет мне за границу.

Тетя стала быстро собираться, поспешно натягивая перчатки и поправляя шляпку. Мадам Васютинская не удерживала. Когда они выходили на улицу, то увидели в палисаднике открытые проветривающиеся сундуки и шубы, развешанные на веревках. По-видимому, мадам Васютинская действительно готовилась к отъезду.

38

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Скоро семейство Бачей переселилось на хуторок. Но это произошло не сразу. Сначала переехал Василий Петрович, чтобы еще до наступления весны вступить во владение хозяйством и привести его в порядок.

Тетя вместе с мальчиками должна была еще некоторое время оставаться в городе, чтобы передать комунибудь квартиру и сдать на хранение мебель.

Мальчики продолжали по-прежнему ходить в гимназию, так как за их право ученья успели заплатить в начале учебного года; что будет дальше — зависело от того, насколько успешно пойдет хозяйство.

Снова стал захаживать Гаврик. Осенью он выдержал экстерном за три класса, и теперь Петя готовил его к экзаменам за шесть классов, уже не отказываясь получать по полтиннику за урок.

Гаврик продолжал работать в типографии «Одесского листка». Теперь он был не рассыльным, а учеником-наборщиком и недурно зарабатывал. Иногда он приходил вечером прямо с работы, распространяя вокруг себя едкий, таинственный запах типографии. Он оказался очень способным учеником и уже кое в чем обогнал своего учителя.

Приходя в квартиру Бачей, он уже не стеснялся, как прежде, держался свободно и однажды даже принес полфунта карамели к чаю. Вручая тете маленький кулек, перевязанный шпагатиком и прицепленный к верхней пуговице его пальто, он сказал:

— А это позвольте вам презентовать к чаю. С получки. Раковые шейки Абрикосова. Я знаю, вы любите.

Беда, свалившаяся на семейство Бачей, как бы еще больше сблизила Гаврика с Петей. Гаврик не только сочувствовал Пете, а, что гораздо важнее, вполне понимал его положение. Впрочем, на всю эту историю у него был свой особенный, совершенно определенный взгляд, который он свободно высказывал.

То, что Василия Петровича выгнали из училища Файга, было хотя и очень неприятно, но неизбежно, потому что лучше подохнуть с голоду, чем работать у такого паразита и хабарника. В этом Гаврик вполне одобрял Василия Петровича. А то, что за полцены загнали пианино и взяли в аренду хутор — этого он решительно не одобрял, так как не мог поверить, чтобы интеллигентное семейство смогло собственными силами обрабатывать землю.

— Да вы же в этом деле ровно ничего не понимаете, только натрете себе на руках мозоли и прогорите. Тоже мне столыпинские отрубники! — прибавил он с улыбкой.

Петя заметил, что за последнее время Гаврик любой вопрос сводил к политике.

— Да, но что же было отцу делать? — сказал он с раздражением.

— Что делал, то и делать. Учить людей наукам. Учитель должен учить.

— А если запрещают?

— Ну, брат, учить людей не запретишь.

— Каких людей? Где они?

— Нашлись бы, если поискать,— уклончиво сказал Гаврик.— Ну, давай заниматься дальше.

Иногда после занятий Петя шел немного проводить Гаврика и, бывало, провожал его до самых Ближних Мельниц. По дороге они много разговаривали, и Гаврик уже не был так скрытен, как раньше. Петя узнал, что в городе существует комитет Российской социал-демократической рабочей партии, состоящей из беков и меков. Беки — это большевики, а меки — меньшевики. Между ними идет размежевание. Терентий и вся его компания принадлежат к бекам.

В Праге недавно кончилась партийная конференция, где тот же самый Ульянов, он же Ленин, он же Фрей, которому через Петю посылали письмо, победил меков, и теперь есть настоящая революционная партия рабочего класса.

— А революция будет? — спросил Петя, вспомнив мадам Васютинскую, ее страшные глаза, бегающие, как у сумасшедшей.

— Все будет,— сказал Гаврик.— Дай только соберемся с силами. Будет вам и белка, будет и свисток.

Однажды он вытащил из кармана грязный полотняный мешочек, наполненный чем-то тяжелым, и повертел перед Петиным носом.

— Видал? — сказал он подмигивая.

— Что это? Ушки? — спросил Петя с удивлением. Он никак не предполагал, что Гаврик до сих пор может заниматься подобными глупостями.

— Ага,— утвердительно сказал Гаврик.— Может, сыграем? — И глаза его лукаво сощурились.

Петя протянул руку:

— А ну, покажи.

— Не лапай, не купишь,— строго сказал Гаврик и спрятал мешочек за спину.

Петя понял, что это не ушки, а что-то совсем другое.

— Это, наверно, такие самые ушки, от которых когда-то чуть не взорвалась вся наша кухня,— сказал Петя, вспомнив, как подпрыгнули на плите кастрюли и как повисла прилипшая к потолку лапша.

— Не совсем такие, но вроде,— сказал Гаврик, которому, видимо, очень хотелось похвастаться, но он никак не мог решиться.— Еще, брат, посильнее!

— Покажи! — взмолился Петя, сгоравший от любопытства.

— Только не сейчас.

— А когда же?

— Не будь таким любопытным,— сказал Гаврик и спрятал мешочек глубоко в карман штанов.

Петя обиделся и больше уже не просил — всю дорогу молчал.

Но, когда друзья дошли до депо, Гаврик завел Петю за угол; оглянувшись по сторонам, вынул мешочек и развязал его зубами. Он высыпал что-то на ладонь и протянул к глазам Пети. Это были какие-то металлические палочки — штифтики,— от которых сильно пахло типографией.

— Литеры,— таинственно сказал Гаврик.

Петя не понял.

— Типографский шрифт. Буквы.

До сих пор Петя еще никогда не видел настоящего типографского шрифта. Правда, в детстве ему однажды подарили игрушечную типографию «Победа» — жестяную плоскую коробочку, в которой помещались несколько десятков резиновых букв и подушечка, пропитанная штемпельной краской. Вытаскивая буквы особыми железными щипчиками, можно было набрать несколько слов и получить неровный лиловый отпечаток с полосками между строк. Но это было, конечно, совсем не то.

— И ты сам умеешь набирать и печатать? — спросил Петя.

— Спрашиваешь!

— И будет так же точно, как в газете?

— И будет так же точно, как в газете.

— А ну, набери что-нибудь.

— Что-нибудь набрать? — спросил Гаврик и задумался.— Ну ладно, что-нибудь наберу. Только пойдем подальше.

Они обогнули депо, пролезли под товарными вагонами, сбежали вниз с высокого железнодорожного полотна и очутились в глубоком кювете, поросшем сухим, прошлогодним бурьяном. Здесь они сели на землю, и Гаврик, вынув из кармана стальную штучку с медным зажимом,

которую назвал «верстатка», довольно быстро стал складывать литеры в длинную строчку.

Потом он достал огрызок карандаша и натер буквы графитом. Он снова порылся в своих бездонных карманах, вынул кусок чистой газетной бумаги, приложил к ней набор и постучал по ней кулаком.

— Готово! — И он протянул Пете бумажку, не выпуская ее, впрочем, из пальцев.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — прочел Петя странные слова, слабо, но четко оттиснутые на бумаге настоящими газетными буквами.

— Что это? — спросил Петя, восхищенный ловкостью и быстротой, с которой Гаврик все это проделал.

— А вот то самое,— сказал Гаврик и, разорвав бумажку на шестнадцать частей, пустил клочки по ветру.— Но имей в виду! — строго прибавил он и поднес к Петиному лицу указательный палец, пахнущий керосином.

— Можешь не сомневаться.

Гаврик вплотную подошел к Пете и, дыша ему в ухо, быстро прошептал:

— Я этого шрифта уже накрал пятнадцать мешочков.

39
НА НОВОМ МЕСТЕ

В конце марта тете наконец удалось довольно выгодно передать квартиру. Теперь нужно было спешно вывозить куда-нибудь обстановку и переезжать. Посоветовавшись с Терентием, Гаврик предложил, для того чтобы не тратиться на мебельный склад, пока что перевезти мебель к ним на Ближние Мельницы, в сарайчик, где до окончания экзаменов мог бы поселиться и Петя.

Это было очень удобно, и тетя согласилась. Сама же она вместе с Павликом решила на это время переехать к своей старой институтской подруге.

И вот в один прекрасный день во двор въехали две пароконные подводы, так называемые платформы, и из квартиры Бачей стали выносить обстановку.

Почему-то всем казалось, что мебели очень много и она никак не поместится на двух платформах. Но на поверку вышло, что на второй платформе даже еще осталось много свободного места. Обстановка, которая

всегда казалась Пете дорогой и нарядной,— в особенности гостиная, обитая золотистым шелком,— когда ее вынесли из квартиры, поставили вверх ногами на платформе и обвязали грубыми канатами, вдруг потеряла свой богатый вид.

При ярком солнечном свете сразу стали видны все ее дефекты, поломки и потертости. Особенно жалкий вид имел умывальник со сломанной педалью и трещиной поперек мраморной доски. Бронзовая столовая лампа со снятым абажуром также потеряла всю свою красоту, а главная ее красота — шар с дробью, брошенный вместе со своими цепями на дно платформы отдельно от лампы, и вовсе казался никому не нужным, каким-то глупым, старомодным.

Но больше всего был поражен Петя видом книжного шкафа, называвшегося в семье Бачей «библиотека Василия Петровича». Теперь, когда он был без книг и лежал на боку, Петя с неприятным удивлением заметил, что он ничтожно мал, почти как игрушечный, а все книги — вместе со знаменитым энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона, «Историей Государства Российского» Карамзина, Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Гоголем, Тургеневым, Достоевским, Некрасовым, Шеллером-Михайловым и Помяловским — представляли собой какой-нибудь десяток стопок, крепко перевязанных шпагатом. В общем, это уже была не обстановка, а просто подержанная мебель, домашние вещи.

Петя сел на козлы первой платформы рядом с возчиком — показывать дорогу. На второй, держа в руках зеркало, в котором косо, как-то обморочно отражалась улица, поехала кухарка Дуня с распухшим от слез носом.

Тетя, стоя рядом с Павликом возле распахнутых ворот, крестилась и зачем-то махала платочком. По дороге Петя все время боялся, что его могут увидеть знакомые гимназисты. Ему было неловко в этом признаться самому себе, но он стыдился обстановки и того, что им приходится перебираться на Ближние Мельницы, где, как известно, живут только «бедные». Ему нелегко было привыкать к мысли, что теперь они тоже стали бедными.

Терентия и Гаврика не было дома. Подводы встретили мать и дочь Черноиваненки. Мотя суетилась больше всех и провожала каждую вещь, которую переносили через

палисадник в сарайчик, уже давно приготовленный для мебели.

— Ой, Петечка, смотрите, какие у вас красивые стулья! — говорила она с искренним восхищением, трогая шелковую обивку кресел, в некоторых местах протертую до белых ниток.

Появился Женька с ватагой местных мальчишек. Они тотчас атаковали платформу, становились босыми ногами на спицы колес, трогали руками бронзовый шар от лампы, крутили кран умывальника, а Женька даже влез на козлы, схватил вожжи и, сделав отчаянное лицо, крикнул на лошадей:

— Тпррр, проклятущие!

Но сейчас же получил по шее, и вся ватага бросилась врассыпную по немощеной улице, поднимая первую мартовскую пыль.

Когда мебель была водворена в сарайчик и платформы уехали, кухарка Дуня взвалила на плечи узел со своими вещами и иконами и отправилась пешком прямо через степь на хуторок, до которого отсюда было не так далеко.

— Ну вот, вы теперь поживете у нас на Ближних Мельницах! — сказала весело Мотя и, заметив грустное выражение Петиного лица, прибавила: — А что? Может быть, вам здесь не нравится? Так ничего подобного. Здесь очень, очень хорошо. Сейчас уже за выгоном в степи появились подснежники, а скоро в балках вырастут и фиалочки. Можно будет иногда ходить собирать букеты. Скажете, нет?

Скоро пришел из типографии Гаврик и украдкой показал Пете новый мешочек со шрифтом.

— Уже шестнадцатый,— сказал он подмигивая.

— Смотри, когда-нибудь поймаешься,— сказал Петя.

— Ну что ж, такое дело,— вздохнул Гаврик.— Ничего не поделаешь.

Но тут же резко переменил тон и бесшабашным голосом запел озорную песенку одесских окраин: «Как поймали-налатали — зец, зец, зец!»

Хотя слова этой песенки на первый взгляд и могли показаться довольно бессмысленными, но Петя всегда чувствовал в ней какое-то скрытое значение, какой-то отчаянный, боевой вызов.

Потом они устраивали в сарайчике, среди аккуратно сложенной мебели, уголок для Пети — постель, стол с лампой, полочку для книг. Так как в сарайчике оказалось довольно много свободного места, то Гаврик перетащил сюда также и свою койку, чтобы жить вместе с Петей.

Пришел с работы Терентий. Он молча поздоровался с Петей, по-хозяйски заглянул в сарайчик; неодобрительно ворча, по-своему, более экономно, переставил мебель, подложил под книжный шкаф кирпич, чтобы он не шатался, после чего в сарайчике оказалось еще больше свободного места.

— Только вы здесь живите, братцы, аккуратно. Чтоб у меня без баловства! А то знаю я вас: курить начнете, друг другу будете мешать учить уроки... Вам теперь,— сказал он, обращаясь к Пете,— придется сильно нажимать, а то они вас порежут на экзаменах. Они вашему батьке не простят Ближенского. Имейте в виду: это все одна шайка. Вот попомните мое слово! Ну да ладно...

Он снял через голову кожаную сумку с инструментом, скинул замасленную куртку и подошел к лоханке, которая стояла на табурете у забора. Мотя подала ему кусочек стирального казанского мыла с синими жилками и, став на скамеечку, стала поливать из кувшина на его большие черные руки.

Он мылился, фыркал, подставляя лицо и шею — отмывался от железной грязи и копоти. Он мылся очень долго, до тех пор, пока стал свежим и розовым, как поросенок. Затем снял с Мотиного плеча вышитое деревенское полотенце и так же долго, с видимым удовольствием вытирался.

А в это время Петя с тревогой размышлял над значением его последних слов, в справедливости которых не сомневался, так как уже давно сам чувствовал нечто весьма холодное, недоброе в выражении лиц директора и инспектора всякий раз, когда он проходил мимо них и глубоко кланялся, шаркая ботинками по плиткам гимназического коридора.

Теперь уже Петю не удивило, что Терентий так хорошо осведомлен обо всех их обстоятельствах и даже знает историю с Ближенским. В его глазах Терентий уже был не только простым мастером-слесарем железнодорожных мастерских, хотя и хорошо зарабатывающим, но все же

всего лишь рабочим. Петя уже отлично понимал, что в той, другой, скрытой жизни Терентия, которая называлась «партийной работой», Терентий был не только важнее и значительнее, например, его отца, Василия Петровича, но гораздо значительнее, важнее и директора гимназии, и господина Файга, и попечителя учебного округа, и даже, может быть, самого одесского градоначальника Толмачева.

Затем все вместе обедали, вернее — ужинали, причем жена Терентия совсем по-деревенски вынула из печки рогачом сначала чугунок с постными щами, а потом громадную сковородку картошки, жаренной на подсолнечном масле. И то и другое ели деревянными ложками. Хлеб был черный, солдатский, очень вкусный. Кроме того, на столе лежали несколько стручков красного перца и головка чесноку. Но их употребляли только Терентий и Гаврик. Красный перец они клали в щи, а чесноком натирали корочку черного хлеба.

Не желая отставать от своего друга, Петя тоже положил себе в тарелку огненно-красный, лакированный стручок и размял его ложкой.

— Ой, не делайте этого! — испуганно простонала Мотя.

Но Петя уже успел проглотить ложку щей и теперь сидел со слезами на глазах, с высунутым языком, и ему казалось, что он дышит пламенем.

— Может быть, тебе еще чесночку немножко натереть? — спросил Гаврик, сделав невинные глаза.

— Иди ты к черту! — с трудом выговорил Петя, вытирая слезы и кашляя.

Вставая после обеда из-за стола, Петя, как благовоспитанный юноша, перекрестился на темную икону святого Николая, ту самую, которую он видел в детстве в хибарке покойного дедушки Черноиваненко, а потом, шаркнув ногой, поклонился сначала хозяйке, затем хозяину и сказал:

— Покорнейше благодарю!

На что хозяйка ласково ответила:

— На доброе здоровье. Извините за обед.

Так началась жизнь Пети на Ближних Мельницах.

Вставали рано, в седьмом часу утра. Умывались во дворе, сливая друг другу из кувшина очень холодную ко-

лодезную воду. Пили чай вприкуску и съедали по большому ломтю черного хлеба, толсто намазанного кислым сливовым повидлом.

Затем все трое мужчин — Терентий, Гаврик и Петя — отправлялись на работу. Они выходили вместе за калитку, и как раз в это время отовсюду начинались фабричные гудки — нескончаемо длинные, требовательные и вместе с тем равнодушные. От их монотонного хора дрожал туманный воздух мартовского утра.

По всем Ближним Мельницам скрипели и хлопали калитки. Улица наполнялась фигурами людей, торопливо шагающих на работу. Их становилось все больше и больше. Они догоняли друг друга, на ходу здоровались, соединялись в небольшие группы.

Терентий шагал быстро, молчаливо, только инструменты позванивали в его сумке. Петя и Гаврик едва за ним поспевали. Большинство рабочих здоровались с Терентием, и ему то и дело приходилось отвечать, машинально приподнимая над своей большой, круглой головой маленькую кепочку с пуговкой, как у велосипедиста. Скоро Терентий присоединялся к какой-нибудь группе, сворачивал в переулок, и Петя с Гавриком уже продолжали свой путь вдвоем.

У вокзала они прощались. Петя поворачивал направо, в гимназию, а Гаврик, небрежно притронувшись большим пальцем к козырьку своей кепочки, такой же точно, как у Терентия, продолжал идти прямо через весь город в типографию.

В гимназии Петя все время испытывал чувство какой-то странной неловкости, робости и отчуждения. Он сторонился товарищей и лишь на большой перемене, отыскав Павлика, очень серьезно здоровался с ним за руку, и некоторое время братья молча прогуливались по гимназическому залу, держа друг друга за кожаный пояс, причем у Павлика было весьма серьезное, даже строгое выражение лица.

Возвратившись домой, на Ближние Мельницы, Петя в своем сарайчике тотчас начинал учить уроки и занимался с таким ожесточенным старанием, точно готовился к сражению.

Вечером возвращались с работы Терентий и Гаврик, и тогда сейчас же садились обедать. После обеда Петя го-

нял Гаврика по-латыни, а Гаврик, в свою очередь, гонял по всем предметам Мотю, которая, оказывается, готовилась поступать в четвертый класс городского училища.

Ложились спать поздно, часов в одиннадцать. Потушив лампу, Петя и Гаврик еще некоторое время разговаривали в темноте. Впрочем, разговаривал главным образом Петя. Гаврик больше отмалчивался, уткнувшись в подушку. Он любил после работы хорошенько поспать.

40
ПОДСНЕЖНИКИ

Несколько раз Петя пытался поведать Гаврику о своей заграничной любви, но каждый раз, когда он, наскоро описав Везувий и голубой грот на Капри, где такое волшебное подводное освещение, что руки и лица людей кажутся сделанными из синего стекла, уже начинал в неопределенных выражениях описывать волнующую сцену первой встречи на неаполитанском вокзале, оказывалось, что Гаврик давно спит и даже посвистывает носом. Все же один раз Пете удалось рассказать свой роман, пока Гаврик еще не успел окончательно заснуть.

— А потом что? — мутным голосом спросил Гаврик, скорее из вежливости, чем из любопытства.

— А потом — ничего,— вздохнул Петя.— Потом мы навсегда расстались.

— Это, конечно, довольно досадно,— сказал Гаврик, откровенно зевая.— А как ее зовут?

— Как ее зовут...— загадочным голосом протянул Петя, находясь в крайне затруднительном положении, и прибавил с оттенком тайной горечи: — Ах, да какое это имеет значение!

— Ну хоть, по крайней мере, какого она цвета: черненькая, беленькая? — спросил Гаврик.

— Она не черненькая и не беленькая, а скорее всего... как бы это тебе объяснить... каштановая. Вернее сказать, темно-каштановая,— стараясь быть как можно более точным, ответил Петя.

— Ага, понимаю,— пробормотал Гаврик.— Ну, давай уже спать.

— Нет, подожди,— сказал Петя, фантазия которого только еще начинала разыгрываться.— Нет, ты подожди,

не спи. Я хочу, чтобы ты мне посоветовал как друг: что мне теперь делать?

— Напиши ей письмо,— сухо сказал Гаврик.— Ты ее адрес знаешь?

— Ах, да какое это имеет значение! — грустно ответил Петя.

— Ну, раз ты ее любишь, — рассудительно заметил Гаврик.

— А что такое — любить? — разочарованно сказал Петя и не совсем кстати, с легким завываньем процитировал: — Любить? Но на время не стоит труда, а вечно любить невозможно!

— Ну, так не морочь мне голову и не мешай спать! — простонал Гаврик, повернулся на другой бок и накрыл себе голову подушкой.

Больше от него уже ничего нельзя было добиться.

Петя долго не мог заснуть.

В маленьком высоком окошке сарайчика виднелся зеленоватый серп месяца. Петя слышал, как несколько раз скрипела калитка. Вполголоса разговаривая, во дворик входили и выходили какие-то люди.

— Только вы идите вокруг, через Сортировочную,— произнес голос Терентия, и Петя понял, что у него опять гости.

Петя стал думать о заграничной девочке, но никак не мог ее представить. Было что-то весьма неопределенное: черная ленточка в косе, уголек, влетевший в глаз, вьюга в горах — и больше ничего. Оказывается, он ее просто забыл.

В сарайчике было довольно холодно. Петя снял со стены швейцарский плащ и укутался им поверх одеяла. Теперь он представил себя одиноким путником, в убогой хижине пастуха. Вот он лежит, завернувшись в плащ, всеми забытый, с измученной душой и разбитым сердцем. А та, которую он так любил, в это время, быть может... Петя сделал последнее усилие, чтобы вообразить «ее» и что она, быть может, делает в это время, но вместо этого в голову полезли посторонние мысли о близких экзаменах, о предстоящей жизни на хуторе и, как это ни странно, о Моте, с которой — в самом деле! — не худо было бы как-нибудь сходить в степь за подснежниками.

До сих пор ему никогда и в голову не приходило, что

Мотя может быть предметом романа. Теперь это казалось вполне естественным, и он даже удивился, как это ему не пришло в голову раньше. В конце концов, она была довольно хорошенькая, она его любила, в чем Петя не сомневался, а главное, она всегда была рядом.

Эти мысли приятно волновали Петю, и, вместо того чтобы заснуть в слезах, он заснул с томной, самодовольной улыбкой, а проснулся с бодрым чувством чего-то нового и очень приятного. Придя из гимназии, он не стал готовить уроки, а подошел к Моте, лепившей вместе с мамой вареники с картошкой, и сразу приступил к делу.

— Ну, так как же? — сказал он со снисходительной улыбкой.

— А что? — спросила Мотя робко, как всегда, когда она разговаривала с Петей.

— Забыла?

— А что? — повторила Мотя еще более робко и милыми, невинными глазами слегка исподлобья посмотрела на мальчика.

— Ты, кажется, хотела собирать подснежники.

Она зарумянилась. Ее пальцы стали быстро щипать края вареника.

— Вы правду говорите? — спросила она.

— Ну конечно,— сказал Петя.— А если не хочешь, так не надо.

— Мама, вы без меня управитесь? — спросила Мотя.— Я обещала Пете показать, где у нас тут растут подснежники и фиалочки.

— Идите, деточки, идите погуляйте,— ласково ответила Мотина мама.

Мотя стремительно бросилась за занавеску, на ходу развязывая фартук, надела праздничные козловые башмаки, пальтишко, из которого за зиму порядочно выросла, вытащила из-под воротника косу и перебросила ее через плечо. Она даже вспотела, и на ее складном носике выступили росинки.

Петя, стараясь не торопиться, вразвалку отправился к себе в сарайчик, закутался в плащ, взял альпеншток и явился перед Мотей во всей своей мрачной красоте, которую, впрочем, слегка портила гимназическая фуражка.

— Ну что ж, пойдем,— сказал Петя как можно равнодушнее.

— Пойдем,— совсем тоненьким голосом ответила Мотя, повесив голову, и первая вышла за калитку, сильно скрипя новыми башмаками.

Пока они шли через выгон, где на прошлогодней травке уже паслись коровы, Петя решал весьма важный вопрос, кем должна быть Мотя: Ольгой или Татьяной? При всех обстоятельствах он, конечно, оставался Евгением Онегиным. Он выбрал устаревший вариант — «Евгения Онегина»,— как наиболее легкий, чтобы не слишком возиться. Более сложного варианта Мотя и не заслуживала. Теперь следовало поскорее решить, кем она будет — Ольгой или Татьяной,— и приступать к делу.

По внешнему виду она совсем не подходила для Татьяны. Она скорее могла сойти за Ольгу, если бы, конечно, не это демисезонное пальтишко с короткими рукавами и не козловые башмаки, которые так ужасно скрипели на все Ближние Мельницы.

Выгон уже кончался, и надо было действовать. Петя наскоро соединил Татьяну с Ольгой и получил весьма подходящий гибрид девушки, которой можно было, с одной стороны, давать уроки в тишине, а с другой — нежно жать ручку, причем не нужно было целоваться, чего Петя ужасно стеснялся.

Он, конечно, оставался Онегиным, но с небольшой примесью Ленского, что не должно было ему мешать пользоваться великолепным правилом: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей...» Мог получиться отличный роман. Правда, немного мешало то, что Мотя, в общем, нравилась Пете. Это было совсем некстати. Но Петя решительно пренебрег своими чувствами и, как только они вышли в степь, строго сказал:

— Мотя, мне надо с тобой серьезно поговорить.

У девочки ёкнуло сердце, и она остановилась перед Петей, встревоженная суровым выражением его лица.

— Любила ли ты кого-нибудь? — еще более строго спросил Петя.

— Любила,— сказала Мотя тоненьким голосом.

Самодовольная улыбка непроизвольно поползла по Петиному лицу, но он ее подавил и спросил, глядя девочке прямо в переносицу:

— Кого?

— Разных,— простодушно ответила Мотя.

«Дура»,— чуть не сказал Петя, но сдержался и стал терпеливо разъяснять, что такое любить вообще и любить в частности. Мотя поняла и густо покраснела.

— Ну так кого же? — настойчиво спросил Петя.

— Вы сами знаете,— одними губами прошептала Мотя, поднимая на него счастливые глаза, полные слез.

В эту минуту она была так мила, что Петя уже готов был превратиться в Ленского и сделать ее Ольгой, несмотря на скрипучие башмаки и рыночное пальтишко. Но он не мог удовлетвориться такой легкой победой, это было бы слишком скучно.

— Значит, я могу рассчитывать на твою дружбу? — спросил он.

— Ну да, можете,— сказала Мотя.— Всегда можете.

— В таком случае, я должен открыть тебе одну тайну. Только ты, конечно, дашь мне слово, что это останется между нами.

— Честное благородное, святой истинный крест! — сказала Мотя и несколько раз торопливо перекрестилась.— Чтоб мне не сойти с этого места!

— Я полюбил,— сказал Петя с грустью.

Он немного помолчал, а затем рассказал Моте свой заграничный роман, слово в слово так, как он рассказывал его Гаврику в сарайчике.

Мотя слушала молча, удрученно опустив руки, а когда он кончил, спросила чужим голосом:

— Как ее зовут?

— Какое это имеет значение! — ответил Петя.

— И вы ее так сильно любите? — сказала Мотя безжизненно.

— В этом-то и дело,— ответил Петя.

— Желаю вам счастья,— чуть слышно произнесла Мотя.

— Да, но я хочу, чтобы ты мне посоветовала как друг: что мне теперь делать? Как поступить?

— Напишите ей письмо, раз вы ее так любите.

— А что такое — любить? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно,— сказал Петя, слегка завывая.

— Желаю вам счастья,— сказала Мотя, и вдруг глаза у нее сделались как у кошки, так что Петя даже испугался. Она повернулась и быстро пошла назад.

— Постой, куда же ты! А подснежники? — закричал Петя.

— Желаю вам счастья,— сказала она не оборачиваясь.

Петя побежал за ней, путаясь в плаще, и догнал. Она сбросила с плеча его руку и пошла еще быстрее.

— Чудачка, я же пошутил! Неужели ты не понимаешь, что я пошутил? Чудачка, шутки не понимаешь... — бормотал Петя.— Чего же ты сердишься?..

Теперь, когда она сердилась, она ему нравилась вдвое больше. Скрипя башмаками, Мотя пробежала через весь выгон и лишь на улице пошла медленней.

Петя шел с ней рядом, уговаривая:

— Я же пошутил. Неужели ты не понимаешь, что я пошутил? А ты сердишься, чудачка!

— Я не сержусь,— тихо сказала Мотя.

Порыв ревности уже прошел, она была прежняя Мотя.

— Ну давай помиримся,— сказал Петя.

— Я с вами не ссорилась,— ответила она и даже слегка улыбнулась, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь видел, как они ссорятся на улице.

Петя был смущен, но в душе торжествовал. В общем, это было очень удачное любовное свидание.

Все дело испортил Женька, который, оказывается, давно уже следил за ними вместе с ватагой своих мальчишек. Теперь эта ватага следовала за ними на приличном расстоянии и время от времени хором кричала:

— Жених и невеста, тили-тили тесто!

41

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ

Однажды в начале апреля Гаврик вернулся из типографии гораздо позже, чем всегда. Петя сидел в сарайчике и повторял геометрию.

— На Ленских приисках солдаты стреляли в рабочих,— сказал Гаврик с порога и, не снимая шапки, сел на кровать.

Из разговоров, которые уже давно велись на Ближних Мельницах, Петя узнал, что далеко в Сибири, в глухой тайге, на реке Лене существуют золотые прииски, где рабочие живут в каторжных условиях. Было известно так-

же, что в конце февраля на одном из приисков, где рабочих мучили особенно сильно, началась забастовка и были посланы депутаты на другие прииски. Стачкой руководили беки, а меки уговаривали рабочих стачку прекратить и пойти на мировую с администрацией. Но рабочие не послушали меков, и стачка стала всеобщей. Теперь уже бастовало свыше шести тысяч рабочих. Таковы были последние сведения, разными путями дошедшие с берегов Лены.

Гаврик сидел, бросив между колен вытянутые руки, и смотрел на лампу под зеленым абажуром, которая отражалась в его неподвижных зрачках. Он глубоко и редко дышал — переводил дух,— видимо, очень торопился из типографии домой.

Петя сначала не вполне понял все значение того, что сказал Гаврик. Слишком просто, без выражения, были произнесены эти слова: «Солдаты стреляли в рабочих». Но, еще раз взглянув на Гаврика, на его осунувшееся, неподвижное лицо, Петя вдруг понял смысл этих слов.

— Как это — стреляли? — спросил он, чувствуя, что его лицо становится таким же неподвижным, как у Гаврика.

— А так. Очень просто! — грубо сказал Гаврик.—Из трехлинейных винтовок. Рота, пли! Залпом.

— Откуда ты знаешь?

— Сам набирал телеграмму. Нонпарелью, шестым кеглем. Три часа назад получена. Должна идти сегодня в номер... если не снимут. От них можно ожидать всякой подлости... Ну, я пошел,— сказал он, решительно вставая.

— Куда?

— В мастерские к Терентию. Оказывается, у него сегодня ночная сверхурочная.

С этими словами Гаврик вышел.

Пете стало не по себе одному в сарайчике. Он догнал Гаврика за калиткой. Они молча шли в прозрачной темноте апрельской ночи. В палисадниках уже робко белели начинающие цвести яблони, а в это время в Сибири еще была зима, трещали морозы и замерзшая река Лена лежала под снегом как мертвая.

Петя вышел без шинели, ему стало холодно. Он сунул руки в рукава гимназической курточки и весь сжался, торопливо шагая рядом с Гавриком. Где-то в церкви пробило одиннадцать. Люди в домиках спали. Всюду было

темно, только под воротами железнодорожных мастерских, отражаясь в рельсах, горела электрическая лампочка. Сторож спал. Из будки высовывалась пола его овчинного тулупа.

Петя и Гаврик обошли корпус паровозного цеха, заглядывая в пыльные, кое-где разбитые стекла, откуда лился беспокойный свет пылающего горна. Петя увидел громадный паровоз, висящий в воздухе на цепях. Под ним ходили рабочие. Петя сразу узнал фигуру Терентия со стальным маслянистым шатуном на плече, который он поддерживал одной рукой за конец, обернутый черной тряпкой.

Путейский инженер в форменной фуражке и тужурке с погончиками, расставив ноги, стоял в стороне, держа перед собой развернутый лист кальки, которую он рассматривал, как газету.

Все это Петя уже много раз видел, и в этом не было ничего необыкновенного, а тем более зловещего. Но сейчас Петя испытывал страх. Ему казалось, что сию минуту цепи лопнут и висящий паровоз всей своей тяжестью упадет на людей. На один миг это чувство сделалось так реально, что мальчик закрыл глаза.

Но в это время Гаврик вложил в рот два пальца и свистнул. Терентий обернулся и стал всматриваться в темные стекла, мутно отражавшие электрические лампочки цеха. Потом он тяжелым, мягким движением всего своего большого туловища скинул с плеча шатун и на вытянутых руках отнес в сторону. Скоро он появился из-за угла и подошел к мальчикам.

— Чего тебе? — глядя на Петю, спросил он Гаврика.

— На Ленских приисках солдаты стреляли в рабочих,— негромко сказал Гаврик.— Сегодня пришла телеграмма из Иркутска. Я на всякий случай тиснул десять экземпляров.— И он подал Терентию листочек свежего оттиска.

Терентий стал спиной к освещенному окну и прочитал телеграмму. Петя не мог рассмотреть выражения его лица, но понял, что оно ужасно. Вдруг Терентий схватил из-под ног кусок шлака и с такой силой швырнул в стенку, что он разлетелся в пыль. Некоторое время Терентий тяжело переводил дух — успокаивался,— а потом отвел Гаврика в сторону, и они быстро о чем-то переговорили.

На обратном пути Гаврик несколько раз оставлял

Петю посередине улицы, а сам на короткое время куда-то отлучался; и один раз Петя увидел, как Гаврик подобрался к чьей-то калитке и сунул в щель белую бумажку. Петя понял, что это был оттиск телеграммы.

Когда мальчики снова очутились в своем сарайчике, потушили свет и улеглись в постели, они долго не могли заснуть, и Петя все время тревожно прислушивался к ночным звукам. Ему казалось, что вот-вот начнется что-то страшное: по улице с криками побежит толпа, где-то вспыхнет пожар, раздадутся выстрелы из браунингов. Но вокруг все было тихо.

На переезде послышался рожок стрелочника; прошел товарный поезд; далеко по неровной мостовой проехала подвода, и было слышно, как под ней бренчит пустое ведро. Потом по всем Ближним Мельницам долго и сонно пели третьи петухи, послышались фабричные гудки и немного погодя заскрипели калитки.

День прошел обычно. Только в гимназии, на большой перемене, Петя заметил под лестницей нескольких восьмиклассников с газетой и услышал слова: «Беспорядки на Ленских приисках», сказанные вполголоса.

Гаврик вернулся из типографии еще позже, чем вчера — дожидался новых известий,— и принес большой сверток оттисков. Это были телеграммы с подробностями ленского расстрела: пятьсот человек убитых и раненых. Петя ужаснулся.

Была ночь. Терентий коротко переговорил с Гавриком, и они оба ушли. Петя хотел идти вместе с ними, но его не взяли. Он остался один, лег в постель, укрылся с головой плащом и сразу же заснул, но скоро проснулся.

Вокруг была мертвая тишина. Петя лежал на спине с открытыми глазами, стараясь представить себе пятьсот человек убитых и раненых. Но это было невозможно, как сильно он ни напрягал свое воображение. Перед ним все время неподвижно стояла неразборчивая картина снежного поля, покрытого убитыми рабочими. Смысл картины был неизмеримо страшней самой картины, и это несоответствие мучило Петю, не давая ему ни на один миг отвлечься и подумать о чем-нибудь другом.

Вдруг ему пришло в голову, что пятьсот человек — это именно столько, сколько учеников и учителей в их гимназии. Он представил себе коридоры, лестницы, классы,

гимназический и актовый залы, заваленные убитыми и ранеными гимназистами и учителями, лужи крови на метлахских плитках, крики, стоны, смятение...

Его стал бить озноб.

Но и здесь тоже не было соответствия, потому что это была всего лишь выдумка, а там была самая настоящая правда. Там были подлинные, а не воображаемые трупы, и Пете стали представляться все покойники, которых он когда-нибудь видел.

Ему представилась мама в гробу, похожая на невесту, с почерневшими от лекарств губами и бумажной полоской на лбу; представился дядя Миша в сюртучке с высоко сложенными на груди белыми костлявыми руками; скончавшийся от дифтерита гимназист четвертого класса Витя Серошевский — вытянутая кукла в синем мундире; дедушка — мамин папа — с лысым лбом, отражавшим свечи; какой-то генерал-от-инфантерии, которого везли мимо их дома в открытом гробу на лафете, а впереди несли на бархатных подушках ордена и медали.

Но это были не трупы убитых, а покойники — «усопшие», заваленные венками и окруженные клубами ладана, музыкой, пением и стеклянными фонарями на палках, перевитых крепом. Как ни ужасен был вид этих неподвижных существ, все еще сохранивших человеческое подобие среди похоронного великолепия,— они не могли дать Пете представления о тех сотнях, которые лежали ничком в ленских снегах, и Петина мука продолжалась.

Тогда Петя вдруг увидел то, что было давно скрыто в самых глубинах его памяти и почти никогда не всплывало на поверхность именно потому, что было еще более ужасно, чем все остальное.

Петя вспомнил девятьсот пятый год, перевязанную голову Терентия со струйкой крови, текущей по виску, вспомнил комнату, заваленную сломанной мебелью, полную дыма от выстрелов, и человека с равнодушным восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом, который неудобно лежал на полу поперек комнаты, лицом вверх среди пустых обойм и гильз. Он вспомнил, как два казака мчались на лошадях, волоча за собой на веревке окровавленный труп Петиного знакомого — хозяина тира Иосифа Карловича,— оставлявший на мертвенно серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.

Петя снова увидел снежное поле, усеянное трупами. Но эта картина уже не мучила его несоответствием с правдой, потому что теперь он понял ее смысл. Смысл заключался в том, что одни люди убили других людей за то, что те не захотели больше быть рабами.

Петю охватила злоба. Чтобы не заплакать, он стал кусать подушку. Но все-таки заплакал. Утром он встал с постели измученный бессонной ночью, с синяками под глазами, мрачный и осунувшийся.

Гаврик и Терентий до сих пор еще не возвращались. Мотя, закутанная в серый шерстяной платок, молча подала ему кружку чая и кусок хлеба с повидлом. Она была не причесана, ее глаза испуганно смотрели на мальчика, она дрожала от утреннего холода — наверно, тоже всю ночь не спала.

Ее мать стирала во дворе белье, над корытом летали мыльные пузыри, и она грустно пожелала Пете доброго утра.

На этот раз Петя отправился в гимназию один. На улице все было, как обычно. Группами шли рабочие на утреннюю смену. Они шли еще быстрее обыкновенного. Группы соединялись, в некоторых местах превращаясь в толпы. Пробираясь мимо них, Петя чувствовал на себе неприязненные взгляды, которые как бы ощупывали его фуражку с гербом, светлые пуговицы курточки и пояс с форменной бляхой.

Хотя раннее солнце заливало улицу телесно-розовым светом и в апрельском воздухе так чисто, свежо и весело перекликались маневренные паровики, но на всем этом как бы лежала невидимая похоронная тень.

Посередине улицы, как обычно, прохаживался знакомый Пете пожилой ближнемельничный городовой. Но дойдя до перекрестка, Петя увидел еще одного городового, незнакомого. Со знакомым городовым Петя по привычке поздоровался, вежливо приподняв фуражку, а мимо незнакомого городового прошел, опустив глаза, но все-таки видел, как незнакомый городовой оглядел его с ног до головы — злыми глазами на молодом солдатском лице.

В городе бегали газетчики, выкрикивая: «Подробности ленских событий, пятьсот убитых и раненых...»

В гимназии на уроках и переменах было тише обыкновенного. На обратном пути, не доходя до Ближних

Мельниц, Петя услышал фабричный гудок, потом другой, третий, и скоро весь воздух уже стонал от гудков.

На том перекрестке, где утром стоял незнакомый городовой, теперь Петя увидел громадную черную толпу, которая все время увеличивалась: в нее непрерывно вливались кучками и поодиночке всё новые и новые люди, бегущие по прилегающим улицам, пустырям и палисадникам.

Петя понял, что это забастовка, а толпа состоит из рабочих разных заводов и фабрик, только что бросивших работу.

Петя хотел повернуть назад и обойти толпу стороной, но в это время сзади навалилась другая толпа и потащила мальчика за собой. Две толпы смешались, и Петя очутился посередине, со всех сторон сжатый людьми. Он стал вырываться, но ему мешал ранец. Одна лямка оборвалась, ранец пополз вниз. Петя, вывернувшись, подхватил его и с усилием стащил с плеча. Теперь он его крепко держал в руках перед собой, отпихиваясь от напиравших на него спин и локтей.

Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. Он только чувствовал, двигаясь куда-то вместе со всеми, что у толпы есть какая-то определенная цель и что ее движением кто-то руководит. Тогда он немного успокоился и ранцем поправил сбившуюся фуражку.

Толпа шла очень медленно. В ее движении не было ничего грозного, как сначала показалось Пете, а скорее что-то напряженно-деловитое, упрямое.

Фабричные гудки, до сих пор заглушавшие все остальные звуки, мало-помалу смолкли, и теперь слышался говор толпы.

Наконец толпа остановилась. Петя увидел длинные крыши ремонтных мастерских и почувствовал под ногами рельсы — споткнулся и чуть не упал, если бы его не поддержали чьи-то большие, грубые руки. Затем произошло общее движение вперед и раздались отчаянные полицейские свистки.

Толпа разорвалась, и Петя увидел знакомые ворота ремонтных мастерских. Они были закрыты, и перед ними туда и назад, придерживая шашку, бегал городовой со злыми глазами, который по очереди то изо всех сил дул в свисток, а то кричал:

— Разойдись, не то буду стрелять!

Другой городовой, знакомый старичок, пятясь перед толпой, размахивал руками, как дирижер, и плачущим голосом повторял:

— Господа, имейте сознание! Господа, имейте сознание!

— Братцы, тогда ломай ворота! — не слишком громко, но так, что все услышали, сказал человек в старой железнодорожной фуражке, с красной повязкой на рукаве ватного пиджака, стоявший во весь рост на крыше паровозного цеха — по-видимому, один из тех самых людей, которые управляли толпой.

Железные решетчатые ворота завизжали на ржавых петлях и стали гнуться под напором толпы. Раздался звон лопнувшей цепи. Одна половина ворот, сорванная с петель, с грохотом упала во двор, другая криво повисла на кирпичном столбе.

Толпа ворвалась во двор. Все смешалось...

Впоследствии Петя узнал, что администрация мастерских хотела сорвать забастовку, поставив на работу в цехах несколько десятков предателей, так называемых штрейкбрехеров, и заперев ворота.

Ворвавшись во двор, толпа рассыпалась по цехам, и Петя увидел нечто, показавшееся ему сначала забавной игрой, в которую играли взрослые, сердитые люди. Ворота цеха растворились, и оттуда один за другим стали проворно выбегать какие-то люди, а другие люди их догоняли и били по шее грязными жгутами из скрученных промасленных тряпок, а те на все лады изворачивались, и все это очень напоминало игру в пятнашки или в «квач». Но при этом никто не смеялся и не кричал, а у одного из бегущих текла из носа кровь, и он размазывал ее по лицу рукавом порванной рубахи.

Затем в воротах цеха появилась маленькая вагонетка, которую катили десятка два рабочих с решительными, напряженными лицами. В вагонетке, задрав ноги и держась руками за борта, в неестественной позе сидел тот самый путейский инженер, которого Петя видел два дня назад, когда ночью ходил с Гавриком в паровозный цех. Фуражка на инженере была надета козырьком назад, что делало его красивое лицо с бархатной бородкой крайне глупым.

Женька Черноиваненко и те самые мальчишки, кото-

рые недавно кричали Пете и Моте: «Жених и невеста, тили-тили тесто!» — усердно помогали взрослым катить вагонетку.

Пете уже не было страшно, толпа его больше не пугала. Он проникся общим настроением и, сердито сдвинув брови, побежал за вагонеткой. Он растолкал мальчишек, уперся ранцем в вагонетку и вместе со всеми стал ее толкать.

Ему казалось, что он катит ее один. Как только вагонетка выехала из ворот, со всех сторон раздались крики, свистки, улюлюканье. Несколько человек несли городового со злыми глазами. Держа за плечи и за сапоги, они его раскачали и бросили в вагонетку прямо на инженера. Городовой уже был без шашки и без револьвера.

Другого городового, старичка, в вагонетку бросать не стали, а раза два ударили по шее тряпкой, и теперь он — тоже без шашки, без револьвера и без фуражки — ковылял вдоль забора, крутя седой головой и глупо улыбаясь.

После того как вагонетку отвезли за полверсты и бросили на путях, Петя вместе с Женькой и другими мальчишками вернулся назад, но возле мастерских уже никого не было — народ разошелся,— только у разломанных ворот расхаживало несколько рабочих с охотничьими дробовиками за спиной и красными повязками на рукаве.

По странно опустевшим улицам и переулкам Петя и Женька пришли домой. У калитки стояла Мотя, которая сразу же напустилась на Женьку:

— Босяк, хулиган, шибенник, где тебя носит?.. А вам,— обратилась она к Пете,— должно быть довольно стыдно водить с собой ребенка на забастовку! Посмотрите, на что вы похожи, а еще гимназист!

Вообще после прогулки за подснежниками Мотя стала относиться к Пете гораздо более критически, чем раньше. Петя посмотрел на свои ботинки, поцарапанные шлаком, на помятый ранец с порванными лямками, на пряжку пояса, съехавшего набок.

— Вы весь грязный,— тонким голосом сказала Мотя.— Идите скорей умойтесь, я вам сейчас солью.

— Можешь не командовать! — сказал Женька и, вытащив из кармана роговой свисток, который еще совсем недавно висел на груди старичка городового, пустил пронзительную трель на всю улицу.

— Ах, босяк! Ах, шибенник! — всплеснула руками Мотя, но не удержалась и вдруг залилась совсем детским, слегка повизгивающим смехом.

В это время вдалеке появился извозчик. Переваливаясь по ухабам и дребезжа колесами, он промчался по улице. Несколько человек с красными повязками на рукаве подскакивали на сиденье и на откидной скамеечке и что-то кричали у каждого палисадника.

Среди них Петя увидел Терентия, размахивавшего своей маленькой кепкой. У него было возбужденное, красное лицо, отчего старый шрам на виске белел особенно заметно.

— Пускай все идут на выгон! — закричал он, показывая кепкой вперед и вряд ли понимая, что проезжает мимо своего дома.

Зашвырнув ранец в палисадник, Петя следом за Мотей и Женькой побежал на выгон, уже черневший народом.

Солнце недавно село за курганом. Над свежей, зеленеющей степью пылали большие облака, освещая картину митинга. Посередине толпы, на козлах извозчичьей пролетки, во весь рост стоял Терентий. Одной рукой он опирался на плечо извозчика, а другой рубил воздух, и Петя слышал его голос, разорванный ветром.

Иногда доносились целые фразы.

Этот гневный голос, как бы летающий вместе с ветром над молчаливой толпой, над притихшей весенней степью, наполнял Петину душу жгучим чувством борьбы и свободы. Сердце его сильно забилось. Когда же вся толпа запела на разные голоса «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и замелькали снимаемые шапки, Петя тоже снял свою фуражку и, прижимая ее обеими руками к груди, запел вместе со всеми. Своего голоса он не слышал, но зато все время слышал рядом с собой тоненький голос Моти, которая, привстав на пальчики и вытянув шею, прилежно выводила: «...за вами идет новых ратников строй...»

Временами Пете казалось, что сию минуту откуда-то должны выскочить казаки на лошадях и начнется побоище. Но все было спокойно, и фигуры сигнальщиков, расставленных по буграм и курганам, неподвижно чернели на яркой полосе заката.

По окончании митинга народ разошелся так же быстро, незаметно, как и собрался. Выгон опустел, и на молодой траве среди помятых одуванчиков Петя увидел множество палок, железных болтов и обломков кирпича, захваченных рабочими на всякий случай.

Проехала порожняком извозчичья пролетка. Немного погодя показались Терентий и Гаврик. Они шли в ногу, глубоко засунув руки в карманы, в кепках, сдвинутых на затылок, с видом людей, хорошо поработавших и весьма довольных.

— Ходом, ходом! — сказал Терентий, потрепав Мотю по щеке и протягивая руку Пете.— Не задерживайтесь. Хотя по всему городу митинги и демонстрации, так что одесская полиция совсем потерялась, а Толмачев сидит у себя дома и гадает, что ему робыть, но все ж таки не того... Давайте лучше поскорей до хаты.

Но, видимо, на этот раз полиция действительно растерялась, и генерал Толмачев не рискнул вызвать войска: в течение суток, пока продолжалась забастовка, никто на Ближних Мельницах не видел ни одного солдата и ни одного полицейского, кроме старичка городового, который целый день ходил по домам и слезно просил, чтобы ему отдали шашку и револьвер. Заходил он также и во двор к Черноиваненкам, причем Терентию, который вышел к нему из хаты, сказал так:

— Тереша, я тебя помню еще тогда, когда ты у мамки титьку сосал. Будь человеком! Скажи своим хлопцам, чтобы отдали мое оружие, а то меня из полиции выгонят. Оно казенное.

Терентий нахмурился:

— Каким это моим хлопцам? Надо понимать, что болтаешь!

— Будто не знаешь сам? — сказал городовой, подмигивая, и простодушно прибавил: — Твоим хлопцам, которые революционеры. Ты же у них за главного.

Терентий взял городового за плечи и вывел за калитку:

— Иди, иди, старый! И не болтай, чего не понимаешь. А будешь болтать — так лучше не выходи вечером на улицу. Понял?

— Эх, Тереша, Тереша! — вздохнул городовой и побрел в следующую хату.

На другой день забастовка кончилась, и все пошло по-

старому. Так же по утрам над Ближними Мельницами стонал от гудков воздух, но был он уже не холодный и туманный, а яркий, светоносный, полный теплого запаха цветущих садов и птичьего щебета. И люди, толпами валившие по улице на работу, тоже казались Пете совсем другими: шагали уверенно, смотрели бодро, громко переговаривались и вообще выглядели как-то светлее и чище — вероятно, потому, что сбросили свою неуклюжую зимнюю одежду, а многие были уже одеты совсем по-летнему: в парусиновые пиджаки и цветные ситцевые рубахи.

Возвращаться из гимназии Пете уже было жарко в суконной куртке и касторовой фуражке, мокрой и горячей внутри.

За неделю до экзаменов гимназистов распустили. Теперь Петя с утра до вечера сидел во дворе под шелковицей перед дощатым столом и, закрыв кулаками уши, зубрил хронологию, мерно качая головой, как китайский болванчик. Он дал себе слово во что бы то ни стало выдержать все экзамены на пятерки, потому что отлично понимал, что пощады ему не будет и его зарежут, придравшись к малейшей ошибке. Он даже заметно похудел, давно не стригся, и у него на затылке отросли косички, как у дьячка.

42

ПЕРВЫЙ НОМЕР «ПРАВДЫ»

— На вокзал со мной не хочешь сходить? — сказал однажды Гаврик, неожиданно появляясь за спиной Пети.

Петя в это время был поглощен зубрежкой и даже не удивился тому обстоятельству, что Гаврик не на работе. Он только еще быстрее закивал головой и сказал:

— Отчепись!

Но, увидев какую-то особую, загадочную, торжествующую улыбку на лице Гаврика, а главное, его тщательно расчесанные волосы, новую ситцевую рубаху, подпоясанную новым ремешком, хорошо выглаженные брюки и парадные ботинки, которые Гаврик очень берег и надевал лишь в исключительных случаях, понял, что произошло нечто значительное.

— Зачем на вокзал? — спросил Петя.

— Газету получать.

— Какую газету?

— Нашу. Ежедневную. Рабочую, брат. Прямо из Петербурга, с курьерским поездом. Называется «Правда».

Петя уже несколько раз слышал разговоры о том, что скоро в Петербурге начнет выходить новая рабочая газета беков. Среди рабочих на нее собирали деньги, и Петя даже видел эти деньги. Иногда их приносили с работы Терентий или Гаврик и, тщательно пересчитав, высыпали в жестяную коробку из-под монпансье «Жорж Борман». Раз в неделю Терентий относил их на почту, а квитанции складывал в ту же коробку.

Деньги были преимущественно мелкие — серебряные двугривенные, пятиалтынные, гривенники, медные пятаки, семишники, даже копейки; бумажные рубли и трешки попадались крайне редко, и было трудно представить, как из этой потертой мелочи в конце концов могла получиться такая дорогая вещь, как большая ежедневная газета.

Теперь же оказалось, что она все-таки получилась и ее везут в почтовом вагоне курьерского поезда «Санкт-Петербург — Одесса».

Откровенно говоря, Пете уже смертельно надоело каждый день с утра до вечера заниматься зубрежкой. Он был не прочь передохнуть. Сходить на вокзал было соблазнительно: вокзал всегда имел для него особую, притягательную силу. Уже один вид множества пересекающихся рельсов возбуждал его воображение и заставлял думать о тех неизвестных краях, куда эти рельсы, так плавно и стремительно закругляясь, уходили.

Запад Петя уже видел. Но был еще север, необъятно громадная область — Россия, родина, с матушкой Москвой, Санкт-Петербургом и древним Киевом, Архангельском, Волгой, с трудновообразимой Сибирью и, наконец, Леной, которая уже теперь была не рекой, но именем кровавого исторического события, такого же, как Ходынка или Цусима. Именно оттуда, с севера, из дымного, туманного Питера должен был сегодня привезти курьерский поезд газету «Правда».

Когда Петя и Гаврик пришли на вокзал «Одесса-Главная», петербургский поезд уже прибыл и стоял у перрона. Он весь состоял из длинных новеньких пульмановских вагонов — синих и желтых,— а зеленых совсем не было, но зато было два невиданных вагона, возле которых Петя и Гаврик невольно задержались.

Эти вагоны были снаружи обшиты деревом, блистали на солнце медью поручней, оконных наугольников, накладных иностранных надписей и гербов Международного общества спальных вагонов. Даже их внешний вид поражал особой, корабельной строгостью.

Когда же мальчики, толкая друг друга локтями, заглянули в окна с верхними узкими, декадентски разрисованными цветными стеклами, они ахнули от той роскоши, которую увидели внутри уже пустого вагона, от лакированных панелей из красного дерева, тисненого плюша стен, белоснежных, по-утреннему смятых постелей, молочных тюльпанов электрических лампочек, синих сеток, тяжелых бронзовых плевательниц и ковровых дорожек.

В другом вагоне они увидели еще более поразительные вещи: буфет, уставленный бутылками и закусками, и лакея во фраке, который убирал со столиков пирамидальные салфетки, такие белые и твердые, словно они были отлиты из гипса. Не говоря уже о Гаврике, даже Петя, побывавший за границей, до сих пор не мог себе даже представить, что есть на свете такие вагоны.

— Вот это да! — прошептал Петя, с такой силой прижимаясь лицом к толстому шлифованному стеклу, что на нем отпечатался его вспотевший нос.

А Гаврик сузил глаза и со странной улыбкой процедил сквозь зубы:

— Господа катаются.

— Попрошу отойти от вагона! — произнес строгий голос с иностранным акцентом, и, отстранив твердой рукой Петю и Гаврика от вагона, мимо прошел проводник в форменной тужурке и каскетке Международного общества спальных вагонов.

Гаврик сморщил нос и, вывернув руку, показал ему локоть, что считалось на Ближних Мельницах высшим проявлением насмешки и презрения.

Но проводник, как существо высшее, не обратил на это никакого внимания, и мальчики пошли дальше, к багажному вагону, где в это время выгружали плоские тростниковые корзины с решетчатыми крышками, сквозь которые виднелись влажные, слежавшиеся, свежие цветы — пармские фиалки и розы,— прибывшие через Петербург прямо из Ниццы в адрес цветочного магазина Веркмейстера, причем сам Веркмейстер, господин в светлом

коротком пальто колоколом, с траурными повязками на рукаве и на цилиндре, лично руководил разгрузкой, провожая каждую корзинку, которую носильщик укладывал на свою тележку, бережным прикосновением безымянного пальца с двумя обручальными кольцами.

Мальчики почувствовали запах мокрых цветов, столь удивительный среди грубых железных и каменноугольных запахов вокзала, и это вдруг вызвало в Петиной памяти неаполитанский вокзал, похожий на одесский, но только с пальмами и агавами, и забытую девочку с черным бантом в каштановой косе. Петя снова почувствовал сладкую боль разлуки. Ему даже показалось, что он видит эту девочку.

Но в это время Гаврик схватил его за рукав и потащил вперед, вслед за большой тележкой, нагруженной кипами петербургских газет и журналов. Два артельщика с усилием катили тележку. Из-под маленьких чугунных колесиков, с гулким ворчаньем катившихся по асфальту, вылетали искры.

Мальчики бежали рядом с тележкой, стараясь угадать, в которой из кип находится «Правда». Тележку вкатили с перрона в вокзал, и она, визжа, остановилась возле газетного киоска — резного шкафа мореного дуба, громадного, как орган,— сплошь заставленного и увешанного сотнями книг, газет и журналов.

Петя любил рассматривать все эти столичные новинки. Его волновали броские обложки любовно-приключенческих и уголовных романов; разноцветные карикатуры «Сатирикона», «Будильника»; развешанные на рогульках, как белье, целые гирлянды выпусков «Пещеры Лейхтвейса», «Ната Пинкертона», «Ника Картера», «Шерлока Холмса», с маленькими портретами знаменитых заграничных сыщиков в профиль, с трубками или без трубок, среди которых как-то особенно провинциально и простовато выглядел знаменитый русский сыщик Путилин, с большими министерскими бакенбардами и в старомодном шелковом цилиндре; иллюстрированные еженедельные журналы «Огонек», «Солнце России», «Весь мир», «Вокруг света» и в особенности новый, недавно появившийся странный «Синий журнал», действительно сплошь синий, пачкающий пальцы, сильно пахнущий керосином.

Все эти десятки и сотни тысяч печатных страниц, обещавших такое сказочное разнообразие мыслей, идей и сюжетов, а на самом деле лишь прикрывавшие какую-то страшную пустоту, действовали на Петю ошеломляюще, и он стоял перед ними почти в оцепенении.

Между тем кипы газет уже сваливали одну за другой под прилавок с вырезанным вензелем «Ю.-З. ж. д.». Арендатор киоска, толстый длиннобородый старик в синей мещанской чуйке, из-под которой виднелся жилет с золотой цепочкой, то и дело прикладывая к земляничному носу маленькое пенсне, перелистывал накладные и делал на них отметки карандашом, а тощая дама в шляпке, со злым, щучьим лицом, проворно выбрасывала на прилавок пачки газет, которые тут же забирали газетчики и хозяева городских газетных киосков, давно уже выстроившиеся в очередь.

— Пятьдесят «Нового времени», тридцать «Земщины», полтораста «Биржевика», сто «Речи». Забирайте! Следующий! — выкрикивала она каркающим голосом, и пачки газет тотчас уносились на плечах и на головах на вокзальную площадь.

Там их уже ожидали тачки, извозчики и тележки, чтобы поскорее рассеять по всему городу.

Гаврик пристроился в конец очереди, где кучкой стояло несколько человек, по виду нисколько не похожих ни на хозяев киосков, ни на газетчиков. Скорее всего, это были рабочие. С некоторыми из них Гаврик поздоровался, как со знакомыми, и они о чем-то быстро заговорили, нетерпеливо поглядывая на вылетающие из-под прилавка пачки газет.

Пете показалось, что они чего-то опасаются. Наконец очередь дошла до них.

— Вам? — сказала дама со щучьим лицом, строго разглядывая незнакомых людей. Всех своих клиентов она знала наперечет, этих она видела в первый раз.— Вам?

— Нам газету «Правда»,— сказал, протискиваясь к прилавку, пожилой рабочий с подстриженными усами, в галстуке и праздничном пиджаке, от которого, впрочем, все равно въедливо пахло шеллачным лаком и политурой.— Изволите видеть, тут у нас представители от завода Гена, эллинга Ропита, ремонтных мастерских, мукомольной фабрики Вайнштейна, пароходства Шавалда

и, так сказать, от мебельной фабрики Зур и компания. Мы бы попросили на первый случай экземпляров по пятьдесят на брата...

— Как вы говорите? «Правда»? Первый раз слышу,— ненатуральным голосом сказала дама и повернулась к старику: — Иван Антонович, разве наше агентство получает газету «Правда»?

— А в чем дело? — спросил старик, не отрываясь от накладных и в то же время с неудовольствием оглядев клиентов маленькими, очень острыми глазками.

— Имеется требование на триста экземпляров какой-то «Правды»,— сказала дама.

— Не какой-то,— заметил Гаврик,— а ежедневной рабочей газеты, адрес конторы — Санкт-Петербург, Николаевская, тридцать семь. Может быть, нет?

— Не получена,— сказал равнодушно старик.— Приходите завтра-послезавтра.

— Виноват,— сказал пожилой рабочий,— не может быть такого случая. У нас есть телеграмма.

— Не получена-с.

— Как это — не получена! — вспыхнул пожилой рабочий и грозно нахмурил брови.— Черносотенное «Новое время» получено, кадетская «Речь» получена, а рабочая «Правда» не получена? Где же тогда ваша поганая свобода?

— А вот я вас за такие слова... Софья Ивановна, сбегайте-ка за жандармом!

— Что? — тихо сказал пожилой рабочий, еще сильнее сдвигая свои густые серые брови.— Может быть, вы еще солдат вызовете? Как на Лене?

— Да что вы с ним, Егор Алексеевич, время теряете! — крикнул парень в фуражке-капитанке, с мутно-синей татуировкой на перевитой жилами руке — видимо, представитель пароходства Шавалда.— Душа с него вон! — и рванулся к старику, отпихнув по дороге даму со щучьим лицом, у которой шляпка съехала набок.

Петя зажмурился. Ему показалось, что сейчас произойдет что-то ужасное, но вместо этого услышал плаксивый голос старика:

— Только без рук, только без рук...

А когда открыл глаза, то увидел Гаврика, который уже стоял за прилавком и с торжеством вытаскивал от-

куда-то снизу пачки газеты «Правда», напечатанной на дешевой желтоватой бумаге, с большими буквами названия, такими же прямыми и строгими, как *то* слово, в которое они складывались.

— Только имейте в виду, господа: в розницу мы не продаем! — кипятилась дама.— И на кредит не рассчитывайте. Или забирайте всю партию — тысячу экземпляров — сразу за живые деньги, или до свиданья, и завтра же ваша босяцкая «Правда» поедет обратно в Петербург возвратом, и пусть она скорее прогорит!

Газета была дешевая, общедоступная. В то время как другие газеты стоили пятак, «Правда» стоила две копейки. Но за тысячу экземпляров надо было сразу заплатить двадцать рублей — деньги по тому времени большие.

Шесть представителей вывернули карманы, и оказалось, что у всех у них вместе нашлось всего шестнадцать рублей семьдесят четыре копейки.

— Босяки, нищие, жлобы, а еще занимаются политикой! — одним духом выговорила дама и повернулась задом, положив вывернутую руку в кружевной митéнке на стопку газет.

— Одну минуточку,— сказал представитель пароходства Шавалда.

Сбегал в зал первого класса, заложил в буфете свои серебряные часы и моментально вернулся, неся перед собой на ладони смятую пятерку.

Таким образом, через десять минут Гаврик и Петя, с пачками «Правды» на плече, уже шагали на Ближние Мельницы.

Хотя новая газета издавалась вполне легально, с разрешения начальства, но Петя чувствовал себя государственным преступником. И когда мальчики проходили мимо городовых, то Пете казалось, что городовые смотрят им вслед весьма подозрительно. Впрочем, отчасти так и было.

Труднó было не обратить внимания на двух молодых людей — гимназиста и мастерового,— которые возбужденно и очень быстро шагали по улице с какими-то свертками на плече, причем гимназист все время осторожно оглядывался, а мастеровой, отбивая шаг, громко, на всю улицу, свистел «Варшавянку».

Чем ближе к дому, тем быстрее шли мальчики. Они

уже почти бежали. Иногда Гаврик подбрасывал на плече сверток и, подражая газетчикам, кричал:

— Новая ежедневная рабочая газета «Правда»! Интересные телеграммы! Подробности ленского расстрела! — причем глаза его жарко блестели.

Уже совсем недалеко от Ближних Мельниц, на Сахалинчике, Гаврик вынул из свертка несколько номеров и, размахивая ими над головой, побежал изо всех сил, продолжая выкрикивать:

— Царский министр Макаров сказал в Государственной думе: «Так было, так будет!» Долой палача Макарова! Да здравствует рабочая «Правда»! Покупайте рабочую «Правду»! Цена номера всего две копейки!.. Так было, но так больше не будет!

Начинались фабрики и заводы, и здесь Гаврик уже не стеснялся. Здесь был тот мир, в котором Гаврик чувствовал себя свободно и независимо. Ворота с золотыми буквами на проволочных сетках. Кирпичные корпуса и трубы. Бетонная головастая башня маргаринового завода «Коковар» с колоссальным плакатом, изображавшим мордастого повара, протягивающего блюдо с дымящимся пудингом. Водопроводная станция, депо, элеваторы...

Кое-где, привлеченные криками Гаврика, из ворот выбегали рабочие в синих блузах и замасленных фартуках. Некоторые покупали газету и клали в руку Гаврика медяки, которые он, как заправский газетчик, торопливо совал в рот, за щеку.

В одном месте, заметив беспорядок, засвистел городовой, но Гаврик издали показал ему локоть, и мальчики проворно юркнули в переулок.

Теперь уже Петя почти не чувствовал страха, как бы вовлеченный в какую-то опасную, увлекательную игру.

Вдруг сзади раздался топот ног. Мальчики обернулись. Их догонял человек в развевающемся пиджаке. Он бежал на кривых ногах, делая виляющие движения, и кричал:

— Эй! Габе́лки! Псссс... Псссс...

Сначала Петя подумал, что это покупатель, и остановился, но в следующую минуту увидел, что ошибся. В руке у человека, бегущего прямо на него, была короткая резиновая палка, на лацкане пиджака — значок Союза русского народа с трехцветными ленточками.

— Тикай! — крикнул Гаврик.

Но человек с резиновой палкой уже был рядом, и Петя почувствовал сильный удар, который, к счастью, пришелся не по голове, а по свертку газет на плече и только слегка задел ухо.

Клочья бумаги полетели во все стороны.

— Не тронь! — голосом, осипшим от ярости, даже не крикнул, а как-то зверски зарычал Гаврик и свободной рукой толкнул человека с резиновой палкой прямо в грудь с такой силой, что тот отлетел назад и чуть не упал.— Не тронь, морда! Погромщик, союзник! Убью!

Не спуская острых, ненавидящих глаз с «союзника», Гаврик скинул с плеча газеты и протянул их назад, Пете.

— Бери и тикай прямо в ремонтные, вызывай дружинников,— быстро сказал он, облизывая губы и вряд ли даже соображая, что Петя может и не знать, что это такое — дружинники.

Но Петя очень хорошо понял Гаврика. Прижимая к груди пачки газет, он что есть мочи побежал по переулку.

Теперь Гаврик и «союзник» стояли друг против друга посередине мостовой, и Гаврик, продолжая облизывать губы и тяжело дышать носом, медленно опустил в карман правую руку; а когда ее так же медленно вынул, на ней оказался стальной кастет с блестящими шипами.

— Убью! — повторил Гаврик, продолжая в упор рассматривать своего врага, как бы навсегда желая запомнить его опухшее, черномазое, словно покусанное пчелами, безглазое лицо, голову с косым пробором и волосами, зачесанными на низкий лоб, и уголовно-капризную улыбку жестокого болвана.

— Ну, паскудная морда! — сказал «союзник» и замахнулся резиновой палкой, но Гаврик успел увернуться и побежал следом за Петей.

Он слышал за собой стук сапог, и, когда этот стук сделался особенно близким, Гаврик вдруг бросился ничком на землю, и «союзник» со всего маху перелетел через него и растянулся на мостовой. Гаврик сел на него верхом и, не помня себя, стал молотить кастетом по черной, как вакса, голове, бессмысленно приговаривая:

— Не трожь! Не трожь! Не трожь!

Тогда «союзник» полез в карман и со стоном вытащил маленький браунинг черной вороненой стали. Раздалось подряд несколько выстрелов, но Гаврик успел

придавить ногой стреляющую руку, и пули защелкали по мостовой, высекая из булыжников искры.

— Городовой! Полиция! — рыдающим голосом закричал «союзник» и вдруг, вывернувшись, укусил Гаврика за ногу.

Гаврик застонал. Они стали кататься по земле, и неизвестно, чем бы это кончилось для Гаврика, который был в два раза меньше и слабее своего противника, если бы не подоспела помощь из ремонтных мастерских.

Пять дружинников, вооруженных обрезками водопроводных труб и дрючками, вырвали из рук «союзника» браунинг и резиновую палку, наскоро надавали ему по шее, а Гаврика почти на руках утащили во двор мастерских; и все это так быстро, что, когда на выстрелы явился городовой с поста, в переулке уже никого не было, кроме «союзника», который сидел на земле, прислонившись спиной к забору завода растительного масла и маргарина «Коковар», и выплевывал окровавленные зубы.

С этого дня — сначала в рабочих районах и на слободках, а потом и кое-где в центре города — стала продаваться новая ежедневная газета «Правда».

43

ХУТОРОК В СТЕПИ

Через несколько дней у Пети начались экзамены. Моте и ее маме стоило больших трудов привести в порядок — почистить, погладить и заштопать — Петин гимназический костюм, побывавший уже за время жизни Пети на Ближних Мельницах во многих переделках.

Петино ухо, задетое резиновой палкой во время сражения с «союзником», хотя уже и не болело, но все еще было неприлично раздуто и напоминало сливу. Чтобы прибавить ему хоть сколько-нибудь натуральный вид, Пете пришлось разрешить слегка его припудрить зубным порошком, что Мотя и проделала, со всей нежностью и осторожностью прикасаясь тряпочкой к поврежденному органу и высунув от усердия кончик языка.

Экзамены прошли сравнительно благополучно, хотя Петю и старались срезать.

Вся эта изнурительная экзаменационная пора, как всегда совпавшая с первыми майскими грозами, буй-

ным цветением сирени, почти летней жарой и короткими бессонными ночами, полными любовного шепота и лунного света, окончательно измучила Петю. И когда наконец он явился с последнего экзамена на Ближние Мельницы, взъерошенный, перепачканный чернилами и мелом, потный, счастливый, его трудно было узнать — так осунулось и повзрослело его сияющее лицо.

Как теперь от него была далека гимназия, учителя, надзиратели, товарищи! Он о них как бы сразу забыл, даже о Жорке Колесничуке, с которым с приготовительного класса сидел на одной парте.

Он спал крепким сном, чувствуя себя каким-то совсем другим человеком — окрепшим, новым, свободным.

И во сне ему почему-то было необъяснимо сладостно-печально.

А на другой день, с подушкой и одеялом на плече, завернутыми в плед, он уже подходил к хуторку.

Первый, кого он увидел, был отец. Василий Петрович полол под вишнями бурьян и вырывал с корнем наиболее упорные кустики желтой ромашки. Петя увидел его милую, непокрытую, заметно поседевшую голову, увидел синюю косоворотку, выгоревшую на спине и полинявшую под мышками, увидел старые панталоны, вздувшиеся на коленях, пыльные сандалии и пенсне, которое всякий раз, как отец наклонялся, падало с носа и болталось на шнурке,— и Петино сердце сжалось.

— Папочка! — сказал он.— Я выдержал!

Отец обернулся, и его потное бородатое лицо с толстой жилой, вздутой на лбу, осветилось радостной улыбкой:

— А! Петруша! Ну, поздравляю, поздравляю...

Мальчик бросил подушку и одеяло в пыльную траву и обеими руками обнял отца за горячую, побуревшую от загара шею, с удивлением и тайной гордостью заметив, что уже почти сравнялся с ним ростом.

Из лиловых кустов цветущей сирени показалась с сапкой в руках тетя, которую Петя не сразу узнал, так как ее голова была повязана платком, что делало ее похожей на простую хохлушку.

— Тетя, я выдержал!— сказал Петя.

— Слышу, слышу и поздравляю,— сказала тетя, вытирая перевернутой рукой мокрый лоб, и, хотя на ее

лице было написано самое неприкрытое удовольствие, она все-таки не удержалась, чтобы не прибавить нравоучительно: — Но так как ты уже теперь семиклассник, то надеюсь — наконец-таки остепенишься.

Кухарка Дуня, так же как и тетя по-бабьи повязанная платком и с сапкой в руке, подошла и поздравила паныча с благополучным окончанием экзаменов.

Потом заскрипели колеса, и показалась большая, костлявая, очень старая лошадь в траурно-черных шорах, запряженная в длинную с оглоблями водовозную бочку. Лошадь вел под уздцы уже знакомый Пете молодой долговязый парень Гаврила, а на бочке сидел босиком и в соломенной шляпе Павлик, держа в руках вожжи и кнут.

— Гэ! Петька, здоро́во! — закричал он, сплевывая вбок, как заправский кучер.— Смотри, как я уже научился править!.. Но, не балуй! Пр... р... р...— строго обратился он к лошади, которая сейчас же и с видимым удовольствием остановилась на своих дрожащих ногах.

Гаврила стал поливать деревья, опрокидывая полные ведра в лунки вокруг стволов. Сухая земля быстро поглощала воду. Пете стало ясно, каких трудов стоило ухаживать за садом.

Уже началось лето, а еще не прошло ни одного большого дождя. Воды в цистерне осталось лишь на самом дне. Воду приходилось возить с конечной станции конки.

Сад уже отцвел, и деревья были усыпаны завязью, которая все время требовала влаги. Хорошо еще, что в хозяйстве Васютинской оказались очень старая, слепая лошадь Чиновник и водовозная бочка. Но требовалось громадное количество воды, а Чиновник еле ходил.

Целый день слышался скрип немазаных колес водовозки, щелканье кнута и тяжелое дыхание черной костлявой клячи, готовой каждую минуту лечь и околеть. Утром ее трудно было поднять с мокрой соломенной подстилки. Она вся дрожала, бессильно перебирая большими потрескавшимися копытами, и мухи ползали по ее молочно-белым слезящимся глазам.

Это немного портило настроение и временами казалось мрачным предзнаменованием. Впрочем, погода стояла такая лучезарная, благодатная, а урожай обещал быть таким богатым, что семейство Бачей, с утра до вечера

занятое непривычным, но увлекательным физическим трудом, чувствовало себя, в общем, прекрасно.

Сначала Петя думал, что он никогда не научится окапывать деревья. Тяжелая лопата неловко вертелась в руках и казалась слишком тупой, для того чтобы глубоко входить в землю, густо поросшую ромашками и бурьяном. Петины руки горели, натертые до волдырей. Но, когда эти волдыри лопнули и превратились в мозоли, Петя уже стал кое-что понимать.

Оказывается, лопату следовало ставить наклонно и нажимать на нее не только руками, но главным образом ногой — медленно и плавно. Тогда слышался треск разрываемых корней, и лопата косо входила в чернозем до самого своего верхнего края. Затем наступал блаженный миг, когда, навалившись всем телом на рукоятку и чувствуя, как она слегка гнется, Петя с приятным усилием выворачивал на сторону тяжелый пласт земли с отпечатком лопаты и коралловым извивающимся дождевым червяком, разрезанным пополам.

Сначала Петя работал в сандалиях, но, чтобы сберечь обувь, стал копать босиком, и в этом прикосновении босой ступни к нагретому железу тоже было нечто очень волнующее, приятное. Петя понимал, что это не забава, а настоящий труд, от которого зависит судьба семьи.

Вся семья трудилась в поте лица, это была подлинная борьба за существование. Обедали в полдень на большой застекленной веранде, раскаленной от солнца. Ели борщ, вареную говядину, серый пшеничный хлеб, который покупали у немцев-колонистов в Люстдорфе. Все были так утомлены, что почти не разговаривали, а если и разговаривали, то больше о погоде, о дожде, об урожае.

Теперь хотя жили на даче, но совсем не походили на дачников. Спали на козлах и раскладушках в больших, неуютных комнатах барского дома, где по углам валялись в беспорядке лопаты, сапки, ведра, лейки и всякие другие садовые инструменты. Умывались на рассвете возле водовозной бочки и, хотя до моря было сравнительно недалеко — версты полторы, ходили купаться редко: не было времени.

Василий Петрович похудел, почернел, явно переутомился, но не давал себе ни малейшей поблажки и работал с таким упорством, что временами Пете даже ста-

новилось его жалко. Казалось бы, все шло хорошо. Жизнь устроилась именно так, как Василий Петрович иногда втайне мечтал, особенно после путешествия в Европу: немного на швейцарский манер, в духе Руссо, вне зависимости от государства и общества. Маленький клочок земли, фруктовый сад, виноградник, здоровый физический труд и отдых, посвященный чтению, прогулкам, философским беседам, и прочее.

Правда, пока еще был только здоровый физический труд, а для отдыха, посвященного духовным радостям, времени не оставалось. Но это было в порядке вещей: новая жизнь только еще начиналась.

Однако Василия Петровича все время не покидало чувство утомительного беспокойства. Волновал урожай.

Пока завязь на черешнях и вишнях была хороша и обильна, зеленые шарики увеличивались с каждым днем, но кто знает, что случится дальше? Вдруг не будет дождей, поливки не хватит и урожай пропадет? Но даже если он не пропадет, каким образом его продать?

До сих пор вопрос о продаже урожая еще как следует не обсуждался, это считалось как-то само собой понятным. Придут какие-то люди — оптовые фруктовщики с нового базара — и сразу купят весь урожай. Ну хорошо. А если они не придут и не купят?

Между тем срок уплаты по векселям приближался, и от мадам Васютинской уже пришли из-за границы две открытки с напоминанием, причем старуха предупреждала, что, если деньги не будут уплачены точно в срок, она немедленно опротестует векселя, расторгнет арендный договор, а хутор передаст другому лицу.

Это лишало Василия Петровича покоя, и он несколько раз уже раздражался по пустякам.

Тетя держалась бодро, строила различные планы и приколола кнопками к телеграфному столбу возле конечной станции конки листок почтовой бумаги с объявлением, что в чудной степной местности, недалеко от моря, в барской усадьбе с фруктовым садом и виноградником, отдаются две совершенно отдельные комнаты на весь сезон или помесячно; можно с полным пансионом.

Эти две отдельные комнаты представляли собой не что иное, как крошечный, заброшенный флигелек под черепичной крышей, где во времена мадам Васютинской по-

мещалась прислуга. Он стоял на отлете, окошками в степь, весь вокруг зарос высокой серебристой полынью и казался Пете, который уже успел облазить всю усадьбу, прелестным, таинственным и очень поэтичным уголком.

Впрочем, дачники, первое время приходившие по объявлению, не оценили этого уголка и повторяли, не сговариваясь, одну и ту же пошлую фразу: «Где дача, а где море!»

Несколько раз приходил Гаврик заниматься по-латыни. Хуторок ему понравился, но всю эту затею с физическим трудом и жизнью в поте лица по-прежнему не одобрял и считал чудачеством, хотя и не высказывался прямо. Наоборот, он очень серьезно расспрашивал насчет поливки, прополки, видов на урожай и оптовых цен на черешню. Советов никаких не давал, но все время озабоченно покачивал головой и так сочувственно вздыхал, что Петя даже стал побаиваться за исход всего предприятия.

О своей работе в типографии и о жизни на Ближних Мельницах Гаврик говорил скупо и неохотно, и по некоторым его фразам Петя заключил, что дела идут не слишком гладко: после большой первомайской демонстрации, которая ввиду экзаменов прошла для него как-то незаметно, снова зашевелилась полиция — были обыски, нескольких человек арестовали, приходили также в хату Черноиваненко, но ничего не нашли и Терентия не взяли.

— В общем, работать стало довольно-таки паршиво,— сказал Гаврик, и Петя уже не сомневался в значении слова «работать».

В один из своих приходов, как бы продолжая мысль, что работать стало паршиво, Гаврик вдруг сказал:

— А насчет того, чтобы сдавать под дачников флигелек,— это, конечно, не так плохо.

— Да, но никто не нанимает,— сказал Петя.

— Хорошенько поискать, так, может, и наймут,— ответил Гаврик с таким видом, как будто уже давно обдумывал этот вопрос.— Есть люди, которым такая квартира вполне подходит. Не каждому удобно нанимать комнату в городе, где как только переехал, так сейчас же давай паспорт в участок на прописку. Понял меня? — строго спросил Гаврик и посмотрел Пете прямо в глаза.

— Чего ж там не понимать,— ответил Петя, пожимая плечами.

— Ну так имей в виду,— еще более строго сказал Гаврик.— Понимаешь, какое дело...— продолжал он уже мягче и как бы между прочим.— Есть одна вдова с ребенком, фельдшерица, приезжая, ищет комнату в тихом месте. Мы бы ее, конечно, могли устроить у себя в сарайчике, да, понимаешь, у нас на Ближних Мельницах обстановка не совсем подходящая: такая слежка, что и думать нечего. У этой вдовы вид на жительство и все прочее в порядке, так что за это вы не беспокойтесь, но все-таки...

— Понимаю,— сказал Петя.

— Ну раз понимаешь, то нечего и объяснять. Одним словом, это мне поручил Терентий спытать у тебя. А я сам эту вдову никогда и в глаза не видел. Думаю, что ей у вас будет хорошо. Отдельный хуторок, вроде целое имение; ни деревня, ни город, вокруг много дачников... Кто обратит внимание? Самое подходящее дело. Вопрос в том, сколько вы просите за наем?

— Кажется, рублей семьдесят в сезон.

— Ну, брат, это вы слишком размахнулись! Смотри, как бы не вылетели в трубу! Красная цена пятнадцать рублей в месяц. Можно за два месяца вперед. Хотя что ты в этом понимаешь? Я лучше поговорю с Татьяной Ивановной.

Гаврик поговорил с тетей и быстро убедил ее, что лучше живые, настоящие тридцать рублей, которые не валяются на земле, чем воображаемые семьдесят пять. Что касается самой вдовы с ребенком, то Гаврик о ней не распространялся, а только дал понять, что он специально для них нашел выгодного нанимателя, и таким образом вышло, что, в общем, он делает семейству Бачей большое одолжение, хотя ничего точно и не обещает.

Дождя все не было и не было. Засуха продолжалась. Жара стояла ужасная.

44

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

Чиновник, которого из экономии кормили не овсом, а травой, заболел сильнейшим поносом и уже четвертый день лежал с раздутым животом на своей подстилке, будучи не в состоянии не только возить воду, но даже приподняться на передние ноги. Приходил из Люстдорфа

немец-ветеринар, осмотрел Чиновника, заглянул ему в оскаленный рот и на тревожный вопрос тети, сможет ли он в конце концов возить воду, сказал:

— Этот лошадь уже свое отвозил, теперь ему пора на живодерку.

Завязь на деревьях перестала наливаться. Казалось, она уже больше не растет, а остается одной и той же величины, не крупнее горошины. Но самое ужасное было то, что кое-где она уже стала желтеть и даже отваливаться.

Семейство Бачей продолжало с утра до вечера окапывать деревья, хотя все понимали, что это бесполезно.

— Тетя, папа, Петька, идите скорей, персы пришли!— кричал Павлик, пробегая под низкими ветвями деревьев и размахивая соломенной шляпой.

В сущности, это были совсем не персы. Это были два могучих еврея в синих блузах по колено и в высоких барашковых шапках, мрачно надвинутых на брови,— фруктовщики с привоза, которых обычно называли персами, так как некогда вся оптовая торговля фруктами в Одессе принадлежала персам. Петя увидел двух истуканов с каменными лицами, которые стояли возле рассохшейся водовозной бочки. Мальчик смотрел на них, как на судьбу, со страхом и надеждой. Даже на экзаменах он волновался гораздо меньше, чем теперь.

Все семейство Бачей стояло, обступив «персов».

— Вы будете здесь хозяйка? — не здороваясь, обратился один из них к тете низким рокочущим голосом, как бы исходящим из глубины желудка.— Имеем посмотреть на ваш урожай — может быть, мы его купим гамузом (чохом) на корню, если от него еще что-нибудь осталось.

И, не дожидаясь ответа, оба «перса» пошли по заросшим дорожкам, небрежно оглядывая деревья и по временам останавливаясь, чтобы потрогать руками завязь или пощупать землю в лунках.

Семейство Бачей молча следовало за ними, стараясь отгадать, какое впечатление производит их сад. Но хотя лица «персов» были непроницаемы, чувствовалось, что дело совсем плохо. Окончив осмотр сада, «персы» пошептались, наклонив друг к другу барашковые шапки.

— Поливать надо,— сказал один из них, обратившись к тете, а затем они опять пошептались и молча пошли прочь.

— Ну, так как же? — спросила тетя, мелкими шажками догоняя их у ворот.

— Поливать надо,— повторил «перс», останавливаясь, и, подумав, прибавил: — Такую фрукту даром не возьмем.

— Ну, это вы, положим, преувеличиваете,— с некоторым напряженным кокетством сказала тетя, желая повернуть разговор в шутку.— Будем говорить серьезно.

— Чтобы не торговаться, за всю черешню и вишню гамузом двенадцать карбованцев,— сказал «перс» и еще ниже насунул на брови свою шапку.

Тетя гневно покраснела. Двенадцать рублей была настолько смехотворная, унизительно ничтожная сумма, что ее нельзя было принять иначе, как оскорбление. Тете даже показалось, что она ослышалась.

— Сколько? Сколько вы даете?

— Двенадцать карбованцев,— повторил «перс», с особенной грубостью выговаривая это извозчичье слово «карбованцев».

— Василий Петрович, вы слышите, что они нам предлагают? — воскликнула тетя, всплеснув руками, и ненатурально расхохоталась.

— А что? Хорошие деньги,— сказал «перс».— Берите, пока дают, а то через неделю даже синенькой не получите, только задаром понатираете себе мозолей.

— Грубиян! — сказала тетя.

— Милостивый государь, ступайте отсюда вон! — крикнул Василий Петрович, и его нижняя челюсть задрожала.— Чтоб ноги вашей здесь больше не было!.. Гаврила! Гоните их в шею, в шею! Грабители! — И Василий Петрович затопал ногами.

— А вы не выражайтесь,— сказал «перс» довольно миролюбиво.— Сначала научитесь ухаживать за фруктой, а потом уже кричите. Нашелся!

И «персы» ушли, не забыв закрыть за собой калитку.

— Нет, вы только подумайте, какая наглость! — несколько раз повторила тетя, бросив лопату и обмахиваясь носовым платком.

— Вы, барыня, не расстраивайтесь понапрасну,— сказал Гаврила.— Оставьте без внимания. Это они приходили нарочно сбивать цену. Я ихнего брата знаю. А что касается поливать, то это безусловно. Сады у нас поливные. Поливать, конечно, требуется. Не польешь — не про-

дашь. Да в том беда, что лошадь лежит. Не на чем возить. Дождик бы... А поливать — так без этого нельзя.

Но это было слабое утешение.

Сделали попытку нанять лошадь у немцев-колонистов в Люстдорфе, но из этого ничего не вышло, так как немцы сначала заломили несуразно большую цену, а потом и вовсе отказались, ссылаясь на горячую пору. На самом же деле у всех у них были свои фруктовые сады, и гибель конкурента их только радовала.

— Удивительно, как это не по-соседски! — восклицала тетя за обедом, хрустя пальцами, чего раньше за ней не замечалось.

— Что поделаешь, что поделаешь...— бормотал Василий Петрович, чересчур низко наклоняясь к тарелке, и прибавлял: — Хомо хомине люпус эст, то есть человек человеку волк... Впрочем, я предсказывал, что вся эта глупейшая затея с торговлей фруктами кончится скандалом,— говорил он, и его уши наливались кровью, как петушиный гребень.

Он сказал, что затея кончится скандалом, но он должен был сказать, что затея кончится полным разорением семьи. Это так и было понято. Тетя даже побледнела от боли, которую ей причинили эти жестокие и несправедливые слова. Слезы выступили у нее на глазах, губы задрожали.

— Василий Петрович, побойтесь бога! — умоляюще проговорила она, трогая пальцами виски.

— Это вы побойтесь бога! Это все ваши фантазии!.. Идиотские фантазии...

Василий Петрович не мог остановиться, он уже не владел собой. Он вскочил из-за стола и вдруг увидел, что Павлик как-то неприлично гримасничает. Ему показалось, что мальчик зажимает себе пальцами нос, чтобы не фыркнуть. На самом же деле он в отчаянии кусал себе кулаки, чтобы не заплакать.

— А! — не своим голосом крикнул Василий Петрович.— Ты позволяешь себе издеваться над отцом! Так я же тебе покажу, что такое отец! Встать, мерзавец, когда с тобой говорит отец!

— Папочка! — зарыдал Павлик, с ужасом закрывая лицо руками.

Но Василий Петрович уже ничего не соображал. Он

поднял тарелку с борщом и разбил ее об пол. Потом, неловко вывернув руку, ударил Павлика по шее и выбежал в сад, с такой силой хлопнув дверью, что у нее посыпались разноцветные стекла.

— Я больше не могу жить в этом сумасшедшем доме! — вдруг завизжал Петя.— Окаянные! Я ухожу от вас навсегда на Ближние Мельницы! — И он побежал к себе в комнату собирать вещи.

Одним словом, это была безобразная, унизительная сцена. Можно было подумать, что все вдруг сошли с ума или взбесились, как собаки от жары.

А жара была действительно ужасная: изнуряющая, сухая, душная, жгучая, способная кого угодно свести с ума и взбесить. Небо, побелевшее от зноя, было подернуто тусклой пеленой металлического оттенка. Из степи, как из печки, несло жаром. Оттуда, гоня тучи пыли, дул суховей. Цветущие акации раскачивались с бумажным шелестом. Всюду лежала сизая трава. Полоса бурого моря, покрытого грязными барашками, шевелилась на горизонте, и когда временами утихал шум ветра, слышался шум моря — сухой и черствый, как будто где-то далеко с утомительным однообразием пересыпали щебенку.

Пыльные тени деревьев метались в комнатах по стенам и потолкам. Ужасный день... Не только Петя, но также Василий Петрович, тетя и даже Павлик готовы были собрать свои вещи и бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть друг друга и не испытывать взаимных оскорблений. И, конечно, никто никуда не убежал, а все лишь слонялись по раскаленным комнатам, по шумящим аллеям. Они чувствовали себя прикованными к этому постылому месту, которое сначала показалось им земным раем.

Перед вечером в саду появилась маленькая фигурка толстого человечка в высокой барашковой шапке, но уже не черной, а коричневой. Это был тоже перс, но на этот раз настоящий, с длинными восточными усами и глазами, полными неги. Он быстро обошел сад, опираясь на короткую палочку, а потом долго стоял возле кухни, ожидая, что к нему выйдет кто-нибудь из хозяев. Но так как никто не вышел, он подошел к дому и постучал палочкой в окно.

— Эй, хозяйка! — сказал он выглянувшей тете, показывая растопыренную шафранно-желтую пятерню с грязными ногтями.— Бери за все гамузом пять карбованцев; не возьмешь — пожалеешь.

— Хулиган! — страшным голосом сказала тетя. — Гаврила, что же ты смотришь? Гони его в шею!

Но настоящий перс не стал дожидаться Гаврилы, а побежал мелкой рысцой, припадая на одну ногу, и в мгновение ока скрылся.

Затем принесли третью открытку от мадам Васютинской, в которой напоминалось о приближении срока платежа по векселям.

В этот день никто не захотел ужинать, и на столе на террасе долго стояли четыре глубокие тарелки с простоквашей, в которой таял желтый сахарный песок.

Среди ночи внезапно раздался нечеловеческий, душу леденящий вопль, разбудивший всех в доме. Что это было? За окнами метался, как в горячке, черный сад. Скоро вопль повторился. Теперь он был еще ужаснее: в нем слышался какой-то скрежещущий, рыдающий хохот. Кто-то пробежал по аллее, размахивая фонарем. Затем весь дом потряс громкий стук в стеклянную дверь веранды. На пороге стоял Гаврила, размахивая фонарем.

— Барыня, идите скорей, Чиновник подыхает! — услышал Петя испуганный голос сторожа.

Когда, наскоро одевшись и дрожа с ног до головы, Петя прибежал к конюшне, там уже толпились в дверях тетя, Василий Петрович, кухарка Дуня и Павлик — босой, закутанный в одеяло.

Фонарь Гаврилы зловеще передвигался внутри конюшни, откуда с короткими перерывами вылетали утробные, дрожащие стоны околевавшего Чиновника. Все стояли в оцепенении, не зная, что делать, как помочь беде.

Перед рассветом, в последний раз крикнув особенно раздирающим голосом, полным какой-то сознательной муки и ужаса, Чиновник наконец навсегда затих. А утром откуда-то приехала арба, и его увезли далеко в степь — громадного, костлявого, вороного, с оскаленной мордой и задранными голенастыми ногами, на которых блестели старые, потертые подковы.

45

ВДОВА С РЕБЕНКОМ

Все были так подавлены, что целый день никто не мог работать. Смерть Чиновника казалась не только дурным предзнаменованием, но как бы окончательным крушением всех надежд, полным разорением и гибелью семьи. Всеми овладело безысходное отчаяние.

После обеда ветер понемногу стих, но духота стала еще сильнее. Ни одного облачка не было в серебристо-пыльном небе. По всему горизонту струилась лиловая муть, как обманчивое отражение очень далекой грозы, которая все время где-то накапливалась, собиралась и никак не могла собраться. Впрочем, уже не впервые за последний месяц ожидали грозу. Каждый раз она обманывала: то незаметно рассеивалась в раскаленном воздухе, то, обойдя стороной, оказывалась где-то далеко за горизонтом в открытом море, откуда только долетали раскаты бесполезного грома.

Так было и сегодня. Гроза проходила далеко стороной. В возможность грозы уже больше никто не верил, хотя лишь она одна могла спасти гибнущий урожай.

В этот день измученный бессонной ночью, не зная, куда себя деть, Петя отправился бродить по окрестностям и бродил до тех пор, пока, сделав громадный круг, не вышел к морю. Хватаясь за камни и корни, он сбежал с высокого обрыва вниз и сел на горячую гальку.

После вчерашнего шторма море еще не вполне успокоилось, но волны, тяжелые от тины, уже не сердито били о берег, а плавно накатывались, оставляя на гальке маленьких медуз и дохлых морских коньков.

Это был дикий, безлюдный кусочек берега, и здесь Петя, весь день искавший одиночества, чувствовал себя очень хорошо, спокойно и немного грустно. Он давно уже не купался и теперь, быстро раздевшись, с удовольствием полез в теплую пенистую воду.

Была особая, необъяснимая прелесть в этом купанье в одиночку. Сначала он немного поплавал возле берега, среди скользких подводных камней, поросших коричневыми водорослями, потом повернул в море. Он, как всегда, плыл на боку, по-лягушачьи отталкиваясь ногами и выбрасывая вперед руку. Он ударял плечом волну, ста-

раясь вызвать брызги, и тогда ему казалось, что он стремительно несется вперед, хотя на самом деле он плыл не слишком быстро. В эту минуту он сам себе очень нравился. В особенности ему нравилось плечо, которым он рассекал волны, смуглое, атласное, облитое зеркальной водой, отражавшей солнце.

Уже давно прошло то время, когда он боялся удаляться от берега. Теперь он уже смело заплывал в открытое море и там ложился на спину, покачиваясь на волнах и всматриваясь в небо до тех пор, пока ему не начинало казаться, что он смотрит на него сверху вниз, потеряв вес и каким-то чудесным образом вися в пространстве. Тогда для него исчезал мир, и он забывал все на свете, кроме самого себя — одинокого и всемогущего.

Заплыв по крайней мере на версту от берега, Петя остановился и уже собирался лечь на спину, как вдруг его поразила перемена, которая произошла в природе, пока он плыл. Небо над головой было по-прежнему чистое и море вокруг по-прежнему блистало жарко и ослепительно, но теперь этот блеск стал как-то особенно резок, напоминая зеркальный блеск антрацита.

Петя посмотрел в сторону берега и над узкой полосой обрывов, над степью увидел что-то громадное, совершенно черное, поминутно меняющее очертания и, что было самое страшное, безмолвное. Прежде чем Петя понял, что это грозовая туча, она уже приблизилась к солнцу, ослепительно белому, как горящий магний, и вдруг с разбегу проглотила его, в одно мгновение погасив все краски в мире, кроме свинцово-серой.

Петя изо всех сил, и уже кое-как, поплыл назад, стараясь достигнуть берега, прежде чем разразится буря. Плывя, он видел, как далеко в степи, на фоне аспидного неба, догоняя друг друга, бежали смерчи сухой пыли. Но когда он выбрался на берег и посмотрел в море, то увидел, что на том месте, откуда он только что вернулся, уже кипит белая полоса шквала и с криками мечутся чайки.

Петя едва догнал свои штаны и рубашку, катящиеся по берегу. Пока он взбирался вверх по обрыву, вокруг стало темно, как поздним вечером, а когда он добежал до конечной остановки конки, где уже прокладывались рельсы электрического трамвая и отливали из бетона новую станцию, полоснула молния, ударил гром, и в насту-

пившей тишине послышался сухой шум бегущего по кукурузе ливня.

Петя выбежал на дорогу, и вдруг перед ним как бы распахнулся воздух, ударило острыми запахами сырой конопли, и сейчас же на него обрушилась стена ливня.

В одну минуту дорога вздулась, как река. При свете молний Петя увидел пенистые потоки воды, кипящие вокруг него и сбивающие с ног. Ноги скользили и разбегались. Нечего было и думать идти дальше на хуторок. Петя побежал по колено в воде назад к станции, крестясь каждый раз, когда вспыхивала совсем близкая молния и сейчас же следом за ней с пироксилиновым шорохом сыпались сухие обломки грома. И только провалившись в канаву, полную воды, Петя вдруг понял, что это именно та самая гроза, тот самый ливень, которых с такой надеждой ожидало семейство Бачей.

Вокруг бушевала не просто вода, а именно та самая вода, которая должна вдоволь напоить сад, наполнить высохшую цистерну и спасти семейство Бачей от разорения.

— Ура! — в восторге закричал Петя и, уже ничего не боясь, побежал к хуторку.

По дороге он несколько раз падал, шлепаясь плашмя в грязь, но теперь эта теплая грязь казалась ему удивительно приятной. Он прибежал домой как раз в тот короткий промежуток затишья, когда сквозь поредевшие водянистые тучи мутно просвечивал закат, а гроза ушла далеко в море, где по синему горизонту судорожно бегали молнии и слышалось рычанье грома. Но не успел Петя обежать по размытым дорожкам сад и полюбоваться лунками, полными мутной воды, не успел радостно, весело поцеловать отца в мокрую бороду, не успел дать леща Павлику и крикнуть тете: «Живем, тетечка, живем!» — как гроза вернулась с моря и с новой силой загремела над хуторком.

Несколько раз в течение ночи гроза уходила в море и снова возвращалась. Всю ночь лил дождь, то бурный, то вкрадчиво-тихий, почти не слышный, и тысячи ручьев ослепительно блестели при свете молний под деревьями, по всей площади сада, озарявшегося до самых его отдаленных, таинственных уголков.

Всю ночь Гаврила с мешком на голове бегал по крыше и вокруг дома, наставляя водосточные трубы, по

которым дождевая вода бурно устремлялась в цистерну. Под этот гулкий шум наполняющейся цистерны Петя и заснул крепким, счастливым сном.

Когда Петя проснулся, было уже позднее утро, сквозь теплый, парной туман просвечивало жемчужно-розовое солнце, мокрый сад был полон птичьего щебета, и тетя, заглянув из сада в распахнутое окно, сказала:

— Вставай, лентяй! Пока ты спал, к нам приехали новые жильцы.

— Вдова с ребенком? — спросил Петя, лениво зевая.

— Вот именно,— ответила тетя со своей лукавой, юмористической улыбкой, означавшей, что у тети прекрасное настроение.— Одним словом, иди пить чай.

Конечно, было очень любопытно взглянуть на вдову с ребенком, и Петя поспешил на террасу. Но то, что он увидел, ошеломило его.

За столом против тети, между Василием Петровичем и Павликом, сидели и пили чай та самая дама и та самая девочка, которых Петя увидел в прошлом году в Неаполе на вокзале и запомнил на всю жизнь. Петя даже мотнул головой, как будто ему опять влетел в глаз уголек.

— А это наш Петя, познакомьтесь,— со светской улыбкой сказала тетя.

«Мы уже знакомы!» — чуть не закричал Петя, но какая-то внутренняя сила заставила его сдержаться.

Петя, краснея, обошел вокруг стола и благовоспитанно шаркнул ногой, ожидая, пока дама первая подаст ему руку. Пожав худые холодные пальцы матери, Петя с тайной надеждой посмотрел на дочку, спрашивая глазами, помнит ли она его.

Девочка с удивлением посмотрела на Петины гримасы и, равнодушно протянув маленькую руку, сказала:

— Марина.

Это было весьма неожиданно, так как Петя, в соответствии с известными романами Пушкина и Гончарова, привык ее считать Таней или Верой. Но она оказалась Мариной, и Петя посмотрел на нее с откровенным разочарованием, как на обманщицу. Между тем она была та же самая, с тем же черным бантом в косе и тем же маленьким вздернутым подбородком, делавшим ее миловидное, немного скуластое личико высокомерно-неприступным.

На ней было то же самое короткое летнее пальтишко,

и ее карие глаза смотрели холодно и неодобрительно, как бы спрашивая: «Я не понимаю, что вам от меня нужно?»

«Как! Забыть так скоро?» — с горечью подумал Петя и тут же с еще большей горечью понял, что она его не забыла, а просто тогда и не заметила.

Петя был оскорблен, его самолюбие страдало.

«В таком случае, между нами все кончено!» — сказал Петя глазами и, с ледяным, чисто печоринским равнодушием пожав плечами, удалился на свое место.

— Перестань гримасничать,— сказала тетя.

— Я не гримасничаю,— сказал Петя и сейчас же стал приготовлять из сладкого чая бабку, то есть сначала напихал в стакан хлебного мякиша, а когда мякиш разбух, перевернул стакан и выложил на блюдце некое подобие бабки.

Делать бабки в семействе Бачей было почему-то запрещено, поэтому Василий Петрович строго посмотрел на Петю через пенсне и сказал, стуча указательным пальцем по столу:

— Я тебя удалю!

— Вы, пожалуйста, не думайте, что он у нас невоспитанный, он просто стесняется,— сказала тетя, обращаясь к матери, но глядя лукаво на дочку, от чего Петя насупился и стал ложкой ковырять бабку.

Однако Маринина мама не поддержала разговора. Она, видимо, тяготилась этим вынужденным чаепитием с незнакомыми людьми, дачевладельцами, совершенно для нее незнакомыми и малоинтересными.

Она была брюнеткой, у нее тоже был вздернутый небольшой подбородок, темные усики, старая траурная шляпка и недоверчивые глаза.

— Теперь относительно платы,— сказала она, продолжая разговор, прерванный появлением Пети.— Мне говорили, что вы берете пятнадцать рублей в месяц. Это меня устраивает, и позвольте я вам сейчас внесу вперед за два месяца — тридцать рублей.— Она открыла саквояж, вроде тех, с какими обычно ходят акушерки, покопалась в нем и положила на стол несколько бумажек.— А столоваться мы у вас не будем, у нас есть керосинка... Возьмите деньги. Здесь ровно тридцать рублей.

— Ах, что вы, что вы! — смущенно забормотала тетя, густо краснея, как всегда, когда дело касалось денег.—

Это необязательно сейчас... Можно и потом... Впрочем, мерси.— И она небрежно подсунула под сахарницу деньги, слегка пахнущие больницей.

Маринина мама снова покопалась в саквояжике, как бы желая еще что-то достать («Ага, паспорт!» — сообразил Петя), но, видимо, раздумала и, решительно щелкнув замком, встала:

— А теперь, разрешите, мы пойдем к себе.

Отказавшись от помощи, мать и дочь разобрали свои вещи — клеенчатую книгоноску, завернутую в газету керосинку, портплед и зонтик — и пошли через сад к флигельку, оставляя на мокрых дорожках глубокие следы новых резиновых калош, больших и маленьких.

— Довольно странная дама,— сказал Василий Петрович.— Впрочем, какое нам дело?

— Во всяком случае, по-видимому, вполне интеллигентная,— заметила тетя со вздохом и, достав из-под сахарницы деньги, сунула их в карман своего довольно нарядного фартука.

На некоторое время погода разгулялась, и сад жарко загорелся на солнце, как бриллиантовый. Но едва все семейство Бачей вышло с лопатами на работу, как снова набежали тучи и пошел дождь — на этот раз ровный, спокойный, теплый, именно такой, какой нужен для хорошего урожая. Дождь этот, с небольшими перерывами, шел почти целую неделю, и за это время сад буквально преобразился.

Завязь росла и наливалась не по дням, а по часам, обещая небывалый урожай. Деревья были сплошь увешаны кистями черешен, еще, правда, зеленых, но уже каждую минуту готовых начать белеть. Вследствие этого в семействе Бачей воцарился легкий дух веселья, взаимной любви, радужных надежд, и никто не обратил внимания на ту перемену, которая произошла с Петей.

46
СЕКРЕТКА

С некоторых пор мальчик все время находился в состоянии какого-то скрытого возбуждения. С его лица не сходила напряженная, скользящая полуулыбка. Он не находил себе места, не зная, куда себя деть, тем более

что все деревья в саду уже были окопаны, хорошо политы дождями и делать там, собственно говоря, было решительно нечего.

Теперь все душевные силы Пети были направлены на одну цель: видеться с Мариной. Казалось, чего проще? Она жила тут, рядом, на одной усадьбе. Они были знакомы. Они могли встречаться хоть десять раз в день. Но именно этого-то и не случилось.

Мать и дочь Павловские (это была их фамилия) все время сидели в своем флигельке и в саду не появлялись. Они, видимо, избегали общества или же, попросту говоря, скрывались, и Петя это прекрасно понимал, но от этого ему было не легче. За всю неделю ему лишь раз удалось увидеть Марину, да и то издали. Она шла со станции под большим черным зонтиком, по пояс в уже заколосившейся пшенице, и держала в руке жестянку — наверно, ее посылали в лавочку за керосином.

Петя сбегал домой, надел плащ и с безразличным видом стал расхаживать возле калитки. Но Марина обошла хуторок полем, и Петя видел, как она сложила зонтик, потрясла косой и скрылась в сенях флигелька.

Петя долго шлялся под дождем по саду, стараясь выбирать такие места, откуда можно было видеть флигелек, но девочка больше не появлялась.

В этот же день вечером, когда стемнело, затаив дыхание и в глубине души презирая себя, Петя прокрался к флигельку, присел на корточки в густой чаще полыни, окатившей его с головы до ног душистым, горьким ливнем застоявшейся в ней дождевой воды, и долго подсматривал в окна. В одном окне было темно, а в другом горела свеча, и Петя увидел наклоненную голову Марины и ее прилежно пишущую руку с пальчиками, просвечивающими, как фарфоровые. Сзади по выбеленной стене ходила большая тень мадам Павловской, размахивающей открытой книжкой, из чего можно было заключить, что Марина пишет диктовку.

Это сразу несколько отрезвило Петю и даже заставило его презрительно усмехнуться.

В это время пишущая рука девочки нерешительно остановилась. Марина посмотрела в потолок. Петя увидел вздернутый подбородок, наморщенный лоб и прищуренные глаза, на одном из которых краснел ячмень.

Продолжая сосредоточенно смотреть в потолок, девочка несколько раз облизнулась, и Петя вдруг почувствовал прилив такой любви, что даже зажмурился. Нет, решительно он еще никогда в жизни не любил никого так сильно, как эту черненькую девчонку с ячменем на глазу и независимо вздернутым подбородком.

Он любил ее уже давно, целый год. Но раньше она была мечтой, выдумкой. Временами он сам переставал верить в ее существование. Петя настолько забыл Марину, что даже не всегда мог представить, какая она на самом деле. В сущности, тогда это не была любовь, а лишь предчувствие любви: снежная буря в горах, черные лебеди вокруг островка Руссо, сернистый дым Везувия, неясное представление о Париже, волшебные слова «Лонжюмо» и «Мари Роз» — словом, все то, что год назад так поразило его воображение, так измучило его душу.

Теперь это была обыкновенная, земная любовь, обольстительная именно тем, что она так доступна. Марина ничем не возвышалась над Петей, в ней уже не было никакой тайны. Просто девочка — даже не очень хорошенькая — с ячменем на глазу пишет диктовку. Завтра она выйдет в сад погулять, он подойдет к ней; они будут долго разговаривать и уже больше никогда не расстанутся.

Петя вернулся домой и лег спать в сладкой уверенности, что завтра для него начнется какая-то новая, очень приятная жизнь. Он даже охотно представил себя Евгением Онегиным, а ее Татьяной и предвкушал тайное свидание, когда он сначала будет ей «давать уроки в тишине», а потом скажет, что пошутил, и нежно возьмет под руку.

Но ничего подобного не произошло.

Марина по-прежнему не появлялась, и Петя мысленно ее упрекал, даже называл обманщицей, как будто бы она ему что-то обещала. Потом он решил ее наказать презрением и больше не обращать на нее внимания. Он заставил себя за целый день ни разу не посмотреть в сторону флигелька. Это было, конечно, с его стороны слишком жестоко, но ничего не поделаешь. Пусть она знает, на что он способен, если его обманывают. Пусть пеняет на себя...

На другой день Петя решил смягчиться и сменил гнев на милость — ведь все-таки он ее любил. Он опять стал издали смотреть на флигель. Напрасно: она не появлялась.

Тогда он настолько потерял самообладание, что рискнул пройтись несколько раз совсем близко. Он заметил, что от флигелька уже была протоптана новая узенькая тропинка. Очевидно, по этой тропинке она ходила гулять в степь. Ага, так вот почему она не появляется в саду! Оказывается, она любит гулять в степи одна. А может быть, эта узенькая тропинка не что иное, как намек, вызов его на тайное свидание? Боже мой, как он мог этого не понять! Кажется, так ясно! И он стал гулять в степи, нетерпеливо поглядывая на флигелек. Сейчас она его заметит и выйдет. Он будет нежен, но строг.

Единственно, что теперь огорчало Петю,— это то, что снова начались жары и невозможно было надеть плащ.

Но, увы, она по-прежнему сидела дома. Она его просто дразнила.

«Ну, погоди! — думал Петя.— Кончится у них керосин, и тогда мы посмотрим!»

Как назло, установилась изумительная летняя погода. Кончилась сирень, но зато вовсю цвели белая акация и жасмин. Все вокруг было пропитано их сладким, тяжелым запахом. По ночам к нему примешивался еще раздражающий запах матиолы и садового табака, бледные звезды которого так неясно и таинственно белели в сумерках на разросшихся клумбах перед домом.

Вечером из моря выходила очень большая бледно-розовая луна, а в полночь она уже ярко сияла над садом, над степью, заливая все вокруг своим теплым, жасминовым светом. Можно ли было представить себе обстановку, более подходящую для романа! И все это пропадало зря.

Измученный бездельем и любовью, Петя потерял сон, аппетит. Он даже похудел, как-то высох, почернел, и его глаза все время беспокойно блестели.

— Ты что, влюблен? — как-то спросила тетя, с любопытством посмотрев на Петю.

Петя хотел облить тетю презрительным взглядом, но вместо этого на его лице появилась такая жалкая улыбка, что тетя только махнула рукой.

Все это кончилось тем, что Петя начал писать дневник. Он достал общую тетрадь и, выдрав из нее несколько страниц с алгебраическими задачами, написал: «Я полюбил...» Он думал, что легко наполнит всю тетрадь подробным описанием своих чувств, которые казались

ему необыкновенными и неисчерпаемыми. Но как он ни бился, ему больше не удалось к этому ничего прибавить: такой сумбур был в его голове.

Тогда он решил прибегнуть к последнему средству: написать ей письмо и назначить свидание.

Вообще говоря, это средство было весьма распространенное и не представляло ничего оригинального. Но Петина влюбленность достигла такого высокого градуса, когда человеку кажется, что предмет его любви является существом высшим, идеальным, стоящим вне обычных человеческих отношений, хотя и ходит под зонтиком за керосином или пишет диктовку.

Тем не менее другого выхода у Пети не было.

Обычно для любовной переписки употреблялись так называемые «секретки», весьма распространенные на всяческих балах и танцевальных вечерах при игре в «летучую почту». Эти маленькие, разноцветные, сложенные пополам листки почтовой бумаги были в то же время и конвертиками, так как они с трех сторон заклеивались, а потом обрывались по краям полоской, как купоны. Они были сродни митральезам, конфетти, серпантину, узеньким атласным полумаскам и прочему бальному вздору. На них полагалось писать любовные послания. Но у Пети не оказалось секреток, и купить их было негде. Пришлось мастерить самому, сложив пополам лист, вырванный из тетради, и обколоть его по краям булавкой.

Это оказалось совсем не легко, но еще труднее было составить письмо. Петя измазал страниц пять черновиков, прежде чем получилось следующее: «Марина!! Мне необходимо с Вами поговорить по очень важному делу. Выходите завтра ровно в 8 ч. вечера в степь. Не подписываюсь, т. к. надеюсь, что вы сами догадаетесь, кто». Слова «по очень важному делу» Петя подчеркнул три раза, тайно рассчитывая на женское любопытство.

Затем он сходил в сад и сколупнул с дерева шарик вишневого клея. Он не без удовольствия его пожевал и залепил им секретку, написав на ней «Марине. (В собственные руки)».

Спрятав письмо в карман, Петя, не теряя времени, отправился искать Павлика. Он нашел его за конюшней. Павлик играл с Гаврилой в карты. Как раз в эту минуту он стоял на коленях с поднятой рукой и собирался изо

всех сил хлопнуть бубновым тузом по дряхлому, потертому валету, который лежал на земле рядом с колодой, окруженной ползающими козявками и кучками медных денег. Лицо Павлика выражало разнузданный азарт, в то время как Гаврила, тоже стоявший на коленях, наоборот, имел вид удрученный, и капли пота падали с его длинного конопатого носа.

«Ага,— подумал Петя,— так вот, оказывается, где пропадает по целым дням мой уважаемый братец, и вот, оказывается, к чему может привести безделье!»

— Павлик, иди сюда! — строго сказал Петя.

Павлик встрепенулся как ужаленный, но тотчас, сделав ловкое движение всем телом, сел на колоду и посмотрел на брата невинными шоколадными глазами.

— Иди сюда! — еще строже повторил Петя.

— Ей-богу, паныч, что вы до него чипляетесь! — ненатурально смеясь, сказал Гаврила.— Мы с ним играем не на интерес, а просто так, для провождения времени. Побей меня бог, святой истинный крест! — прибавил он бесстыдно.

— Ябеда, юда! — на всякий случай пропел Павлик, незаметно выгребая из-под себя деньги.

Но Петя только поморщился и махнул рукой.

— Совсем не то,— сказал он.— Иди сюда.

Он завел Павлика подальше, в заросли паслена и белены, остановился перед ним, расставил ноги и сурово посмотрел ему в глаза.

— Вот в чем дело...— Петя немного замялся.— Мне надо, чтобы ты сделал одну вещь... или, вернее, не одну вещь, а одно поручение...

— Знаю, знаю,— быстро сказал Павлик.

— Что именно ты знаешь? — нахмурился Петя.

— Знаю, что ты хочешь. Ты меня сейчас будешь посылать с письмом к этой новой девочке. Может быть, нет?

— Откуда ты знаешь? — не удержавшись, воскликнул Петя.

— Ха! — сказал Павлик.— Что, я не вижу, как ты бесишься? Только можешь меня не посылать, потому что я все равно не пойду.

— Нет, пойдешь! — грозно сказал Петя.

— Смотрите, какой нашелся! — дерзко ответил Павлик, предусмотрительно отступая.

— Пойдешь! — упрямо процедил Петя сквозь зубы.

— Не пойду.

— А вот пойдешь!

— А вот не пойду! И хватит мной командовать! Я уже не маленький, чтоб ходить по девочкам с твоими записками. Что я туда пойду, чтоб мадам Павловская мне уши нарвала? Тоже нашелся!

— Значит, не пойдешь? — со зловещей улыбкой спросил Петя.

— Не пойду.

— Ну так знай!

— А что будет?

— Будет то, что я сейчас же пойду и скажу папе, что ты играешь в азартные игры.

— А я сейчас пойду и всем расскажу, что ты влюбился в новую девочку, и как ты пишешь любовные письма, и как ты сидишь у них под окном в бурьяне и мешаешь ей учиться, и над тобой все будут насмехаться. Что, съел?

— Подлец! — сказал Петя.

— От такового слышу,— ответил Павлик.

— Я все-таки надеюсь, что ты будешь молчать,— глухо сказал Петя.

— Как ты, так и я!

И с этими словами Павлик весьма независимо отправился за конюшню, где Гаврила, изнемогающий от безделья, лежал на земле и тасовал карты.

Положение было безвыходное.

Ночью Петя опять прокрался к флигельку и долго сидел в полыни, не решаясь бросить письмо в открытое окно. На этот раз в домике было темно — наверно, Павловские спали. Пете даже казалось, что он слышит чье-то сонное дыхание. Белая стена флигелька так ярко была освещена луной, что казалась голубой, и на ней чуть шевелилась черная сквозная тень белой акации, а полынь, в которой сидел Петя, вся сияла, как серебряная.

Несколько раз Петя менял место, стараясь укрыться в тень от пугающего света луны, и в конце концов так расшумелся, что в домике послышался вздох и раздраженный голос сказал:

— По-моему, вокруг все время кто-то ходит.

На что другой голос, нежный и сонный, ответил, зевая:

— Спи, мамочка, это, наверно, бродячие кошки.

Петя с замирающим сердцем подождал, пока все успокоится, а потом вынул заранее обвязанное вокруг камешка письмо и бросил его в темное окошко.

Обливаясь холодным потом, Петя пополз назад, и, когда наконец добрался до своей брезентовой раскладушки и стал бесшумно раздеваться, услышал из-под одеяла зловещий шепот Павлика:

— Ага! Думаешь, я не знаю, куда ты шлялся? Бросать письмо. Скажи спасибо, что тебе еще не надрали уши.

— Нахал! — прошипел Петя.

— От такового слышу,— пробормотал Павлик засыпая.

47
ЛЮБОВНОЕ СВИДАНИЕ

Неизвестно, как бы пережил Петя следующий день в лихорадочном ожидании свидания, если бы не началась поливка сада. Петя с азартом крутил ручку цистерны, вытаскивая ведра, и выливал воду в бадью, откуда ее уже разносили по всему саду. Он сам выбрал эту изнурительную, однообразную работу, потому что она не мешала ему думать о свидании.

Несмазанная ось железного решетчатого барабана утомительно визжала. Хрустела, накручиваясь и раскручиваясь, гремучая цепь. Тяжелое ведро медленно ползло вверх, роняя в гулкую темноту цистерны капли, которые разбивались, как пистоны, и это же ведро потом легко падало вниз, увлекая за собой мокрую цепь, так что барабан как бы сам собой бешено крутился, и нужно было отскакивать в сторону, чтобы со всего маху не ударила ручка в ключицу.

Руки и спина ныли, ноги дрожали, рубашка промокла, жаркий пот струился по лицу и капал с подбородка, а Петя все крутил и крутил, не давая себе отдыха. Он испытывал блаженство, которое один раз вдруг перешло в отчаяние, когда Петя заметил, что все вокруг потемнело, откуда-то наползла синяя туча, уже стал накрапывать дождик, готовый к вечеру превратиться в ливень и помешать свиданию. Но, к счастью, ливень прошел стороной, туча растаяла, и к вечеру откуда-то издалека повеяло прохладой, что было весьма кстати, так как позволяло Пете надеть плащ.

Предзакатное солнце горело над степью, и, когда Петя в плаще, сделав из предусмотрительности огромный круг, появился на тропинке против флигелька, его тень была такой длинной, словно он шел на ходулях.

В монастыре на шестнадцатой станции звонили к вечерне. Далеко в степи слышалось печальное пение косарей. Белая стена флигелька казалась телесно-розовой, и стекла маленьких окошек ослепительно блестели расплавленным золотом. Руки у Пети были как ледяные и во рту было тоже так холодно, будто он наелся мятных лепешек.

Хотя для этого не имелось почти никаких оснований, но Петя почему-то был уверен, что она непременно придет. Но, если говорить правду, в самой глубине души все-таки посасывал червячок сомнения.

Петя лег в траву, положил подбородок на кулаки и с таким напряжением стал смотреть на домик, как будто всеми силами своей души хотел заставить ее немедленно, сию же секунду, без малейшего промедления выйти в степь. В сущности, это была уже не любовь, а уязвленное самолюбие; не страсть, а упрямство; беспредметное смятение чувств, желание низвести свой идеал с неба на землю и убедиться, что Марина решительно ничем не лучше других девочек, например Моти, даже наверное хуже.

И все-таки она продолжала оставаться в его воображении единственной и недостижимой, несмотря на ячмень и подбородок башмачком, а может быть, именно вследствие этого. Когда вдруг между двумя приливами отчаяния и надежды он увидел знакомую фигурку, мелькнувшую перед домиком по пояс в полыни, Петя даже не сразу поверил своим глазам — так велико было его счастье.

Марина быстро — может быть, даже слишком быстро — шла к нему, прикрываясь рукой от солнца, бившего ей в лицо. На ней было короткое летнее пальтишко с поднятым воротником; она была как-то по-новому причесана, хотя с тем же самым черным бантом, но и с веточкой жасмина в темных волосах.

— Здравствуйте,— сказала она, протягивая Пете руку.— Я насилу удрала. Вы не представляете, какая у меня ужасная мама! Вот увидите, она меня сейчас будет звать домой. Пойдемте скорей.

Она улыбнулась и быстро побежала по дорожке в степь, увлекая за собой Петю, который был совершенно

сбит с толку и даже разочарован ее непринужденным обращением, в особенности откровенно-лукавой улыбкой.

Он ожидал совершенно другого, чего угодно: робости, смущения, молчаливого упрека, наконец строгости, но только не этого. Можно подумать, что она только того и ждала, чтобы поскорей прибежать на свидание. Она даже не спросила, зачем он ее вызвал. И потом, этот жасмин в волосах! Теперь Петя увидел, что она только ростом мала, а на самом деле ей лет пятнадцать, и она, наверно, довольно опытна в любовных делах; может быть, даже уже целовалась.

Вообще она была похожа не на себя, а как бы на свою старшую сестру.

— Вам не жарко в вашем плаще? — спросила она, оглядываясь на ходу.

— А вам не жарко в вашем пальто? — глухо сказал Петя.

Но она, видимо, не поняла иронии, потому что ответила:

— У меня летнее, а у вас теплый, шерстяной.

— Швейцарский, специально для гор! — не без хвастовства сказал Петя.

— Я заметила,— сказала Марина.

Они забрались довольно далеко от дома и теперь медленно шли рядом уже не по тропинке, а прямо по сусликовым норкам и по суховатым степным цветам, отбрасывающим очень длинные тени. Они долго молчали, прислушиваясь, как под ногами шуршат растения.

Солнце село за дальним курганом. Пробежал прохладный ветерок.

— Вы любите степь? — спросила Марина.

— Я люблю горы,— мрачно ответил Петя, совершенно не представляя себе, что же дальше делать.

Правда, он добился-таки своего: это было самое настоящее свидание, даже больше — далекая прогулка вдвоем в степи, на закате. Но все же Петя чувствовал себя крайне затруднительно. Она как-то сразу взяла над ним верх. Петя это отлично понимал.

— А я люблю степь,— сказала Марина,— хотя горы мне тоже нравятся.

— Нет, горы лучше,— упрямо сказал Петя.

Никогда ему еще не было так трудно разговаривать

с девочкой. Насколько легче, например, было с Мотей. Правда, Мотя его любила, а эта — кто ее знает... Самое ужасное заключалось в том, что она совершенно не интересуется, зачем он ее вызвал на свидание. Что это: притворство или равнодушие?

Между тем с каждой минутой она нравилась ему все больше и больше. Он уже был без памяти в нее влюблен. И влюблен совсем не так, как раньше: не в далекую мечту, а в соблазнительно близкую действительность.

В продолжение прогулки она иногда без видимой причины смеялась, и этот обольстительный смех казался Пете странно знакомым, но он никак не мог вспомнить, где и когда он его слышал.

«Ну подожди, голубушка! — думал Петя, любуясь хорошенькой головкой Марины с черным бантом и веточкой жасмина.— Мы еще посмотрим, что ты потом запоешь!»

— Вообразите себе,— с косой иронической улыбкой сказал Петя,— одно время я был в вас здорово-таки влюблен.

— Вы в меня? — с удивлением сказала Марина и пожала плечами.— Не представляю себе, когда это могло быть?

— Давно. В прошлом году,— вздохнул Петя.— А вы, наверно, об этом и не догадывались?

Она остановилась и посмотрела на него снизу серьезными, внимательными глазами.

— Этого никак не могло быть.

— А вот было!

— Где, когда?

Петя посмотрел на девочку с нежным упреком и, отчеканивая слова, произнес:

— Июнь. Италия. Неаполь. Вокзал. Может быть, нет?

В один миг лицо Марины резко изменилось: стало испуганным, серьезным. Она покраснела.

— Вы ошибаетесь,— сухо сказала она, и в ее глазах появилось что-то замкнутое, неприступное.— Мы никогда не были в Италии... И вообще за границей.

Но Петя сразу почувствовал, что это неправда.

— Нет, нет, вы были в этом самом пальтишке и в этом самом черном банте! — заговорил он с увлечением.— Вы шли по перрону со своей мамой... И был Максим Горький... А наш поезд в это время тронулся, я вы-

сунулся в окно и посмотрел на вас, а вы посмотрели на меня. Разве этого не было? Вы разве не посмотрели на меня? Может быть, нет?

Она молчаливо хмурилась и отрицательно качала головой, но густая краска не сходила с ее лица, даже вздернутый подбородок был красный. Она готова была рассердиться.

— Может быть, нет? Нет? — настаивал Петя.

— Ничего подобного, это вам приснилось!

— И я даже знаю, куда вы потом поехали. Сказать? Нет? В Париж! — с каким-то горьким торжеством крикнул Петя.

Она отрицательно качала головой, начиная бледнеть.

— Мари Роз, Лонжюмо,— тихо, но внушительно сказал Петя, пристально глядя ей в глаза и наслаждаясь ее смятением.

Она так побледнела, что Петя испугался. Затем лицо ее стало неподвижно-презрительным.

— Вы фантазируете,— сказала она небрежно и даже заставила себя засмеяться своим странным смехом, который казался Пете таким знакомым.

И вдруг он понял: это был русалочий смех Веры из «Обрыва», а сам он был жалкий Райский.

— И запомните себе раз навсегда, что никогда не было ничего подобного,— сказала Марина, повернулась и быстро пошла к дому.

Петя побежал за ней.

— Не провожайте меня,— сказала она не оборачиваясь.

— Марина, подождите... Но почему же? — жалобно простонал Петя.

Она обернулась и, смерив его с ног до головы презрительным взглядом, сказала:

— Болтун! — и побежала домой.

Петя никак не ожидал, что такое многообещающее свидание может кончиться ничем. Он совершенно не понимал причины ее гнева. Он только знал, что потерял ее если не навсегда, то во всяком случае надолго. И, главное, когда? Именно тогда, когда все так хорошо налаживалось, когда так вкрадчиво темнела степь и за далекими обрывами в воздухе висела большая луна, чуть светящаяся изнутри, как бумажный монгольфьер.

48
ЗАПИСКИ ЦЕЗАРЯ

В течение ближайших дней Марина не появлялась. Петя бросил в окно несколько секреток, в которых на разные лады выманивал девочку на свидание, даже обещал открыть ей какую-то важную тайну, но ничего не действовало. Петя понял, что он окончательно потерял Марину.

Он был в отчаянии. Это отчаяние усугублялось тем, что решительно некому было описать свой неудачный роман, красноречиво излить свою «наболевшую душу», как мысленно называл Петя му́ки уязвленного самолюбия. Поэтому приход Гаврика был как нельзя более кстати.

Как всегда в последнее время, Гаврик появился неожиданно. Петя увидел его уже в саду. Нельзя было понять, откуда он взялся. Во всяком случае, в калитку он не входил, так как Петя сам был в это время у калитки, высматривая, не пойдет ли кто-нибудь за керосином.

У Гаврика был заткнут за поясок потрепанный учебник, и в руке он держал свернутую в трубку тетрадь, которой он сердито постукивал по колену. Вообще вид у него был довольно мрачный.

— Что, будем заниматься? — со вздохом спросил Петя.

— Нет, горобцов ловить,— сухо ответил Гаврик.

Петя выбрал в саду тенистое местечко, откуда был виден флигелек, и они сели под черешневым деревом на землю, поросшую ромашкой.

— Ну, что у тебя такое? — спросил Петя вяло.

— Да вот надо выучить «Записки о Галльской войне».

— Ага. Так это я тебе сейчас все объясню. Вся штуковина заключается в том, что эти самые «Записки о Галльской войне» написал Цезарь. Он, видишь ли, назывался «Кай Юлий» и был, так сказать, римский император, который...

— Да это я без тебя знаю. Мне надо читать и переводить, а первую главу на память.

— Можно,— покладисто сказал Петя.— Тогда открой учебник и переводи.

— Я уже перевел,— сказал Гаврик.

— Так что ж тебе надо?

— Знать на память первую главу. А это для меня еще хуже, чем учить стихотворение.

— Но необходимо! — назидательно сказал Петя, понемногу входя в роль преподавателя.— Следовательно, открой учебник, дай мне, я буду громко читать, а ты за мной повторять.

— А на память ты разве не знаешь? — подозрительно спросил Гаврик.

Но Петя пропустил мимо ушей этот скользкий вопрос, взял из рук Гаврика книжку и стал с выражением читать:

— «Галлиа эст омнис дивиза ин партэс трэс». Повтори.

— Галлиа эст омнис дивиза ин партэс трэс,— туго наморщив лоб, повторил Гаврик.

— Молодец! — сказал Петя.— Пойдем дальше...

Но в это время ему показалось, что возле флигелька что-то мелькнуло. Петя вытянул шею и стал всматриваться.

— Не жди,— спокойно сказал Гаврик.

Петя вздрогнул.

— Откуда ты знаешь? — спросил он краснея. Они слишком хорошо изучили друг друга, чтобы хитрить.

— Не строй из себя девчонку! — с раздражением сказал Гаврик.— Можно подумать, что Павловские упали к вам прямо с неба. Ты же отлично знаешь, что это мы их здесь у вас поселили — подальше от всякой полиции. Надо голову иметь на плечах, а не капусту. Они здесь не на даче прохлаждаются, а... скрываются,— решительно произнес Гаврик,— и работают. А ты затеял любовь крутить! Ну хорошо, крути. Пожалуйста. Только не надо приставать со всякими разговорами. А ты пристаешь: ах, я вас знаю! Ах, я вас видел за границей! Ах, Мари Роз, ах, Лонжюмо! А ты знаешь, что такое Мари Роз и Лонжюмо? — Спохватившись, что он слишком громко говорит, Гаврик оглянулся по сторонам и, хотя никого поблизости не было, понизил голос: — Оттуда идут все директивы и инструкции. И уж когда на то пошло, я тебе скажу, что, в случае если Павловскую схватят, это будет сильный провал. Я тебе так прямо режу потому, что мы считаем тебя своим. Я верно понимаю?

Гаврик сузил глаза и в упор посмотрел на Петю, ожидая прямого ответа на свой прямой вопрос.

Петя подумал и молча кивнул головой. Впервые Гаврик разговаривал с ним так ясно, определенно, ни о чем не умалчивая и все называя своими именами.

— Клянусь...— сказал Петя и почувствовал, что от волнения не может говорить. А ему очень хотелось сказать что-нибудь значительное, даже, может быть, торжественное.— Клянусь...— повторил он, и слезы выступили у него на глазах.

— Ну вот, я так и знал, что ты будешь сейчас давать клятву,— сказал Гаврик.— Можешь и не давать. Мы, брат, словам не сильно верим. Слыхали мы разных балалайкиных.

— Я не балалайкин! — обиделся Петя.

— Не о тебе речь, хотя ты тоже любишь немножко того: Мари Роз, Лонжюмо... Ты это, брат, брось! Дело серьезное. И в случае чего мы с тобой не постесняемся... Ты имеешь представление, что такое конспирация?

— Имею,— не без достоинства сказал Петя.

— Ну, не знаю...— сказал Гаврик,— но это первым делом держать язык за зубами. А то ты сегодня одному скажешь, а завтра другому. Слово, брат, не воробей, вылетит — не поймаешь. Ты знаешь, что она подумала?

— Кто?

— Маринка. Она посчитала, что ты просто подосланный. Зухтер.

— Что такое зухтер? — тревожно спросил Петя.

— Ну, брат, с тобой разговаривать, так надо сначала каши накушаться. Зухтер — это сыщик. Из охранки. Пора знать... Ты у Павловских такой переполох наделал, что они уже собирались прямо тут же, ночью, бежать с вашего хуторка от греха подальше. Спасибо, как раз я в это самое время заскочил до них. А то бы, ей-богу, ушли. Уже вещи складывали. Но я им объяснил, что ты, в конце концов, парень наш. Чтоб они не беспокоились.

Петя подавленно молчал. Он никак не предполагал, что его ухаживанья могли иметь такие серьезные последствия. Он вообще многого не предполагал.

— А она, в общем, девочка подходящая. Я сам не против пройтись с ней когда-нибудь вечерком под ручку. Только нет времени,— вздохнул Гаврик.

Петя смотрел на него, не веря своим ушам, почти с ужасом. Так говорить о «ней»! Это было просто невероятно.

А Гаврик, растянувшись на ромашках и заложив руки за голову, как ни в чем не бывало продолжал в том же духе:

— С другой стороны, войди в ее положение. Папы у них нет. Папа их скончался от скоротечной чахотки в прошлом году за границей. Тоже был из нашей организации. Мама — партийная работница. Живут по чужому паспорту. Все время приходится переезжать с места на место, скрываться, менять квартиры. Девочке нужно учиться, чтоб не отстать. Все время сидят дома, потому что можно выходить только в самом крайнем случае. Она же все-таки барышня, ей же скучно. Понятно, когда ты бросил ей в окно свою секреточку, она обрадовалась. Почему, в конце концов, один раз не пройтись с кавалером? Между прочим, ты ей даже, представь себе, понравился. Только ты все себе сам испортил своим длинным языком.

Петя поморщился, как от зубной боли.

— Подожди,— сказал он.— А ты откуда все это знаешь?

Гаврик с нескрываемым удивлением посмотрел на Петю:

— Здравствуйте! Что ж ты думаешь: Павловские ничего не кушают? Между прочим, они такие же Павловские, как я братья Пташниковы, но это никого не должно касаться. Я до них заскакиваю раза два в неделю — ношу им провизию. Ну и еще, конечно, если есть какие-нибудь поручения от комитета...

Петя был неприятно поражен. Оказывается, Гаврик у Павловских частый гость, свой человек!

— Вот как! Почему же ты к нам не заходишь? — спросил Петя, начиная чувствовать нечто вроде ревности.

— Потому что я заскакиваю к ним по большей части ночью.

— Конспирация? — не без иронии спросил Петя.

— А ты что думаешь? Зачем лишний раз обращать на себя внимание? Мало ли кто может увидеть... Знаешь какое теперь время? Всюду забастовки, стачки. Охранка прямо-таки с ума сходит. Опять такая слежка кругом пошла, что дай бог здоровья. Еще хуже, чем в пятом.

На Петю снова повеяло духом Ближних Мельниц, от которого он стал за последнее время отвыкать.

— Закурим, что ли, товарищ,— сказал Гаврик, вытаскивая из кармана пачку дешевых папирос.

Петя еще не курил и не чувствовал в этом никакой потребности. Но слово «товарищ», произнесенное Гавриком с каким-то особым выражением суровой независимости, самый вид этой пачки папирос, «Трезвон» товарищества «Лаферм», 20 шт. 5 коп., объявление о которых Петя видел в «Правде», заставили его вытащить из пачки тугую папироску и неумело взять ее в рот.

— Закурим,— сказал Петя так же сурово и независимо, скосив глаза на кончик папиросы, к которому Гаврик поднес зажженную спичку.

Они немножко покурили: Гаврик с видимым удовольствием, затягиваясь и сплевывая, как заправский мастеровой, а Петя — поминутно вынимая папиросу изо рта и для чего-то заглядывая в мундштук, откуда выливалась молочная струйка тяжелого дымка.

Больше о Павловских не говорили. Затем еще позанимались Цезарем, и Гаврик ушел, сказав на прощанье:

— Такие-то, брат, дела. Главное, не дрейфь.

Но к чему это относилось, Петя так и не понял.

Теперь в Пете боролось несколько самых противоречивых чувств: ревность, досада на себя, надежда, отчаяние и, как это ни странно, жаркая, какая-то порывистая жажда жизни, переполнявшая его сердце.

Он стал придумывать разные способы поправить дело и снова выманить Марину на свидание. Он был занят этими придумываниями целые дни.

49

КОРОЛЕВА БАЗАРА

Но как раз в это время начала поспевать черешня. Она стала поспевать быстро, бурно, а главное, все сорта сразу: черная, красная, розовая и белая. Хотя семейство Бачей все время с тревогой следило за созреванием богатого урожая, но истинные его размеры обнаружились как-то вдруг, в одно прекрасное утро, когда низко над садом с шумом пронеслась черная туча скворцов, а за нею серая туча воробьев.

Птицы опустились на сад, и, пока Василий Петрович, Петя, Павлик, Дуня и Гаврила бегали под деревьями, пугая птиц зонтиками, палками, шляпами, платками и криками, тетя надела кружевные перчатки, шляпу и,

сияющая от веселого возбуждения, поехала на конке в город, чтобы сначала разузнать розничные цены на черешню, а потом постараться ее продать на привозе, в фруктовых рядах, оптом.

Она вернулась вечером и, когда подходила к хуторку, услышала громкие выстрелы. Это Павлик, под руководством Гаврилы, палил дробью из старой берданки, которая нашлась в хозяйстве мадам Васютинской.

— Боже мой, что ты делаешь? — в ужасе закричала тетя, увидев, как ее нежный племянник заряжает ружье картонным патроном.

— Пугаю шпаков. Побережитесь! — ответил Павлик и снова со зверским выражением лица выпалил куда-то вверх, после чего по воздуху пролетел небольшой смерч из воробьиных перьев.

По-видимому, война с птицами шла успешно.

— Ну-с, как наши коммерческие успехи? — спросил Василий Петрович, потирая руки.— Надеюсь, вы нам привезли приятные вести?

— И да и нет,— ответила тетя.

— Что так? — с бодрой улыбкой сказал Василий Петрович.

Он уже раз десять за сегодняшний день обошел сад и убедился, что урожай не просто хорош, а неслыханно, сказочно богат. Кисти очень крупных черешен целыми пудами висели на ветках, просвечивая на солнце всеми оттенками красного цвета, начиная с совсем бледного, почти телесного, подобного розовым кораллам самого высшего качества, и кончая кроваво-черным, словно драгоценные камни карбункул или пироп.

— Что так? — повторил он уже менее бодро, заметив расстроенное выражение тетиного лица.

— Сейчас я вам все расскажу, но только дайте мне сначала умыться и, ради бога,— чашку чая. Полжизни за чашку чая!

Все это не предвещало ничего хорошего.

А через полчаса тетя уже сидела на веранде, жадно пила чай и рассказывала:

— Понимаете, сначала я обошла несколько фруктовых магазинов в городе. Черешни еще мало, она пока редкость, и ее в розницу продают по пятнадцать — двадцать копеек фунт.

— Нуте-с, так это же великолепно! — воскликнул Василий Петрович, прикидывая в уме, какую сумму может дать каждое дерево, если даже считать, что на нем висит хотя бы только два пуда ягод.— В таком случае, мы просто богачи!

— Подождите,— устало заметила тетя.— Это розничная цена. А мы должны иметь дело с оптовой. Тогда я отправилась на привоз и походила по фруктовым рядам. Оказалось, что оптовая цена значительно ниже.

— И это вполне естественно! — бодро воскликнул Василий Петрович.— Так бывает всегда. Какая же все-таки оптовая цена?

— Они предлагают два сорок за пуд. Франко привоз.

Василий Петрович потрогал стальную дужку пенсне, пошевелил губами и, произведя в уме необходимые вычисления, сказал:

— Н...да... это, конечно, не то. Но все-таки весьма и весьма прилично. Мы не только расплатимся по векселям, но даже еще останется известная сумма прибыли.

И Василий Петрович весело посмотрел на тетю через пенсне.

— Вы очень наивны,— сказала тетя.— Не забудьте, что два сорок франко привоз.— И с ударением повторила: — Франко привоз!

— Ах да... франко...— пробормотал Василий Петрович.— А это, собственно, что обозначает?

— Это значит, что мы должны доставить им всю черешню прямо на привоз.

— Ну и что же? За чем дело стало? Мы им доставим! И тогда — пожалуйте денежки!

— Нет, с вами положительно трудно говорить серьезно! — с досадой сказала тетя.— Подумайте только, как это мы им доставим? Каким способом? У нас нет ни лошади, ни платформ, ни корзин, ни рогожи, ни... У нас вообще нет ничего, никаких средств... Я уже не говорю о том, что сначала надо снять урожай с деревьев, если, конечно, его не расклюют птицы. У нас даже нет стремянок...

— Н-да...— растерянно промычал Василий Петрович и, подоив нос, сказал: — Однако это довольно странно. Почему именно... франко? Вы должны были сказать: угодно приобрести черешню — пожалуйста, приезжайте и забирайте.

— Я так и сказала.
— Ну и что же?
— Отказываются.
— Гм... Это какое-то недоразумение... Наконец, существует же, так сказать, конкуренция. Если одни отказываются, то, может быть, другие не откажутся.
— Да я их всех обошла, и у меня такое впечатление, что никакой конкуренции нет, а все это одна шайка. И все удивительно похожи один на другого. Те же синие блузы, те же красные морды, те же барашковые шапки. Такие же братья-разбойники, как и те «персы», которые к нам приходили сбивать цену... И все ссылаются на какую-то мадам Стороженко. По-видимому, вся оптовая торговля фруктами находится в руках этой дамы.
— Так вот вы бы с ней и поговорили.
— Пыталась. Но она неуловима. С утра до вечера ездит по садам, скупает урожаи.
— Так как же быть? — спросил Василий Петрович.
— Не знаю,— ответила тетя.
Они сидели друг против друга с измученными лицами. Василий Петрович вытирал бурую пористую шею несвежим носовым платком, а тетя барабанила пальцами по блюдечку. И Петя чувствовал, что над их семейством снова нависла беда, но только на этот раз гораздо более страшная, чем в прошлый раз, когда горел сад.
Черешни спели не по дням, а по часам. Красные почернели, розовые покраснели, желтые густо порозовели, а белые пожелтели и приобрели густой медовый цвет, даже на вид сладкий. С раннего утра начиналась война с птицами. Привязывали к веткам пестрые лоскутья, выставляли пугала, бегали под деревьями, хлопая в ладоши, и охрипшими голосами кричали: «Киш-ш-ш-ш!» Время от времени раздавались выстрелы из берданки и с металлическим звоном проносились заряды мелкой дроби.
Это оказалось еще труднее, чем окапывать или таскать воду. О, как ненавидел Петя скворцов! Как они были теперь не похожи на тех поэтических птиц, которые радостно свистели на разные голоса, отчего нарядный весенний день казался еще ярче, аллеи еще тенистей, а легкие облачка как бы замирали в сладком беспамятстве...
Теперь это были хищники, откуда ни возьмись налетавшие целой тучей на мирный сад. Они терзали своими

острыми клювами ягоды, зорко выбирая самые зрелые, и вырывали из них треугольные куски мякоти.

Они их не столько ели, сколько портили. Когда их удавалось согнать с дерева, они потом долго летали над ним, делая круги и виражи.

Сделали попытку, подставив стулья, снять урожай с нескольких деревьев и убедились, как это трудно сделать, не имея опыта. Решили на первых порах торговать черешней в розницу и отправили Гаврилу с большой корзиной на Большой Фонтан. Гаврила долго ходил по дачам и принес всего семьдесят копеек, косноязычно сказав, что больше не выручил, и пошел спать за конюшню, в бурьян, распространяя вокруг себя запах монопольки.

Заходили дачники с дачи Ковалевского — две хорошенькие барышни с кружевными зонтиками и студент в белом кителе. Они купили два фунта, но так как весов не было, то тетя отвалила им на глаз фунтов пять в кокетливую корзиночку, которую студент нес на палке через плечо.

Барышни тотчас повесили себе черешни на маленькие ушки, как сережки, и еще больше похорошели, покрылись ямочками, стали вертеться и смеяться, и тетя смотрела на них с таким видом, как будто хотела сказать: «Господа, я не понимаю, как вы можете радоваться!»

Затем почтальон принес письмо от нотариуса, напечатанное на пишущей машинке, с коротким и грозным напоминанием, что срок платежа по векселям наступает через три дня.

Тетя опять помчалась в город, но вернулась ни с чем, так как мадам Стороженко опять была в отъезде, а «персы», как бы в насмешку над здравым смыслом, предлагали уже не два сорок, а рубль тридцать за пуд франко привоз. Кроме того, они, вероятно, еще и нагрубили тете, так как она чуть не плакала, сорвала с себя шляпку и несколько раз повторила, бегая по террасе:

— Какие мерзавцы! Боже мой, какие мерзавцы!

Оставалось одно: нанять подводы у немцев-колонистов, у них же взять напрокат корзины и, вопреки священным принципам Василия Петровича, воспользоваться чужим трудом, то есть нанять в окрестностях деревенских девушек, чтобы они как можно быстрее собрали урожай, уже почти на четверть расклеванный птицами.

Немцы отказались дать подводы, а девушки были уже все наняты в другие сады.

— Будь проклят тот час, когда я позволил втянуть себя в эту идиотскую затею! — кричал отец.

— Василий Петрович, во имя покойной Жени пощадите меня! — со слезами говорила тетя, и по ее голосу чувствовалось, что у нее распух нос.

В довершение всего, ворота со скрипом отворились, и на усадьбу въехала бричка. Один «перс» сидел на козлах, другой стоял на подножке, а на сиденье подпрыгивала боком большая, толстая дама в парусиновом балахоне и пыльной шляпке с выгоревшими незабудками. Бричка проехала прямо через клумбу с табаком и петуниями и остановилась возле дома. «Персы» тотчас подхватили даму под локти, и она, тяжело перебирая ногами, слезла с брички. У нее было жирное, но тем не менее мускулистое усатое лицо с грубым, свекольным румянцем и ничего не выражающие глаза.

— А ну, мальчик... не знаю, как тебя зовут... не хлопай ушами, а живенько у меня сбегай и позови сюда хозяев,— заметив Павлика, сказала она с одышкой низким базарным голосом и уже собиралась сесть на железный садовый стул, который ей подставил один из «персов», но в это время как раз появилась тетя, а за ней Василий Петрович.— Вы здесь будете хозяева? — спросила приезжая и, не дожидаясь ответа, сунула сначала Василию Петровичу, а потом тете свою короткую руку в черных кружевных митенках, откуда торчали толстые, как бы обрубленные пальцы.— Здравствуйте вам,— сказала она.— Я мадам Стороженко.

Тетя вспыхнула от волнения.

— Ах, как это мило с вашей стороны! — быстро заговорила тетя, и на ее лице появилась суетливая, светская улыбка.— Я два раза заезжала к вам на привоз, но не застала. Вы такая неуловимая женщина! — И тетя с обворожительным выражением погрозила мадам Стороженко пальчиком.— Но, как видите, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

— Это не важно,— сказала мадам Стороженко, пропустив мимо ушей тонкий афоризм насчет горы и Магомета.— Мне сказали люди на привозе, что вы имеете продавать урожай вашей черешни. Так я у вас его покупаю.

— В таком случае, может быть, вы посмотрите сад? — сказала тетя, многозначительно переглянувшись с Василием Петровичем.

— Я этот сад знаю как облупленный,— ответила мадам Стороженко.— Слава богу, не в первый раз. Я здесь покупала урожай еще тогда, когда сад держала мадам Васютинская. Я вам должна сказать, что у мадам Васютинской было куда больше порядка. А у вас уже шпаки покалечили половину черешни. Конечно, не мое дело, но я вам скажу, что вы, таки да, порядочно запустили ваш сад. Навряд ли вам удастся свести концы с концами. Хотя лично я занимаюсь фруктой лишь пятый год, а до этого времени занималась исключительно рыбой, но можете спросить каждого, и каждый вам скажет, что мадам Стороженко-таки что-нибудь понимает в фрукте. Разве это черешня? Это же не черешня, а воши. Можете мне поверить.

Василий Петрович и тетя стояли перед мадам Стороженко, испытывая то отчаяние, то надежду. Теперь только от нее одной зависела их судьба, но ничего невозможно было прочитать на ее грубом лице.

Наконец мадам Стороженко сказала:

— Одним словом, чтобы долго с вами не цацкаться, вот! — Она открыла большой кожаный кошелек, висевший у нее на ремешке через плечо, и вынула из него, видимо, приготовленную заранее хрустящую сторублевую бумажку с портретом императрицы Екатерины.— Держите!

— Как, всего сто рублей, когда по одним лишь векселям надо платить триста!

— Держите, ну! — повторила мадам Стороженко нетерпеливо.— И скажите спасибо, что я вам даю катеньку. По крайней мере вам через эту черешню больше не будет беспокойства, потому что уборку, упаковку, перевозку — все это я уже беру на себя.

— Мадам Стороженко, побойтесь бога! — сказал Василий Петрович.— Вы нас грабите!

— Милый человек,— сладким голосом пропела мадам Стороженко,— я тоже должна что-нибудь заработать — не правда ли?

— Да, но ведь здесь товару не меньше чем на пятьсот рублей, мы подсчитали,— сказала тетя.

— Ну, раз вы подсчитали, то вы сами и реализуйте

свой урожай и не морочьте людям голову. Сто рублей — это мое последнее слово.

— Да, но ведь мы должны платить по векселям.

— Знаю. Вы должны на днях внести мадам Васютинской триста, а если не внесете, то потеряете аренду. И вы ее, таки да, потеряете, потому что у вас нет наличности и вы уже все равно летите в трубу. Так я вам советую — лучше получите хоть что-нибудь; по крайней мере, первое время не будете голодать. А усадьбу мадам Васютинская передаст мне в нотариальном порядке. Она мне гораздо больше подходит, чем вам.

— Ну, это мы еще посмотрим! — сказала тетя бледнея.

— Перестаньте держать фасон! — сказала мадам Стороженко с нескрываемым презрением и какой-то непонятной, черной злобой, с ног до головы оглядывая Василия Петровича и тетю.— Что, я вас не знаю? У вас за душой нет ломаного гроша. Вы же нищие! Оборванцы! А еще называетесь интеллигенты!

— Милостивая государыня! — сказал Василий Петрович.— Кто вам дал право разговаривать в подобном тоне?

Мадам Стороженко величественно повернулась к тете:

— Слушайте... не знаю, как вас зовут... скажите своему сожителю, чтобы он не разорялся, потому что через три дня вы у меня отсюда полетите со всеми вашими бебехами. Босяки!

Василий Петрович рванулся, хотел что-то сказать, но только затопал ногами, замычал, как немой, и сел на ступеньках террасы, схватившись руками за голову.

— Берите катеньку и пишите расписку,— сказала мадам Стороженко, как ни в чем не бывало протягивая тете сторублевку.

— Вы злая и нехорошая женщина! — дрожа всем телом, сказала тетя, потом заплакала и, пошатываясь, ушла в дом.

Это была такая грубая, безобразная сцена, что не только Петя, Павлик и Дуня, но даже и Гаврила впал в оцепенение, и никто не заметил Гаврика, который уже давно появился невдалеке за деревьями.

Теперь он, засунув глубоко в карман правую руку, медленно, вразвалку шел прямо на мадам Стороженко.

— Ах ты, старая базарная шкура! — сквозь зубы сказал Гаврик, раздувая ноздри.— А ну, гэть видселя!

Она смотрела на него с изумлением и вдруг узнала в этом шестнадцатилетнем пареньке-мастеровом того самого маленького нищего мальчика, внука старика Черноиваненко, который носил ей на привоз бычки, когда она еще торговала рыбой в розницу. У мадам Стороженко была хорошая память, и она в одну минуту поняла, что перед ней стоит ее давний враг. Но только тогда он был совсем мал и беззащитен и она делала с ним что хотела, а теперь он был совсем другой, и она своим лисьим инстинктом почуяла в нем какую-то опасную силу.

— Но, но, только без хулиганства! — крикнула она, суетясь возле брички.— Что вы смотрите? Надавайте ему хорошенько по морде!

Опустив головы в барашковых шапках, «персы» выступили вперед, но Гаврик вырвал из кармана кулак с кастетом, и на его помертвелых губах показалась пена.

— Гэть видселя! — со страшным спокойствием повторил он, взял под уздцы лошадь и вывел за ворота бричку, куда уже на ходу влезали мадам Стороженко и «персы».

И еще довольно долго потом в зеленых хлебах по дороге в город подпрыгивала шляпка с вылинявшими незабудками и слышался визгливый голос мадам Стороженко, посылавшей в сторону хуторка угрозы и самые непристойные ругательства.

С трудом переводя дыхание, как после тяжелой работы, возвратился Гаврик. Он молча пожал руку Пете, погладил Павлика по спине, постоял возле Василия Петровича, который продолжал сидеть на ступеньках, закрыв лицо руками.

Затем Гаврик, с сердцем плюнув, сказал:

— Ну, это мы еще побачим! — и побежал через весь сад в степь, где и пропал из глаз так же вдруг, как появился.

Все долго молчали, понимая, что говорить, собственно, больше не о чем. Наконец Василий Петрович с силой провел ладонями по лицу, протер краем косоворотки пенсне и неожиданно улыбнулся беспомощной, детской улыбкой.

— Так кончился пир их бедою,— сказал он со вздохом.

Но, как ни странно, это все-таки был вздох облегчения.

50
ПОМОЩЬ ДРУЗЕЙ

И вот на короткое время в усадьбе наступили тишина и спокойствие. Семейство Бачей вело себя так, как будто оно только что проснулось и еще не вполне понимает, где это все происходит — во сне или наяву. Все были очень предупредительны, даже нежны друг с другом. Вечером пили чай и ели простоквашу. Шутили, разговаривали. Но ни одним словом не касались своего положения, как бы сберегая все свои душевные и физические силы для ближайшего будущего, о котором даже страшно было подумать.

Рано разошлись спать и спали долго, с наслаждением отсыпаясь от всех трудов и волнений и зная, что следующий день не принесет им ничего нового.

На заре Петя почувствовал, что его кто-то тянет холодной рукой за ногу. Он открыл глаза и увидел, что окно распахнуто, а около постели стоит Гаврик. Как видно, солнце еще не встало, но в комнате уже было почти светло, а в окне, откуда лился заревой холодок, виднелась смуглая зелень сада, вишневая полоса утреннего неба и слышались сонные голоса далеких петухов.

— Вставай! — шепотом сказал Гаврик.

— А что? — так же шепотом спросил Петя, ничуть не удивившись, так как давно уже привык к внезапным появлениям своего друга.

— Одевайся и гэть на работу! — сказал Гаврик таинственно и весело, показывая на открытое окно головой.

С этими словами он бесшумно вскочил на подоконник и скрылся в саду.

Петя слишком хорошо знал Гаврика: он сразу понял, что это не баловство, а какое-то дело. Он быстро оделся и, ежась от утренней свежести, вылез в окно.

В саду слышались голоса. Петя обошел дом и увидел под черешнями каких-то людей. Слышался стук топора, повизгиванье пилы. Вдалеке прошел незнакомый парень, неся на плече грубую, новую лесенку, по-видимому только что сколоченную из горбылей. Другая такая же лесенка уже была прислонена к дереву, и на верху ее стояла босая девочка, держась одной рукой за ветку, согнутую под тяжестью желтой черешни, а другой засло-

няясь от солнца, которое только что вышло из моря и било в глаза слепящими, но еще холодными лучами.

— Петя, идите сюда! — закричала девочка.

Петя узнал Мотю.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он подходя.

— Вашу фрукту собираю! — ответила девочка весело, и Петя заметил корзину, висевшую на ее локте.— А вы нас совсем забыли,— прибавила она, вздохнув.— Никогда к нам не зайдете на Ближние Мельницы.

У нее на ушах висели в виде сережек черешни, отчего она показалась Пете еще более хорошенькой, чем раньше.

— Вот видите,— продолжала она смеясь, проворно обрывая ягоды и бросая их вместе с листиками в корзинку,— мы уже здесь работаем больше часу времени, а вы только еще открыли свои глазки. Нельзя быть таким ленивым! Вас за это бог накажет.

И она так громко засмеялась, что даже поскользнулась.

— Ой, держите меня, падаю! — крикнула она, но удержалась, и на Петю из корзины посыпались черешни.

— Нет, кроме шуток, что здесь происходит? — спросил Петя.

— Будто вы сами не видите,— ответила Мотя.— Ваши знакомые пришли снимать урожай, чтобы он даром не пропал.

Петя оглянулся по сторонам. Всюду — под деревьями и на деревьях — мелькали люди, более или менее знакомые ему по Ближним Мельницам. Среди них Петя с удивлением узнал дядю Федю, Синичкина, старого железнодорожника, девушку-учительницу и еще кое-кого из гостей и постоянных посетителей Терентия. Были здесь также Мотин брат Женька со своими приятелями — ближнемельничными мальчишками, которые сидели на деревьях, как обезьяны, с удивительной ловкостью и быстротой наполняя черешнями свои картузы, лукошки и ящички из-под ирисок. Всюду мелькали белые босые ноги, загорелые руки, цветные ситцевые рубахи. Слышались звонкие голоса, смех, шутки, прибаутки.

Не успел еще Петя как следует понять смысл этого веселого нашествия, как к нему подбежал Гаврик, неся на плече ворох старых мешков и рогож.

— Держи, хватай, раскладывай под деревьями! —

сказал он, запыхавшись, и бросил Пете на руки несколько мешков.

Чувствуя, что происходит что-то очень хорошее, и невольно поддаваясь общему бодрому, веселому настроению, Петя стал проворно раскладывать под деревьями мешки, ползая вокруг них на коленях и старательно разглаживая ладонями складки.

Скоро на них из корзинок, картузов и передников с мягким стуком посыпалась крупная, спелая черешня.

Когда разбуженная непонятным шумом тетя вышла из дома, то сначала ей показалось, что мадам Стороженко уже вступила во владение усадьбой и это ее молодцы грубо и бесцеремонно грабят сад. Хотя она успела примириться с мыслью, что это неизбежно, однако теперь, увидев, как чужие люди на ее глазах рвут черешню, она побледнела и крикнула слабым голосом:

— Как вы смеете! Кто вам позволил! Разбойники!

— Не-е-ет, что вы! — даже не сказал, а как-то вкрадчиво-нежно пропел Гаврик, который как раз в это время проходил мимо тети, волоча за собой лестницу.— Это все свои, наши, с Ближних Мельниц. Вы, Татьяна Ивановна, не беспокойтесь. Ни одна ягодка не пропадет — за это я вам ручаюсь чем хотите. Ну конечно, может быть, кто-нибудь одну-две и положит нечаянно себе в рот — так ведь это же ничего не составляет! Вы же сами видите, какой шикарный урожай. Дай бог каждому на пасху! Вы за него возьмете в розницу не меньше, как по три карбованца за пуд. А этой старой базарной шкуре вот! — И Гаврик показал в пространство кукиш.

— Постой, ты мне все-таки объясни...— сказала тетя, всматриваясь в сердитое, решительное лицо Гаврика и стараясь понять, что все это значит.

— Вы на нас, конечно, не серчайте, что мы вас не спросили,— сказал Гаврик,— но где ж там было спрашивать, когда теперь, как говорится, один день целый год кормит. Упустишь время — не воротишь. А нам еще пришлось горбыли доставать, мешки, рогожи и всякую такую ерунду. А что? Может быть, нет? Или, скажете, лучше, чтобы эта базарная шкура сделала с вас нищих? Да никогда этого не будет в жизни! Хватит! Насосались нашей крови! Прошло то время, когда мы стояли перед ними, как бараны...

Тетя смотрела на Гаврика, на его воинственную фигуру, на его по-мальчишески облупленный нос и по-мужски серьезные, сердитые глаза, которые объяснили ей все гораздо лучше, чем слова.

Может быть, она еще и не понимала всего, но, во всяком случае, поняла главное: им на помощь пришли хорошие люди с Ближних Мельниц, и теперь снова появилась надежда на спасение. В тете сразу заговорила хозяйка.

Она наскоро повязала голову платком и побежала под деревья, всюду наводя порядок. Она приказала перетащить мешки и рогожи так, чтобы не приходилось слишком далеко бегать, велела ссыпать черешню строго по сортам, весело прикрикнула на мальчишек, чтобы они поменьше ели, а побольше собирали, послала Гаврилу принести несколько ведер воды для питья, а потом сама полезла по лесенке на дерево, надела на уши черешни и, во весь голос запев украинскую песню «Солнце нызенько», стала проворно обрывать ягоды, бросая их в старую шляпную картонку.

Ах, какой это был чудесный, горячий денек! Давно уже Петя не испытывал такого прилива бодрого, веселого счастья. Правда, ему не досталось лестницы и не пришлось рвать черешни с дерева, что, конечно, было наиболее интересно. Но бегать внизу под деревьями оказалось тоже совсем не плохо. То и дело из шумящей листвы к нему опускалась полная, тяжелая корзинка, он ее подхватывал, высыпал содержимое в кучу и, уже легкую, почти невесомую, возвращал назад, подбрасывая ее головой, а сам бежал к другому дереву, где его уже ожидала новая тяжелая корзинка.

Руки сладко ныли от этой беспрерывной гимнастики, и было необыкновенно приятно видеть, как на глазах растет куча темных, лакированных ягод, живописно перемешанных с листьями, по которым ползали осы.

Петя обслуживал десять деревьев. Почти каждую минуту его кто-нибудь звал, чтобы передать наполнившуюся корзинку. Но чаще всего слышался голос Моти:

— Петя, идите сюда, у меня уже! Где вы там болтаетесь? Нельзя быть таким ленивым! Держите!

Нежная рука в розовом ситцевом рукаве опускала сверху тяжелую корзинку, и сквозь листву Петя видел

раскрасневшееся лицо Моти с черешневой косточкой в губах. К полудню все устали, и Гаврик прошел под деревьями, покрикивая солидным голосом:

— Бросай, пошабашили на обед!

И тут Петя вдруг совсем близко увидел Марину и ее мать. Они шли прямо к нему, обнявшись как подруги, и судя по тому, что их уши были обвешаны черешнями, а в руках они держали корзинки, Петя мог заключить, что они тоже вместе со всеми убирали урожай.

При виде мадам Павловской Петя порядком-таки струхнул: а вдруг она догадалась, кто шумит по ночам в полыни и бросает в окна любовные секретки? Еще, чего доброго, надерет уши! Она ему в первый раз показалась такой неприязненно-строгой. Но теперь, с черешнями на ушах и в стареньком домашнем платье, она имела вид самый добродушный. А Марина улыбалась с откровенным удовольствием; на ее лице не было и следа того неприступно-презрительного выражения, с которым не так давно она сказала Пете ужасное слово «болтун».

— Доброе утро! — сказал Петя смущенно и, желая произвести на Маринину маму самое благоприятное впечатление, даже шаркнул ногой, что вышло довольно глупо, так как он был босиком. Но на это не обратили внимания.

— Вы совершенно правы. Нынче действительно на редкость доброе утро,— с какой-то глубокой, серьезной улыбкой сказала Маринина мама.— Не правда ли, Петя?.. Вас ведь, кажется, зовут Петя?

Она рассматривала его с любопытством, так как догадывалась, что это именно он бросал ее дочке по ночам в окна секретки. А Марина невинно посмотрела на Петю исподлобья и сказала как ни в чем не бывало:

— Давно с вами не виделись.

Она явно его задевала. Тут бы Пете и блеснуть каким-нибудь великолепным печоринским ответом, но вместо этого он сумрачно пробормотал:

— Это зависит не от меня.

— А от кого же? — капризно сказала Марина и, повернувшись к Пете боком, стала крутить пальцами тугую каплю клея, выступившего на коре черешни, под которой они стояли.

— Вы сами знаете, от кого,— с нежным упреком отве-

тил Петя и сам испугался, так как это уже было почти объяснение в любви.

Но как раз в это время подошла тетя и вывела племянника из затруднительного положения:

— Ах, это вы? Наконец-то! Вы упорно нас избегаете. Нельзя же, в самом деле, быть такой затворницей! На то и дача, чтобы наслаждаться природой, дышать морским воздухом, гулять в саду. Все это к вашим услугам, а вы по целым дням сидите взаперти,— защебетала тетя, сразу впадая в тот несколько жеманный, светский тон, в котором, по ее мнению, должна разговаривать интеллигентная хозяйка пансиона со своими интеллигентными жильцами.— Но, боже мой, что я вижу? — всплеснула тетя руками.— У вас корзинки! Неужели вы тоже пришли нам помочь? Это так мило, так любезно с вашей стороны! Не буду от вас скрывать, но мы очутились в ужасном положении. Такой богатый урожай, но с нашей непрактичностью... Как интеллигентный человек вы это должны понять...

— Да, да,— холодно сказала мадам Павловская.— Хотя и маленький, но типичный случай, очень ярко характеризующий процесс концентрации торгового капитала. По-видимому, эта самая Стороженко... или я не знаю, как ее там зовут... уже является на местном фруктовом рынке полной монополисткой и теперь всякими правдами и неправдами уничтожает всех своих более слабых конкурентов. С вашей стороны было весьма наивно, что вы это не сразу поняли. Сильные поглощают слабых — таков закон исторического развития капитализма.

Тетя с испугом слушала Павловскую. Оказывается, она прекрасно осведомлена обо всех их делах, несмотря на то что все время сидит дома и никуда не показывается. Из всех ее слов тетя поняла только то, что это что-то очень политическое, а мадам Павловская опасный человек. Но все же тетя сделала попытку вернуть разговору светский характер.

— Вы совершенно правы,— сказала она.— А мадам Стороженко — это прямо-таки монстр. Грубое, невоспитанное животное, которому совершенно не место в приличном обществе.

Павловская нахмурилась:

— Мадам Стороженко прежде всего дрянь, с которой надо бороться.

— Да, но каким образом? — сказала тетя, брезгливо пожимая плечами.— Не подавать же на нее мировому! Слишком много чести!

Павловская внимательно посмотрела на тетю и вдруг улыбнулась так, как улыбаются детям, когда они задают наивные вопросы.

— Мировому? Вы меня умиляете,— сказала она и засмеялась сухим, недобрым смехом.

Тетя смотрела на эту маленькую женщину с умным, насмешливым, решительным лицом, на ее вздернутый, упрямый подбородок, на темные усики над верхней губой и чувствовала, что она принадлежит к какому-то совсем другому, особому миру, непонятному, но притягательному.

«Вы социал-демократка?» — хотела спросить тетя, но вместо этого вдруг обняла Павловскую и совсем поинститутски воскликнула:

— Душечка, вы мне ужасно нравитесь!

— Уж не знаю чем,— серьезно ответила Павловская, но было заметно, что тетя ей тоже нравится.

По-видимому, Павловская с самого начала составила себе о семействе Бачей не совсем верное представление. Она думала, что это обыкновенные арендаторы, промышляющие дачей и фруктовым садом, а они оказались наивными, не приспособленными к жизни людьми, попавшими в беду.

Натянутость исчезла, они разговорились. И хотя Павловская по-прежнему держала себя весьма сдержанно, но тетя, со свойственной ей живостью воображения, уже через пять минут довольно точно представила, что, собственно, происходит на хуторке.

Она поняла, что это не просто пришли поденные рабочие, которых привел Гаврик с Ближних Мельниц, а это всё люди, связанные между собой какими-то общими интересами и, что самое удивительное, хорошо знакомые с Павловской. И было похоже, что во всем этом есть какой-то тайный умысел.

51

ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ!

Петя и Марина шли по аллее, делая вид, что очень заняты своими мыслями, а на самом деле просто не зная, о чем говорить, а главное, с чего начать.

— Вы на меня сердитесь? — спросила Марина, и, так как Петя продолжал угрюмо молчать, она осторожно поцарапала ноготком по его рукаву и сказала: — Не надо сердиться. Лучше будем друзьями. Хотите?

Петя искоса посмотрел на нее и сразу понял, что она хитрит. Она вызывает его на объяснение. Она хочет, чтобы он сказал: «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной». И тогда она его сразу поймает. Нет, матушка, стара штука! Не на такого напала! И Петя снова промолчал.

— Чего ж вы молчите? — спросила она, стараясь заглянуть ему в лицо.

— Так,— сказал Петя многозначительно. Дескать, понимай как знаешь.

Она вздохнула и вдруг спросила, понизив голос, почти шепотом:

— Вы без меня скучали?

— А вы? — спросил Петя, не слыша собственного голоса.

— Я скучала,— ответила она и опустила голову так низко, что с ее ушей посыпались черешенки.

Она стала их в смущении подбирать.

— Вы мне даже один раз снились,— сказала она и покраснела.

Петя не поверил своим ушам. «Что это? — с беспокойством подумал он.— Кажется, она объясняется мне в любви?» О таком счастье Петя не смел даже мечтать. Но теперь, когда она так робко и так правдиво сказала эти волшебные слова — «я скучала» и «вы мне снились», Петя вдруг почувствовал громадное облегчение, даже разочарование. Ну, слава богу! Еще минуту назад она казалась ему недостижимой, а теперь перед ним стояла хотя и довольно миленькая, но все-таки самая обыкновенная девочка, не имевшая ничего общего с той Мариной, которую он так безнадежно и так мучительно любил.

— А я вам когда-нибудь снилась? — спросила она.

Петя почувствовал, что наступила решительная минута: от его ответа зависел дальнейший ход романа. Сказать: «Да, снились»,— было все равно, что признаться в любви. Тогда что же получается? Он ей снился, она ему снилась. Она его любит, он ее любит. Взаимная любовь.

Именно то самое, к чему он так стремился. Это, конечно, очень заманчиво, но не слишком ли быстро? Так все хорошо, интересно налаживалось, роман только еще начинал по-настоящему разворачиваться, как вдруг ни с того ни с сего — взаимная любовь!

Конечно, она сразу избавляла Петю от множества хлопот и неприятностей, вроде бессонных ночей, ревности, сиденья в мокрой полыни и бросания в окно секреток. И в этом было ее громадное преимущество. Но что же дальше? Оставалось одно — целоваться. При мысли об этом Петю бросило в жар. Нет, нет, что угодно, но только не это!

А Марина стояла, прислонившись к лестничке под черешней, смотрела на него потемневшими глазами и облизывала потрескавшиеся, даже на вид горячие губы, от которых Петя не мог отвести глаз.

— Что же вы молчите? — сказала она с настойчивым нетерпением голосом заклинательницы змей.— Я вам снилась?

Она опять явно забирала над ним верх. Еще секунда — и Петя уже готов был сказать покорным шепотом: «Снились», но дух отрицания и сомнения все-таки восторжествовал.

— Как это ни странно, но, представьте себе, не снились,— сказал Петя с косой, напряженной улыбкой, показавшейся ему самому ледяной и в высшей степени печоринской.

Она опустила ресницы и слегка побледнела.

«Ага, голубушка! — подумал Петя с торжеством.— Не на такого напала».

Ему ее совсем не было жалко. Теперь, когда он взял над ней верх, она ему уже не так нравилась.

— Вы правду говорите? — спросила она, подняла глаза и с притворным вниманием стала рассматривать крону дерева, под которым они стояли.

Пете даже показалось, что она мимолетно улыбнулась, как будто увидела на дереве что-то забавное. Но Петю уже не могло обмануть это маленькое лукавство.

— Понимаете,— сказал Петя, вовсе не желая доводить дело до разрыва,— вы мне не то чтобы не снились, а просто я вас не видел во сне.

— Как это? — спросила она с любопытством и опять

улыбнулась дереву, даже как бы исподтишка ему подмигнула.

— Очень просто,— ответил Петя.— Видеть во сне — это одно, а сниться — совершенно другое. Неужели вы не понимаете? Сниться-то вы мне снились,— мало ли что человеку снится! Многое снится. А вот специально видеть во сне кого-нибудь одного — это совсем другое дело.

— Не понимаю,— сказала она, прикусив губу.

— Сейчас вам объясню. Видишь во сне — это когда... ну как бы вам объяснить... когда... ну, любишь, что ли. Вы, например, когда-нибудь кого-нибудь любили? — сев на своего конька, строго спросил Петя.

— Любила. Вас,— быстро ответила Марина.

Петя самодовольно поморщился.

— Я не верю в женскую любовь,— сказал он разочарованно.

— Напрасно! А вы кого-нибудь любили? — спросила она и не могла задать более приятного вопроса. Как глупая мышь, она сама лезла в мышеловку, так ловко и незаметно поставленную Петей.

— На такие вопросы не отвечают,— сказал Петя,— но вам я скажу, потому что считаю вас своим другом. Ведь мы с вами друзья, не правда ли?

— Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной,— сказала Марина.

— А я верю! — с досадой сказал Петя. Она положительно начинала его раздражать, потому что почти все время говорила именно то, что должен был говорить он. Можно подумать, что она никогда не читала романов.

— Напрасно,— заметила она.— Но вы мне, кажется, что-то хотели сказать?

— Я вам хотел сказать... даже, собственно, не сказать, а рассказать... Ну, можно и сказать... Только, конечно, как другу, потому что об этом никто не знает и никогда не узнает.— Петя стал несколько боком и повесил голову.— Я любил,— сказал он с грустной улыбкой.— Собственно, я и сейчас люблю... Но это не имеет значения...

— А она вас?

— Ах, даже больше, чем я ее! Я ее просто люблю. А она влюблена. И вот, вообразите себе, однажды мы с ней пошли в степь собирать подснежники. Был чудесный весенний вечер...

— Знаю,— с живостью сказала Марина.— Это Мотя, да?

— Откуда вы знаете?

— Не важно откуда, а знаю. Не понимаю, что вы в ней нашли особенного? — с легкой гримаской сказала Марина.— И вы ее действительно любите?

— Представьте себе,— пожимая плечами, сказал Петя.— Сам не понимаю, как это случилось. Ничего особенного собой не представляет, просто смазливенькая мордашка, и вот...

В листве над головой послышался шорох, и с дерева упала черешенка, которую, вероятно, оторвал и уронил скворец.

— Кш-ш-ш! — махнул Петя рукой.

— Ах, вот что! — сказала Марина ревниво.— Значит, вы любите ходить в степь собирать подснежники? Ну и что же там было? Вы, конечно, целовались?

— На такие вопросы не отвечают,— уклончиво сказал Петя.

— Вы мне должны открыть как другу. Я требую! — сердито сказала Марина и даже топнула ногой.

«Ага, голубушка, ревнуешь! — подумал Петя.— Погоди, то ли еще будет!»

— Говорите сейчас же — целовались или не целовались? А то я сию минуту уйду, и мы больше никогда не увидимся! Слышите? Ни-ко-гда! — Ее глаза грозно сверкнули.

В эту минуту она была дивно хороша, и Петя, небрежно пожав плечами, сказал:

— Ну пожалуйста. Конечно, целовались.

— Ай, как не стыдно, как не стыдно! — сказал над головой Мотин голос, и в ту же минуту раскрасневшаяся Мотя скользнула с дерева в ромашки и стала прыгать на одной ноге вокруг Пети, приговаривая: — А я не знала, что вы такой брехунишка! А я не знала, что вы такой брехунишка!

— Молодец Мотька, что раньше времени не засмеялась! — кричала Марина, хлопая в ладоши.

— А я себе все время рот зажимала руками,— сказала Мотя, не переставая прыгать вокруг Пети: — Брехунишка, брехунишка!

Петя готов был провалиться сквозь землю.

— Ах, так? — грозно сказала Марина.— Значит, вы целовались? — С этими словами она вплотную подошла к Пете, ловко намотала на палец прядь его волос и с силой потянула.

— Больно! — крикнул Петя.

— А мне не больно? — сказала Марина.

И, несмотря на весь ужас своего положения, Петя не мог не оценить этот великолепный ответ, взятый непосредственно из «Первой любви» Тургенева.

Вдруг Марина засмеялась своим загадочным, русалочьим смехом и с чисто женской непоследовательностью сказала:

— Слушай, Мотька, давай его просто побьем?

— Давай! — сказала Мотя, и обе девочки с опасным хохотом бросились на Петю.

Но, сделав ловкое движение, он ушел у них из-под рук и стремглав понесся куда глаза глядят, мелькая голыми пятками.

Девочки побежали за ним. Он слышал за собой их веселые, насмешливые крики. Они его догоняли. Тогда Петя решил применить известный фокус: неожиданно упасть на землю под ноги своим преследователям. Однако он поторопился. Он бросился ничком и стал на четвереньки слишком рано, не подпустив девочек достаточно близко. Он стоял на четвереньках, имея весьма глупый вид, а девочки не торопясь подбежали, сели на него верхом и стали тузить.

Это было не больно, но очень унизительно.

— Лежачего не бьют! — жалобно простонал Петя.

Тогда они, злорадно пыхтя, стали его щекотать. Он визгливо захохотал. Тут на помощь другу пришел, откуда ни возьмись, налетевший Гаврик.

— Двое на одного! Не по правилам! Наших бьют! — закричал он и упал сверху на девочек.— Мала куча! Куча мала!

На этот призывный клич со всего сада в одну минуту сбежались Павлик, Женька и все мальчишки и девчонки Женькиной компании, так что скоро под деревьями уже шевелилась, пыхтела, хохотала, визжала громадная «куча мала».

52
ТЕРЕНТИЙ СЕМЕНОВИЧ

В этот день Василий Петрович проснулся очень поздно. Он спал всю ночь как убитый — тяжелым сном измученного, смертельно усталого человека, без сновидений, без мыслей, без чувств.

Проснувшись, он еще долго лежал на своей парусиновой раскладушке, повернувшись лицом к стене с закрытыми глазами, и все никак не мог представить, что же теперь с ними будет.

Наконец он заставил себя встать, одеться и выйти в сад. Он увидел разостланные под деревьями мешки и рогожки с грудами черешни, множество знакомых и незнакомых людей, которые, стоя на лестничках и сидя на ветвях, снимали урожай; он увидел пасущихся лошадей и две неизвестно откуда взявшиеся платформы; и наконец он увидел тетю, которая шла к нему навстречу мелкой энергичной походкой и оживленно улыбалась.

— Ну, Василий Петрович, кажется, все устраивается как нельзя лучше!

— О чем вы говорите? — спросил он монотонным, ничего не выражающим голосом. На его лице появилась странная улыбка, поразившая тетю своей лунатической неподвижностью.— О чем вы говорите? — повторил он рассеянно.

— Ах, боже мой, о чем же я еще могу говорить, как не о нашем урожае, как не о наших черешнях! — весело ответила тетя.

Но, услышав слово «черешни», Василий Петрович вздрогнул как ужаленный.

— Нет, нет! Только ради бога! — простонал он.— Ради бога, ради бога, избавьте меня от этого... от этого мученья...

— Да вы меня выслушайте,— мягко сказала тетя.

— Не буду! Не хочу! Не желаю! Лучше носить в порту мешки! — закричал Василий Петрович мучительным голосом и без оглядки побежал в дом, нелепо размахивая руками и спотыкаясь.

— Выслушайте меня, по крайней мере! — крикнула ему вслед тетя.

Но он промолчал, не желая ничего понимать, кроме

того, что все это, наверно, опять какие-то глупые фантазии и что они бесповоротно пропали.

Он опять лег на свою раскладушку лицом к стене, страстно желая лишь одного, чтобы его больше не трогали.

И тетя больше его не трогала, зная, что все равно это ни к чему не приведет. Все сделалось без участия Василия Петровича, в течение двух дней.

Уезжали и приезжали платформы. Фыркали лошади. Скрипели корзины. Вечером в степи горели костры, и оттуда вместе с дымком доносился вкусный запах кулеша и печеной картошки. Слышались песни. И во всем этом чувствовалось что-то бодрое, праздничное. Это и впрямь был какой-то праздник веселого, свободного труда.

Но ничего не замечал или, вернее, не хотел замечать Василий Петрович. Он испытывал мучительное, безвыходное состояние доверчивого человека, который вдруг увидел, что его все время грубо обманывали. Он понял, что обманут жизнью.

Оказывается, он все время жил в мире иллюзий. И самая опасная из них была та, что он считал себя свободной, независимо мыслящей личностью. А он, в действительности, вместе со всеми своими прекрасными, возвышенными мыслями, вместе со своей божественно-чистой душой и благородным сердцем, со своей любовью к родине и народу, был не более чем рабом, таким же самым рабом, как миллионы других русских людей — рабов церкви, государства и так называемого общества.

Едва он сделал слабую попытку быть честным и независимым, как на него сразу обрушилось государство в лице попечителя учебного округа Смольянинова, а затем «общество» — в лице Файга, а когда он, для того чтобы сохранить свободу и независимость, решил жить «трудами своих рук» и зарабатывать свой хлеб «в поте лица», то оказалось, что и это тоже невозможно, потому что этого не желает мадам Стороженко.

Бóльшую часть времени Василий Петрович лежал на раскладушке. Но теперь он уже не поворачивался лицом к стенке. Он лежал на спине, скрестив на груди руки, и неподвижно смотрел в потолок, где сияли зеленые отражения сада. Его челюсти были крепко стиснуты, и гневная морщина косо рассекала красивый, лепной лоб.

На третий день утром тетя негромко, но довольно решительно постучала в дверь его комнаты:

— Василий Петрович, на одну минуту.

Он вздрогнул, вскочил, сел на раскладушке:

— Что? Что вам угодно?

— Выйдите на террасу.

— Зачем?

— Есть важное дело.

— Прошу избавить меня от каких бы то ни было важных дел.

— Нет, я вас все-таки очень прошу.

В голосе тети Василий Петрович уловил какую-то новую, серьезную интонацию.

— Хорошо,— глухо сказал он,— я сейчас.

Он привел себя в порядок, надел сандалии, сполоснул лицо, причесал волосы мокрой щеткой и вышел на террасу, готовый ко всему самому неприятному и унизительному.

Но вместо судебного пристава, околодочного, нотариуса или чего-нибудь вроде этого он увидел довольно толстого, средних лет человека в парусиновом пиджаке, по-видимому мастерового, который, держа в зубах маленький кусочек сахару, пил чай из блюдца, поставленного на три пальца. По его красному, распаренному лицу, побитому оспой, струился пот, и, судя по той милой, дружеской улыбке, с которой на него смотрела тетя, это был очень хороший человек.

— Вот, пожалуйста, познакомьтесь,— сказала тетя.— Это Терентий Семенович Черноиваненко, с Ближних Мельниц, тот самый, у которого жил Петя и стоит наша мебель.

— В общем, родной брат Гаврика, дружка вашего Петьки,— сказал Терентий и, осторожно поставив блюдце на стол, протянул Василию Петровичу свою большую, тяжелую руку.— Рад с вами познакомиться. Много о вас наслышан.

— Вот как? — сказал Василий Петрович, присаживаясь к столу и принимая свою обычную «учительскую» позу, то есть закладывая ногу на ногу и покачивая в свободно откинутой руке пенсне на черном шнурке с шариком.— Нуте-с, нуте-с, очень любопытно узнать, что именно вы обо мне слышали, в каком, так сказать, роде?

— Да вот, как вы сначала не поладили с начальством из-за графа Толстого, а потом не поладили с Файгом из-за дурака Ближенского,— со вздохом сказал Терентий,— ну и так далее. Что ж, вы, конечно, поступили вполне правильно, и мы вас за это можем только уважать.

Василий Петрович насторожился.

— Кто это «мы»? — спросил он.

Терентий добродушно усмехнулся:

— Мы, Василий Петрович,— это, стало быть, простые рабочие люди. Ну народ, что ли...

Василий Петрович насторожился еще больше. В этих словах он явно почувствовал «политику». Он с тревогой посмотрел на тетю, так как все это, несомненно, была опять какая-то ее новая и, быть может, даже опасная фантазия. Но тут он вдруг заметил на столе стопочку бумажных денег — зеленых трешек, синих пятерок и розовых десяток, аккуратно разложенных и перевязанных нитками.

— Это что за деньги? — испуганно спросил он.

— Представьте себе,— со скромной улыбкой скрытого торжества сказала тетя,— урожай черешни реализован, а это наша выручка.

— Шестьсот пятьдесят восемь рубликов чистой прибыли! — сказал Терентий, потирая руки.— Так что вы теперь живете!

— Позвольте,— не веря своим глазам, воскликнул Василий Петрович,— как же все это произошло? А лошади? А платформы? А... как это?.. франко привоз, что ли?

— Будьте спокойны,— сказал Терентий,— у нас фирма солидная. Для хороших людей все можем достать: и лошадок, и платформы, и упаковку. На то мы, как говорится,— пролетарии. Всё в наших руках, Василий Петрович. Не так ли?

Хотя слово «пролетариат» и принадлежало к самым опасным словам, от которых пахло уже не просто политикой, а самой настоящей революцией, но оно было сказано Терентием так просто, так естественно, что Василий Петрович принял его как должное, без малейшего внутреннего сопротивления.

— Так, значит, все это устроили вы? — спросил он,

надевая пенсне и глядя на Терентия повеселевшими глазами.

— Мы! — ответил Терентий с оттенком гордости и так же весело посмотрел на Василия Петровича.

— Наш спаситель! — сказала тетя.

Затем она весьма подробно и с большим юмором стала рассказывать, как происходила продажа черешни. Оказывается, черешню возили на платформах по всему городу и продавали в розницу, и она имела громадный успех: ее брали буквально нарасхват, иногда даже целыми корзинами, в особенности белую и розовую; черная шла немного похуже.

— И вообразите себе,— говорила тетя, морща нос и блестя глазами,— наш Павлик торговал лучше всех.

— Как? — нахмурился Василий Петрович.— Павлик торговал черешней?

— Конечно,— сказала тетя,— все торговали. Вы думаете, я не торговала? Я тоже торговала. Надела старую шляпку а ля мадам Стороженко, села на козлы рядом с возчиком и торжественно ездила по всем улицам. Ну, а разве можно было удержать детей? Решительно все торговали: и Петя, и Мотя, и Марина, и маленький Женька.

— Позвольте...— строго сказал Василий Петрович.— Мои дети торговали на улицах города черешней? То есть я не вполне вас понимаю...

— Ах, боже мой, да очень просто: сидели на платформах, ездили и кричали: «Черешня! Черешня!» Ведь надо же было кому-нибудь кричать. Вы представляете, какое это было для них удовольствие! Но Павлик, Павлик! Он меня буквально потряс. Он кричал лучше всех. Вы знаете, я никогда не думала... У него голос прямо как у Собинова. И такая артистическая манера, а главное, такое тонкое понимание розничного покупателя... Он отлично знал, с кого надо запрашивать, а кому уступать.

— Нет, это просто черт знает что! — пробормотал Василий Петрович и уже готов был не на шутку рассердиться, но вдруг ясно представил себе, как его Павлик голосом Собинова поет на всю улицу: «Черешня! Черешня!» — и под его усами невольно поползла улыбка. Он смахнул с носа пенсне и залился добродушным учительским смешком: — Хе-хе-хе-хе! — Однако он смеялся недолго, снова нахмурился и со вздохом сказал: — Хотя

все это не так смешно, как грустно. Впрочем... с волками жить — по-волчьи выть...

— Вот это правильно,— сказал Терентий,— хотя и не совсем. С волками надо не жить, а с волками надо бороться. А то они нас с вами съедят, только останутся рожки да ножки. Возьмите эту самую старую базарную шкуру мадам Стороженко — извините, что я при вас так грубо выражаюсь,— ведь она вас чуть не раздела и не слопала со всеми вашими потрохами. Хорошо еще, что мы в это дело вовремя вмешались, не опоздали.

— Да,— сказал Василий Петрович,— не знаю, как вас и благодарить... Вы нас буквально спасли от нищеты. Спасибо! Большое вам спасибо!

— Из вашего спасибо шубы не сошьешь,— с грубоватой улыбкой сказал Терентий.

Василий Петрович растерянно посмотрел на тетю. Он не понимал, что следует сделать. Может быть, предложить Терентию денег? Но Терентий, видимо, сразу прочитал его мысли.

— Да нет, тут не в грошах дело,— сказал он.— Мы вам помогли просто... как бы это сказать... по-соседски. Из солидарности. Ну и, конечно, чтобы не дать хорошего человека в обиду. А теперь помогайте трошки и вы нам.

Терентий упорно говорил «мы», но теперь это Василия Петровича почему-то уже не так пугало.

— Чем же я вам могу помочь? — спросил он с любопытством.

— А вот чем,— сказал Терентий и, вынув свернутый носовой платок, вытер свое большое, добродушное лицо и круглую, коротко остриженную голову, с атласным шрамом на виске.— Есть у нас тут небольшой кружок самообразования, что-то вроде воскресной школы. Читаем, знаете ли, различные брошюры, книжки, газеты. По мере сил занимаемся политической экономией. Все это так,— Терентий вздохнул,— но не хватает нам, дорогой Василий Петрович... как бы выразиться... общих знаний. Ну, там история, география... Как произошла жизнь на Земле... и так далее... Как вы на это смотрите?

— То есть вы хотите, чтобы я вам прочел несколько популярных лекций? — спросил Василий Петрович.

— Вот именно. Да и по русской литературе тоже не мешает. Пушкин, Гоголь, граф Толстой... В общем, что

найдете возможным, вам виднее. Ну, а уж мы вам за это поможем по саду. Черешни у вас, слава богу, прошли благополучно, а ведь впереди еще вишни, яблоки, груши. Виноградничек есть. Правда, небольшой, но тоже потребует немало труда. Сами вы это не осилите. Вот и выйдет: вы — нам, мы — вам.

Василий Петрович уже примирился с мыслью, что его педагогическая деятельность кончена, но теперь вдруг в его душе вспыхнула такая радость, что в первую минуту ему трудно было с ней совладать. Он даже быстрым жестом потер руки, блеснул по-учительски стеклами пенсне: «Нуте-с, нуте-с...» Но, вспомнив все муки и унижения, связанные для него с учительством, быстро погас.

— Ах, нет! — сказал он.— Нет, нет! Только не это! Хватит с меня! — На лице его появилось умоляющее выражение, и он затрещал пальцами.— Ради бога, только не это! Я дал себе слово... Да и какой я педагог, если меня отовсюду... выгнали? — произнес он с горечью.

— Бог с вами, Василий Петрович, что вы говорите! — ужаснулась тетя.

— Они вас не выгнали, а они вас съели,— сказал Терентий.— Вы этим господинчикам стали поперек горла, и они вас, просто говоря, съели, а совсем не что-либо другое. Мы им тоже стали поперек горла, только нас, брат, не слопаешь. Не по зубам кость. Они нас даже в пятом окончательно не одолели. А уж теперь, в двенадцатом, и подавно. А вы говорите! — прибавил Терентий укоризненно, хотя Василий Петрович ничего и не говорил, а только искоса смотрел на него, стараясь понять, какая может быть связь между пятым годом, двенадцатым годом и его судьбой, которая сложилась так ужасно.

— Нет,— сказал он уже не так решительно,— все то, что вы говорите, может быть, до известной степени и справедливо, но только мне от этого не легче...— Он еще хотел прибавить, что лучше пойдет в порт таскать мешки, но почему-то промолчал, а только выставил вперед бороду и сказал: — Вот таким образом.

— Ну-к что ж,— сказал Терентий.— Как говорится, вольному воля. Только я думаю, что вы это решаете неправильно. Как это может быть, чтобы учитель вдруг перестал учить? По какому такому случаю? Мало ли что вы там не сошлись с попечителем Смольяниновым и с ха-

барником Файгом! Это не народ. А народ у нас, вы сами знаете, еще очень темный. Его надо просвещать. Рабочему классу не хватает образованных людей. А где мы их возьмем, если это нам не по средствам? Кто нам поможет, как не вы? Мы вам помогли, вы нам помогите. Надо, Василий Петрович, жить по-соседски. От нас до вас не так далеко. Те же пролетарии. Отсюда до Ближних Мельниц по прямой линии через степь версты три, не больше. Ну так как же, а? — Терентий ласково посмотрел на Василия Петровича.— Вам и ходить к нам не придется. Сами придем, только прикажите. В субботу вечерком после работы, а то и в воскресенье. Мы вам и деревья окопаем, и сад польем, и виноградником займемся, а вы с нами малость позанимайтесь. На свежем воздухе, под деревьями, на травке или где-нибудь в степи, в укромном местечке — хорошо! Тем более что на Ближних Мельницах у нас за последнее время совсем не стало житья от полиции. Чуть народ соберется в хате или где-нибудь поговорить, почитать книжку или что-нибудь — сразу налет, обыск, шум, и пожалуйте в участок. А здесь у вас чистая благодать. Если даже кто и нагрянет, то — пожалуйста, сделайте одолжение: люди работают в саду, картина обыкновенная.

Терентий говорил мягко, почти нежно, почтительно, иногда касаясь рукава Василия Петровича двумя пальцами с такой деликатностью, как будто снимал пушинку. И чем больше он говорил, тем больше нравилась Василию Петровичу идея этой воскресной общеобразовательной народной школы на чистом воздухе, под открытым небом. Это было именно то, чего ему так не хватало: свободный физический труд, одухотворенный свободными науками. Пока Терентий его уговаривал, Василий Петрович уже мысленно составлял план своих первых лекций. Прежде всего, конечно, популярный очерк всеобщей истории, физическая география... может быть, впоследствии астрономия — великолепная наука о звездах...

— Ну, Василий Петрович, так как же? По рукам, что ли? — спросил Терентий.

— По рукам! — решительно ответил Василий Петрович.

В этот же день тетя съездила в город, уплатила по векселям, и на хуторке началась новая жизнь.

53
СВЕТЛЯЧКИ

В течение пяти дней в неделю жизнь на хуторке ничем не отличалась от старой. По-прежнему семейство Бачей «в поте лица своего» трудилось в саду, окапывая и поливая уже не черешни, а вишни и яблони. Иногда, впрочем, к нему присоединялись и Павловские.

Теперь между Петей и Мариной установились вполне дружеские, даже скучноватые, добрососедские отношения, что, впрочем, не мешало Пете иногда — скорее по привычке, чем по чувству,— бросать на Марину красноречиво-загадочные взгляды, в ответ на которые она чаще всего украдкой показывала язык.

Но каждую субботу после обеда начиналось нашествие с Ближних Мельниц. Появлялись Мотя, Гаврик, Женька. Шел худой и высокий Синичкин, держа под мышкой собственную лопату, аккуратно завернутую в газету. Шагали под деревьями в ногу, как солдаты, знакомый Пете по Ближним Мельницам старик железнодорожник со своим фонарем и матрос дядя Федя с большим медным чайником и караваем флотского житника под мышкой.

Всегда запыхавшись, прибегала со станции конки девушка-учительница, прижимая к груди несколько тощих брошюрок с потрепанными краями.

Приходили и некоторые другие из числа постоянных воскресных гостей Терентия — рабочие,— которых Петя, когда жил на Ближних Мельницах, частенько видел то на улице, то в мастерских, то в палисадниках у хат.

Терентий приходил обычно последним. Он быстро снимал ботинки и пиджак, складывал их под деревом и сразу же начинал командовать:

— А ну-ка, братцы, бросай курить, становись на работу!

Он проворно распределял людей: кого на прополку, кого на окапывание деревьев, кого таскать из цистерны воду, кого поливать, кого на виноградник. Сам тоже брал лопату или сапку. Работали недолго — часа два, не больше. Но за это время успевали сделать гораздо больше, чем семья Бачей за всю неделю. Потом все шли купаться в море, а когда возвращались, то чинно усажива-

лись под деревьями в кружок, и Терентий отправлялся за Василием Петровичем.

— Ну что ж, я готов,— неизменно говорил Василий Петрович, появляясь на террасе в свежевыглаженном чесучовом пиджаке, крахмальной сорочке с черным «учительским» галстуком, в твердых манжетах и шевровых ботинках с узкими носами.

Прямой и строгий, держа под мышкой тетрадку с конспектом своей лекции, к которой готовился несколько дней, он шел пружинистой учительской походкой, а Терентий почтительно нес за ним стул, захваченный на террасе. При появлении Василия Петровича «ученики» пытались вставать, но он быстрым движением ладони заставлял их сидеть и, отстранив стул, сам опускался на траву, как бы желая подчеркнуть особый, свободный и независимый характер занятий.

Впрочем, это была единственная вольность, которую позволял себе Василий Петрович. В остальном он ни в чем не отклонялся от самых строгих академических традиций.

— Итак,— говорил он, искоса заглядывая в конспект,— в прошлый раз, господа, мы с вами познакомились с жизнью первобытного человека, который уже умел добывать огонь, с помощью примитивных каменных орудий охотился на диких животных, но еще не научился возделывать землю и сеять хлеб...

И Петя, который иногда тоже подсаживался в кружок, чтобы послушать лекцию, с удивлением видел перед собой не привычного, домашнего папу, милого, доброго, иногда несчастного, а совсем другого человека — педантичного преподавателя, так ясно и последовательно излагающего свой предмет.

Петя никогда не предполагал, что у отца такой красивый, звучный голос и что его с таким детским вниманием могут слушать все эти взрослые, рабочие люди. Петя заметил, что они его даже боятся. Например, однажды во время лекции дядя Федя, позабывшись, закурил. Тогда Василий Петрович вдруг остановился на полуслове и посмотрел на дядю Федю таким ледяным, неподвижным взглядом, что дядя Федя зажал горящую цигарку в кулак, покраснел, вскочил на ноги, вытянулся и, выпучив глаза, гаркнул по-матросски:

— Виноват, товарищ лектор! Больше не повторится.

— Садитесь,— холодно сказал Василий Петрович и продолжал развивать свою мысль с того самого слова, на котором остановился.

А Терентий из-за его спины показал дяде Феде кулак, и тогда Петя понял, что папа не только сам любит и уважает свое дело, но умеет заставить уважать его и других.

Обычно с субботы на воскресенье все оставались ночевать на хуторке, чтобы, встав пораньше, продолжать работу в саду, поэтому сейчас же после лекций начинали готовить ужин.

Возле шалашей, сложенных из бурьяна и полыни, разводили костер, ставили на него большой чугун — варили кулеш с картошкой и салом. Наступала ночь. Под деревьями было непроглядно темно, и казалось издали, что костер горит в пещере. Вокруг него ходили гигантские тени людей, доставая головами до звезд. И все это напоминало Пете цыганский табор.

Когда поспевал кулеш, Терентий подходил к дому и звал Василия Петровича:

— Милости прошу к нашему шалашу!

Через некоторое время у костра появлялся Василий Петрович, но уже на этот раз по-домашнему — в старой косоворотке и сандалиях на босу ногу. Ему протягивали деревянную ложку, и он, присев на корточки, с видимым удовольствием ел да похваливал слегка придымленное огненное варево. Потом пили также слегка придымленный чай с житным флотским хлебом.

Иногда на огонек приходили знакомые Терентия, рыбаки с Большого Фонтана, и приносили свежую рыбу — бычков или глосиков. Тогда ужин затягивался далеко за полночь. Понемножку начинались политические разговоры — сначала осторожные, иносказательные, а потом все более и более откровенные и такие решительные, что Василий Петрович сначала притворно зевал, ерзал на траве, а потом говорил, вставая:

— Нуте-с, господа, не буду вас больше обременять своим присутствием. Благодарствуйте за хлеб, за соль, а я лично отправляюсь на боковую. И вам советую. А кулеш был действительно бесподобный!

Его не удерживали. После ухода Василия Петровича тушили костер и перебирались в шалаш Терентия, где

при свете железнодорожного фонаря продолжалась беседа уже совсем другого характера. Появлялась Павловская с толстой, растрепанной книгой, завернутой в полотенце. Петя уже знал, что теперь сначала будут читать «Капитал» Маркса, последние номера «Правды», а потом решать разные партийные дела.

Но присутствовать при этом не полагалось не только Пете, но даже и самому Гаврику. На их обязанности лежала наружная охрана. Они должны были время от времени обходить вокруг хуторка, наблюдая за степью и в особенности за дорогой.

В случае, если покажется кто-нибудь подозрительный, они должны были дать сигнал тревоги — выстрелить из берданки. Но кто мог появиться поздней ночью в степи, далеко от города? Кому могло прийти в голову, что где-то в глубине фруктового сада, в маленьком шалаше, при свете железнодорожного фонаря, восемь или десять человек — простых рабочих, мастеровых, большефонтанских рыбаков — обсуждают судьбы России, судьбы всего мира, составляют листовки, решают партийные дела и готовятся к новой революции?

Однако Петя и Гаврик весьма строго и точно исполняли свои обязанности. У Пети за спиной висела старая берданка из хозяйства мадам Васютинской, а Гаврик то и дело опускал правую руку в карман, где у него лежал заряженный браунинг, чего Петя даже и не подозревал.

Сначала с ними за компанию вокруг хуторка ходили девочки. Марина, конечно, понимала, в чем тут дело, а Мотя простодушно думала, что мальчики охраняют сад от воров, и она затаив дыхание шла на цыпочках за Петей и не сводила глаз с его берданки.

Она уже не только не сердилась на Петю, оказавшегося таким врунишкой, но даже любила его еще больше, особенно теперь, когда все вокруг было так тихо, темно и таинственно, когда все давно уже спали,— не спали только перепела и сверчки,— и когда степь вокруг неясно серебрилась от звезд.

— Петя, а вы не боитесь воров? — спрашивала она шепотом, но Петя молчал, делая вид, что не слышит.

Сейчас ему было не до любви. Да и вообще он дал себе слово больше не связываться с девчонками. Хватит! Пусть он лучше теперь будет одинокий, замкнутый,

мужественный человек, для которого не существует женщин. Он напряженно всматривался в пустую степь, прислушивался к малейшему шороху. А Мотя плелась за ним на цыпочках и шептала:

— Петя, а вы будете стрелять, если вдруг увидите воров?

— Понятное дело,— отвечал Петя.

— Тогда я лучше закрою уши,— изнемогая от страха и любви, шептала Мотя.

— Отстань!

Она умолкла, но через некоторое время за спиной у Пети слышались странные звуки, как будто чихала кошка. Это сдержанно смеялась Мотя.

— Ты чего там хихикаешь?

— Вспомнила, как мы вас мутузили вместе с Маринкой.

— Дура! Это я вас мутузил,— бормотал Петя.

— Вы фантазер,— говорила Марина голосом своей матери.

Она вообще во время подобных ночных прогулок держала себя весьма сдержанно, солидно, как взрослая, больше молчала и шла все время рядом с Гавриком, даже иногда брала его под руку. Хотя Петя и чувствовал при этом небольшие муки ревности, но продолжал стойко играть роль человека, для которого не существует любви.

Увы, любовь не только существовала, но ею была как бы пропитана вся эта теплая степная ночь. Любовь была во всем: в темном небе, засыпанном серебристым песком мелких летних звезд, в хрустальном хоре сверчков, в мягких порывах теплого, почти горячего полуночного ветра, несущего пряные запахи чебреца и цветущей полыни, в далеком лае собак и особенно в огоньке светлячка, который, казалось, горит где-то за тридевять земель, а на самом деле стоило лишь протянуть руку — и мягкий, невесомый фонарик уже лежал на ладони, освещая вокруг себя крошечный участок кожи своим безжизненно-зеленым селеновым светом.

Девочки собирали светлячков и клали друг другу в волосы. Потом они начинали зевать и скоро уходили в свой шалашик, плывя в темноте, как два маленьких созвездия.

Гаврик и Петя оставались одни, продолжая охранять

лагерь до тех пор, пока в шалаше Терентия не гас фонарь. Иногда он гас лишь на рассвете.

В эти предутренние часы Гаврик был особенно откровенен, и Петя узнавал много нового. Теперь для него было ясно, что уже началось новое, мощное революционное движение и во главе его стоит Ульянов-Ленин, который недавно, по словам Гаврика, переехал из Парижа в Краков, чтобы находиться поближе к России.

— И ты думаешь, она будет... революция? — спрашивал Петя, с усилием выговаривая это грозное слово.

— Не думаю, а наверное,— отвечал Гаврик и прибавлял шепотом: — Если хочешь знать, она уже вот-вот...

Затаив дыхание Петя ждал, что он скажет дальше. Но Гаврик молчал, не умея объяснить словами все, что он чувствовал и слышал от Терентия. Впрочем, Петя понимал и без слов. Ленский расстрел. Забастовки. Митинг в степи за Ближними Мельницами. «Правда». Драка с «союзником». Прага. Краков. Ульянов-Ленин. Наконец, эта ночь и этот фонарь в шалаше. Разве все это не было предчувствием нарастающей революции?

54

«УСАТЫЙ»

Скоро поспела вишня. Ее было не так много, как черешни, но возни с ней было не меньше. В самый разгар уборки неожиданно появилась мадам Стороженко. На этот раз она не въехала в усадьбу, а ее бричка остановилась за валом, поросшим дерезой, и мадам Стороженко долго стояла во весь рост на подножке, держась за голову одного из «персов», и наблюдала за уборкой.

— Босяки, хулиганы, пролетарии! — время от времени кричала она, грозя большим парусиновым зонтиком.— Вы у меня посмотрите, как сбивать цены на фрукту! Интересно знать, куда смотрит полиция!

Но на нее не обратили внимания, и она уехала, крикнув издали:

— Клянусь богом, я закрою эту вашу лавочку!

На другой день на рассвете за вишней приехали платформы, и Петя видел, как, не доезжая до хуторка, прямо в степи с них сбрасывали какие-то тяжелые ящики, которые потом исчезли.

— Что это за ящики? — спросил Петя.

— А я думал, ты еще спишь,— с неудовольствием сказал Гаврик, пропуская мимо ушей Петин вопрос.

— Нет, кроме шуток, что это за ящики?

— Какие ящики?.. — спросил Гаврик, сделав невинные глаза.— Где ты видишь ящики? Чудак, нет никаких!

Но Петя очень хорошо видел ящики.

— Не валяй дурака! — сердито сказал он.

Гаврик стоял перед ним, расставив ноги.

— Забудь! — сказал он строго.

Но его лицо светилось таким скрытым торжеством, таким лукавством, что Петю еще больше разобрало любопытство.

— Нет, ты все-таки скажи, что за ящики? — настойчиво сказал он, отлично понимая, что в этих ящиках, которые он случайно увидел, кроется какая-то важная тайна и что Гаврику ужасно хочется похвастать этой тайной.— Ну? — еще более настойчиво спросил Петя.

Тогда Гаврик приблизил к нему лицо, одну минуту поколебался, а затем сказал, оглянувшись по сторонам и понизив голос:

— «Американка».

Пете показалось, что он ослышался.

— Что? — переспросил он.

— «Аме-ри-канка»,— повторил Гаврик раздельно.— Не понимаешь? Эх ты, лопух...

Десятки раз проходил Петя мимо этой маленькой степной балочки, густо заросшей будяками и полынью, и никогда не замечал в ней ничего особенного. Но как раз в это время бурьян на дне балочки зашевелился, и оттуда вылезли две фигурки: сначала дядя Федя, а потом старый железнодорожник. И тогда Петя сразу понял: на дне балочки, в скале, находилась щель. Таких щелей вокруг города — в степи и на берегу моря — было довольно много, и Петя знал, что это ходы в знаменитые одесские катакомбы. Так вот, оказывается, куда делись ящики!

— Теперь тебе понятно? — сказал Гаврик и так пронзительно, даже грозно посмотрел на Петю, что тот уже готов был произнести клятву, но воздержался, а только открыто и твердо посмотрел Гаврику в глаза, коротко сказав:

— Понятно.

— Ну, так смотри же! — сказал Гаврик.— И помни, что ты ничего не видел. Забудь!

— Забуду,— сказал Петя, и они оба не торопясь пошли на хуторок, где уже на подводы, прямо навалом, грузили вишню.

А на другой день утром на террасе снова появился Терентий. Он положил на стол деньги и сказал Василию Петровичу:

— Вот видите, как хорошо получается: вы — нам, мы — вам. Здесь без трех рублей сто двадцать, не считая пятнадцати карбованцев, которые мы удержали на разные мелкие расходы. Вы на нас за это не обижаетесь?

— О, что вы, что вы! — замахал руками Василий Петрович.

Он, конечно, и не подозревал, что эти «пятнадцать рублей на мелкие расходы» в тот же день были посланы по почте в Петербург, а через неделю в «Правде», в списке денежных поступлений на издание газеты, было напечатано мелким шрифтом: «От группы одесских рабочих 15 руб.».

Таким образом был реализован урожай вишен.

Теперь на очереди стояли ранние сорта яблок. Лето проходило незаметно. Все обстояло благополучно, если не считать одного маленького события, которое для всех прошло незамеченным, но у Пети оставило неприятный осадок.

Как-то, возвращаясь с купанья и уже подходя к хуторку, Петя увидел человека, выходящего из их калитки. Человек показался знакомым. Повинуясь необъяснимому чувству тревоги, Петя осторожно вошел в чащу кукурузы и присел на корточки среди толстых, мясистых стеблей и шуршащих листьев. Человек прошел так близко, что Петя мог дотронуться до его пыльных диагоналевых брюк и серых парусиновых туфель. Петя посмотрел вверх и на фоне яркого неба с гипсовыми июльскими облаками увидел голову в летнем люфовом шлеме с двумя козырьками сзади и спереди — так называемом «здравствуй — прощай»,— серые усы и пенсне с темными стеклами, как у слепого. Это был тот самый «усатый», которого Петя на всю жизнь запомнил еще в детстве, на пароходе «Тургенев», а последний раз видел перед отъездом за гра-

ницу на палубе «Палермо», рядом с жандармским офицером. Не замечая Пети, «усатый» прошел мимо, надувая сизые щеки и трубя под нос популярный марш капельмейстера Чернецкого.

Переждав некоторое время, Петя побежал домой, чтобы поскорее узнать, для чего приходил «усатый», но ничего важного не узнал. По словам тети, просто-напросто заходил какой-то дачник с Большого Фонтана за вишнями, и тетя ему сказала, что он, к сожалению, опоздал. Дачник обошел сад, похвалил хозяйство и обещал непременно наведаться в сентябре, когда будет виноград. Вот, собственно, и все. Так как дело происходило в середине недели, никого с Ближних Мельниц не было и в саду работали только свои, Петя успокоился. Может быть, действительно «усатый» живет на Большом Фонтане и действительно просто заходил покупать вишни. Ведь, в конце концов, он тоже человек. Почему он не может быть дачником и жить летом на Большом Фонтане?

Но Гаврик отнесся к этому иначе, гораздо серьезнее, хотя и он допускал, что появление «усатого» — чистая случайность. Так или иначе, Терентий распорядился усилить охрану, и теперь Гаврик и Петя дежурили не только в ночь с субботы на воскресенье, но также и днем. Но, по-видимому, тревога оказалась ложной: «усатый» больше не появлялся.

55
ПАРУСА

В начале августа, в субботу, Петя и Гаврик, несколько раз обойдя степью вокруг хуторка и не заметив ничего подозрительного, вышли к обрывам, легли в полынь и стали смотреть в море. Солнце недавно зашло, дул крепкий ветер, и над темно-синим, неспокойным морем гасли еще по-летнему теплые, розовые облака. Уже шла скумбрия, и недалеко от берега играли дельфины. По всему горизонту виднелись надутые паруса шаланд. Это вышли в море рыбаки ловить скумбрию на «самодур».

Шаланды двигались в разных направлениях и меняли галсы, то приближаясь, то удаляясь. Иногда какая-нибудь шаланда подходила совсем близко, некоторое время шла, подскакивая, вдоль берега, и тогда было ясно видно, как из-под ее плоского дна, хлопавшего по волне,

вылетали фонтаны брызг и как, стоя во весь рост на задранном носу, человек водил взад-вперед длинную бамбуковую удочку, согнутую от напряжения, как лук.

Мальчики знали, что к этой удочке на длинной леске привязана приманка: свинцовая, ярко раскрашенная рыбка со множеством острых крючков и пестрых перышек. Искусство ловли скумбрии на «самодур» заключалось в том, чтобы наиболее точно соразмерить скорость движения приманки со скоростью движения косяка рыбы. Хищная скумбрия бросалась в погоню за пестрой приманкой, и тут нельзя было ни слишком уйти вперед, ни слишком отстать. Надо было раздразнить скумбрию, а затем поддаться — тогда скумбрия набрасывалась на «самодур», жадно хватала перышки и попадалась на крючок.

Это было увлекательное зрелище. Но сейчас Петя и Гаврик были заняты совсем другим. Они напряженно следили за парусами, желая отыскать именно тот, который они ждали.

Кроме рыбачьих шаланд, далеко в море маячили белоснежные, щегольские паруса гоночных яхт Екатерининского и Черноморского яхт-клубов. Они заканчивали большой гандикап на ежегодный приз знаменитого одесского миллионера Анатра и теперь шли к финишу, круто накренясь под ветром,— многотысячные красавицы, построенные на лучших верфях Голландии и Англии: «Майяна», «Вега», «Нелли», «Снодроп»... В другое время они бы, конечно, поглотили все внимание Пети и Гаврика, но на этот раз Гаврик лишь одобрительно заметил:

— В море все равно как вечером на Дерибасовской. Гулянье. Можно незаметно проскочить.

— По-моему, это вон та шаланда, как раз на траверзе старого большефонтанского маяка,— сказал Петя, с особенным удовольствием произнося слова «на траверзе».

— Не,— сказал Гаврик.— У Акима Перепелицкого шаланда ярко-голубая, недавно покрашенная, а эта облупленная.

— Верно.

— Не верно, а так точно.

— Стой! Вот она!

— Где ты видишь?

— Напротив Золотого Берега, ближе сюда, ярко-голубая.

— Не. У нее новый кливер, а у Перепелицкого латаный.

— Когда они обещали прийти?

— Как солнце сядет, так и придут.

— Солнце уже село.

— Еще чересчур светло. Пускай трошки стемнеет.

— А может, совсем не придут?

— Шутишь, брат! Это дело партийное.

И мальчики продолжали с напряжением всматриваться в море.

А дело заключалось в том, что недавно в Одессу тайно приехал из-за границы, из Кракова, представитель Центрального Комитета с директивами от Ульянова-Ленина относительно выборов в Четвертую Государственную думу. Вот уже в течение недели этот представитель делал доклады о политическом положении, каждый день выступая на районных партийных собраниях. Сегодня его ждали на хуторке. Для большей осторожности его должен был привезти с Ланжерона на своей шаланде молодой рыбак Аким Перепелицкий.

Облака понемногу гасли. Море темнело. Яхты прошли мимо и скрылись из глаз. Рыбачьих парусов стало заметно меньше. Далеко в Аркадии, на гулянье, играл духовой оркестр, и ветер приносил оттуда звуки труб и глухие вздохи турецкого барабана. А шаланда Акима Перепелицкого все не показывалась.

Вдруг Гаврик ее увидел:

— Вот она, вот!

Парус показался совсем не там, откуда его ждали. Шаланду ждали со стороны Ланжерона, а она подходила со стороны Люстдорфа. Вероятно, из предосторожности Аким Перепелицкий сначала провел ее далеко морем до самого Люстдорфа, а уже там повернул назад, к даче Ковалевского. Теперь шаланда была совсем близко. Ее гнал попутный ветер, и она, прыгая с волны на волну, быстро бежала прямо к берегу.

В шаланде находились двое. Один, развалившись на корме, держал под мышкой румпель. Это был Аким Перепелицкий, и Петя его сразу узнал. Другой — небольшой, коренастый, в старой полосатой тельняшке под брезентовой рыбацкой курткой, босой, в штанах, засученных до колен,— сидя согнувшись верхом на борту, проворно,

сноровисто развязывал морской узел кливер-шкота. И Петя его узнал не сразу.

Пока мальчики сбежали с обрыва, паруса уже были спущены, руль снят и брошен на корму, киль поднят, и шаланда, по инерции царапая дном гальку, врезалась в берег.

Как и полагалось по неписаным законам Черного моря, Петя и Гаврик сначала помогли вытащить тяжелую шаланду на берег, а уже затем поздоровались с гостями.

— Тю! Дядя Жуков! — совсем по-детски воскликнул Гаврик, пожимая руку уполномоченному Центрального Комитета.— Побей меня бог, я так и думал, что это непременно вы!

Жуков некоторое время всматривался в лицо Гаврика.

— А! — наконец сказал он.— Теперь, братишка, и я тебя признал. Ведь это ты меня, никак, лет семь тому назад вытащил из воды против дачи «Отрада»? Так и есть! Ишь, как вырос! А дедушка-то, а?.. Хороший был старичок, симпатичный. Ну, царство ему небесное. Помнится мне, все молился угоднику Николаю, но, как видно, так ни до чего хорошего и не домолился...— Тень давнего воспоминания пробежала по лицу Родиона Жукова.— Тебя как звать-то? Я уж, признаться, и забыл.

— Гаврик. Черноиваненко по фамилии.

— Черноиваненко? Стало быть, родственник Терентия Семеновича?

— Родной брат.

— Скажи пожалуйста! То-то, я смотрю, вы оба по одной дорожке идете.

— Дядя Жуков, а ведь я вас тоже хорошо знаю,— жалобно сказал Петя, который не мог перенести, что все внимание уполномоченного Центрального Комитета сосредоточилось на Гаврике.— Я вас знаю даже еще раньше, чем он. Когда вы прятались в дилижансе, помните? А потом — на пароходе «Тургенев»...

— Да что ты говоришь! — воскликнул весело Жуков.— Стало быть, мы с тобой тоже старые друзья, коли не врешь!

— Святой истинный крест! — с жаром сказал Петя и перекрестился.— Даже Гаврик может подтвердить... Гаврик, подтверди дяде Жукову, что это я носил патроны на Александровский проспект!

— Верно,— сказал Гаврик.

— А год назад я вас в Неаполе видел. Вы еще были тогда с Максимом Горьким. Скажете — нет?

Жуков посмотрел на Петю.

— Верно! — воскликнул он.— Теперь припоминаю. На тебе была флотская фланелька, верно?

— Верно, дядя Жуков,— сказал Петя и гордо посмотрел на Гаврика.— Видал?

— Только вы вот что, братцы,— строго сказал Жуков.— Забудьте, что меня кличут дядей Жуковым. Был Жуков, да весь вышел. Теперь я Васильев. Запомните. Повторите.

— Васильев,— в один голос сказали Петя и Гаврик.

— Так и держать!.. Ну, а тебя как звать? — обратился он к Пете.

— Петя.

— Сын того самого учителя,— пояснил Гаврик.

— Чую,— сказал Жуков, подумал и решительно прибавил: — Ну так что ж, не стоит терять время. Пойдем, что ли... Как там народ, собрался?

— Давно уже,— ответил Гаврик.

— Дорога чистая? А то я в Кракове дал честное слово, что буду себя соблюдать осторожно, как гимназистка.

— Нет, кругом все аккуратно,— сказал Гаврик.

Родион Жуков взял из шаланды круглую корзинку, полную скумбрии, и поставил себе на голову, как заправский рыбак, идущий со своим уловом по дачам.

— Богато нарыбачили! — сказал Гаврик с уважением.

— За один раз всю корзину на серебряный самодур! — засмеялся Жуков, подмигивая Акиму Перепелицкому.

Аким Перепелицкий, молодой, красивый, с чубом на глаза, с ленивой грацией взвалил на плечо весла, и они стали подниматься по обрыву.

Гаврик ушел шагов на пятьдесят вперед, Петя на столько же отстал, и было условлено, что в случае, если они заметят что-нибудь подозрительное, свистнут в четыре пальца. Петя шел сзади, на всякий случай приготовив пальцы, и почему-то больше всего боялся, что если придется свистеть, то вдруг у него ничего не выйдет. Но вокруг все было спокойно, и, пройдя в стороне от дороги,

они благополучно добрались до хуторка, где у виноградника Родиона Жукова встретил Терентий. Петя видел, как они обнялись, долго хлопали друг друга по спине, смеялись, а затем пошли к шалашам, где уже в темноте под деревьями трещал костер, рассыпая золотые искры.

Когда немного погодя Петя подошел к шалашам, то Родион Жуков, окруженный народом, уже сидел перед костром и, раскуривая маленькую носогрейку с жестяной крышечкой, говорил:

— Таким образом, товарищи, посмотрим, какие же события произошли за последние полгода после Пражской конференции? Во-первых, восстановилась партия. И это самое главное. Вам не надо объяснять, как она восстанавливалась, какие невероятные трудности пришлось нам всем преодолеть. Бешеные преследования царской полиции. Провалы. Провокации. Постоянные перерывы в работе местных центров и нашего общего центра — Центрального Комитета. Но все это теперь, слава богу, уже позади. Наша партия смело, уверенно идет вперед, развивая свою работу и влияние в массах. Но развитие партийной работы теперь уже идет не по-старому, а по-новому. Что у нас осталось после разгрома революции пятого года? Одна нелегальщина. Теперь же к нашим нелегальным ячейкам, к ячейкам тайным, узким, еще более спрятанным, чем прежде, присоединяется более широкая, легальная марксистская проповедь. Именно в этом сочетании легального с нелегальным и заключается своеобразие новой подготовки революции в новых условиях. Мы идем, товарищи, к новой революции под лозунгами демократической республики, восьмичасового рабочего дня и полной конфискации всей помещичьей земли. Вы знаете, что эти лозунги обошли всю Россию. Их приняли все передовые, сознательные пролетарии. Одним словом, отступление кончено. Либерально-столыпинская контрреволюция доживает последние годочки. Растут стачки — растет восстание. Это революционный подъем масс, это начало наступления рабочих масс против царской монархии...

Петя не спускал глаз с Родиона Жукова, с его лица, резко освещенного льющимся, трескучим пламенем костра. Теперь это был совсем не тот Жуков, которого Петя видел в детстве и запомнил на всю жизнь. Это был

не тот Жуков, которого Петя встретил в Неаполе, и даже не тот, который только что шел босиком по степи с круглой корзиной на голове. Это был какой-то другой, новый Жуков — товарищ Васильев, строгий, почти суровый, с требовательно прищуренными глазами, твердо очерченным ртом и коротко, по-заграничному подстриженными усами. Это был матрос, ставший капитаном.

— Теперь поговорим о выборах в Четвертую Государственную думу,— продолжал Жуков.— Российская социал-демократическая рабочая партия выступила перед выборами, несмотря на весь гнет преследований, несмотря на массовые аресты, с более ясной, отчетливой, точной программой, тактикой, платформой, чем какая бы то ни было другая партия. Так формулирует Владимир Ильич Ленин-Ульянов в «Рабочей газете» обстановку, сложившуюся накануне выборов...

В это время Гаврик потянул Петю за рукав.

— Что ж ты здесь расселся, как барин? — прошептал он.— Надо идти охранять.

Петя осторожно выполз из круга и вдруг увидел отца. Василий Петрович со скрещенными на груди руками стоял, прислонившись к дереву, и так внимательно слушал Родиона Жукова, что даже не повернул головы, когда Петя, проходя мимо, задел его плечом. Волосы в беспорядке падали на его строго наморщенный лоб и в каждом стекле пенсне отражалось по маленькому костру.

56

У КОСТРА

Петя и Гаврик обошли хуторок и свернули на дорогу к станции. Недавно вместо конки пустили электрический трамвай, и теперь издали слышалось его виолончельное гуденье, над темными садами бежала синяя электрическая звездочка, и яркий свет из вагонных окон падал во все стороны, делая степную ночь еще темнее.

Вдруг Гаврик остановился и стиснул Петину руку. Петя увидел несколько белых фигур, которые одна за другой, как гуси, шли со станции по обочине дороги прямо к хуторку. И, прежде чем Гаврик успел прошептать: «Полиция!» — Петя уже понял, что это наряд городовых в своих белых летних рубахах. Когда мальчики, с

трудом переводя дух, прибежали к костру, Жуков продолжал говорить:

— Ликвидаторы кричат о приличной, цензурной, извините за выражение, «платформе для выборов». А мы, большевики, считаем, что не «платформа» для выборов, а выборы для проведения революционной социал-демократической платформы. Мы уже использовали выборы для этой цели и используем их до конца, используем даже самую черную царскую думу для революционной проповеди, агитации, пропаганды... Вот как-с!

Родион Жуков сердито откашлялся, потянулся к костру, чтобы вытащить уголек и зажечь погасшую трубку, но в это время Гаврик что-то шепнул Терентию, и Терентий, не вставая, поднял руку.

— Одну минуточку, товарищи... К порядку ведения собрания,— спокойно, даже как бы деловито сказал он.— Прежде всего прошу соблюдать полное спокойствие и революционную выдержку. Нас окружает полиция.

Петя подумал, что сейчас все вскочат, выхватят оружие... Он сорвал с плеча берданку, из которой так и не успел выстрелить, пока они бежали от городовых. «Вот оно, начинается!» — подумал он с ужасом и восторгом.

Но, к его крайнему удивлению, все продолжали совершенно спокойно сидеть вокруг костра. Только Родион Жуков резким движением выбил об землю свою трубочку и спрятал ее в карман.

— Всем оставаться на местах, а тебе, Родион Иванович, и вам, Тамара Николаевна,— обратился Терентий к Павловской,— на некоторое время придется скрыться. У нас тут есть недалеко подходящее местечко... Гаврик, а ну-ка, ходом! Проводи наших нелегалов в балочку. Пусть они там пересидят.

— Ах, будь они трижды прокляты, помешали на самом интересном месте! — сказал весело Родион Жуков, вставая.— Вот вам, товарищи, наглядный пример нашей тактики: сочетание легального с нелегальным.— И глаза его лукаво, но вместе с тем и грозно блеснули при свете костра.

— Иди, иди, лезь в подполье! — нетерпеливо сказал Терентий.

Следуя за Гавриком, Павловская и Родион Жуков быстро прошли под деревьями и скрылись в темноте. За

ними легкой тенью скользнула Марина, а за Мариной, изо всех сил сжимая в руках берданку, на цыпочках пошел Петя; но Терентий строго погрозил ему пальцем, и он остался. Все это произошло так быстро, складно и бесшумно, что околодочный надзиратель и трое городовых, которые как раз в это время, придерживая шашки и стараясь не стучать сапогами, во главе с «усатым» входили в сад, увидели вполне мирную картину: у костра сидели люди и ужинали.

— Кто такие? По какому случаю сборище? — строго сказал околодочный, выступая из темноты. Он, несомненно, ожидал, что его внезапное появление поразит всех, как громом.

Но люди продолжали спокойно ужинать, и лишь старик железнодорожник старательно облизал свою деревянную ложку, вытер ее о штаны, протянул околодочному и сказал:

— Милости просим! Повечеряйте с нами... Аким, посунься трошки, дай место его благородию.

— Да нет, куды там! — лениво ответил Аким Перепелицкий.— У них тут целая воинская команда, на всех нашего кулеша не хватит. Нехай они идут обратно в участок и там кушают свою тюремную баланду.

— Встать! — закричал околодочный.— Ты с кем разговариваешь?

— Вы на меня, ваше благородие, не тыкайте: мы с вами вместе свиней не пасли,— еще более лениво проговорил Аким Перепелицкий и, опершись на локоть, сплюнул в костер.

— У, мурло! — с отвращением сказал околодочный, раздувая рыжие усы и морща мясистый нос.— Ты у меня, знаешь...

А городовые стояли в темноте под деревьями, готовые в любой момент начать хватать, хотя и чувствовали, что происходит не совсем то, чего они ожидали.

Они ожидали, что накроют с поличным каких-то опасных бомбистов, что придется обнажить оружие и даже, может быть, стрелять. А вместо этого «усатый» привел их в сад, где люди сидят у костра, мирно хлебают кулеш и не только не боятся, но даже говорят околодочному дерзости. Видать, вышла осечка.

— Милостивый государь, не имею чести знать, кто

вы такой...— голосом, дрожащим от гнева, произнес Василий Петрович, вскакивая во весь рост и подходя вплотную к околодочному.— Что вам угодно? По какому праву вы позволяете себе врываться на чужую усадьбу? И... и... и мешаете людям ужинать,— прибавил он и затряс бородой.

— А вы здесь кто такой будете? — строго спросил околодочный.

— Я здесь не буду, а я здесь есть,— сказал Василий Петрович, по-учительски язвительно подчеркивая слова «буду» и «есть».— Я здесь, так сказать, арендатор и полный хозяин на основании нотариального акта; это мои поденные рабочие... батраки, если вам угодно, которых я нанял для обработки сада и виноградника. (Терентий одобрительно закивал головой.) Я — надворный советник Бачей. И я требую, чтобы на мою усадьбу не врывались по ночам посторонние люди! — вдруг крикнул Василий Петрович петушиным голосом и затопал сандалиями.

— Виноват, мы не посторонние, мы полиция,— слегка отступая, сказал околодочный.

— Для меня вы посторонние! — продолжал кричать Василий Петрович.— Я не желаю иметь с вами ничего общего! Зачем вы меня преследуете? Боже мой, когда это наконец кончится! — вдруг сказал он плачущим голосом.— То попечитель учебного округа, то Файг, то мадам Стороженко. А теперь полиция. Оставьте меня в покое! Дайте мне свободно дышать! Ос-тавь-те ме-ня в поко-е! В конце концов, я поеду и буду жаловаться... градоначальнику... генерал-майору Толмачеву! — снова впадая в ярость, совершенно неожиданно для самого себя крикнул Василий Петрович.

Как ни странно, но его довольно бессвязная речь произвела на околодочного известное впечатление, в особенности упоминание о градоначальнике Толмачеве. Кто его знает, что за птица этот арендатор, надворный советник Бачей? Еще, чего доброго, действительно поедет жаловаться генералу Толмачеву.

— Вы на меня не повышайте голос,— скорее жалобно, чем грозно, сказал околодочный и подошел к «усатому», который, расхаживая в темноте под деревьями, самым внимательным образом всматривался по очереди в лица людей, сидящих перед костром.

Околодочный пошептался с «усатым», откашлялся и снова обратился к Василию Петровичу:

— У нас есть сведения, что здесь у вас постоянно происходят всякие нелегальные сходки, читают запрещенные брошюры... гм... и вообще скопляются... А сейчас скопляться строго воспрещается...

— Ваше благородие,— сказал вкрадчивым голосом Аким Перепелицкий,— дак ведь люди скопляются для того, чтобы немножко заработать — ну, там окопать деревья, подвязать виноградник, полить сад... Все-таки лишняя копейка для бедного человека.

— Я не к тебе обращаюсь,— строго сказал околодочный,— а я разговариваю с господином арендатором.

— По-моему, нам с вами совершенно не о чем разговаривать,— сказал Василий Петрович.— Что же касается вашего утверждения, что здесь якобы происходит чтение каких-то запрещенных брошюр и тому подобное, то это плоды вашей досужей фантазии — не больше.

— Так зачем же вы здесь скопляетесь по ночам? — вяло спросил околодочный, для которого уже давно стало ясно, что облава провалилась, так как все равно ничего доказать нельзя.

— А скопляемся мы потому,— ответил Василий Петрович, делая ироническое ударение на слове «скопляемся»,— что, с вашего позволения, я здесь читаю лекции.

— Ага, лекции? — встрепенулся околодочный.

— Да,— сказал Василий Петрович, поправляя пенсне,— популярные, общеобразовательные лекции по истории цивилизации, по литературе, по астрономии... Разумеется, в пределах программы, утвержденной министерством народного просвещения... Вас это устраивает?

— По астрономии...— неодобрительно покачал головой околодочный и сморщил толстый нос.— Конечно, если по утвержденной программе, то это ничего... можно...

— Ах, вы разрешаете? — воскликнул Василий Петрович с наигранным восторгом.— Вы разрешаете! Как это любезно с вашей стороны! Ну что ж... В таком случае, не смею вас больше задерживать. Впрочем, может быть, вам угодно произвести обыск... изъятие... или как это у вас называется? — тогда сделайте одолжение. Сад к вашим услугам! — торжественно воскликнул Василий Петрович и сделал широкий, гостеприимный жест обеими

руками, как бы желая обнять всю эту великолепную степную ночь вместе со всеми ее темными деревьями, костром, светлячками и созвездиями.

«Молодец, папочка, молодец!» — думал Петя, с восхищением глядя на отца, но в это время послышался шум платья и выбежала тетя.

— Что? Что? Что здесь происходит? — задыхаясь, проговорила она, с испугом глядя на околодочного и городовых.

— О, успокойтесь, ничего ужасного,— спокойно сказал Василий Петрович.— Господин околодочный получил неверные сведения — якобы у нас в усадьбе происходят какие-то нелегальные сборища, но, к счастью, все это оказалось недоразумением.

— Ага, я понимаю,— сказала тетя: — это, наверно, по доносу мадам Стороженко.

— Ничего вам не могу доложить определенного, мадам,— сказал околодочный и, сердито пошептавшись с «усатым», махнул рукой городовым.

Городовые немного потоптались на месте, а затем один за другим, белея в темноте, как гуси, проследовали через сад и скрылись за калиткой.

— А что касается этих ваших лекций, то я буду принужден доложить о них господину приставу,— сказал околодочный.

— Хоть генерал-губернатору! — ответил Василий Петрович и, не дожидаясь, пока околодочный и «усатый» скроются, прилег у костра, облокотился на руку и громким, звучным, учительским голосом сказал: — Итак, господа, продолжим нашу лекцию. В прошлый раз я познакомил вас с элементарными основами астрономии, то есть прекрасной науки о звездах. Повторю вкратце. Астрономия есть одна из самых древних наук человечества. Еще древние египтяне...

Петя осторожно выполз из освещенного круга, надел на плечо берданку и, прячась в тени деревьев, пошел за удаляющейся полицией. Поравнявшись с околодочным и «усатым», он услышал ворчливый голос околодочного:

— С такими, знаете, агентами, как вы, надо не революционеров хватать, а сидеть голой задницей на плите и ждать, пока у вас закипит в середине.

— Клянусь небом, я имел самые надежные данные!

— А, перестаньте мне морочить голову! Вы просто хапнули с мадам Стороженко крупного хабара и сели в калошу. Только даром потревожили людей в субботу вечером... Слава богу, пустили электричку, а то еще не хватало нам труситься на конке. Мерси!

57

ЗВЕЗДЫ

Значит, они уезжают. Но Петя не успокоился до тех пор, пока собственными глазами не увидел, как они все влезли в вагон трамвая и уехали. Петя отправился назад и вдруг увидел на дороге маленькую, неподвижную фигурку. Это была Мотя.

— Ты что здесь делаешь? — строго спросил Петя.

— Дожидаюсь,— отвечала она шепотом.— Я за вас так беспокоилась, так беспокоилась...

— Тебя не просили,— сказал Петя,— иди домой!

— А они уехали?

— Уехали.

— На электрическом трамвае?

— Да.

Мотя тихонько засмеялась.

— Ты чего смеешься?

— Мне смешно, что вокруг ночь, а мы с вами одни вдвоем в пустом поле... Петя,— сказала она, помолчав,— а вам не было страшно, когда вы шли за ними?

— Чудачка! А ружье?

— Верно,— вздохнула Мотя.— А я чуть не умерла — до того боялась.

Ночь была темная, теплая, хотя и слегка ветреная. Иногда со стороны Аркадии доносилась глухая пальба — это на гулянье пускали фейерверк. Вылетели несколько ракет и, оставляя в черном небе оранжевые полосы, вдруг вспыхнули и медленно потекли вниз крупными огнеными слезами, и лишь через некоторое время до Пети и Моти долетел сухой треск.

— Как прекрасно! — сказала Мотя и опять вздохнула.

— Иди домой,— сказал Петя.

Она покорно пошла по дороге, и скоро ее фигурка растаяла в серебристом звездном свете.

Тогда Петя повернул в степь и побежал к знакомой

балочке. Ему никто не сказал, что нужно провожать полицейских, и ему никто не велел потом идти в балочку за Родионом Жуковым. Он все это делал, подчиняясь бессознательному и безошибочному внутреннему чувству. Им уже управляла какая-то посторонняя сила.

В балочке было совсем темно. Шурша бурьяном, Петя нащупал скалу и пошел вдоль нее, отыскивая щель.

— Это ты, Петька? — спросил из темноты голос Гаврика.

— Я.

— Ну что там слышно?

— Все в порядке. Ушли.

— И никого не забрали?

— Никого.

— Ну, слава богу. Давай сюда руку.

Петя протянул руку, и Гаврик втащил его в щель. Некоторое время они шли в полной темноте, то и дело задевая плечами стены, с которых сыпалась сухая земля. Затем проход настолько сузился и снизился, что пришлось ползти на четвереньках. Наконец впереди забрезжил слабый свет, проход расширился, и Петя увидел вырезанную в камне довольно большую пещеру с косо нависшим ракушниковым закопченным потолком.

На стене висел фонарь «летучая мышь», отбрасывая вокруг себя решетчатые тени, так что пещера походила на клетку. Было сыро, прохладно, но и душно. Явно чувствовался недостаток воздуха. В углу под фонарем Петя увидел маленькую типографскую машину с косым черным диском и понял, что это именно и есть та самая «американка», о которой сказал Гаврик. Рядом на камне лежала типографская касса с теми самыми буквами, которые за два года натаскал Гаврик из типографии «Одесского листка». Тут же на стене висел знакомый синий халат Гаврика, измазанный типографской краской.

Родион Жуков сидел на земле, прислонившись спиной к стене, курил трубочку и читал какую-то книжку, делая на полях отметки карандашиком. А мать и дочь Павловские устроились на ящиках от «американки». Павловская сидела, закутавшись в свой старенький ватерпруф, а Марина спала, положив голову с черным бантом на колени матери и поджав ноги в маленьких пыльных башмачках на пуговицах, из которых один «просил каши».

Около них на полу находилось все их имущество: завернутая в газету керосинка, узел с платьями и небольшой портплед, из чего можно было заключить, что, повидимому, они все время жили, держа вещи наготове. Сейчас у них был такой вид, будто они сидят на какой-то маленькой, глухой станции и терпеливо ждут поезда.

— Все в порядке. Можно выходить,— сказал Гаврик.

Родион Жуков не тронулся с места, а потребовал, чтобы Петя рассказал все как было. Петя рассказал. Но Родион Жуков, немного подумав, велел, чтобы Петя рассказал еще раз, не торопясь. Петя рассказал еще раз. Тогда Родион Жуков спрятал книжку в карман, потянулся с удовольствием и сказал:

— Ну, когда так, можно вылезать из подполья. Видать, эти шкуры наскочили на меня чисто случайно... Тамара Николаевна, поехали!

— Вставай, девочка,— сказала Павловская, легонько ущипнув Марину за нос, как маленькую.

Марина открыла глаза, посмотрела вокруг, увидела Петю — испачканного землей, взъерошенного, с берданкой,— лениво улыбнулась и обеими руками поправила смявшийся бант.

— Я хочу спать,— капризно сказала она, но все-таки послушно встала и подняла с пола керосинку.

— Нет, вещички вы, на всякий случай, пока оставьте,— сказал Родион Жуков.

«Милая!» — подумал Петя с нежностью.

Когда они выбрались из подземелья на свежий воздух, то звезды им показались удивительно яркими, почти ослепляющими. В степи было спокойно. Они молча, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, дошли до хуторка, перелезли через вал, поросший пыльной дерезой, и осторожно присели у костра, где Василий Петрович продолжал свою лекцию по астрономии.

— Теперь вообразите себе,— вдохновенно говорил он, запрокинув лицо и глядя на звездное небо,— что мы с вами обладаем волшебной способностью передвигаться в пространстве со скоростью света. Тогда мы легко можем убедиться, что Вселенная бесконечна. В самом деле, посмотрите на это звездное небо, которое так широко и великолепно раскинулось над нами. Что мы видим? Мы видим мириады небесных звезд, планет, туманностей, на-

конец, мы видим Млечный Путь, который, в свою очередь, представляет собой не что иное, как новое громадное скопление звезд. Но все это неисчислимое количество светил есть лишь ничтожно малая частица Вселенной. Так вот, господа, вообразите себе, что мы с вами с непостижимой для человеческого ума скоростью летим в мировое пространство и наконец долетаем до самой отдаленной звезды. Что же оказывается? Оказывается, что за этой звездой перед нами открывается новое звездное небо. Мы долетаем до самой далекой звезды этого нового неба, но и здесь не находим конца Вселенной. Перед нами открывается новое звездное небо. И так, сколько бы мы ни летели с вами в необъятном мировом пространстве, перед нами все время будут открываться всё новые и новые миры, и конца этому никогда не будет, потому что Вселенная бесконечна.

Василий Петрович замолчал, продолжая смотреть вверх. Теперь уже и все остальные молча смотрели вверх — на хорошо знакомое звездное небо, на серебристый раздвоенный рукав Млечного Пути,— увлеченные и очарованные мыслью о бесконечности Вселенной.

Марина сидела рядом с Петей, смотрела вверх на звезды, и вдруг Петя почувствовал такую нежность, такую мучительную, щемящую любовь, что даже слезы выступили у него на глазах.

— Послушайте...— прошептал он, осторожно трогая ее за рукав.

— Что? — почти беззвучно сказала она, не поворачивая головы.

«Я вас люблю»,— чуть не сказал Петя, но вместо этого произнес:

— Правда, замечательно?

— Да,— ответила Марина, как-то особенно красиво и свободно тряхнув головой.— Чем ночь темней, тем ярче звезды.

Где-то очень далеко, еле слышно, кричали петухи и тонкий голубой луч нового большефонтанского маяка стрелой уходил далеко вверх, в звездное небо.

Конец I тома

СОДЕРЖАНИЕ

Для среднего и старшего возраста

Катаев Валентин Петрович

ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ

Том I

Ответственный редактор *Б. И. Камир*
Художественный редактор *С. И. Нижняя*
Технический редактор *С. К. Пушкова*
Корректора *Л. И. Гусева* и *А. Б. Стрельник*

Сдано в набор 21/IV 1961 г. Подписано к печати 23/VIII 1961 г. Формат 84 X 108[1]/32 — 17,81 печ. л. 29,92 усл. печ. л. (28,79 + 1 вкл. = 28,9 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. Цена 1 р. 12 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 2593.